

Валентин  
ПИНКУЛЬ



из рукописного  
наследия.

мы отдались одному слову в нем  
и не вернулись к справедливости  
и воле.

Враг его не воле, Россия - не  
верный <sup>ему</sup> союзник, не кабы де  
его и знаменосца. Разбух <sup>турки</sup>  
новь обдемет во <sup>много</sup> власти <sup>Джандар</sup>  
~~верных суданов~~ было <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup>  
и <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup>  
доживая себя <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup>  
Коргах <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup>

В 1911 году в <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup>  
ружен <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup>  
и <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup>  
и <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup> <sup>Джандар</sup>



*Валентин*  
**ПТИКУЛЬ**

---

*из рукописного  
наследия*

**Том 1**

**Псы господни  
Жирная, грязная и прогажная  
Янычары**



ББК 84Р7-4  
П32

Издатель *К. В. Кренов*  
Подготовка рукописи к публикации,  
составление и вступительные статьи *А. И. Пикуль*  
Оформление художника *В. П. Кабанова*

**Пикуль В. С.**  
П32 Из рукописного наследия. В 2-х т. Т. I. Псы господни: Историческое повествование; Жирная, грязная и продажная: Роман-информация; Янычары: Восточный роман / Сост. и вступ. ст. А. И. Пикуль. — М.: Новатор, 1993. — 400 с., ил.

ISBN 85862-029-9

В том входят впервые публикуемые произведения В. С. Пикуля (1928—1990): историческое повествование «Псы господни», роман-информация «Жирная, грязная и продажная» и восточный роман «Янычары». Любителям творчества популярного писателя представляется уникальная возможность заглянуть в мастерскую этого признанного мастера исторического жанра, познакомиться с его методами работы.

ББК 84Р7-4

ISBN 85862-029-9

© Издательство «Новатор», 1993

# *Ты господни*

историческое повествование





## ПСЫ ГОСПОДНИ

Такой заголовок дал автор своему роману, начало работы над которым относится к концу 1980 года. Свеча жизни писателя догорела раньше, чем он поставил в нем последнюю точку. Вот и лежит сейчас передо мной извлеченная из архива рукопись незавершенного романа Валентина Пикуля.

Разбираю многочисленные бумаги с материалами, относящимися к роману, среди которых заметки, цитаты, «почасовик», программы (минимум и максимум), обширная библиография, десяток портретов. Почти везде будущее произведение значится под этим названием. Сама рукопись — более двухсот страниц уже отпечатанной и правленной Валентином Саввичем первой книги.

Особо следует остановиться на «почасовике» — так называл Валентин Саввич составляемый им на каждое новое произведение рабочий план, из которого было ясно, какие события происходили в тот или иной год и даже день, с кем встречался герой и о чем они говорили, где можно прочесть об этом событии или герое. Просмотрев «почасовик» можно иметь довольно полное представление о содержании книги. Именно создание «почасовика» требовало огромного многолетнего труда, знаний, таланта. А сам процесс написания книги по подробному «почасовику» был для Пикуля, как говорится, делом техники.

Роман шел трудно, с большим физическим и нервным напряжением. На протяжении десяти лет жизни Пикуль трижды возвращался к этой теме, интересовавшей его не только как писателя, но и как историка-исследователя, заставляя много анализировать, сопоставлять с современностью, чтобы дать ответ на постоянно мучившие его вопросы: кто такие иезуиты, откуда и с чем пришли к нам, какую роль сыграли в истории нашего Отечества и Западной Европы. Рассыпать на мелкие камешки, удобные для рассмотрения, такую огромнейшую глыбу «за один присест» Пикуль оказалось не по силам.



Кроме того Валентин Саввич всегда был попоп планов и замыслов. Траектория полета его мыслей была непредсказуема. Когда работа над одним романом подходила к концу, или он уставал жить в описываемой эпохе, у него в голове уже созревал другой роман, о котором Пикуль говорил вначале осторожно, исподволь, а потом все более отчетливо, настойчиво. Начинал собирать литературу и с упоением брался за освоение очередной тьмы. Но... вдруг высветивалась новая идея, казавшаяся более грандиозной, и уже изученное, продуманное и осмысленное откладывалось в сторону — на время.

На первом этапе работы писатель пытался выяснить первопричину зарождения ордена иезуитов, пытаясь докопаться до самой сути, однако, при изучении первоисточников он столкнулся со многими неизвестными явлениями, объяснения которых не только не проливали свет, а напротив — были, по мнению Пикюля, искусной попыткой завуалировать истину.

Здесь считаю уместным дать небольшую справку об иезуитах, поподобие той, что в самом начале давал мне Пикуль, «вводи меня в курс».

Быстрое распространение протестанства по государствам Европы вызвало соответствующую реакцию со стороны католической церкви. Как противодействие, препятствующее распространению нового религиозного течения, явилось рождение целого католического учреждения — ордена иезуитов.

Испанский дворянин, происходивший из самого древнейшего аристократического рода, Игнатий Лойола стал основателем иезуитского ордена.

В 1540 году папа Павел III утвердил устав нового монашеского общества под названием Общества Иисуса (*Societas Jesu*), хотя само название членов общества иезуитов вошло в обиход уже после смерти Игнатия Лойолы.

Иезуиты получили от папы огромные права: всюду проповедовали свои идеи, совершали богослужения, исповедовали кающихся и давали обряд причащения.

В 16—17 веках иезуитов можно было видеть повсюду — в Европе, Азии, Латинской Америке. Часто они заседали в кабинетах государей и были их духовниками. Постепенно они завладели сердцами юношества и стали их духовными учителями. Но где бы иезуиты ни находились, чем бы они ни занимались, у них всегда была высшая цель, которой они добивались любыми средствами — спасение католической церкви.

Орден Игнатия Лойолы за четыре с половиной века своего существования был завязан в самых запутанных узлах политики Ватикана. Ныне орден переживает трудные времена. До ис-

давнего времени в рядах иезуитов насчитывалось 26 тысяч человек, и их количество уменьшается. В настоящее время 29-й генерал ордена, голландец по национальности, Петер-Ханс Кольенбах избран на этот высокий пост в сентябре 1983 года.

Заканчивая небольшую справку об иезуитах, хочется сказать: «став рабами собственного заблуждения, они остаются верными ему до конца».

Постоянные ночные раздумья над рукописью, каждый вновь открытый источник информации в преломлении к дню сегодняшнему постепенно меняли некоторые версии его взгляда на то или иное событие и на все произведение в целом, что нашло отражение в многочисленных поправках и исправлениях на полях.

В этом читатель может сам вочию убедиться, взглянув на публикуемые здесь фотокопии титульных листов рукописи, к разговору о которых мы еще вернемся.

Своеобразным толчком к написанию романа об иезуитах явилась, несомненно, публикация в журнале «Наш современник» за 1979 год урезанной «Нечистой силы» под названием «У последней черты».

Валентин Саввич мог предполагать, что данное произведение вызовет определенный резонанс, но чтобы до такой степени, как оказалось в реальности, — такого он не ожидал: сначала в бой пошла «тяжелая артиллерия» в лице Суслова и Змяпина, а вслед за ними на Пикюля ополчилась всегда готовая выполнить команду хозяев пресса.

Возникло далекое от джентльменских принципов единоборство: с одной стороны писатель-одиночка, а с другой — целая армия критиков, интерпретирующих все события только с позиций «разрешенного» мировоззрения, что неизменно делало необходимым привлечение в помощники «госпожи фальсификации».

Да и многие собратья по перу открыто и откровенно издевались над писателем, не имевшим не только диплома, но и аттестата зрелости — он для них был «белой вороной».

Отношение к Пикюлю и его творчеству резко изменилось. Но сам автор был уверен в правоте своего дела и ни на какие компромиссы с совестью не шел, не сдавался, отстаивал свои взгляды.

Второй немаловажной причиной, толкнувшей Валентина Саввича к этой теме, были «белые пятна» нашей истории. Провидение иезуитов в Россию представлялось Валентину Саввичу именно таким «пятном».

В обстановке окриков сверху, под постоянным давлением прессы Пикюль чувствовал себя весьма неуютно. На душе было гадко и беспокойно.

«Псы господни». Да такое не напечатают только из-за названия.

Отступив на некоторое время от политической борьбы, изменив на время тактику, Валентин Саввич сел и написал сентиментальный роман «Три возраста Окини-сан», закончивая который он уже вынашивал идею окупиться в эпоху Ивана Грозного. Все чаще у него возникало желание уйти подальше от действительности, зарыться в глубь веков — именно там Пикуль чувствовал себя спокойно.

— Сейчас хочу взяться за трудный и очень сложный период отечественной истории, который мало отражен в нашей художественной и исторической литературе, — поведал он мне.

— Куда же теперь держишь путь, и кто будет твоим кумиром?

— Моими героями будут иезуиты и опричники. Место действия — Европа, а время — средние века. Посмотри, что есть об иезуитах и том периоде у тебя в библиотеке.

Из отобранных мною восьми книг и продиктованных по телефону, Валентин Саввич попросил принести только пять:

— Григулевич И. Крест и меч.

— Тонди А. Иезуиты.

— Ватикан в прошлом и настоящем.

— Инфессура. Дневники.

— Михневич Д. Очерки из истории католической реакции (иезуиты).

Смотрю запись в дневнике тех времен:

«Валентин Саввич собирает литературу по иезуитам. Были в книжничестве — ничего подходящего не нашли». 23.11.1980.

Однако, пора вернуться к рукописи незавершенного романа, к его титульным листам. Тщательное исследование их представляет, по-моему, определенный интерес.

«ПСЫ ГОСПОДНИ» — печатает Валентин Пикуль на титульном листе название своего произведения и в подзаголовке указывает вид жанра — исторический роман. Вверху эпиграф: «Смерть в одном столетии дарует мне жизнь во всех веках грядущих». Джордано Бруно. (Впоследствии Пикуль ручкой допишет: «Слова перед казнью»).

Идет работа по накоплению и переосмысливанию собранного в голове материала. В какой-то момент задача кажется невыполнимой, и серьезное слово «роман» заменяется на скромное — «рассказ», которое, в свою очередь, спустя некоторое время, уступает место более оптимистичному — «повествование».

В 1982 году из глубин веков тема иезуитов вновь всплывает на поверхность творческой биографии писателя. Если в первый раз он хотел рассказать о зарождении ордена иезуитов и их про-

никновении сначала в Польшу, а затем в Россию, то на сей раз задача намного усложнялась. Писатель ставит перед собой задачу расширить временные, биографические и исторические рамки произведения, осветить более продолжительный отрезок времени — целый век. «Целый век» — несет Пикуль новое название и сверху печатает равноденное по смыслу — «столетие» (см. рис. 1).

По сравнению с первым, эти названия звучат более приглушенно и не так резко воздействуют на слух. Этим в некоторой степени нейтральным заголовком автор хотел завуалировать от внешнего мира содержание книги, чтобы облегчить прохождение рукописи по инстанциям, предшествующим публикации.

В 1986 году, едва оправившись от обширного инфаркта, Валентин Саввич вновь берется за свой многострадальный труд. Вернула его к этому книга Андрея Никитина «Точка зрения», которую я принесла ему из библиотеки. Вникнув в тематику книги, писатель полностью влез в нее, отрываясь только для похода на кухню за чаем.

Книга пришлась ему по душе. Читая ее, он что-то подчеркивал, часто останавливался, раздумывал.

— Талантливый писатель, хорошо знающий и превосходно чувствовавший эпоху. С его выводами я вполне согласен, — заключил он, проштудировав книгу.

Тогда и вынес автор на титульный лист цитату из этой книги: «Почему мы об этом ничего не знаем?»

А почему мы должны об этом знать?

Можно удивляться, что мы вообще что-то знаем о том времени!»

Однако в дальнейшем, в 1989 году, при очередной доработке рукописи Пикуль уберет цитату «в другую часть». Приходится только сожалеть, что приступить к другой части ему так и не удалось. Он закончил только первую книгу — «На кострах», эпиграфом к которой использовал слова из Евангелия от Матфея. На титульном листе появится и цитата Д. Неру из книги «Взгляд на всемирную историю», но самое существенное — изменение подзаголовка. Теперь жанр произведения определяется автором как историческая панорама. А это означает, что за плечами его создателя стоит нечто существенное.

Существует еще второй титульный лист, который автор завел в конце 1989 года. С первого на него перенесены слова Д. Неру и добавлена цитата из Стефано Инфессура:

«И многое другое рассказывают, о чем я здесь пишу, потому что это, может быть, несправда, а если и правда, то этому трудно поверить».



Валентин П и к у л ь

Смерть в одном столетии дерует мне жизнь  
во всех веках грядущих.

~~Соба~~ Джордано Бруно *перед*  
*кафедры*

СТОЛЕТИЕ

*целый век*

~~НОС ГОСПОДНИ~~

*историческая*  
*галерея*

(историческое время) *интересованне*  
*размышл.*

*встр. часть*

*интерес*  
Почему мы об этом не знаем?  
А почему мы должны об этом знать?  
Можно удивляться, что мы вообще что-то  
знаем о том времени!

Андрей НИКИТИН (1985)

*"Тогда зрелище"*

Вся история Европы в этот период до такой  
степени полна насилия, опротивительной и бар-  
варской жестокости и религиозного изуверст-  
ва что это трудно себе представить...

Дж.НЕРУ. "Взгляд на всемирную историю",  
том II, стр. 39.

Печат в 1980 году.

Рис. 1. Титульный лист черновой рукописи романа  
«Псы господни»

Но самое интересное — это продолжение поисков названия своего произведения, начинающего постепенно «толстеть».

Первое — «На кострах» — зачеркивается и присваивается как название книге первой, а вместо него появляется целый набор вариантов: «Псы», «Кровь», «Жестокий роман», «Власть — жестокая вещь», «Мрак», «Во мраке крадучись» (см. рис. 2).

Небезынтересно все же проследить за движением писательской мысли. К несчастью, уже остановившейся...

Несмотря на множество заголовков произведения, суть его одна — это роман об иезуитах и об опричниках Ивана Грозного.

Почти все книги Валентина Саввича связаны с современностью или написаны под непосредственным влиянием событий сегодняшнего дня. И в этом романе хорошо просматривается связь с современностью. В 80-е годы Пикуль отчетливо видел нарастающие «смуты» в нашем обществе, что не могло не беспокоить писателя. И чем глубже он проникал в эпоху средневековья, тем больше находил он там штрихов, присущих дню сегодняшнему, тем беспросветней и мрачней были его взгляды на нашу перестройку. Скорее всего, поэтому роман и остался незаконченным, ибо автор предчувствовал бесплодность своих попыток донести до людей свои сокровенные мысли.

— Какое, милый мой, у вас тысячелетие на дворе? — обычно спрашивала я, входя в кабинет Валентина Саввича.

И он охотно делился со мной творческими планами, с радостью делился успехами, огорчался неудачам, читал отрывки и главы уже написанного, рассказывал содержание прочитанных им книг, советовал, а иногда рекомендовал «в обязательном порядке» прочесть тот или иной источник. Изредка контурно очерчивал содержание последующих глав и книг.

На основании этой информированности, оставшихся черновиков и дневниковых записей хочу поделиться с читателями некоторыми мыслями о романе, полностью которого уже никто никогда не прочтет.

В этом произведении Валентин Пикуль использует уже примененный им в романе «Честь имею» прием. Обнаруженная рукопись на староиспанском языке приоткрывает многие тайные пружины того времени: хитросплетения политики и войн, роль религии в завоевании мира и в судьбах отдельных людей.

Куэвас — так зовут иезуита, от имени которого ведется повествование, помог автору вжиться в обстановку того далекого времени, проведя его по «тайным иезуитским тропам», чтобы вместе с ним стать свидетелем многих исторических событий.

Хотя сам процесс распространения идей иезуитов не получил в рукописи полного развития (ибо написана только треть романа),

Валентин П и к у л ь

Во МРАКЕ крадучись

МРАК

ах бешь  
жестокых ранах  
НА КОСТРАХ

(историческая панорама)

Владимир

Псы  
Кровь

И многое другое рассказывают, о чем я здесь не пишу, потому что это, может быть, неправда, а если и правда, то этому трудно поверить.

Стефано ИНДЕССУРА

Вся история Европы в этот период до той степени полна насилия, отвратительной и варварской жестокости и религиозного изуверства, что это трудно себе представить.

Джевахерлал НЕРУ

Рис. 2. Черновой вариант титульного листа первой книги «На кострах» романа «Псы господни»

однако, и по имеющимся страницам читатель вполне может составить представление о взглядах и целях ордена иезуитов.

Хотелось бы обратить внимание на одну особенность публикуемой рукописи. Разговор пойдет о сравнениях.

Много общих черт пашел автор у короля Филиппа II и Ивана Грозного: «Оба с оригинальной жестокостью не щадили людей... только один мерзавец уничтожал народ с помощью инквизиция, а другой — с помощью опричнины».

Многие слова, вложенные Пикулем в уста своих героев, проносимые из глубины XVI века, звучат потрясающе современно и даже криво.

А это уже обличение нашей реальности: «Многие ученые мужи зарабатывали себе научные степени, украшались значками лауреатов и орденами, получали звания академиков потому, что многие из них ценили «подвиги» Ивана Грозного. Все продались, только один академик Веселовский назвал вещи своими именами, но его не печатали».

По замыслу автора роман должен был состоять из трех книг.

«На кострах» — первая из них. Она охватывает период с момента зарождения ордена иезуитов и до 1583 года — года рождения Валленштейна, поскольку многие страницы романа должны были рассказывать о тридцатилетней войне.

Сделаю небольшое отступление...

Сейчас мы не представляем свою жизнь без... картошки. В этой части Валентин Саввич хотел подробно поведать читателю о том, когда и каким образом появился картофель в нашей стране. Написав несколько страниц, автор понял, что рассказ о картофеле уводит его в сторону от основной идеи. Ничуть не сожалея об этом, он изъял упомянутые страницы, пообещав мне написать со временем миниатюру «Картофельные бунты» (сказал: «О твоей любимой картошке»).

«Смутное время» — такой заголовок дал автор второй книге романа. Заголовок темного раскрывает содержание.

В прологе к этой части Валентин Саввич, вводя читателя в повествование, планировал рассказать о разорении России, бегстве людей с насиженных мест и, наконец, появлении Ермака.

А начать книгу Пикуль хотел со смерти Ивана Грозного в 1584 году. Хронологические рамки второй книги должны были охватить период до 1613 года — знаменательного года восхождения на престол рода Романовых.

В планах и набросках третья книга имеет название «Разрушение». Продолжая хронологию предыдущей, третья книга должна была охватить период с 1613 до 1634 года — времени убийства Альбрехта Валленштейна. Здесь предусматривалось полностью



осветить тридцатилетнюю войну, так мало знакомую по нашей документальной романистике.

«Исторической памяти не противопоказано воображение: важно только, чтобы оно было историческим».

Уверена, что писатель Валентин Пикуль в полной мере обладал и тем и другим.

Приходится только сожалеть, что ему не удалось осуществить задуманный план, но и по представленным главам читатель может судить о том, за какие огромные пласты истории России и Европы брался неутомимый, неутомимый, часто перегибающий палку — в том месте, где хотел ее сломать — Валентин Саввич Пикуль.

Однажды совсем неожиданно сказал:

— Роман «Псы господни» я хочу посвятить памяти Ярослава Галана.

Для меня это сообщение было весьма странным. Я даже не смогла сразу найти подходящий для такого момента вопрос, а Валентин Саввич продолжал свою мысль:

— Для меня он является образцом писателя труженика, мне импонирует его образ жизни и мыслей, я ощущаю какое-то духовное с ним родство. Не помню, где я вычитал, что при завершении очередной своей вещи в его голове уже созревала мысль о другой. Заметь, у меня получается то же самое. И я считаю это правильным. Если писатель мыслит только об одной теме или кпяжке, то это, простите, слишком «узколобо». Надо видеть и дальше, и глубже, и выше... А его смерть... Она потрясла меня. Всякое возможно, кому что на роду написано, но он умер на посту... и я мечтаю умереть с согбенной спиной за рабочим столом...

Эти слова стали пророческими.

*Антонина Пикуль*

---

## КНИГА ПЕРВАЯ

### НА КОСТРАХ

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч;

Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.

И враги человеку — домашние его.

*Евангелие от Матфея, X, 34, 35, 36.*

Если встретите сопротивление, то разведите такой костер, чтобы даже у ангелов загорелись ноги и чтобы звезды расплавились на небесах.

*Иезуит Форер*

### ПРОЛОГ. ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

Его звали Иниго дон Лопец-и-Рекальдо, хотя в истории мира и человеческих отношений он вошел с кратким, но чересчур выразительным именем — Игнатий Лойола.

Бедный испанский идальго начинал карьеру в городе Аревале, будучи пажом при дворе кастильского казначея дона Веласко, и писал стихи о своих чувствах к недоступной донье Грасии де-Авила, перед красотой которой все другие женщины выглядели как осколки разбитого зеркала перед сверкающим бриллиантом. Тогда — еще молодой — Лойола рассуждал:

— Как жить без славы? Я хочу, чтобы от Лимы до Толодо восхищались мною, чтобы донья Грасия хоть раз улыбнулась мне в церкви, чтобы вся Кастилия говорила обо мне: «Ах, кто этот загадочный рыцарь? Скорее назовите нам даму его сердца...»

— Молчи, безумец! — остерегали его. — Всякое превосходство над другими приносит несчастье, и не выражай мысли слишком ясно, дабы не выглядеть грубым невеждой. Лучше говори невнятно, чтобы тебя сочли мудрецом.

Непомерное честолюбие увлекло Лойола на войну. Ранней весной 1521 года французы вторглись в Наварру, и гарнизон Пампелуны увидел крепость в окружении костров враждебной армии. Мнение испанцев было далеко не рыцарское:

— Французов очень много. Пампелуну не удержать.

Но тут выступил Бойола. С поразительным красноречием он долго услаждал слух офицеров пылкими рассуждениями о неземном блаженстве для всех, кто вручит свое пурпурное сердце пречистой Мадонне, и заключил свою речь словами:

— Молитвами и покаянием подготовим души заранее, дабы утром встретить врагов с высокомерием, подобающим испанцам!

Тонкая заря едва высветлила небеса над сумрачными Пиренеями, когда начальник французов, еще позевывая в железную перчатку, разглядел на валу крепости испанского кавалера со шпагой и молитвенником. Он даже обрадовался ему:

— А вот и первый кастильский невежа, которому всю ночь не лежалось на соломе... Ну-ка! — велел он артиллерии. — Затолкайте в бомбарду самое тяжелое ядро — сейчас мы из этого глупца сделаем что-либо достойное удивления...

Валганг крепости, восприняв мощный удар, разрушился под Лойолой, а второе ядро раздробило ему правую ногу. С грохотом сыпались камни бастиона, шумно стекала вниз песочная лавина. Нещадно избиваемый камнями и глотая песок, Лойола низвергся с высоты — обвалом стены ему расплющило и левую ногу. Очнулся в плену. Французские врачи перевязали идальго, офицеры любезно осведомились — далек ли его дом от Пампелуны?

— Я из провинции Гвипускоа, — с гордостью отвечал Лойола, — там, высоко в горах басков, находится замок моего знатного рода «Лойола», где я и предстал на суд божий...

Узкими козьими тропами, по самому краю горных ущелий, его долго несли до нищенского замка. Лойола заметил, что правая его нога уродливо скрючилась. Хирурги решили:

— Переделывать поздно — кости уже срослись.

— Так ломайте же их! — велел Иниго...

Изуродованную ногу зажали между досок, ударами молота ее раскололи возле голени. В муках миновало лето. Но однажды, пробуя встать с постели, Лойола ужаснулся: правая нога стала короче левой, а над коленом нависла безобразная опухоль.

— Ломайте ногу еще раз, — сказал он врачам.

Его оглушили крепким вином, но Лойола все равно слышал хруст своих костей, он ощутил движение ножа, вырезавшего опухоль. Однако, правая нога так и осталась короче левой.

— Вы видели старинный ворот, каким вынимают кувшины с водой из бездонного колодца? — спросил идалго врачей. — Такой же ворот поставим в спальне, и пусть он вытягивает мне ногу.

Привязав себя к кровати, он мученически наблюдал, как вращается колесо, наматывая на себя веревки, которые обхватывали искаленную ногу. Боль, боль, боль — и ничего, кроме боли да скрипа колеса. Все эти муки Лойола выносил со стойкостью перуанского индейца. А весною просил у отца рыцарских романов — для чтения:

— Хотя бы Васко де-Лабейро — об Амадисе Галльском...

Бельтрам дон-Лойола верхом на муле объехал окрестности, но сумел раздобыть для сына лишь две книги доховного содержания. Иниго безразлично полистал ветхие страницы:

— Где же тут подвиги? Все скучно и непонятно...

Неясные миражи рыцарской славы и любви капризных красавиц Валенсии и Арагоны иногда еще ярко вспыхивали в фантазии калеки, мало-помалу угасая в бесплодном бессилии. Он все же раскрыл книгу Рудольфа Саксонца о жизни Христа, вникая в мудрость легенд, но в одну из ночей ощутил толчок, будто под ним снова обрушился валганг Пампелуны.

— Что со мною? — спросил он себя, и вдруг весь сжался в экстазе радости от сознания, что ворота к славе, до этого закрытые перед ним, эти жалкие гнилые ворота уже давно сбиты с ржавых петель. — Ведь если святой Франциск, — здраво рассуждал Лойола, — основал орден Францисканцев, а святой Доминик — доминиканскую конгрегацию, то почему же я, как и они, не волен стать вождем

нового могучего ордена Римской церкви? Разве престол папы не нуждается в псах господних, которые бы изгрызли на острых клыках любую ересь?..

Призывы боевых труб заменили голоса мессы, а земные прелести недоступной Грасии де-Авила он как бы умышленно заслонил перед собой скорбною красотой Мадонны, — так возник новый идеал служения! Нет в мире историка, который бы не признал, что сила воли этого изуродованного человека была колоссальна... Но ведь нужна еще святость.

— Для этого навещу Иерусалим, — решил Лойола.

В каталонской обители Монтсеррата он оставил у алтаря свои панцири и шпагу. Его путь лежал в Барселону, где царил чума (корабли, идущие на Восток, не покидали гаваней). В доме святой Люции идалго по семь часов не поднимался с колен, трижды в сутки бичуя себя столь безжалостно, что кровь обрызгала стены комнаты. С протянутой рукой он стоял на паперти, взывая к прохожим о милостыне. Лойола перестал мыться, он уже не стриг ногтей, длинные волосы спадали на глаза. К уродству ног прибавилась острая боль в печени и зубная боль, нестерпимая. Ему было так тяжело, что в один из дней он даже хотел выброситься из окна...

Увы, никто не замечал его святости. Своим красноречием он испытал пока на знатных дамах Барселоны, и одна из них, не выдержав укоров в беспутстве, даже упала в длительный обморок, после чего муж этой дамы избил Лойолу палкою, как худую собаку. Из этого случая последовал первый вывод: желая успеха в проповеди, никогда не утверждай, что грех наказуем, а, напротив, старайся оправдать любое прегрешение, и тогда в твоих услугах станут нуждаться многие.

Через год, истомленный жаждой и качкою, после опасного плаванья в море, наполненном берберийскими пиратами, Лойола достиг Палестины, желая обратиться «неверных» в христианство. Здесь его жестоко высмеял местный нунций-францисканец:

— Таких глупцов, как ты, турки сажают на кол, предварительно смазав его свиным жиром. Сходи на базар — там уже торчат подобные тебе проповедники. На солнце-пеке они превратились в пергамент, а мальчишки, пробегающая мимо, к великой радости торговцев, раскручивают их

на кольях, вроде забавных вертушек, которые трещат на ветру барабанной шкурой...

Лойола вернулся на родину. В городе Алькала-Генарас, где размещался университет, он тайно посещал мавританские молельни, в синагогах беседовал с раввинами. Из верований, чуждых христианству, Иниго выбирал самое характерное, что полезно использовать в практике будущего Ордена (который еще не имел ни устава, ни названия). Первых прозелитов он приобрел из студентов, сам исповедовал их, сам и причащал. При этом Лойола неделями постился, истязая чахлаю плоть, и без того немощную, он покрывал свое невымытое тело страстными поцелуями, а потом исступленно бичевал себя слева направо, вдоль и поперек, покрываясь рубцами и кровью...

Инквизиция схватила Лойолу и бросила его в подвал! Сначала его навестил палач с большими клещами:

— Священному трибуналу известно, что ты, заблудший в ереси, страдаешь зубами. Открой рот пошире — мы спасаем здесь не только души, но умеем облегчать и муки телесные.

С хрустом он выломал из челюсти Лойолы три гнилых зуба, а заодно и четыре здоровых. В трибунале генеральный викарий Родригес откровенно беседовал с Лойолой:

— У меня распухла тюрьма от еретиков, и мне лень заниматься чепухой, которую ты несешь от голода и несчастий, ниспосланных тебе для испытания свыше. Ты подозрителен для церкви, но виноват лишь неумеренным служением Мадонне: выделяя богородицу, не забывай и сына ее, Иисуса Сладчайшего!

А через год Лойолу снова арестовали. С калеки содрали одежду, нагишом запыхнули в бочку с двумя отверстиями: через одно кормили, через другое он оправлял надобности. На столе инквизитора лежало, взятое при обыске, первое сочинение Лойолы по названию «*Exercitia Spirituata*» (что означает «Духовные упражнения»). Инквизиторы спросили:

— О чем ты пишешь тут, несчастный?

— Я пишу о том, что каждый человек должен уметь управлять собой, а, научившись этому, он будет управлять другими...

Родригес оплевал его университетский матрикул:

— Твои успехи в науках ничтожны. Где же тебе учиться, если ты, говорят, по три дня подряд сидишь, без-

молвно уставившись глазами в стенку, и что-то бормочешь.

— Ваше святейшество, но после личного общения с самой Мадонной, скажите, разве же можно познать что-либо более мудрое из профессорских цитаций? Достаточно, что я мыслю, и меня подводят ноги, но голова — никогда!

— Тебя, как петуха в навоз, тянет в ересь.

Лойола храбро защищал себя перед трибуналом:

— Если бы я выразил противоположное тому, что мною сказано, вы бы все равно нашли повод обвинить меня в ереси.

— А кто позволил тебе отпускать грехи людям?

— Если не отпущу их я, вы их никогда не отпустите.

Тут его стали избивать с криками:

— Не смей возвышать себя над святым порогом Рима!

Палач аккуратно раскалывал на огне клещи, его ученик цалаживал лавку для пытки водою. Лойола не сдавался:

— Я еще буду стоять *выше Рима!* — возвестил он.

Викарий Родригес устало откинулся в кресле:

— Скажи, ты нарочно притворяешься слабоумным?

— Мое состояние, кажущееся ненормальным, вполне угодно господу богу. Науке же еще не открыто, как понимать дурной порядок вещей, что окружает нас... Говорить ли мне далее?

— Говори, — ободрил его викарий. — Ведь с каждым словом ты приближаешься к той куче хвороста, на которой во славу Божию я превращу тебя в горсть горячего пепла...

Но трибунал, после опроса свидетелей, счел Лойолу фанатиком, помешанным на мистике, которая усилена физическими недугами, и на этом основании он был выпущен из тюрьмы. От надзора инквизиции Лойола спасался в университете Саламанки, куда увлек за собой и своих учеников. Его страстные проповеди не пошли им на пользу: трое неопитов впали в жестокую мелаххолию, один повесился, пятый, заморив себя аскетизмом, превратился в скелет, а другие впали в разные непотребства. Опыт создания монашеского братства закончился ужасно: жизне-радостные саламанские студенты дважды высекли Лойолу от имени двух факультетов — теологии и философии. Публичная экзекуция сопровождалась унижительными септенциями:

— Философам и богословам противны твои проповеди,

после которых страшно пить вино и смотреть на женщин. Будь же ты облачен презрением нашим, как саваном, и да войдет проклятие, как вода, в утробу твою и, как елей, в изломанные кости твои!

Из сечения следовал второй вывод: будущий Орден не должен придерживаться аскетизма монашеского, человеку свойственно давать выход земным страстям. Но тут снова последовал донос в инквизицию на Лойола — как на богомерзкого еретика и совратителя, а потому следовало опять спастись.

Лойола собрал своих перепуганных адептов:

— Будьте готовы бежать — в Париж! Завтра утром...

Утром он напрасно ожидал у заставы — никто из апостолов не спешил за своим «спасителем». Лойола тронулся в путь один. В дороге он переосмыслил все свое поведение, сиюсья отыскать причину неудач. Из размышлений сложился третий правильный вывод: если хочешь иметь верных прозелитов, не ищи их среди людей, безвольно подчиняющихся твоей воле, а находи их в личностях с развитым самосознанием, и, только поборов их своим убеждением, можно рассчитывать, что они уверуют в тебя, не предавая тайнств твоих...

Игнатию Лойоле было в это время уже 37 лет!

У ворот Парижа его окликнули стражники города:

— Кто ты есть, бедный путник, и с чем идешь?

— Богослов из Саламанки, ищу мудрости в Сорбонне...

.....

Здесь, в средоточии католической философии, Лойола распознал то, что в Испании церковь старалась утаивать. Строительство в Риме знаменитого собора св. Петра затянулось, ибо владыкам Ватикана, утопавшим в роскоши, о какой же смели мечтать даже короли, не хватало денег. Ватикан пустил в продажу индульгенции, которыми торговали по Европе бродячие капуцины.

— Эй! — вопили они на базарных площадях. — Разве кто из вас не без греха? Или ты ничего в жизни не украд или не соблазнил жену своего приятеля? Так не будь дураком, купи у меня хотя бы одну такую бумажку, дабы познать царство небесное...

Вот тогда в немецком Виттенберге появился мрачный и разгневанный Мартин Лютер с молотком в руке. На воротах церкви он гвоздями приколотил свои 95 тезисов. Лютер не щадил папу, обличая его в разврате и клевете, а



все духовенство Рима выставил на всеобщее поругание, как шайку разбойников. Он открыто призывал людей не верить ни единому слову Ватикана, а внимать только своей человеческой совести. Рим — по словам Лютера — никак не может служить посредником между богом и человеком.

— Вам,— убеждал он прихожан,— запрещают читать даже Библию, а вместо этого пьяные попы забивают головы всякой дурью, придуманной самим папой и его кардиналами. Отвернемся же от Рима, как от скверной падалы, веря только самому господу-богу...

С этих «тезисов» началось победное шествие Реформации по всем странам. Антипапские учения суровых вождей протестанства отвоевывали у Рима миллионы верующих, а вместе с их душами Ватикан терял и миллионы кошельков, раньше щедро для него открытых. Озабоченная этим расколом католической церкви, теперь профессура Сорбонны открыто вещала с научных кафедр:

— Лютеране уже выбежали за ограду церкви и обратно в наши храмы их не вернуть. Но их можно загнать туда огнем и мечом!

Лойола ходил с помощью двух костылей. Он резко выделялся среди сорбонских школяров — изможденный человек маленького роста (158 см), с некрасивым остреньким личиком, беззубый и рано полысевший; когда его спрашивали, отчего у него нет друзей, нет семьи и сердечных привязанностей, Лойола скромно отвечал:

— На вершинах гор всегда царит одиночество...

Неизменно пребывая в состоянии торжественного спокойствия, он проживал в атмосфере, которую сам же для себя создал и которую старательно населял призрачными галлюцинациями, управляя видениями с той же удивительной легкостью, с какой обыватели передвигают по комнатам мебель.

На этот раз он учился прилежно, и Сорбонна присвоила ему звание доктора богословских наук. Бывая на диспутах, Лойола сделал для себя еще одно умозаключение: его будущий Орден должен выступать обязательно под знаменами воинствующего католицизма, ополчась противу любой ереси — особенно лютеранской. Но теперь Лойола не спешил заманивать учеников в свои тенета. Он выискивал исключительно скептиков, достаточно познавших жизнь с ее изъянами, находил умеющих мыслить самостоятельно, и лишь немногих приближал к себе.

Однако ни с кем из своих учеников Лойола не вступил в дружбу, заранее отгородясь от них ролью вождя, отчего Франциск Ксавье однажды и заметил ему с явным упрёком:

— Христос был доверительнее со своими апостолами.

— Верно! — согласился Лойола. — Но зато он и был предан Иудой за тридцать сребренников.

Монмартр в те далекие времена еще не был заселен парижанами, над ним шумел вековечный лес, в гущах которого приютилась скромная капелла св. Лионисия. Сюда, в этот лес, 15 августа 1534 года пришел Иниго Лойола и привел за собой адептов своих. Была отслужена месса, а Лойола, раздавая причастие, взял с учеников священную клятву в верности папе римскому и... лично ему — Лойоле! Затем меж ними была Тайная вечеря, а Лойола сидел, как Иисус Христос между апостолами.

Он разлил вино и разломил хлеб на куски.

— Иуды среди нас не сыщется! — возвестил он. — А все дороги ведут в Рим, дабы получить благословение папы на создание нового Ордена.

Ученики спрашивали его, как называться Ордену:

— Наверное, лучше ему называться «Игвацианским»?

— Нет, лучше ему называться «Обществом Иисуса»...

От слова *Iesu* (Иисус) и родилось новое слово: иезуиты.

Появлясь в Риме, первые иезуиты дежурили по ночам в госпиталях, не боясь заразных болезней, бесплатно выкапывали могилы для бедняков, открыли приют для сирот и подкидышей. Лойола открыл особую миссию для крещения иудеев, а в обители святой Марфы щедро отпускал все грехи проституткам, желавшим выйти замуж. Своим адептам он внушал, что нужен момент:

— Когда мы станет всем для всех, дабы завоевать всех...

Папа римский Павел III (из династии Фарнезе) ознакомился с планами будущего ордена Лойолы и воскликнул:

— Какие же это монахи? Это, скорее, псы господни, которые будут беречь меня, заместника божия...

Орден иезуитов был утвержден папою в 1540 году (за несколько лет до смерти Мартина Лютера). При этом ни одна кошка в Европе не пошевелилась, но судьба миллионов людей была решена с появлением «псов господних», которые быстро разбегались по всему миру.

Что же мне, автору, остается делать?

Желая остаться искренним и достоверным в своих описаниях, наверное, я должен и сам обратиться в иезуита.

Подобно своему учителю Иниго Лойоле, я на развилке дорог между Валенсией и Каталонией, там, где презренный мавр был сожжен за оскорбление короля, отпускаю поводья своего усталого мула — пусть он сам выберет для меня дорогу.

Глупое животное, повинаясь внушениям свыше, завезло меня к воротам обители Монтсеррата, и там, у священного алтаря, я увидел панцирь и шпагу, которые оставил здесь Лойола, чтобы поклоняться пречистой Мадонне...

Так я оказался в гиблом шестнадцатом столетии.

## 1. МОЯ ЛЮБОВЬ — МОЯ ЕВРОПА

Я родился под знаком единения Сатурна с Марсом, когда гороскопы указывали явное безразличие Меркурия к делам земным, отчего астрологи Бамберга и Саламанки предсказывали падение нравов и торговли, оживление плутовства и еретического чародейства. Так и случилось! Только в Валенсии сожгли сразу сорок монахинь заодно с их канониссой, которая 483 раза совокуплялась с инкубом, имевшим голову козла, получая от него невыразимое наслаждение.

Тогда же было замечено, что в Тулузе развелось множество черных котов, яростно вырывавшихся из рук истинно верующих, а в Авиньоне, славном ученостью, появились странные вдовы, которые с нескромными песнями залезали на высокие деревья, но спускались на землю вниз головами, как ящеры. Меркурий на все ухищрения Сатаны взирал равнодушно, и только вмешательство инквизиции спасло несчастную Бургундию, где пришлось распалить костры сразу на девятьсот персон, среди которых были даже пятилетние девочки, — и все они, после пытки водой и огнем, смиренно покаялись в тех невыразимых мерзостях, которые они творили в каждое новолуние, общаясь с дьяволом...

Впереди я вижу только могилу свою и себя в ней — там вечная тишина, в которой отсутствуют даже воспоминания. Оглядываясь же назад, я опять вижу себя, но еще молодым, все было исполнено движения, треска полыхаю-

щих костров и стука бранных мечей. Увы, мой путь завершен! Как сказано в древней греческой этиопафии: «Я обрел пристанище. Простите, надежды и счастье. Ничего уже нет у меня с вами общего. Теперь обманивайте других!» Смиренно выжидая смертного часа, предамся последней радости — воспоминаниям...

Думал ли я, появився на свет божий, что на моих же глазах исполнится пророчество от Исайи: «Цари и царицы лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих. Будешь насыщаться молоком народов земных и груди царские сосать станешь. И люди твои навек наследуют эту землю...»

Примерно так начинается эта ветхая рукопись; я говорю — примерно, ибо, писанная на староиспанском языке, она оказалась очень трудна для перевода на русский. Из рукописи мне стало известно, что ее автор — видный иезуит — был отлично извещен во многих тайпах своего времени. Каталонец происхождением, он, как это и водилось среди испанских дворян-идальго, имел длинную, даже замысловатую фамилию, но мы будем называть его кратко — Куэвас!

Он нашел успокоение в иезуитских колониях Парагвая, и многое расскажет о себе сам. Но мне, автору, надобно совместить самого себя с мировоззрением своего героя, дабы объяснить читателю реальную обстановку в Европе, о которой иезуит — по сути своего ремесла — не везде сказал правду. Таким образом, мне придется следовать за Куэвасом тайными иезуитскими тропами, заводящими меня в дремучие дебри невежества и просвещения, войн и политики. Как и моему герою, мне предстояло вжиться в ту эпоху, которая для Куэваса была его временем, а для меня там все исполнено загадок и трагических недомолвок...

Но прежде всего нам следует навестить старушку Европу!

.....

Конечно, древнюю Европу можно и ненавидеть.

Но лучше будем ее беречь, понимать и любить.

Для нас, европейцев, она, пусть даже проклинаемая, вечно останется нашей общей матерью, и судьба ее — это наша общая судьба, это храмы и кладбища предков, это наши корни, уходящие в глубину веков. Но именно туда, в эту загадочную пропасть былого, жутко заглядывать

пам, живущим сегодня. В торжественных залах Лувра, Эрмитажа, Прадо, пинакотекх Мюнхена или Дрездена мы стараемся вникнуть в портреты предков... Люди, неужели вы жили, как мы?

А какие вы были? Лучше нас? Или хуже нас?

Нелегко вживаться в прошлое и пытаться думать, как мыслили задолго до меня, чтобы понять непонятное, чтобы полюбить ненавистное. Люди, давно истлевшие, были никак не глупее нас, читатель. Правда, они не знали того, что знаем теперь мы, но зато мы не знаем того, что знали они...

Екатерине Медичи, дочери флорентийского герцога, было 14 лет, когда папа римский Климент VII, сам будучи из рода Медичи, устроил ей выгодный брак с Генрихом, дофином Франции. Девочка, уже славная в Италии своим распутством, повезла в Париж коллекцию уникальных ядов для будущих недругов и хорошую библиотеку, в которой были книги об архитектуре и лечении любовно-страстной болезни, которая тогда называлась «неаполитанской», а позже именовали «французской». В дороге она перечитала «Пророчества Сибиллы», руководство по игре в шахматы и морской навигации, изучила научный трактат «Об искусстве иметь красивых детей». Опасаясь за темперамент племянницы, папа римский сам и довез невесту до Марселя, где со вздохом облегчения сдал ее на руки дофину. Духовник будущей королевы Франции был очень удивлен, что в обширном багаже знатной флорентийки не нашлось местечка для молитвенника.

Но девочка показала ему «Принципы» Макиавелли:

— Разве это не заменит мне Библии? — спросила она...

Вернувшись в Рим, папа малость покряхтел и умер от яда. В таких случаях кардиналы не сомневаются, что отравление выгодно тому, кто займет свободный престол местного божия. Но Александр Фарнезе отказывался от папской тиары, говоря, что не сегодня, так завтра умрет. Он занимался астрологией и некромантией, окруженный дымом алхимиков, призраками магии и похабными памфлетами. Вот его и выбрали в папы, ибо никто из конклава не рассчитывал, что он долго протянет. С новым именем папы Павла III Александр Фарнезе моментально выздоровел. Он жил со своей дочерью Констанцией Фарнезе, и сын его, таким образом, доводился ему родным племянником; не разобравшись в собственной генеалогии, он

блудил еще и с матерью, которая официально считалась его родной сестрою... Дорогой читатель, никогда не пытайся разобраться в генеалогии таких родов, как Борджиа, Сфорца, Медичи, Фарнезе, Гонзаго и прочих, — ты обязательно запутаешься, как запутывались и они сами! Подаром же в пасквильной эпитафии Лукреции Борджиа было сказано четко, а, вернее, совсем нечетко: «Она приходилась папе Александру дочерью, женой и невесткой».

Политические альянсы между государствами достигались тогда чаще всего посредством выгодных браков, обручений, помолвок. Семейные узы считались гарантией прочности союза. Павел III сосватал своего внука Оттавио с Маргаритой, приблудной дочерью германского императора Карла V; другого внука Орацио женил на побочной дочери Генриха II, короля французского. Именно он утвердил Орден «псов господних», чтобы своим рычанием они устрашили «еретиков»; это он распалил костры инквизиции до небес. Распутник и обжора, папа с помощью нальцев извергал свою трапезу, чтобы снова усестись за стол. Обглоданные кости он щедро швырял в мешок:

— Мы их продадим дуракам, как мощи святых...

В политике, как и в любви, самые сложные вопросы разрешались с помощью ядов, секреты которых ныне утеряны. Яд мог поразить человека моментально и мог годами разлагать его заживо; в Европе, как и в Китае, был известен удивительный яд, который человека нормального роста постепенно превращал в карлика. В этом деле бывали и великие мастера! Цезарь Борджиа, разрезав пополам персик, половину его съедал сам, а потом выражал удивление, отчего умер его приятель, вкусивший от другой половинки персика. Здесь уже виден подлинный талант. Большой талант искусного отравителя...

На Руси правила вдовая литвинка Елена Глинская — умная, образованная женщина, которая из духоты московских теремов — первой! — осмелилась выйти на арену политической жизни. Воевала с королем Сигизмундом из-за Смоленска, провела денежную реформу в стране, окружала рубежи поспешным созданием крепостей, жестоко подавляя любое недовольство бояр. При ней многие были сосланы, удушены в тюрьмах, задушены дымом, погублены голодом, а иные просто разбежались, куда глаза глядят. Елена Глинская и открыла тот страшный синодик убиенных и замученных, который вскоре допишет ее

сын — царь Иван IV Васильевич, по прозвищу — Иван Грозный...

Глинская умерла молодой. И тоже от яда!

. . . . .

Европа! А какая она была тогда, эта Европа?

Дороги сохранились еще от римлян, имея стандартную ширину — чтобы проехал всадник, держа копьё поперек седла.

По этим дорогам история двигалась неторопливо.

История тех времен — нескончаемая хроника уголовных преступлений королей, курфюрстов, герцогов, маркграфов, пап, епископов и кардиналов. И чем больше пролито ими крови, тем больше надежд сохранить свое имя в анналах истории. Убийство редко бывало случайностью, а зрело обдуманном предприятием ради личных выгод, сама же «идея» массовых преступлений дала богатую пищу для будущих социологов, которые измучились в пылях архивов, не в силах догадаться о целях преступления.

Виноградные лозы Вакха переплели заодно древность Италии и Франции, они опутали и берега Рейна. Европа не знала водки, но вина пили много. Общественной гигиены еще не знали. Кучи мусора и навоза гнили на улицах, помой выплескивались из окон на головы прохожих. Будки уборных, подобно скворечникам, нависали над реками, а путник, проплывая на лодке, невольно созерцал выставленные напоказ дряхлые задницы стариков и румяные ягодицы невест. Пыль на дорожках, поднятая скачущим всадником, была единственным фактором загрязнения природы, об экологических бедствиях никто и не думал...

Самое опасное время — на стыках истории, но различные эпохи никогда не имеют четких рубежей; они размываются временем, как топкие берега приливами и отливами. На широком полотне Возрождения живописцы выписывали сочные картины гармонии человеческого счастья, а Средневековье еще удушало людей в траурных одеждах, восхваляя бледную немочь страданий и молитвенных бдений. Всюду полыхали костры инквизиции и кричали заживо сгоравшие люди, — две эпохи пока что смыкались одна с другою, и бывало так, что тиран, забрызганный кровью, венчал золотыми лаврами голову поэта, воспевающего великое благо свободы.

Европа жила в постоянном напряжении, среди военных кровопролитий, массовых казней и страшных эпидемий, выживавших страны и города до полного оскудения и безлюдия, когда в опустевших домах поселялись волки и барсуки, а люди прятались в лесах, как звери. Общественная жизнь была проста: человек редко выбивался из своего круга. Но зато сама жизнь требовала небывалого напряжения сил, физических и духовных. Имеющий малые способности развивал их до степени талапта, а талант в неустанном труде восходил к величию гения. Срок жизни был невелик: труд и распутство превосходили всяки меры, и потому человек чаще умирал молодым. Не оттого ли столь сильны были страсти, не потому ли дрались на турнирах, как львы, отбивая перчатку дамы, которая практически мужчине и не нужна. Люди торопились жить и любить, поцелуи женщин, пахнущих острым мускусом, бывали почти болезненны, как укусы рептилий.

Свободна была природа — ее леса, реки, звери и птицы, но человек не был свободен. Европа шумела первобытными дубравами, а за каждым кустом можно было ожидать зверя или разбойника. Даже в больших городах человек жил в постоянном страхе. Люди ходили по улицам с опаскою, испуганно озираясь. Частные дома по ночам запирались, как осажденные крепости. Большое количество слуг и дармоедов — это не признак роскоши, а результат страха. Люди были нужны, чтобы отбить нападение грабителей. В жилищах делали узкие окна, похожие на бойницы, чтобы отстреливаться, сооружали глубокие подземелья, чтобы в них прятаться. Черная магия и ворожба соседствовали с идеями свободомыслия. Города Европы были переполнены хиромантами, шарлатанами, чародеями, алхимиками и продавцами чудесного эликсира вечной молодости... Всем хотелось жить долго; дабы узнать, что будет завтра.

Разврат был узаконен. Даже в священном Риме проститутки, одетые с вызывающей роскошью, уже не таились дневного света. Для отличия от порядочных женщин они красили волосы в желтый цвет, а на левой стороне груди носили золотой аксельбант (что означало: мое сердце принадлежит всем!). Папа Сикст IV, устроитель Сикстинской капеллы, ввел в Ватикан куртизанку Фульгору: она заразила папу, всех его сыновей, всех его кардиналов, а опытные врачи утверждали, что подобные болезни лучше всего излечиваются шоколадом...



Подлечившись, Сикст IV увлекся созданием публичных лупанариев, после чего подвел калькуляцию своих доходов:

— Матерь божия! — возликовал он. — Да ни один монастырь с виноградниками не приносит столько прибылей, сколько способны заработать за одну ночь три здоровущие кобылы.

Публичные дома в ту пору европейской истории считались самым надежным убежищем: убийцы спасались там от ареста, а должники прятались от кредиторов; жены не имели права вытаскивать оттуда своих мужей, а Ватикан общение с проституткой не считал прелюбодеянием. Но евреев в лупанарии не пускали; если уж какой храбрец и проникал туда под видом христианина, то заканчивал жизнь в тюрьме на соломе...

В ответ на грязный разврат Ватикана лютеране северной Европы провозгласили в церквях закон воздержания:

— Дважды в неделю, и этого вполне хватит!

Из Женевы отозвались еретики-кальвинисты:

— Нам достаточно и одного раза в месяц...

Папа думал иначе. Однажды его навестили римские куртизанки с жалобой на великий пост, во время которого неизвестно, сколько раз можно грешить, и папа оказался щедрее:

— Да сколько хотите, мои ласточки! Лишь бы вы не забывали платить налог на благо процветания церкви...

Пороки, как явление социальное, тоже вписываются в историю Европы заодно с вопросами верования. Религия в те времена была не только культом веры, она заменяла людям мировоззрение и все понимание жизни насущной, вплоть до мельчайших пустяков, на постулатах веры создались философия и законы судебного права. Следовательно, люди того времени верили в бога, как в вершителя своих судеб, не потому, что они были круглыми дураками, а потому, что от религии зависели насущные вопросы их личной и общественной жизни.

Жил в том времени удивительный человек, монах и циник, по имени Франсуа Рабле, который не боялся ни людей, ни бога, ни черта, а верил только в кружку с вином и кусок мяса; все святое, что проповедовала церковь, он утащил в придорожный кабак и там пропил под хохот всей Европы, которая признала его великое бессмертие.

Для меня всегда останется загадкой, почему Рабле, осмеливший папу и его церковников, избежал костров инквизиции. Зато инквизиция сжигала его книги, а сам он истретил смерть циничным хохотом:

— Отправляюсь искать великое «может быть»!

Кажется, пришел момент, чтобы снова развернуть старинную рукопись безвестного для нас Кузваса...

. . . . .

Слабеющей рукой я пишу эти строки в Парагвае, куда меня отправили умирать, убедившись в моей дряхлости и неспособности обманывать так, как умел обманывать только я.

Я забыл год, когда издал свой первый крик, но хорошо помню, что в нашем бедном доме четки стали моей первой игрушкой. Испанией правил благочестивейший Филипп II, королем Франции был Генрих III Валуа, в Англии царила неисправимая еретичка Елизавета I, императором германским был Рудольф II, прочно сидевший в Вене, на польском престоле умирал Сигизмунд Старый, женатый на Боне из миланской династии Сфорца, а в презренной Московии царствовал Хуан-дон-Базилио (Иван Васильевич) по прозвищу Грозный...

Все уже нашли свое место в сырой земле, и один только я еще проделываю свой путь. Наш великий учитель, принявший блаженство от щедрот Рима, был еще жив, когда его божественный перст указывал нам, псам господним, дорогу на Восток, где клубились грозовые тучи над Речью Посполитой, где заметало вьюгами древнюю землю варваров-москвитов. Польское панство в безумии своем уже нашталось ядом речей от безбожного Лютера, а русские цари в неразумении язычества своего византийского отвергали святое причастие из рук наместника божия в Риме...

Именно этот «перст» Иниго Лойолы теперь указывает мне навестить Полонию и Московию. Но прежде чем отправиться в дальний путь, я затвердил главную заповедь той эпохи, в которой мне предстояло казниться самому и казнить других:

— Кто много болтает — закончит жизнь гребцом на мальтийских галерах, кто дерзает писать книги — тому быть повешенным, а кто помалкивает, ни во что не вмешиваясь, тот до самой смерти всегда останется подозрителем для священной инквизиции!

## 2. ДОРОГА В МОСКОВИЮ

Себастьян Кабот был уже стар. В жизни этого человека, картографа и мореплавателя, было все — и даже тюремные цепи, в которые его, как и Христофора Колумба, заковывали испанские короли. Кабот много плавал — там, где европейцы еще не плавали. Навестив холодные воды Ньюфаундленда, кишачие жирной треской, он дал европейцам вкусную дешевую рыбу, которую охотно поедали короли и нищие. Но сам-то Кабот ошибочно решил, что открыл... Китай! Впрочем, и Колумб, открывший Америку, твердо верил, что попал... в Индию!

Познание мира давалось человечеству с трудом.

Ныне платье Кабота украшал пышный мех, на груди его висела тяжелая золотая цепь. Пылкий уроженец Италии, он служил королям Англии, которая еще не стала могучей морской державой, лондонские купцы алчно завидовали испанцам, этим вездесущим идалго, отличным морякам и кровожадным конкистадорам. Кабот преподавал космографию юному королю Эдуарду VI, драгоценным перстнем он стучал по мифическим картам, где все еще было неясно, туманно, таинственно.

— Вашему величеству, — утверждал он, — следует искать новые пути на Восток, куда еще не успели забраться пропахшие чесноком испанцы, пронырливые, будто корабельные крысы. Если мы поплывем на север, то, стоит нам пробиться через льды, и мы сразу попадем в царство вечной весны, которое освещено незакатным солнцем. Там люди еще не знают, что они ходят по земле, наполненной золотом и драгоценными камнями...

Англия верила в существование загадочной Полярной империи; Эдуард VI даже составлял послания к властелину райской державы, которой никогда не существовало. Лондонские негоцианты посетили королевские конюшни, где за лошадьми ухаживали два татарина. Их спрашивали — какие дороги ведут в Татарию и какие в «Катай» (Китай), где расположен легендарный город «Камбалук» (Пекин)? Но татары-конюхи успели в Лондоне спиться, в чем они весело и сознались:

— От пьянства мы позабыли, что знали раньше...

Наслушавшись пламенных речей Кабота, купцы образовали компанию, для которой купили три корабля. В начальники экспедиции был выбран Хуго Уиллоуби — за его высокий рост, а пилотом (штурманом) эскадры на-

значили Ричарда Ченслера — за его большой ум и длинную бороду. Себастьян Кабот лично составил инструкцию, в которой просил моряков не обижать жителей, какие встретятся в неизвестных странах, не издеваться над чуждыми обычаями и нравами, а привлекать «дикарей» ласковым обращением. По тем временам, когда язычников убивали всех подряд, уничтожая их древние цивилизации, инструкция Кабота казалась шедевром гуманности. Не были им забыты и команды кораблей: «Не должны быть терпимы сквернословие, непристойные рассказы, равно как и игра в кости, карты и иные дьявольские игры... Библию и толкования ее следует читать с благочестивым христианским смирением», — наставлял моряков Кабот.

В мае 1553 года Лондон прощался с кораблями сэра Уиллоуби, матросы были обряжены в голубые костюмы, береговые трактиры на Темзе чествовали экипажи дармовой выпивкой, народ кричал хвалу смельчакам, возле Гринвича корабли салютовали дворцу короля, придворные дамы махали им платками из окон...

Прошел только один год, и русские поморы, ловившие рыбу у берегов Мурмана, случайно зашли в устье речки Варзины; здесь они увидели два корабля, стоящие на якорях. Но никто не вылез из люков на палубы, из печей камбузов не курился дым, не пролаяли корабельные спаниэли. Поморы спустились внутрь кораблей, где хранились товары. Среди свертков сукна и бочек с мылом лежали застывшие в стуже мертвецы, а в салоне сидел рослый Хуго Уиллоуби — тоже мертвый; перед ним лежал раскрытый журнал, из которого стало ясно — в январе 1554 года все они были еще живы и надеялись на лучшее... Их погубил не голод, ибо в трюмах было полно всякой еды; их истребили тоска, морозы, безлюдье, отчаянье...

Поморы поступили очень благородно.

— Робяты! — велел старик-кормщик. — Ни единого листочка не шевельни, никого покойничка не колыхни. И на товары чужие не зарься: от краденого добра добра не бывает...

В объятиях стужи законсервировались лишь два корабля. Но среди них не было третьего — «Бонавентуре», на котором плыл умный и энергичный сэр Ричард Ченслер (пилот эскадры). «Бонавентуре» в переводе на русский означает «Добрая Удача».

. . . . .

Сильный шторм возле Лафштепов разлучил «Бонавентуре» с кораблями Уиллоуби; в норвежской крепости Вардегауз, что принадлежала короне датского короля, была заранее предусмотрена встреча кораблей после бури. Но Ченслер напрасно томился тут целую неделю, потом сказал штурману:

— Барроу! Я думаю, купцы Сити не затем же вкладывали деньги в наши товары, чтобы мы берегли свои паруса.

— Я такого же мнения о купцах,— согласился Барроу.— Вперед, сэр, а рваные паруса — признак смелости...

Огибая Скандинавию, Ченслер заметил конечный мыс Европы, которому и дал название — *Нордкап!* Мясо давно загнило, насыщая трюмы зловонием, а течь в бортах корабля совнала с течью из бочек, из которых вытекали вино и пиво. Ветер трепал длиннющую бороду Ченслера, и он спрятал ее за воротник рубашки. Справа по борту открылся узкий пролив, через который англичане вошли в Белое море (ничего не ведая о нем, ибо на картах Себастьяна Кабота здесь была показана *пустота*). Плыли дальше, пока матрос из мачтовой «бочки» не прогортал:

— Люди! Я вижу людей, эти люди похожи на нас...

«Двинская Летопись» беспристрастно отметила: «Прииде корабль с моря на устье Двины реки и обослався: приехали на Холмогоры в малых судах от английского короля Эдварда посол Рыцарт, а с ним гости». Архангельска еще не существовало, но близ Холмогор дымили деревни, на зеленых пожнях паслись тучные стада, голосили по утрам петухи, а кошки поморов признавали только одну рыбку — перламутровую семгу. В сенях крестьянских изб стояли бочки с квасами и сливочным маслом; завернутые в чистые полотенца, под иконами свято береглись рукописные книги «древнего благочестия» (признак грамотности поморов).

Для англичан все это казалось сказкой.

— Как велика ваша страна и где же ее пределы, каковы богатства и кто у вас королем? — спрашивали они.

Поморы отвечали, что страна их называется Русью или Московией, у нее нет пределов, которые теряются в лесах, степях и тундрах, а правит ими царь Иван Васильевич. Ченслер, общаясь с русскими, вел себя крайне любезно, предлагая для торга свои товары: грубое сукно, башмаки из кожи, мыло и восковые свечи. Русские могли

бы предложить англичанам товаров побольше и побогаче. Они обкормили экипаж «Бонавентуре» блинами, сметаной и пирогами с тресковой печенью, однако торговать опасались:

— Нам, батюшка, без указа Москвы того нельзя...

Воевода уже послал гонца к царю. Ричард Ченслер убеждал воеводу, что король Эдуард VI направил его для искания дружбы с царем московским. Очевидно, он поступал вполне разумно, самозванно выдавая себя за посла Англии.

— Я должен видеть вашего короля Иоанна в Москве! — твердил он воеводе. — Не задерживайте меня, иначе и сам поеду...

Укрытый от мороза шубами, Ченслер покатиł в Москву санным поездом, все замечая на своем пути. В дороге между Вологдой и Ярославлем его поразило множество селений, «которые так полны народа, что удивительно смотреть па них. Земля вся хорошо засеваается хлебом, который жители везут в Москву в таком громадном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро вы можете встретить до восьмисот саней, едущих с хлебом, а некоторые с рыбой... Сама же Москва очень велика! Я считаю, что этот город в целом больше Лондона с его предместьями». Ченслер стал первым англичанином, увидевшим Москву, а два корабля Уиллоуби, найденные поморами, были отправлены в Англию вместе с прахом погибших. Но они пропали безвестно. Так пропали, как пропали и тысячи других... Таково было время!

. . . . .

Иван Грозный еще не был... грозным! Страна его, как верно заметил Ченслер, была исполнена довольства, города в провинции процветали, народ еще не познал ужасов опричнины.

После разрушения Казанского ханства следовало завершить поход на Астрахань, дабы все течение Волги-кормилицы обратить на пользу молодого, растущего государства; в уме Ивана IV уже зарождалась война с Ливонией — ради открытия портов балтийских. Россия тогда буквально задыхалась в торговой и политической изоляции: с юга старинные шляхи перекрыли кордонами крымские татары, а древние ганзейские пути Балтики стерегли ливонцы и шведы... Потому-то, узнав о прибытии к Холмограм английского корабля, царь обрадовался.

— Товары аглицкие покупать, свои продавать... После же брата моего, короля Эдварда, встретить желательно!

Ченслер застал Москву деревянной, всю в рощах и садах, осыпанных хрустким ииеем. Из слюдяных окошек терема он видел, как в прорубях полощут белье бабы, топятся по берегам реки дымные бани, возле лавок толчется гуляющий народ, каменная громада Кремля была преобильно насыщена кудрявыми луковицами храмов, висячими галереями, с богато изукрашенных крылечек пологие лестницы вели в палаты хором царских...

Иван IV принял Ченслера на престоле, в одеждах, покрытых «лиственным золотом», с короною на голове, с жезлом в правой руке. Он принял от «пилота» грамоту, в которой Эдуард VI просил покровительства для своих мореплавателей.

— Здоров ли мой брат, король Эдвард? — был его вопрос (а «братьями» тогда величали друг друга все монархи мира).

Ченслер отвечал, что в Гринвиче король не вышел из дворца, дабы проститься с моряками, ибо недужил, но, вернувшись в Лондон, они надеются застать его в добром здравии.

— Я стану писать ему, — кивнул Иван Васильевич...

После чего посла звали к застолью; «число обедавших, — сообщал Ченслер, — было около двухсот, и каждому подавали на золотой посуде». Даже кости, что оставались для собак, бояре швыряли на золотые подносы, украшенные драгоценными камнями. Иван IV сидел на престольном возвышении во главе стола, зорко всех озирая, каждого из двухсот гостей точно называл по имени. Ченслеру, как и другим, был подан ломоть ржаного хлеба, при этом ему было сказано:

— Иван Васильевич, царь Русский и великий князь Московский, жалует тебя хлебом из ручек своих...

Большие кубки осушались единым махом, но, выпив, бояре тут же крестили свои грешные уста, заросшие широкими бородами. А борода Ченслера была очень узкой и длинной, как у волшебного кудесника. Пир завершился в час ночи, а царь, по словам Ченслера, возлюбил его «за ум и длинную бороду».

Ранней весной он сказал ему:

— Езжай до короля своего и скажи, что я рад дружбу с ним иметь. Пусть купцов шлет — для торга, пусть

рудознаты едут — железа искати, живописцы разные...  
Всех приму!

Ченслер отплыл на родину. Уже ввиду берегов Англии на «Бонавентуре» напали фламандские пираты. С воплями они вцепились в корабль абордажными «кошками», и вмиг разграбили все русские товары, расхитили подарки от русского царя, — спасибо, что хоть в живых оставили... На родине англичан ждали перемены: Эдуард VI умер, на престол взошла Мария Тюдор («Кровавая») со своим мужем — Филиппом II, королем испанским. В стране пачалась католическая реакция: протестантам рубили головы, людей сжигали на кострах.

Россия, стиснутая между татарами и ливонцами, еще оставалась для Европы terra incognita (загадочной землей), и Филипп II не совсем-то верил рассказам Ченслера:

— Мы лучше знаем могучую Ливонию, но у нас темно в глазах от ужаса, когда мы слышим о варварской Московии.

— Так ли уж богата Русь? — допытывалась королева. — Стоит ли нам связывать себя с нею альянсом дружественным, если выгод торговых иметь не будем?

Ченслер поклонился, бороною коснувшись пола.

— О, превосходнейшая королева! — отвечал он. — Мнение Европы о Московии ошибочно, это удивительная страна, где люди рожают много детей, у них обильная конница и грозные пушки. Согласитесь со мною: если бы Московия осознала свое могущество, никому бы с нею не совладать.

Коронованные изуверы рассудили здраво: Англия вола войны с Францией, а Россия ополчается против Ливонии, — в этом случае Англии полезно дружить с Россией, а торговые сделки купцов скрепляют узы политические. Себастьян Кабот тоже понимал это, и потому почтенный старец не слишком-то огорчился от того, что, вместо легендарного «Камбалука» (Пекина), Ченслера занесло в Москву.

Королевской хартией в феврале 1555 года Мария Тюдор образовала «МОСКОВСКУЮ КОМПАНИЮ», которую стал возглавлять Себастьян Кабот. Старик у же больше восьмидесяти лет, но, когда Ченслер грузил корабли для нового рейса в Россию, Кабот здорово подвыпил в трактире с матросами. На зеленой лужайке он



даже пустился в пляс, и золотая цепь венецианского патриция болталась на его шее, как маятник.

На этот раз Ченслер прибыл в Москву персоной официальной, Иван IV был рад снова увидеть Ченслера, а его свиту «торжественно провезли по Москве в сопровождении дворян и привезли в замок (Кремль), наполненный народом... они (англичане) прошли разные комнаты, где были собраны напоказ престарелые лица важного вида, все в длинных одеждах разных цветов, в золоте, в парче и пурпуре. Это оказались не придворные, а почтенные московитяне, местные жители и уважаемые купцы...»

Англичап именовали так: «гости корабельские».

После угощения светлым, хмельным медом царь взял Ричарда Ченслера за бороду и показал ее митрополиту всей Руси:

— Во, борода-то какова! Видал ли еще где такую?

— Борода — дар божий, — смиренно отвечал владыка...

Бороду Ченслера тогда же измерили: она была в 5 футов и 2 дюйма (если кому хочется, пусть сам переведет эти футы и дюймы в привычные сантиметры). Иван Васильевич велел негоциантам вступить в торги с купцами русскими, а Ченслеру сказал:

— За морями бурными и студеными, за лесами дремучими и топями непролазными — пусть всяк ведает! — живет народ добрый и ласковый, едино лишь о союзах верных печется... С тобою вместе я теперь посла своего отправлю в королевство Аглицкое, уж ты, Рыцарь Ченслер в море-то его побереги.

Посла звали Осип Григорьевич по прозвищу Непея, он был вологжанин, а моря пикогда не видывал. Посол плакал:

— Да не умею плавать-то я... боюсь!

— Все не умеют. Однако, плавают, — рассудил царь.

Ричард Ченслер утешал посла московского:

— Смотрите на меня: дома я оставил молодую жену и двух малолетних сыновей. Я не хочу иметь свою жену вдовою, а детей сиротами... Со мною разве можно бояться?

Буря уничтожила три его корабля, а возле берегов Шотландии на корабль Ченслера обрушился шквал.

«Бонавентуре» жестоко разбило на острых камнях.

Ченслер, отличный пловец, нашел смерть в море.

Осип Непея, совсем неумевший плавать, спасся... Местные жители сняли с камней полузаклебнувшегося посла Московии.

— Теперь вы дома, — утешали они его.

— Это вы дома, — отвечал Непея, — а мне-то до родимого дома вдругорядь плыть надо, и пощеды от морей цету...

С большим почетом он был принят в Вестминстерском дворце. Довольная льготами, что дали английским negociантам в России, королева предоставила такие же льготы в Англии и для русских «гостей»: им отвели в Лондоне обширные амбары, избавили от пошлин, обещали охрану от расхищения товаров.

Осип Непея отплыл на родину в обществе английских мастеров, аптекарей, художников и рудознатцев, пожелавших жить в России и трудиться ради ее пользы и украшения.

...Красная площадь немыслима без яркого храма Василия Блаженного, а Ричард Ченслер сам видел, как Иван IV закладывал эту церковь в ознаменование своего похода против Казанского ханства. Храм строился гораздо быстрее, нежели созидался в Риме собор св. Петра, и русский царь не прибегал к помощи индульгенций, отпускающих грехи россиянам. А для торговли с англичанами в устье Северной Двины появился славный город Архангельск, без которого мы уже не мыслим существование нашего государства...

В это же время иезуиты появились в Вене, они незаметно проникли в чешскую Прагу, приближаясь к рубежам Полонии, где совсем недавно скончался король Сигизмунд Старый.

Его сын Сигизмунд-Август был последним из династии Ягеллонов.

### 3. ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ЯГЕЛЛОНОВ

Сигизмунд Старый, сын Ягеллончика, был женат на страшной женщине по имени Бона Сфорца, которая и ускорила его смерть, строя интриги, расхищая казну государства... Катафалк с телом усопшего поставили в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове: суровые рыцари в боевых доспехах склонили хорунжи (знамена) Краковии, Подолии, Мазовии, Познани, Воыни, Гнезны, Померании, Пруссии и прочих земель польских.

Жалобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли свечи к знаменам — и они разом вспыхнули, сгорая в жарком и буйном пламени. Раздался цокот копыт — по ступеням лестницы прямо в собор въехал на лошади Ян Тарло в панцире, поверх шлема его торчала большая черная свеча, коптившая едким пламенем.

В руке Тарло блеснул меч:

— Да здравствует король Сигизмунд-Август!

Имя нового короля, сына польского, было названо, и канцлер с подскарбием с хрустом разломали государственные печати — в знак того, что старое королевье кончилось. Сигизмунд-Август снял с алтаря отцовские регалии и расшвырял их по углам собора. В то же мгновение герцог Прусский и маркграф Бранденбургский (вассалы польские) выхватили мечи. С языческим упоением они сокрушали регалии былой власти. Громко зарыдали триста наемных плакальщиц. Над головами множества людей слоями перемешался угар тысяч свечей и дым сгоревших хорунжий. Бона Сфорца вдруг шагнула вперед и алчно сорвала с груди покойного мужа золотую цепь с драгоценным крестом:

— Не отдам земле — это из моего рода Сфорца!

В дни траура король навестил мать в краковском замке. Еще красивая стройная женщина, она встретила сына стоя; ее надменный подбородок утопал в складках жесткой испанской фрезы. Платье было осыпано дождем ювелирных слез, отлитых из мексиканского серебра. Молодой король приложился к руке матери, целуя ее поверх перчатки, украшенной гербами Сфорца и Борджиа.

— Покойный отец мой недавно выслал дань Гиреям крымским, чтобы они дали нам пожить спокойно. Но, получив дань, татары уже вторглись в наши южные пределы, угоняя в Крым тысячи пленников. Придется выкупать их на рынках Кафы\*, а наша казна пуста. Хочу знать: насколько справедливы те слухи, что вы, моя мать, отправили миллионы дукатов в Милан и в «золотую контору» аугсбургских банкиров Фуггеров?

Бона Сфорца безразлично смотрела в окно.

— Что слыхать из Московии? — спросила она о другом.

— Иван Васильевич венчал себя царским титулом, а

---

\* Нынешний город Феодосия; в старые времена был главным районом работоторговли.— *Здесь и далее прим. авт.*

Крымским ханством овладел Девлет-Гирей. Но я жду ответа о казне Польши, бесследно пропавшей.

— Я не только Сфорца, — отвечала мать, гневно дыша, — во мне течет кровь королей Арагонских, кровь благочестивых Медичи и Борджиа, и еще никто не смел прекрестать нас в воровстве... Ступай! Зачем ты велел закладывать лошадей?

— Я отъезжаю в Вильно.

Боной Сфорца овладел яростный дикий крик:

— Твое место в Кракове или в Варшаве... Или тебе так уж не терпится снова обнюхать свою сучку Барбару Радзивилл, которую всю измял этот бородатый дикарь Гаштольд, даже в постели не снимавший шлема и панциря?

— Я люблю эту прекрасную женщину, — ответил король, невольно бледнея от страшных оскорблений матери.

— Ах, эта любовь! — с издевкой отвечала Сфорца. — Меня сватал сам великий германский император Карл V, и тебе надо бы искать жену из рода могучих Габсбургов, пусть из Вены или из Толедо. Бери люблюю принцессу из дома баварских или пфальцских Виттельсбахов. По тебе токует вдовая герцогиня Пармская. Наконец, вся Италия полна волшебных невест из Мантуи, Пьянчецы и Флоренции, а ты... кого избрал?

— Я никогда не оставлю Барбару, — отвечал сын.

— А-а-а, — снова закричала мать, — тебе милее всех эта блудница из деревни Дубинки, где она росла среди гридок с горохом и капустой... Чем она прельстила тебя?

— Тем, что она любит меня.

— Тебя любила и первая жена Елизавета Австрийская.

— Да! — обозлился король. — Но вы сначала разлучили меня с нею, а потом извели ядом из наследия благочестивых Борджиа.

Дверь распахнулась — вбежала Анна Ягеллонка, сестра молодого короля. Она рухнула между матерью и братом:

— Умоляю... не надо. Даже в комнатах слышно каждое ваше слово. Даже лакеи смеются... сжальтесь!

— Хорошо, — сказал Сигизмунд-Август, одернув на себе короткий литовский жупан. — Мертвых уже не вернуть из гроба, но еще можно вернуть те польские деньги, что погребены в сундуках конторы аугсбургских Фуггеров.

Бона Сфорца злорадно захохотала:

— Ты ничего не получишь... Пусть пропадет эта проклятая Польша, в которой холодный ветер задувает свечи в храмах и где полно еретиков, помешавших на ереси Лютера...

После отъезда сына она тоже велела закладывать лошадей. Ее сопровождали незамужние дочери — Анна и Екатерина Ягеллонки. Спины лошадей были накрыты шкурами леопардов.

— Мы едем в замок Визны, — сказала Сфорца; под полозьями саней отчаянно закрипел подталый снег. — О, как я несчастна! Не вы, дочери, будете несчастнее своей матери... Я изнемогла вдали от солнца Милана. Как жить в этой стране, если к востоку от нее — варварская Московия, а из германских княжеств идет на Полонию лютеранская ересь? Я не пожалела бы пяти миллионов золотых дукатов, чтобы в городах моего королевства пылали костры инквизиции...

...Было время гуманизма и невежества, дыхание Возрождения коснулось даже туманных болот Полесья, а ветры из Европы доносили дым костров папской инквизиции. Правда, в Польше тоже пылали костры: заживо сжигали колдуний, ушрей, ворожек, отравителей. Но казни еще не касались «еретиков» лютеранской веры, поляки были веротерпимы, и Реформация быстро овладевала умами магнатов и священников. Бона Сфорца сказала:

— Без псов господних не обойтись...

«Псами господними» называли себя иезуиты.

.....

В каминах древнего замка Визны жарко постреливали дрова, но все равно было холодно. Бона Сфорца надела на голову испанский берет из черного бархата, Махра Вогель, приемная дочь королевы, тихо играла на лютне.

— Когда-то и я трогала эти струны, — сказала Бона, тяжело ступая на высоких котурнах. — Но все прошло... все! Теперь я жду гонца из Вильны, а он все не едет...

Она выглянула в окно: за рекой чернели подталые пашпи, дремучие леса стояли за ними, незбылемые, как и величие древней Полонии. Наконец, она дождалась гонца, который скакал пять суток подряд, скомканный вальтрап под его седлом был забрызган грязью, как и он сам. Гонца протянул ей пакет:

— Из Литвы, ваша королевская ясность.

- Кто послал тебя?
- Петр Кмит, маршал коронный.
- Что ты привез?

— О том знают все. Король и ваш сын Сигизмунд-Август ввел Барбару Радзивилл в Виленский дворец, публично объявив ее своей женой и великой княгиней литовской...

Ничто не изменилось в лице Боны Сфорца:

— Ты устал? Ты хочешь спать?

— Да. И — пить.

Сфорца перевернула на пальце перстень, сама наполнила бокал прохладной венджиной и протянула его гонцу:

— Пей. С вином ты уснешь крепче...

Потом из окна она проследила, как гонец, выйдя из замка, шел через двор. Ноги его вдруг подкосились — он рухнул и уже не двигался. В палатах появился маршалок замка:

— Гонец умер. Такой молодой. Жалко.

— Но он слишком утомился в дороге...

Перстень на ее пальце вдруг начал мепять окраску, быстро темнея. Махра перестала играть на лютне:

— Что пишут из Литвы?

— Дурные вести — у нас будет новая королева, и сам всевышний наказал гонца, прибывшего с этой вестью.

Теперь осталось дело за малым: возмутить шляхту и сейм, всегда алчных до золота, чтобы они не признали брак ее сына. Петр Кмит был давним конфидентом Боны, по его почину собрался сейм. Возмущенные шляхтичи требовали от Сигизмунда-Августа, чтобы он оставил Барбару Радзивилл.

— Пани Радзивилл, — кричали ему, — уже брачевалась со старым Гаштольдом, воеводой Трокая на Виленщине, так зачем королю вишни, уже надклеванные птицами?

Но король вдруг вырос надо всеми, непреклонный в своем решении:

— Я ведь не только ваш король, но еще и человек. Любовь каждого человека — дело совести и желаний его сердца. Так знайте: я безумно люблю эту женщину, и более не желаю вас слушать!

Люблинский воевода Тарло рвал на себе кунтуш:

— Сегодня она великая княгиня Литовская, а завтра ты назовешь ее польской королевой... Пересчитай мои рубцы и шрамы, король! Я сражался за вольности наши с та-

тарами, с немцами, с москвитями, когда тебя еще не было на этом свете. Так мне ли, старому воину, кланяться твоей паненке?

Сигизмунд-Август усмехнулся с высоты престола:

— Барбара достаточно умна и образованна, чтобы даже не замечать, когда ты не удостоишь ее поклоном...

Сейм расходился, и тогда с кроткой улыбкой к сыну подошла Бона Сфорца, сидевшая все время в ложе:

— Я уважаю твое чувство к женщине, победившей тебя, — сказала она, прослезясь. — Будь же так добр: навеисти меня с Барбарой. Я посмотрю на нее, и мы станем друзьями.

— Мы придем. Только снимите свой перстень...

Барбара, желая понравиться свекрови, украсила свою голову венком из ярких ягод красной калины — это был символ девственной и чистой любви. Бона расцеловала невестку:

— Как чудесны эти языческие прихоти древней сарматской жизни! Я начинаю верить, что ваша любовь к моему сыну чиста и непорочна, — усмехнулась Бона.

Стол был накрыт к угощению, в центре его лежала на золотом блюде жирная медвежья лапа, обжаренная в меду и в сливках. Но Барбара, предупрежденная мужем, всему предпочла только яблоко. Да, сегодня перстней на пальцах Боны не было. Она взяла нож, разрезая яблоко надвое, и при этом мило сказала:

— Разделим его в знак нашей дружбы...

Наследница заветов преступных Борджиа, она знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здорова, съев свою половину яблока, а Барбара Радзивилл начала заживо разлагаться. Ее прекрасное лицо, уже сизо-багровое, отвратительно разбухало, губы стали безобразно толстые; глаза лопнули и стекли по щекам, как содержимое расколотых куриных яиц... От женщины исходило невыносимое зловоние, но король не покинул ее до самой смерти и всю дорогу — от Кракова до Вильно — ехал верхом на лошади, сопровождая гроб с ее телом...

Отчаясь в жизни, Сигизмунд-Август бросился в омут пьянства и распутства; пьяный, он орал по почам:

— Умру, и... кому достанется моя Польша?

Он окружил себя волхвами, колдуньями и магами; знаменитый алхимик и чародей пан Твардовский (этот польский Фауст) окуривал короля синим дымом, и тогда це-

ред ним возникал дух Барбары... Отделясь от стены, она, лучезарная, тянула к нему руки и король, бросив чашу с вином, кидался навстречу женщине, а потом скреб пальцами стену:

— Не мучай! Приди... еще хоть раз! Вернись...

В минуту просветления он изгнал свою мать, и она, покинув Польшу, поселилась в итальянском городе Бари. Испанский король Филипп II сразу выклячил у нее в долг 420.000 золотых дукатов на борьбу с «ересью». После этого, получив благословение папы, Бона Сфорца собралась греться на солнце до ста лет. Домашний доктор, грек Папагоди, веселый, красивый и молодой, однажды поднес ей бокал с лекарством для омоложения тела:

— Сегодня я приготовил для вас отличный декокт...

Это был декокт пополам с ядом. Узнав о смерти матери, Сигизмунд-Август умолял банкиров Фуггеров, чтобы вернули польские деньги, вложенные в их банк матерью. Фуггеры отрицали наличие вклада. Тогда он обратился к Филиппу II в Мадрид, чтобы тот, благородный Габсбург, вернул долги матери...

Король Испании даже не ответил королю Польши!

Иниго Лойола умер за год до смерти Боны Сфорца...

Королева Анна Ягеллонка ехала из Кракова в свои владения. Скупо поджав морщинистые губы, она перебирала четки, изредка поглядывая в окно кареты. Вокруг было пусто и одичало. Где-то на дорогах Мазовии ей встретилось одинокое засохшее дерево. На его сучьях болтались два удавленника, а под деревом — с обрывком петли на шеи — сидел босоногий монах с изможденным лицом.

— Слава Иисусу Сладчайшему! Моя веревка лопнула.

— Кто ты сам и кто эти повешенные люди?

— Мы не люди — мы псы господни. Нас послал великий Рим, дабы внушать страх еретикам, дабы содрогнулся мир безбожия и прозрели души, заблудшие во мраке лютеранской ереси.

Анна Ягеллонка догадалась, кто он такой:

— Ступай же далее путем праведным, в Варшаве для вас хватит дела, чтобы лаять на отступников божиих...

Так в Польше (Полонии), почти под боком Руси, появились первые иезуиты. Английский историк Маколей писал о них: «Они проникали из одной страны в другую,



переодеваясь самым различным образом, то под видом жизнерадостных рыцарей, то под видом простых крестьян, то в качестве пуританских проповедников. Их можно было обнаружить одетыми в платье (китайских) мацдаринов... С чувством полного подчинения иезуит представлял своему начальнику самому решить, должен ли он жить на северном полюсе или под солнцем экватора».

Осенью 1557 года в битве при Сен-Кантене испанские войска разгромили французскую армию короля Генриха II. Но в кауун этой битвы испанский король Филипп II дал обет всевышнему:

— Если нам уготована победа, я отвечу богу созданием такого монастыря, который по форме станет напоминать решетку, на которой живьем изжарили святого Лаврентия...

Так в безумной голове Филиппа зародилась мысль о создании Эскуриала — дворца-монастыря, дворца-гробницы.

А в январе 1558 года началась Ливонская война: царь Иван IV изменил направление старой московской политики, едва успевавшей отбивать нападения крымцев с юга. Ливония не ожидала нападения, которое лучше всего называть «вероломным». Почти вассальная и зависимая от России, теперь, объятая ужасом убийств и грабежей Ливония, конечно, призовет на помощь поляков и шведов...

Не так-то все просто, как думалось Ивану Грозному!

#### 4. ИСПАНЦЫ ЭТО... ИСПАНЦЫ

Испания была единственной европейской страной, на юге которой — там, где скала Гибралтара нависает над Африкой, — еще водились обезьяны-макоты. История разделила Испанию на множество провинций, и каждая из них отмежевывалась от другой своими танцами, своим характером и наречием, своими традициями, унаследованными от загадочных предков. Испанца в те времена можно было сильно обидеть, если назвать его «испанцем»:

— Какой же я испанец, если я из Валенсии!

— А я из Каталонии, и мою речь понимают французы!

— Мы, из Наварры, мы презираем испанцев Кастилии...

Испанию с незапамятных времен населяли арабы-мавры, в крещении — мориски, в ней жили миллионы еврей-

ев, которые в крещении именовались марранами. Испанская корона принадлежала той ветви немецких Габсбургов, которая догнала сама по себе лишь в 1700 году, и эти деспоты, настойчиво покоряя весь мир, постоянно покоряли в Испании самих же... испанцев!

Никакой свободы в стране люди не ведали, задавленные страхом инквизиции, была свободная жизнь поминалась ими, как блаженный сон, а потом испанцы настолько освоились с тиранией, что, попробуй кто-либо заикнуться о свободе, и такого человека сочтут «еретиком» или «отступником Божиим»...

Филипп II, ненавидящий свой народ с презрением, достойным Габсбурга, всю жизнь презирал испанцев и боялся испанцев. Мало того, в разноголосице народа, он не знал языка своих подданных. Столицей государства был беспокойный город Толедо, славный выделкой кинжалов, где в суровом пламени испытаний закалялись не только сталь острых навах, но и души жителей. Филипп II чувствовал себя здесь неуютно, и в 1561 году двор перебрался в Мадрид, объявленный столицей испанского королевства. Захудалый и нищий городишко, Мадрид летом изнывал от засухи, а зимою корчился от резких холодов.

Но, поклявшись создать Эскуриал, Филипп II — с его мрачной фантазией аскета-мистика — искал под Мадридом такое дикое место, чтобы создать в пустыне нечто подобное пирамиде Хеопса, но безобразнее пирамиды. По дорогам Испании — отовсюду! — тащились траурные дроги, в которых везли в Эскуриал оскаленные скелеты и разложившиеся трупы Габсбургов, а Филипп встречал своих предков как дорогих гостей.

Оставим Эскуриал в горячке строительного безумия, и лучше снова раскроем записи иезуита Куэваса...

. . . . .

Мне очень много лет Я еще внятно слышу всплески хищных рыб в реке Паране, слышу и удары бичей по голым спинам рабов на полях наших плантаций нашего всемогущего Ордепа, но я уже едва различаю строки, начертанные мною...

Детство мое прошло среди камней Каталонии, больно раяющих ноги, под бляенье овец, грязных и нестриженных, в убогой деревне, которую лишь изредка оживляло нашествие бродячих цыган, после чего наши заборы очищались от горшков и тряпок, да иногда из соседнего мо-

пастыря доносило всплески гитар с кастаньетами — это монахи, раздобыв бочку вина, до утра отплясывали разнузданную сарабанду.

Матери я не помню, а отец столь преисполнился усердием к богу, что повседневный голод, мучивший меня от рождения, усиливался длительными постами. Зато как я радовался сушеной треске, которую поспешно заедал горстью оливок, вместо вина к моим услугам был полный воды колодец. Перед сном я девять раз без передышки прочитывал очистительную молитву, а в случаях беды или радости научился у отца восклицанию — то покорному, то восторженному:

— О, святая дева Мария, не оставь нас...

Отец был настолько горд сознанием своего благородства, что никогда не унизил себя трудом, часто внушая мне:

— Лучше уж смолоду выбрить тонзуру на макушке, чтобы в старости мирно доживать на доходы с бенефиций. Рука любого идальго, даже нищего, создана лишь для того, чтобы держать меч или крест, но мотыга да не коснется ее. Мы можем служить королю или церкви... Правда, — добавлял он, невольно мрачней, — можно навеки отряхнуть прах этой земли, где полно богатств, но совсем нету денег, где от овец мы имеем один вонючий помет, а наши рощи, такие цветущие при маврах, уже не приносят плодов нам, благородным испанцам.

От самой колыбели я сознавал, что идальго плохо живет в самой Испании, зато ему хорошо во владениях испанского короля — на Филиппинах или в Калифорнии, в Мексике или в Чили, — хорошо везде, только не дома! Отец рассказывал чудеса об этих заморских странах, где идальго качаются в гамаках, черные рабы подносят им лимонады и кофе, стройные невольницы отмахивают от них пальмовой ветвью москитов, а золото и серебро валяются под ногами...

В нашем доме, сваленном из грубых камней, царил такая же скорбная пустота, как и в лачугах крестьянских, но зато у крестьян не висели на стенках панцири пращуров, измятые... в битвах, не было шлемов и мечей с копьями. Лет за десять до моего рождения отец сражался с неверными на галерах, а турки осыпали их корабль из фалькопетов ржавыми гвоздями. Эти гвозди были нарочно загнуты, как рыболовные крючки, а перед битвой неверные долго вымачивали их в загнившей крысиной крови. По-

тому-то раны отца никогда не заживали, источая гной, принося ему страдания. Перед смертью отец напутствовал меня словами:

— Помни, что твои предки сражались с нечестивыми или молились, но никогда не осквернили себя трудом. Делай что хочешь, но только никогда ничего не делай!

С этими словами он оставил меня сиротой. Священник посоветовал мне покинуть дом и следовать в Мадрид:

— Говорят, наш добрый король начал строить дворец новый в семи милях от столицы. Двор его расширяется, и там ты скорее найдешь себе кусок хлеба. Что делать, если дней в году больше, нежели число съеденных нами сосисок.

В ту пору мало кто хотел жить в деревнях — испанцы разбегались по городам, желая хоть как-нибудь зацепиться за любое дело в городе, и громадная страна с ее виноградниками и садами погибала в запустении, только овечьи стада оживляли пустынные каменистые пейзажи. Если верна старинная поговорка, что «дворянин несет на себе весь свой доход», то я, трогаясь в путь, подтвердил эту старинную истину. Я шагал до Мадрида босиком, завернув на себе ветхий плащ, а под локтем держал ржаную шпагу — знак достоинства и чести всех благородных кабальеро.

Изнуренный голодом и жаждой, в столице я узнал, что двор короля отъехал в Толедо — старую столицу Испании. Я терпеливо выстоял длинную очередь к фонтану для нищих и, напившись воды, тронулся дальше. Вместе со мною тащились в пыли тысячи бездомных людей: Филипп II, снисходя к людским слабостям, обещал народу устроить торжественное аутодафе, в конце которого будет накрыт бесплатный стол на 12.000 калек и нищих.

О-о, пресветлая дева Мария, как я хотел есть!

. . . . .

Когда молодой идалго входил в этот мир, мир очарований и ужасов, еще никто не мог бы сказать, кем он станет — плутом или аскетом, попрошайкой или алхимиком, конкистадором или пиратом, палачом Супремы или поэтом королевы.

Сопоставляя факты и даты, я пришел к выводу, что Куэвас родился около 1550 года, а покинул провинцию подростком, и пусть он долго плетется в толпе нищих, да-

бы усладить свое благочестие зрелищем прекрасного аутодафе, а заодно и насытиться от королевских щедрот треской с хлебом. Оставим его на время в покое, занятые совсем иными делами.

## 5. В ГОСТЯХ У БОГАТОЙ НЕВЕСТЫ

Европейские политики тогда посменвались:

— Ливония — как очень богатая невеста, за которой ухаживают сразу несколько женихов, отчего и быть драке...

Ливония состояла из земель латышей и эстов, покоренных германскими крестоносцами; это было смешанное владение рыцарских орденов и епископатов (Рижского, Ревельского, Эдельского и Дерптского). На ее богатства давно зарились поляки, русские, шведы и датчане. Ливонский орден меченосцев состоял из бродяг и разбойников, которым в Европе не нашлось места. Римские папы не раз подначивали их покорять русские земли, а рыцарей били новгородцы и псковитяне, помогали же им литовцы. Но эпоха крестовых походов отошла в прошлое, и с 1503 года меченосцы уже не ссорились с Россией...

Рыцари свалили в кучу свои бранные доспехи, их мечи поржавели; из меченосцев получились отличные пьяницы и обжоры, отчего многие, растолстев, уже не влезали в свои панцири. Пограничная Нарва, сытая угрями и пивом, шелестящая шелками и бархатом купеческих одежд, имела в гербе крест и две дикие розы; среди нарвских бюргеров уживались и русские семьи; а на другом берегу реки Наровы русские отстроили свою крепость — Ивангород, и теперь две цитадели мирно глазели одна на другую жерлами пушек, застывших в тишине длительного, но чудесного мира.

Перестав драться с русскими, дрались между собою. Фюрстенберг, магистр Ливонского ордена, готов был передушить духовенство, а епископы натравливали на рыцарей дворян и купцов. «Пока собаки грызлись из-за одной кости, — писал местный историк Форстен, — пришла третья и завладела ею».

Случилось это столь просто, что диву даешься!

Когда в Москву прибыло ливонское посольство, дабы продлить мир, Алексей Адашев заявил, что мир будет сохранен, если орден выплатит дань и все недоимки. Ли-

вонские послы удивились этому, тогда Адашевым было сказано:

— Как это вы не хотите знать, что ваши предки явились в Ливонию невесть откуда, с мечом вторглись в древние вотчины князей наших, вам разрешили селиться у нас под боком, чтобы вы платили Москве дань за тот мед, что едите с наших пчелиных пасек... Недоимок-то на вас налегло немало!

Торговались три года, но собрать денег не могли, а, может, просто не захотели. Ливонцы снова появились в Посольском приказе, просили Адашева, чтобы умолил царя не гневаться:

— С наших пчелок меду совсем не стало.

— Так они, ваши пчелы,— отвечал Адашев,— через рубежи летят, с наших же цветов мед собирают, а вы, рыцари превосходные, за свои талеры держитесь, как коты за гусиную печенку...

Впрочем, этикет приличия не был нарушен, и послы Ливонского ордена были званы обедать в кремлевские палаты. Совсем недавно за этим же изобильным столом царь Иван IV принимал Ричарда Ченслера, и тогда подносили жареных лебедей, которым вместо глаз были вставлены индийские жемчужины, а теперь... Теперь так же, громко чавкая, ели и пили бояре, двигая бородами, словно венниками, так же сверкала золотая посуда, украшенная изумрудами и алмазами, но перед ливонскими послами царь велел поставить пустые тарелки. Это был намек, и весьма опасный!

Но царь шутки свои продолжил, и когда рыцари, не солоно хлебавши, отправились почивать, возле их дома целый день стреляли из пушек. В прощальной аудиенции, стоя перед Иваном, становившимся Грозным, ливонцы спрашивали, зачем всю ночь палили из пушек так, будто война началась.

— А на святой Руси так уж заведено исстари,— ответил государь,— что по воробьям всегда из пушек стреляют...

Опять намек! Но, оставив свои шутки, царь писал магистру Фюрстенбергу: «Бог посылает во мне вам мстителя...» И вручил послам Ливонского ордена кнут с такими словами:

— Чаю, ваш господин умнее вас и сам догадается, что со мною, государем всей земли Русской, лучше не спориться...

Михаил Глинский, князь и сородич царя, увел под Нарву войско, от ливонцев, ехавших домой, даже не скрывали движения воинских обозов, на широких санях лошади влекли могучие пушки. Войны не было, и князь Шестунов, сидевший в Ивангороде с гарнизоном, по-хорошему убеждал немцев в Нарве, чтобы недоимки платили:

— А всего с вас шесть десять тыщ талеров...

С другого берега реки, с высоты башни, ему кричал магистр Вильгельм Фюрстенберг, чтоб царь всея Руси потерпел:

— Скоро соберем нужное для контрибуции, сколько просите, и тогда можете убраться отсюда...

Наверное, тем бы и закончилось, если бы не подоспела пасха. Русские в гарнизоне Ивангорода постились как умели, у них в крепости чинно соблюдалась тишь да гладь и божья благодать. Зато в Нарве — на другом берегу реки — во всю шумели пьяные рыцари. Им было так весело, до того уж весело, что один из них просто не выдержал... Вылез он на самый фас крепости и с высоты глянул, что там делают русские в своем Ивангороде. И тут рыцарь увидел, что стоят несколько русских и о чем-то разговаривают.

— Ах, так? — вспыхнул ливонский рыцарь праведным гневом. — Вы сюда зачем пришли? Чтобы разговаривать?

Пушка, полвека молчавшая, не стерпела, когда ее прижгли пылающим фитилем, и грозно рывкнула в сторону великой и могучей Руси, посылая первое ядро в сторону пасхальных праведников...

Первые мертвецы, первая кровь, первые стоны.

Так начиналась Ливонская война!

. . . . .

Вместо идеологии — религия, а вместо закона — насилие.

Международного права тогда в помине не было, Макиавелли был настольной книгой для всех сатрапов в политике. А поводов начать войну всегда было предостаточно, и потому сильный, не страшась никаких резолюций ООН, спокойно избивал слабого. Не понимали тогда и разницы между частным имуществом и государственным, отчего победитель считал своим долгом калечить побежденного, мог убить пленного, изнасиловать его жену, детей уводил в рабство, а имущество побежденных считал своим, честно добытым. Это право, основанное на бес-

правьи, в равной степени относится ко всем европейцам, и не русские его придумали, поступая согласно обычаям своего кровожадного времени.

Русские войска опустошили окрестности владения епископа Дерпта и вернулись назад, довольствуясь добычей, когда раздался этот пушечный выстрел в Нарве, и, может быть, вся история Ливонии, даже история всей России сразу искривилась по вине одного пьяного дурака...

Внутри Ивангорода возникла суматоха, близкая к отчаянию. Не кровь испугала воевод, а страх перед царем, который, пограбив земли епископа, указывал войны не продолжать. Князь Шестунов велел гонцу скакать до Москвы, чтобы государь сам решил:

— Как быть-то нам, бедным? Скажи, что тут стены валяются, мы уже в крови плаваем...

Верно: одинокий выстрел ливонские пушкарки сочли сигналом к общей канонаде, и внутри Ивангорода ядра теперь прыгали, как мячи, сокрушая жилища, неся смерть мирным жителям. Воеводы послали в Нарву стрельца местного из местных, знавшего немецкий язык, и он, переплыв реку, явился перед рыцарями:

— Вы зачем мир нарушаете? — спрашивал он.

— Пушкарки взбесились! Как их унять?..

Гонец вернулся из Москвы, едва живой от скачки:

— Государь-батюшка указал ядер не жалеть...

Вот тут и началось! Не знаю, как сейчас, а перед революцией в Нарве многие жители долго еще украшали фасады своих домов ядрами русской артиллерии, которыми досыта наугощал Иван Грозный их предков. Медных ядер было у царя маловато (где ему, бедному, взять меди?), зато ядра-булыжники, выстреливаемые из пушек, весили более шести пудов. Ивангород каждый день отправлял в Нарву по триста таких каменных «гостинцев». В гарнизоне Нарвы было триста «кнехтов» (наемников из Германии), и они теперь трясли бургомистра, чтобы скорее выплачивал им жалованье, ибо сидеть без денег под ядрами — кому охота? Магистрат, взывая о помощи, слал гонцов к Фюрстенбергу, епископам в Ревель и в Ригу, но, как заявил бургомистр Нарвы:

— Никто из них даже яйца не прислал...

Наконец, осажденных оповестили из Ревеля, что па выручку Нарве спешит тысяча конных рыцарей, ведомых храбрейшим командором Готардом Кеттлером. Не выдер-



жав канонады, жители открыли ворота, и бургомистр просил у русских воевод пощады:

— Согласны мы отложиться от магистра своего Фюрстенберга, чтобы подпасть под могучую руку мудрейшего и кроткого царя русского Ивана по батюшке Васильевича...

В таком духе была отправлена в Москву депутация, которую Иван Грозный жаловал грамотой, между тем, дозорные на башне «Длинного Германа» не сводили глаз с дороги:

— Не видать пыли... еще не скачут рыцари Кеттлера!

Между тем, вблизи от Нарвы русский отряд был разбит немцами, потеряв сто человек пленными, но и сами, отступая в Ивангород, приволокли пленных немцев. Один из них сказал на допросе:

— За нами идет грозный командор Кеттлер, а вы, русские, как дураки, депутатов в Москву шлете с капитуляцией... Нарва — невеста знатная, а вы — женихи поганые, не плясать вам на свадьбе! У меня мать русская, потому и говорю вам: уходите отсюда.

Но, кажется, сам злобный рок подстерегал Нарву!

Если по воле одного пьяного начался обстрел города, то во втором случае виноват оказался цирюльник, еще трезвый. История сохранила нам его имя — Кордт Улькен. Вот этот Улькен варил, варил пиво и подбросил в печку столько дровишек, что печка треснула, из ее топки выбило факелом пламя. Улькен спасся.

— Feuerjo, feuerjo! — кричал он о пожаре на улице.

Ветер раздул свирепое пламя, и скоро весь город был охвачен огнем. Жители, не успев укрыться за стенами замка, кидались в крепостной ров. Кнехты сбежались на Рыночной площади, но пламя загнало их в замок, и цепной мост, связующий его с городом, был поднят. Тут все стали кричать:

— Где же храбрый командор Кеттлер? Сколько у нас еды?

— Из еды у нас три бочки прокисшего пива, куль ржаной муки и только свиного сала много, — завершили подсчет...

В это время русские в Ивангороде подхватили доски и пустые бочки, из домов выламывали даже двери — все дружно кинулись в кипящую реку, которую и переплыли, оказавшись в горящей Нарве. Воины барабанили в воро-

ти замка, а боярин Алексей Басманов орал кнехтам, чтобы ружьями не шалили:

— Которые тут нерусские, те разбегайтесь...

Кнехты разбежались, даже не откатив пушек. Их сразу развернули внутрь замка и стали долбить его стены идрами. С высоты «Длинного Германа» вдруг истошно завопил дозорный:

— Вижу пыль... пыль! Это Кеттлер идет на помощь.

— Сдавайтесь по-хорошему, — кричали русские.

Из глубин замка, воодушевленные близкой подмогой от Готгарда Кеттлера, рыцари отвечали:

— Не мешай нам допивать пиво! Можно отдавать груши да яблоки, но только не такие города, какова наша Нарва...

Тут дозорный доложил — в страхе:

— Это не Кеттлер! Это русские идут...

Вот тогда цепной мост, скрипя ржавыми цепями, медленно опустился, и в раскрытых воротах замка русские приняла капитуляцию. Но теперь была от царя «жалованная» грамота, воеводы были обязаны беречь Нарву, как русский город. Царь обещал не жалеть расходов, чтобы построить в Нарве новые дома и новые церкви. Часть жителей осталась на пепелище, а другие жители с детьми и женами были выпущены из города. Они добрались до лагеря рыцарей, где возле костра сидел на барабане Кеттлер. В ответ на упреки жителей, почему он не пришел, Кеттлер отвечал:

— Так не надо было вам поджигать город... Или вы думаете, что я собрал своих рыцарей для того, чтобы тушить пожары?

После падения Нарвы перед русскими пал Дерпт, открылась дорога на Ревель (Колывань). Духовенство заговорило о дурных знамениях, которым раньше никто не верил. Сначала появилась комета с длинным хвостом, который подобно метле протянулся в небесах. А в самый канун войны из прусских земель явился в Ливонию некий по имени Юрген; стояли очень сильные морозы, но босой Юрген, накрыв себя мешком, не боялся стужи, вещая, что послан от бога:

— Скоро Ливония будет наказана за жадность ее купцов, высокомерие дворян, за разврат и пьянство ее рыцарей...

Где-то по дороге от Ревеля до Нарвы этот Юрген пропал.

Европа еще благодумствовала — в неведении:

— Московия это такая дыра, в которую может провалиться любая армия. Говорят, там дурные порядки, а сами русские столь безобразны, что ими способны управлять только татары или поляки... Подождем! Султан турецкий Сулейман Великолепный скажет только одно слово крымскому хану Девлет-Гиреку, и от Москвы останется только зола и пепел. Вы сомневаетесь? Напрасно...

• • • • •

В 1985 году научный мир был взволнован новым появлением кометы Галлея, которая в древности предвещала войны, стихийные бедствия, гибель урожая и заразные эпидемии. Эту комету европейцы видели в 1458 году, и тогда надрывно гремели колокола всех церквей, чтобы отпугнуть ее «нечистую силу» подальше от земли. Тогда ожидали конца света, людьми овладел панический ужас, и комета, казалось, подтвердила их опасения: Византия приказала нам долго жить, а на берегах лучезарного Босфора воцарились османские полчища, угрожая Европе страшными нашествиями.

Боги давно покинули Олимп; на его вершине турки собирали снег, который из Фивии отправляли морем в Константинополь — для нужд султанского гарема, и юные одалиски, рассыпчато смеясь милой забаве, играли в снежки, среди кувшинов с благовонными омовениями, среди клеток с поющими канарейками...

О, боги древности! Видите, как изменился это мир?

Теперь от Мальты до Гибралтара выгребали тяжкие христианские галеры, на которых ворочали весла пленные мусульмане; волны вздымали галеры турецкие, алжирские и берберийские, на которых были прикованы к веслам цепями пленные христиане. Ужасный XVI век, принесший людям столько войн, мучений, пожаров, нищеты и голода, — этот век, позлащенный снаружи, казалось, никогда не закончится, и... где спастись от него человеку?

Россия, над которой в Европе посмеивались, своим существованием оберегала Европу от нашествия османов, принимая на себя самые первые, самые болезненные удары, когда из удушья ногайских степей внезапно являлась, подобная туче неистребимой саранчи, злобная туча татарской конницы. Теперь мы, знающие, как развивалась наша история, можем свысока рассуждать:

— А прав ли был Иван Грозный, который от тради-

ционной южной политики обратился к политике западной? Не успевая отражать нападения с юга, Москва совсем не была готова залезать в дела европейские. Иван Грозный попросту возгордился своими победами в Казани и в Астрахани, он хотел сделать на Балтике то, что с таким трудом было сделано Петром I, а на южных рубежах Россия окажется способной побеждать только при Екатерине II...

Спор историков на эту тему тоже непростительно затянулся. Одни говорят, что царь был прав, открывая окно в Европу, другие, доказывают, что Русь при Иване имела два открытых окна в Европу — это Ивангород и Выборг. Некоторые историки говорят, что нападение на незащищенную, почти вассальную Ливонию было вероломным и невыгодным для России, но другие историки возражают, что именно ливонское рыцарство держало ключи от тех замков, которые открывали нам выход в Европу.

Этот спор, наверное, никогда не закончится!

## 6. ИСПАНИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Не один я хотел насыщения, шагая в Толедо среди голодных людей, восхвалявших короля, который дает народу бесплатные зрелища и бесплатный хлеб.

Господь праведный, кого здесь только не было!

Шагали уличные торговцы, притворявшиеся благородными «сеньорами», мошенники, называвшие себя «лудильщиками посуды», но сами даже кружки не имевшие, были тут и старики, бежавшие из богаделен; увечные и хромые калеки дружно влекли за собой скрипучие тележки, в которых сидели парализтики и слепые, на все голоса воспевавшие прелести Мадонны пречистой:

— Лоно ее — чистая божья обитель, грудь ее — самая прекрасная красота мира, а молоко ее — лучшая сладость на свете. Только б нам не подохнуть, пока добираемся до Толедо! Зато, что ни даст король, мы все сожрем до последней крошки...

Здесь я, автор, вмещаюсь в рассказ Куэваса, напоминая читателю: Филипп II обожал аутодафе, чтобы в огне костров «спасать» души заблудшие... Ему казалось, что весь мир обязан походить на Испанию, все храмы мира должны служить ту мессу, какая звучит в Мадриде.

— Я согласен лучше видеть Европу гигантским клад-

бищем, над которым кружатся навозные мухи, нежели смирюсь, чтобы в моих владениях остался живым хотя бы один еретик...

Перед отъездом в Толедо ему доложили:

— Дон Алива-дель-грандо, которого мы столь торжественно сожгли, как еретика три года назад, оказался невинен в ереси, которую Санта-Оффичия вашего величества ему приписывала.

Ничто не дрогнуло в лице Филиппа II, и король медленно натянул на зябнущие руки перчатки из черного шелка.

— Это легко исправить, — отвечал он. — Велите откопать прах несчастного и мы устроим ему похороны такие же пышные, каким было и его сожжение во славу Иисуса Сладчайшего. Пусть его невинная душа возликует на небесах, куда она отлетела заодно с очистительным дымом...

Ядовитый угар костров инквизиции окутывал Испанию, лишив народ радостей жизни. Церковь преследовала карнавалы, испанцев приучали любоваться зрелищами аутодафе, чтобы они потешались над трагическими воплями «грешников», сгорающих заживо, чтобы они хохотали над чужими страданиями, — так усилиями фанатиков, короля и церковников, из храброго и умного народа воспитывали бессердечных изуверов, свято веривших:

— У нас все в порядке! Пусть другие завидуют нам...

.....

Не Англия была тогда владычицей морей — Испания!

Пресыщенные национальной гордостью, сеньоры и гранды великой империи договаривались до абсурда:

— Испания превыше всего на свете, и потому мир должен принадлежать нам, ибо сам господь-бог тоже был... испанцем.

В истории не существует пустяков. Скошенный трехугольник «латинского» паруса, развернутый на посу каравелл, позволил испанцам водить корабли против ветра, и, не будь этого паруса, еще неизвестно, как бы сложилась судьба Испании. Конечно, не лодия, а только Библия вела Христофора Колумба, когда он случайно открыл Америку, и тогда же в кладовые Кастилии и Арагоны хлынуло золото, омытое потом и кровью индейцев, заживо погребенных конкистадорами в тесных катакомбах рудников Перу или Мексики.

Но это проклятое золото не сделало испанцев богачами. Исторический парадокс: чем больше золота ввозили из Америки, тем быстрее нищала страна. Изобилие драгоценных металлов вызвало «революцию цен», финансовое банкротство, крах всей экономики.

Наверное, Филипп был удивлен, узнай он только, что в это время французы и голландцы вывозили золото из Испании в... бочках, словно селедку. А испанский экономист Меркадо справедливо писал, что скоро в других странах, которые не открывали Америк, будут крыть свои крыши испанским золотом. Герцог Альба, этот набожный палач, в присутствии короля во всех несчастиях Испании обвинил... Христофора Колумба:

— Этот фантазер на горе всем нам открыл Америку, после чего каждый паршивый идалго выбросил медный кувшин, мечтая о кувшине из золота, и с тех пор все испанцы, кажется, перестали понимать, что в мире дешево, а что дорого.

Король Филипп II соглашался с герцогом:

— Владея бездонными золотыми копиями Америки, обладая почти всем мировым запасом золота, я, как нищий, вымалываю деньги в конторе банкирского дома Фуггеров... Может, нам стоит захватить соседнюю Португалию, чтобы поправить свои делишки?

Герцог Альба, слишком знатный, отвечал королю:

— Ваше величество, если мы покорим Португалию, то где же нам, испанцам, спастись от тирании вашего величества?..

Англия отвечала Испании морским разбоем, что называлось «спеть песенку для испанского короля». Флибустьеры грабили галиоты Филиппа II, груженные серебром и золотом, английские пираты разоряли города Чили, Перу и Мексики. Но избыток золота уже развратил идалго, никто не хотел работать, тем более, что налог «алькабала» был ужасен: из десяти добытых дукатов король отбирал в казну от трех до пяти. Страна пустела, народ нищал, а король во всех бедах видел лишь «происки дьявола».

Наивно думать, будто инквизиция жарила людей просто так — в свое удовольствие. Нет! Дело в том, что имущество казненных поступало в кошелек короля, а Филипп II никакими доходами не брезговал. Сам он жил очень скромно, даже любовниц не баловал, но от прибылей не отворачивался. Однажды королевский ассистент

(секретарь) доложил ему, что в долинах Гондураса случайно обнаружили древний город — величественный, как египетские пирамиды, но давно покинутый жителями.

— Неужели не осталось даже кошки с котятами?

— Лишь миллионы ядовитых змей и отвратительных жаб.

— А какие драгоценности найдены?

— Диего дон-Палацио видел в гробницах мумии жителей мертвого города. Их зубы просверлены, а в отверстиях зубов вставлены драгоценные камни.

— Где они? Покажите, — оживился король.

— Простите, ваше величество, по их пету.

— Тогда к чему мне ваши сказки об этом городе? Пусть дон-Палацио выдернет у мертвецов зубы, тогда и поговорим...

Жизнь за океаном казалась раем небесным; испанцы искали счастья на Кубе или в Бразилии, а Испания безлюдела, поля оставались необработанными. Страна переживала деградацию власти, умственный застой. Науки по было — ее заменяли «служением богу»; ученые трусливо комментировали Аристотеля, математикой владели только корабельные штурмапы, а историки жили подделкою фальшивых грамот на дворянство. Каждый оборвапец мечтал укрыться за приставкою «дон», которая узаконивала его безделье. При этом он презирал богатых арабов, завидовал евреям.

— Мараны съели всех паших куриц! Мы, испанцы, уже забыли, когда последний раз мылись, а мавры заводят у себя ванны с горячей водой. Мы готовы служить на побегушках любому гранду, а нечестивых морисков обслуживают черные невольницы...

Физический труд считался уделом рабов или побежденных. Потому убирать урожай зазывали крестьян из Франции, апельсиповые рощи засыхали, пашни превращались в бесплодные пустоши. Испанцы же гордились праздностью, считая ее признаком своего «благородства», от них часто слышали:

— Испания превыше всего... нет лучше моего королевства!

Иностранцы, попав в Испанию, писали о ней, как о стране бездельников, каждый из которых завтра станет преступником. Любой спор на улице из-за стручка перца заканчивался точным ударом навахи под нижнее ребро. Страна была переполнена бродягами, нищими, мошенни-

ками, гадалками и танцорами. Если кому не удавалось обрести приставку «дош», тот старался иметь доску для ношения на груди с казенной надписью о том, что посетителю доски официально разрешается просить милостыню. Зато сколько было монастырей, и все монахи жили припеваючи. Женские же обители напоминали вертепы разврата. Монахини, частенько рожавшие, топили младенцев в колодцах. Испания задыхалась от множества сирот и подкидышей, которых королевские альгвазилы собирали по утрам на огородах или под заборами.

Герцог Альба рассуждал о нехватке тюрем.

— Но создание каждой тюрьмы, — отвечал король, — обходится казне дороже строительства одного галиота, а я нуждаюсь в новых кораблях, чтобы вывозить золото из Америки. Наконец, Испания обязана подорвать морское могущество Англии... Пусть тюремщики поплотнее запикивают грешников в тюрьмы.

Плотнее было уже некуда! Даже на лестницах тюрем годами сидели на ступеньках женщины с младенцами, в коридорах навалом отсыпались «еретики». Конечно, все уже давно признались в связях с дьяволом, всех ожидал костер и все, конечно, писали доносы на других, желал облегчить свою участь. Супрема короля бывала иногда милостива: доносчика сначала душили шнурком, а потом, уже мертвого, кидали в очистительное пламя. А чтобы освободить тюрьмы для размещения новых грешников, инквизиция готовила пышные аутодафе, торопливо обвинял людей в ереси... Я, автор, могу только удивляться выносливости испанского народа, который, живя в этом аду, донес до наших дней огненную арагонскую хоту и всеслую кастильскую сарабанду!

Испания при Филиппе II еще шумела дубовыми лесами, овечьи стада не успели обглодать виноградные рощи, среди цветов и трав звенели чистейшие родники. Бискайский залив кишмя кишел громадными китами, которых пропзали копылами бесстрашные баски; китовые языки поступали ко двору, туши китов кромсали ножами нищие, а китовый жир алчно расхватывали монахи. Баски плавали далеко — за икрой они ходили даже в Азовское море, а первые могилы евронейцев на Филиппинах были могилами басков. Стол зажиточных испанцев был прост: вяленые угри, треска и сардины, хлеб и каша с оливковым маслом. В дальних плаваньях каждый идалго был вынослив, переносил любые лишения; когда кончались ку-



ры, он спокойно жарил корабельных крыс, матросы обгладывали кожу с корабельной мачты, наконец, пекли блины даже из древесных опилок. Это была нация очень стойкая, красноречивая, воинственная, беспощадная, честолюбивая, считавшая себя непобедимой. Церковь постоянно внушала испанцам их превосходство над другими народами, презрение ко всем людям, в жилах которых не течет испанская кровь. Религиозный фанатизм был возведен в систему, и на улицах городов самые близкие друзья встречали один другого словами:

— Да пребудет тело Христово с нами...

. . . . .

Как я устал, как я хотел есть, как мне хотелось пить.

Вот, наконец, и Толедо! Даже камни забыли прошлое этого мрачного города, в который толпа нищих вливалась через Пуэрта-Дель-Соль (ворота солнца). Как и в давние времена, среди улиц металась речка Тахо, а земля в Толедо была почти пурпурного цвета, будто кровь еще сочилась с подземными водами, напоминая былые трагедии этого города. Нас, испанцев, спешащих на аутодафе, стороной обходили арабы-мориски, через щели оконных ставней на нас глядели запуганные евреи-мараны. Теперь древние синагоги Толедо служили складами торговцев, а в мавританских молельнях размещались конюшни испанцев.

Смешавшись с толпой, я пробился на площадь Кристо-де-ла-Вега, где готовилось аутодафе, чтобы потом с облегченным сердцем ринуться к столам, накрытым для нищих от имени короля. И все бродяги, в чаянии предстоящего веселья и будущей сытости, заранее проклинали мерзких еретиков, восхваляя доброе сердце короля. Лишь единожды услышал я недовольный голос:

— О, господи! Неужели нельзя голодных людей просто накормить? Почему прежде обеда мы должны падышаться смрадной копоти от горящего мяса?

Но из толпы ему отвечали насмешками:

— Эй! Ты, наверное, из глупой Валенсии, где живут простаки, которые почему-то не любят свежего жаркого...

Конец главы я решил дописать за Куэваса. Турецкие султаны всегда славились своими зверствами. Но они не преследовали людей за их верования или безверие. Как это ни странно, но свобода совести существовала во вла-

дениях магометан, где искали спасения не только евреи, но и христиане. А грозный султан Сулейман Великолепный даже писал папе римскому, спрашивая наместника божия: где же христианское милосердие твоей церкви, если от Христа заведено: «Все люди братья»?

## 7. ТЕПЕРЬ ВСТАНЬ И УЙДИ

Аутодафе в этот день предстояло великолепное.

Для сожжения заблудших в ереси заранее были сложены поленицы дров и большие кучи сухого хвороста. Над ними были укреплены «андреевские» Х-образные кресты, вымазанные ядовито-зеленой краской. Локтями и кулаками я протиснулся вперед, чтобы лучше видеть галерею для знатных гостей, общество которых украшал своим присутствием сам великий король.

Филипп II сидел в кресле на особом возвышении и, как всегда, мерзнул, очевидно, надеясь согреться возле костров. Возле него расположились две придворные красавицы — одноглазая Анна Эболи, дочь перуанского вице-короля, и знатная сеньора Изабелла Оссориа. Прямо под ними, закинув лица черными капюшонами, собрались безымянные судьи Санта-Оффициа (священного трибунала), державшие в руках громадные зажженные свечи. В публике призывали болтунов к молчанию, чтобы своими криками и шутками не мешали выслушивать приговор о винах еретиков:

— Тише, тише! Неужели вам это неинтересно?..

Конечно, было интересно знать о хитрых кознях, на какие способен дьявол. Один еретик сам разоблачил себя, в великий пост с аппетитом поедая ветчину с луком. Подвергнутый пытке, он не сознался в лютеранской ереси, но благочестивый сосед донес на него, что однажды видели, как он мочился на стену церкви. Среди приговоренных к смерти был и деревенский дурачок-гермафродит, при создании которого дьявол показал, на что способна его фантазия. Поодаль высился отдельный помост для еретиков, наряженных в «санбенито» — длинные желтые балахоны с крестами на груди и на спине, разрисованные языками огня и фигурами бесов. Головы осужденных покрывали высоченные «кароча» — колпаки из бумажного картона, на которых изображены чертики и дьяволята, пляшущие от пекывалого восторга.

Инквизиторы разом задули свечи и удалились.

— Начивается, — горячо зашептали зрители.

Сначала палачи со своими учениками-подмастерьями удивительно ловко передушили всех тех, кто пакануне казни покаялся, это была особая милость, присущая той сострадательной церкви, а я невольно подивился той быстроте, с какой человек из живого становится дохлым. Первым подожгли хворост под гермафродитом. Ох, как тут все обрадовались, когда он завопил, охваченный быстрым пламенем. Гнев божий поражал сегодня сразу восемь морисков, втайне чтивших своего Аллаха, двух молоденьких евреек и дряхлого раввина из Гренады; палачи влекли на костер пожилую обморочную канониссу кармелитского монастыря, которую по ночам навещал красивый юноша, искусно прятавший под париком рога дьявола-искусителя.

Среди еретиков был сегодня и один нераскаявшийся лютеранин, немецкий офицер из Голштинии, живший в Толедо ради любви к местной красавице. Помню, как этот лютеранин, проходя на костер мимо короля, крикнул ему на чистой латыни:

— Скажи, за что ты караешь? Неужели под этим небом человек не вправе сам избрать себе бога? Какая польза тебе, королю, если я сейчас превращусь в горсть щепла?

Несмотря на вопли сгоравших еретиков и треск пламени, я хорошо расслышал его слова и ответ ему короля:

— Ступай на костер, глупец! Если бы сейчас на твоём месте оказался мой сын Дон-Карлос, я бы всю ночь трудился, таская хворост для очищения его священным огнём...

X-образные кресты корчились в пламени.

И, привязанные к этим крестам, орали еретики...

Толпа даже подалась назад, сама ощутив жаркое пламя.

Небывалый восторг овладел мною от праздничного зрелища, криков ужаса и радости, от пения церковных хоралов, возносимых монахами к небесам, от этого дыма с запахом горелого мяса, а волосы колдуний вспыхивали разом, как факелы. Старый раввин, с обугленными уже погами, еще хрипел дыркою рта:

— Schema Israel... Schema Israel (слушай Израиль)!

Все проходило замечательно, доставляя нам возвышенную радость. Но вдруг один из еретиков, когда огонь спа-

лил веревки, привязывавшие его к «андреевскому» столбу, кинулся прочь из пламени — прямо в толпу, крича:

— Сам господь не желает смерти моей!

Но его тут же схватили, и королевские стражники алембардами загнали в пламя костра, призывая:

— Умри, как велено священным судом...

В небывалом упоении я невольно бросился к костру, на котором корчился немец из Голштинии, и стал подкладывать под него свежий хворост, чтобы костер разгорелся жарче. Меня тоже опалило священным огнем, и я не раз восклицал:

— О, мать божия! Видишь ли усердие мое?

И тогда из пламени мне отвечал еретик:

— Почему ты, испанец, такой глупый? Разве не прав наш германский Лютер, что у бога не может быть матери?

Я не успел даже осмыслить сказанное мне, ибо тут же был грубо схвачен двумя здоровущими альгвазилами, которые и потащили меня к трибуне. Я увидел перед собой короля, при этом был строго предупрежден, чтобы не смел переступить больше восьми шагов до его величества.

Упав на колени, я уже не поднимался.

Над креслом короля склонялись две красавицы, а силуэты их фигур напоминали два конуса — столь широко раскинулись платья, расширенные книзу необъятными подолами. Только сейчас я разглядел, что парча одежды Филиппа была обшита капающими слезами, а в этом слезном дожде красовались изображения черепов и угасающие склоненные факелы.

Страшно кричали на кострах еврейки с морисками!

Жесткая фреза на шее Филиппа, мелко сплоенная, была столь широкой, что голова короля издали казалась как бы отрубленной, лежащей отдельно от туловища на широком и очень красивом блюде. Он обходился в речи без жестов, только очень быстро двигались желтоватые белки его глаз.

— Я, — сказал король, — отлично видел, с каким рвением ты кидал хворост под стопы еретика... Назови же себя!

— Хуан-Гарсиласо, — назвал я королю, — из рода ли-Лопес-дель-Мальгрива-Акунья-и-де-Куэвас, что в Каталонии.

Вопли казнимых усилились. Филипп II спросил:

— Скажи, идальго, на твоём лице загар солнечный или в твоих жилах есть примесь крови мавров с евреями?

Я разодрал на себе рубаху, обнажив белое плечо:

— Я чистокровный идалго, испанец, король. Мечи моих предков затупились на шейх мавров, евреев и пещивых!

Принцесса Эболи и графиня Оссорио, колыхая черными опалами, отмахивали от себя зловонный дым, Филипп II, не поворачивая головы, что-то буркнул ассистенту, и тот спустился по ступенькам ко мне. Им было сказано:

— Ты еще слишком молод для оруженосца, но его величество, уступая просьбам знатым дам, согласен припять тебя в носильщики паланкина королевы Изабеллы... Теперь встань и уйди!

Аутодафе закончилось. У одного мориска от нестерпимого жара с треском лопнула кожа, и огонь жадно облизывал его внутренности, выпавшие из чрева. Обугленные ноги женщин, еще недавно такие стройные, теперь, дымясь, двумя черными столбами погружались в самое пекло. Но этот проклятый еретик из Голштинии все еще жил, и, задирая лицо к небу, он обгорелыми губами еще хватал в дыму, силился глотнуть чистого воздуха.

— Будьте прокляты... вы... все вы — ГАБСБУРГИ!

.....

Толпа нищих и бродяг, затапывая слепцов и паралитиков, уже ринулась к столам, накрытым ради бесплатного обжорства, а я... Я остался посреди площади, еще не веря своему счастью. Но тут какой-то сеньор взял меня за руку и молча отвел на королевскую кухню, размещенную в старинном погребе.

— Эй! — повелел он. — Тащите сюда все объедки...

У меня бы тогда не повернулся язык назвать объедками все то, что осталось после завтрака королевской свиты. Как сейчас помню, я долго возился с громадным куском мяса, опорожнил большую тарелку салата из крапивы, сдобренного цветами фиалок, потом королевский повар швырнул передо мною грудку костей, наказав высосать из них остатки жирных мозгов, и все это я проделал, обостряя свой вкус испанским хреном, имбирем из Мекки и перцем из Малабары...

Потом меня приодели. Длинные красные чулки обтягивали меня снизу до самого паха, невольно выделяя контуры моей фигуры, шею обвила пышная горжа из меха русской куницы, а голову я покрыл бархатным беретом с

длинным пером африканского страуса. Двор собирался в Эскуриал, а мне (как и другим подобным идалго) предстояло нести королеву, которой я никогда еще не видел. Накануне путешествия меня отозвала в сторону старая гофмейстерина — с наказом:

— Помните, что особа монаршей крови священна, прикосновение к ее телу карается. Недавно королева выпала из седла во время охоты. Паж хотел высвободить ее ногу из стремени, но увидел у королевы именно то, чего видеть посторонним нельзя. Палач недолго трудился над его тонкой шеей...

Мне стало даже страшно, и я спросил:

— А если королева сама дотронется до меня?

— Ей никто не отрубит голову,— последовал ответ...

Королева спустилась на двор. На плече ее сидела гибралтарская обезьянка-магота и мелкими зубами что-то выкусывала из ее пышной прически. Четвертая по счету жена Филиппа II, краснощекая и здоровенная Елизавета Валуа была француженкой. Заметив нового носильщика, она мягкими пальцами вздернула мне подбородок, заставив поднять на нее глаза.

— У тебя, дружок, длинные ресницы. Зачем тебе таскать паланкин с такой грешницей, как я? Лучше я сделаю тебя своим пажем.— Но, узнав, что я каталонец, она резко отдернула руку.— Жаль, что ты не из Кастилии или Толедо...

Правда, что каталонцев остерегались, ибо, черечур вспыльчивые, они слишком часто хватались за навахи, и я вдруг ощутил свою непригодность при дворе. Длинный шлейф, словно змея, очень долго тянулся за Изабеллой, укрывшейся в паланкине. Лакеи захлопнули за ней дверцу, мы дружно вскинули ручки паланкина на плечи и зашагали прочь из Толедо. Дорога не была легкой, я задыхался в своих новых одеждах, столь непохожих на прежние тряпье бедного идалго. Обливаясь потом, я изнемогал под тяжестью паланкина, в котором, раскрыв рот, как деревенская девка после покоса, крепко спала королева с любимой обезьяной. И разве я мог думать тогда, что цари и царицы будут до земли кланяться мне и лизать прах ног моих, что буду насыщаться молоком народов земных и стану я сосать груди царские...

— О, святая дева Мария, ты и далее не оставь меня! Какой долгой и трудной была дорога до Мадрида...

Далекie отзвуки Ливонской войны еще не коснулись

бестрепетного сердца королевского Эскуриала, и что, спрашивается, Мадриду какая-то бюргерская Нарва, какое дело **испанцам** до того, что русские ограбили земли дерптского епископа?

Но именно в том году, когда возникла Ливонская война, скончался германский император Карл V — отец испанского короля Филиппа II, и вот ему предстояло возлежать в гробнице Эскуриала, куда сваливали всех Габсбургов.

На время забудем 1558 год, чтобы вернуть свою память в год 1985, год недавний, для нас близкий.

Европа отмечала мрачный юбилей — 400 лет со дня смерти императора Карла V; в столицах состоялись научные симпозиумы, историки ФРГ говорили о Карле V как о «первом гражданине объединенной Европы», в которой император путем завоеваний желал бы стереть все границы, разделяющие людей по национальным признакам, дабы все европейцы имели одного бога и одного императора. Дело о размытии границ, затеянное императором Карлом V, ради покорения всех народов, было продолжено...

Его продолжил Наполеон, а затем и Гитлер!

## 8. ОСКУДЕНИЕ

Если великая Испания скудела, сидя на золоте, то Русь-матушка тощала на пустом месте, медному грошику радуясь. Король Филипп II кормил оравы своих пищих, а царь Иван Грозный не знал, чем кормить их. Когда от бродяг, моливших о **подавании**, стало невмоготу, царь объявил на Москве, что **завтра** станет раздавать всем нищим щедрую милостыню.

Слово царское сказано — так тому и быть!

Толпа голодных людей с утра раннего заполнила Красную площадь в чаянии долгожданного кормления. Но царь, поглядывая из окон теремов, не спешил покрывать столы:

— Пусть людишек поболее набегит, тогда и начнем...

Когда на площади негде было яблоку упасть, тогда и началось угощение от щедрот царевых. Выскочили из ворот Кремля стрельцы да стражники, саблями, дубинами и топорами быстро убили тех, что помоложе да поздоровее, оставив в живых только немощных старцев. Вот им,

убогим, царь-батюшка в милостыне не отказал, всех одели по-христиански и велел за него, грешного, богу молиться. Для этого стариков распахали по монастырям, чтобы жили там «лежнями» и, сытые, смерти выжидали...

Это было тоже «аутодафе», только па русский лад!

.....

— А пролитая кровь будет пролита не ради нашей, но ради вашей неправды,— угрожал Иван Грозный Ливонии...

При овладении Нарвой его войска взяли 230 пушек, а когда капитулировал епископ Дерпта, русским достались еще 552 орудия,— по тем временам это были богатые трофеи! Зато вот воеводе П. Шуйскому Ревель не покорился; его жители просили Данию принять их в свое подданство, благо предки ревелцев уже бывали под властью датской короны (Таллинн же по-эстонски значит «датский город»). Но король датский, как и шведский, оба уже старики, вдоволь навоевались, и теперь не желали впутываться в дразги Ливонского ордена, тем более, что русские осенью убралась к себе по домам, и война, казалось, затихла...

Орденского магистра Фюрстенберга навестил орденский маршал Готард Кеттлер, закованный в панцирь.

— Теперь всю зиму русские проваляются в своих деравнях на печах,— сказал он, громыхнув мечом.— Все мои чаяния едино лишь на помощь Литвы и Польшы, но король Сигизмунд-Август выжидает, и на все вопросы моих гонцов у него готов всегда один и тот же ответ: «Все дела — завтра...»

— Я уже стар и немощен,— отвечал Фюрстенберг,— и мое больное сердце чует, что слава ордена меченосцев померкла, как догоревшая звезда на утреннем небосводе.

Фюрстенберг сказал, что он уже не в силах справиться со своим рыцарством: разбежавшись по лесам, они теперь соединяются в шайки, чтобы грабить беженцев на дорогах.

— Надеюсь,— зловеще усмехнулся Кеттлер,— они не забывают делиться с вами своей добычей, а вы не забудьте поделиться со мною теми дукатами, что собрали в Дерпте для царя Иоганна...

Разругавшись с магистром, он собрал ландскнехтов, которые разбили русский гарнизон в Рингене, затем немцы вошли в русские просторы, сожгли монастырь и посад



в окрестностях Пскова, после чего убрались обратно. Фюрстенберг сказал Кеттлеру:

— Царь Иоганн, зверствуя у себя дома, во владениях Ордена еще не пил крови младенцев, он еще не вскрывал утробы женщин, и потому наши рабы, латыши и эсты, хотя его власти. Но я боюсь,— заключил Фюрстенберг,— что своим набегом на Русь вы, Кеттлер, раздразили зверя. Теперь следует ожидать мести.

— Не раньше весны! — отвечал Кеттлер.— А до весны Ливония и города ее успеют найти союзников в Европе...

Поход 1558 года возглавлял татарский хан Шиг-Али, а весной следующего года, как бы в отместку за набег Кеттлера, царь наслал на Ливонию громадное войско, в котором русские даже терялись среди множества татар, чувашей, ногаев, мордвы и черемисов. Все это разноликое и разноязыкое воинство вдруг появилось под Ригой — совсем неожиданно. Рижский архиепископ Вильгельм Гогенцоллерн приказал выжечь все форштадты, пе жалеть садов и огородов. Все вокруг запылало, над крышами домов летели тучи татарских стрел, когда архиепископ созвал в замке совещание — как быть?

— Я не знаю,— подавленно отвечал Фюрстенберг.— Но я не одобряю маршала Кеттлера, желающего, чтобы на руинах наших древних замков восторжествовали польские Ягеллоны.

— Ягеллоны невечны,— заострил разговор архиепископ,— у короля Сигизмунда нет потомства. Пока мы тут сидим в осаде, барон Христофор Мюнхгаузен, епископ Курляндии и Эзеля, уже торгуется с Данией, чтобы подороже продать земли и острова своего епископства датским королям.

— Нет уж! — возразил Кеттлер.— Пусть только отвалится от стен неприступной Риги эта азиатская орда, насланная сюда варварской Московией, и я сам поеду просить короля Сигизмунда о вечном союзе нашего Ордена с Польшей, пусть наша Ливония станет вассальна, как вассальна ей и немецкая Пруссия. Наконец, я осмеюсь написать венским и даже испанским Габсбургам, что Нарва — это был глаз Европы, приставленный к Московии, и с потерю этого глаза Европа окажется в слепоте, не в силах узнать, что там делают эти коварные русские...

Армия царя, не взяв Риги, снова удалилась в Россию, и тогда Кеттлер, согласный на все, отъехал в Польшу. Но

датский король опередил его, прислав в Москву дипломатов, которые просили царя Ивана не беспокоить Ревель, не угнетать Ливонию. Отвечая датчанам, царь с нарочитым смыслом Ревель именовал Колыванью, а немецкий Дерпт называл русским Юрьевым.

— Мы датского короля от своей любви не отставим, — говорил Иван Грозный. — Дабы не было ему лишней печали, я жалую ливонцев перемирием с этой весны и до поздней осени...

Желая удружить «королю соли и воды» (как называли в Москве датского короля), Иван Грозный допустил промах, который позже отзовется многими казнями для невинных и всемирным позором для него, с ног до головы виноватого. Алексей Адашев, ведавший Посольским приказом, увлекал политику Руси в проверенное битвами русло древней политики Руси, его брат Данила Адашев уже громил крымские улусы, дабы наказать Девлет-Гирея за его прежние разбои на юге страны. Но царь видел себя в венце европейской славы, и перед ним лежали планы ливопских крепостей. Адашев же, человек горячий, развертывал перед ним свиток карты загадочной Сибири, говорил убежденно:

— Земель-то вольных и богатых вот где бы нам поискати! Сибирский князь Едигер сам лезет в подданство ваше московское, обещает с каждого тобольского татарина собрать по белке и по соболю. Эдак-то с такой дани мы в Европе торговать станем мехами так, что Ганзейские города от зависти почернеют.

— Едигер-то прислал мне всего семьсот соболей.

— Так и верно! — говорил Адашев. — Еще бы ему Сибирь разорять, ежели вы его посла в погреб посадили, измучив...

Исторически они ошибались оба — и Адашев, желающий разорить Крымское ханство, не имея флота на Черном море, и сам царь, раньше срока залезавший в Европу, давно искушенную в таких вывертах политики, какие царю и не снились. Пока они там беседовали, в Вильне состоялась встреча короля Сигизмунда II Августа с Готтардом Кеттлером.

После ужасной смерти Барбары Радзивилл, отравленной матерью Боной Сфорца, «король-завтра» впал в унылое пьянство, меланхолик, погруженный в уныние, он не скрывал тревоги за будущее Польши, которое растворялось в неясных фантазиях короля:

— У меня остались две незамужние сестры — Анна и Екатерина, уже стареющие, от выбора их женихов зависит печальная судьба короны Ягеллонов. Вы желаете, чтобы я включил ваш Орден в свою королевскую клиентуру? О том же просит меня и рижский архиепископ. Между тем, герцог Магнус, брат датского короля, уже готов владеть островом Эзель... Боюсь, — поехался король, — что в Ливонии сейчас завязывается такой Гордиев хитрый узел, который можно будет разрубить только ударом меча...

— Меч в моих руках! — заявил Кеттлер. — Только объявите власть своего протектората над землями Ливонского ордена.

— Но где же мнение магистра Фюрстенберга?

— Фюрстенберг выжил из ума, рассчитывая на помощь германских князей, но с них и дохлой крысы не получишь.

Вернувшись в Ливонию, когда леса ее уже пожелтели к осени, Кеттлер первым делом повидался с Фюрстенбергом, который гостил под Ригою в старинном рыцарском замке Кокенгаузен.

— О чем вы договорились с королем?

Кеттлер, не снимая перчаток, протянул руки к камину, в котором с треском разгорались дрова.

— О той дороге, по которой вас повезут на кладбище. Обещаю вам сигналить в рожок и обставить процессию факельщиками...

Своей наглостью Кеттлер вынудил Фюрстенберга отказать от чина магистра, и сам возглавил Ливонский орден, уже издыхающий, словно гадина, попавшая под колеса телеги. Кеттлеру было тогда лишь сорок лет, и он еще не знал своего будущего, которое отзовется в его потомстве... Между тем, Сигизмунд II, сделавшись протектором Ливонии, сдержал слово, данное Кеттлеру, и его посол в Москве объявил Адашеву:

— Все поляки жаждут войны с вами, и только один наш король хочет сохранить мир. Ради этого желательно, чтобы ваш государь не забирался в Ливонию, ставшую нашей клиентеллой.

— Диву даюсь! — отвечал Адашев. — Какую протекцию Ливонии вы оказать можете, если по давним договорам епископ Дерпта с каждой головы по гривне платить нам дань обязан был...

Иван IV писал Сигизмунду: «Тебе хорошо известно,

что Ливонская земля от предков паших... платила нам дань». Сигизмунд отвечал царю с немалым смыслом: «Ты называешь Ливонию своею. Но как же дед твой люто воевал с ливонцами до перемирия? Какой же государь с подданными воюет и мир с ними заключает?..»

На подобный вопрос ответить было уже очень трудно.

Но «ливонский вопрос» уже отозвался на берегах Дуная, где в Вене правил Фердинанд I из Габсбургов, брат германского императора Карла V и сам император. Осенью 1559 года, когда заканчивался срок перемирия в Ливонии, он послал в Москву своего дипломата Иеронима Гофмана, чтобы воздействовать на царя Ивана Грозного в духе примирения с переходом Ливонии под влияние польского короля. Гофмана встретили в Москве очень хорошо и с почетом, а царь велел спросить у него, какие подарки привез он из Вены? На это Гофман ответил, что, кроме вверительных грамот, ничего не имеет. По московским же понятиям посол — не посол, ежели явился с пустыми руками.

Иван Грозный не хотел верить в такое:

— С первого раза, видать, отдавать не хочет...

Снова явились к Гофману с вопросом: если ваш император не шлет подарков, так, может, ты сам подарки привез, чтобы угодить высокой царской милости? Гофман отделался незнанием московских обычаев и говорил он так:

— Знай я порядки ваши, от себя бы привез...

Царский титул Ивана IV в Европе не признавали, и царь был возмущен, что в грамоте Фердинанда I его титуловали лишь «великим князем московским». Гофман оправдывался:

— Как же я могу по своей воле титуловать великого князя императором Руси, если он таковым нигде не считается?..

Посла вместе с его слугами и переводчиком посадил под замок, два дня не давали есть и пить, но терзали страхами:

— У нас таковые, как ты, послы подолгу сживали без хлеба, пока не старались радовать царское величество. Коли попался без подарков и без титула, так и заморить можем...

Гофмана предупреждали, что если титулует царя как падо, «он даст мне в подарок собольих, кушых и рысьих

мехов и всего, что я пожелаю... по истечении 8 дней меня отпустили».

Читать доклад Гофмана о его посольстве интересно...

Наблюдая за шашнями своей матери, сам развращенный боярами, царь Иван начал беспорядочную половую жизнь с 13 лет; тогда же он свершил и первую казнь, застрелив человека медведями. В холостой жизни он менял женщин одну за другой, перебрав около четырехсот наложниц. Задумав жениться, Иван прежде устроил венчание на царство, а в жены выбрал тихую и добрую Анастасию Романовну Копкину-Захарьину. Царское и брачное венчание прошло в зареве загадочных пожаров, Москва горела, горел и Кремль, рвались арсеналы с порохом, и эти пожары, казалось, освещали будущее правление Ивана Грозного.

— По грехам моим горела Москва, — говорил он.

Став мужем, царь изменился. Анастасия отвращала его от жестоких забав, в Кремле не слышалось сражных песен. Царь вроде бы подобрел, выпускал из погребов узников, раздавал нищим милостыню, ездил на богомолье. Но тихая семейная жизнь недолго утешала молодого царя, снова начались шумные трапезы с бесстыдными девами, скакали шуты и скоморохи, выкрикивая похабные прибаутки... Снова начались казни.

В 1554 году Анастасия родила сына Ивана, а через три года подарила дому Ивана Калиты хилого сына Федора. Мать двух наследников престола, Анастасия, казалось бы, упрочила свое положение при дворе, но влияние ее на царя уничтожилось в буйных оргиях и потехах. Летом 1560 года царица с мужем отправилась в Можайск на богомолье. Царственную чету сопровождал Алексей Адашев, развлекавший царицу европейскими новостями:

— Сказывали мне люди езжалые, что Мария Тюдорша, королева аглицкая, баба зловредная, дух свой испустила. Была она, кровопийца, первой женицей Филиппа испанского, который недавно в Мадриде тоже начудил. Сына своего Дон-Карлоса хотел женить на Елизавете Валуа, но потом сына отставил и сам женился на ней, отчего Дон-Карлос совсем помешался.

— И не стыдно им, греховодникам? — истово перекрестилась Анастасия. — Что еще знаешь, Алексей Федорович?

За лесами показались златные главы Можайска, карету — царицын возок трясло и качало на ухабах. Царь молчал.

— Еще вот что слышал... По случаю свадьбы Филиппа с Елизаветой в Париже турнир устроили. Отец невесты, король Генрих Второй, вызвал на драку благородного рыцаря графа Монтгомери. Сшиблись они на лошадях и сломались копыя. Но обломок копыя графского разбил забрало на шлеме короля и вонзился прямо в глаз ему. Так и повалился с лошади...

— Не живется, — кивнул Адашев. — Хирурги же взяли из тюрьмы пятерых узников и каждому тоже всадили в глаз по обломку копыя, а потом ковырялись в черепах, дабы научно вызнать, каково лучше короля излечить. Пока они там мозги потрошили, король Генрих и умер, так что, государыня моя пресветлая, теперь королева Екатерина Медичи во вдовстве осталась...

Иван Грозный, поглядывая в окошко кареты, мрачно помалкивал. Его заботило иное. Под стенами Ревеля войска русские успеха не имели, сражаясь с корпусом «цварценгейптеров» (черноголовых рыцарей). Иван сумрачно сообщил Адашеву:

— Устал я от баев европейских. Новая беда Русь постигла: татары крымские под Каширой явились, женок и детишек в полон угоняют, немало нашего мужичья побили...

Адашев сказал, что тут не до богомолья:

— Скорее коней обратно на Москву заворачивать...

Царицу одолел страх, она внезапно заболела, занемогла и, проболев три дня, 7 августа 1560 года скончалась. Горе царя было велико, историки пишут, что Иван рыдал при ее кончине, убивался. Я, простите, не слишком-то верю в любовь Ивана Грозного к Анастасии. Если бы он так уж сильно горевал, так через восемь дней после ее кончины не объявил бы:

— Всегда ли мне плакать? Не повредить бы здоровья моего драгоценного. В утешение скорби своей хочу жениться...

Снова пошли чаши по кругу, в окружении вдового царя пристойность считалась непристойностью. В пьяном угаре, быстро забыв Анастасию, царь не забывал о политике:

— У короля польского две сестрицы в девках засох-

ли. Слать бы послов, дабы высмотрели, какая тельна да пригожее? Женись я на Екатерине Ягеллонке, тогда всю Литву заберу в приданое, да и королю корону Ягеллонов подыму из грязи шляхнетской, чтобы над моей головой она воссияла...

К нему в покои тихо проник воевода Алешка Басманов, полководец храбрейший, усердник хвастливый, человек вкрадчивый, царя понимавший, и стал Басманов нашептывать:

— Нешто верить нам, рабам твоим, что Настасья, юница чистая, умерла, едино татар у Каширы испугавшись. Уж ты, государь, сам реши — нет ли колдовства тут какого? Ты вот Алешку Адашева из гнили ничтожества наверх вздымал, вместе до Можайска молиться ездили, так не он ли яду подсыпал?..

Пальцем — ласково — Басманов тронул царя за плечо:

— Оглядишься вокруг: кто радуется — не враг ли твой, а кто печалуется — не худое ль замыслил против тебя? Эдак и тебя со свету сживут. Братец твой двоюродный, князь Владимир Старицкий, уж на что в битвах горяч, столь доброхотен к сирым да убогим... неспроста! Наверное, во сне он себя шапкою Мономаха накрывает. Остерегись, государь великий...

Царь не казнил Адашева, оставив его в подозрении, и сослал его в Ливонию, чтобы ратными делами утрудиться. Вряд ли царь верил в то, что Адашев сгубил царя, скорее, они супротивничали в делах политики — куда идти бедной Руси, в какую сторону? Кучума воевать в Сибири, бить в Крыму хана Девлет-Гирея или в Ливонии растекаться войсками по дорогам?..

## 9. ХАМОВО ОТРОДЬЕ <sup>7</sup>

Придворные генеалоги выводили происхождение Габсбургов от библейского Хама, сына Ноева, и потомство Хамово долго занимало в Европе два самых великолепных престола: испанские Габсбурги сидели в Мадриде, германские прочно осели на берегах Дуная, и влияние этого хамского отродья распространялось вширь — на множество миллионов покоренных ими народов.

Много лет соприкасаясь с династией Габсбургов, я сложил мнение, что все они непорядочные дегенераты. Помимо религиозной экзальтации, всевышний наградил

их всеми признаками вырождения и, не будь они Габсбургами, им бы всем надо было сидеть на цепях в бедламе, а не управлять народами. Сейчас уже не исчислить десятков миллионов людей, погибших и замученных в пытках, только потому, что в мире существовали эти изуверы.

Попробуем заняться генеалогией этих выродков...

. . . . .

Хуана Безумная, королева Кастилии, была женой Филиппа Красивого, который и принес к ее ногам Нидерланды — богатейшую страну с активным трудолюбивым народом. Хуана обрела безумие от любви: поначалу она избивала каждую женщину, с которой муж поговорит, а потом, не вытерпев ревности, подсыпала ему яду. Духовник сказал ей, что Филипп невиновен, а через 14 лет воскреснет для новых наслаждений. Хуана выкопала его из могилы и уложила в стеклянный гроб. Она любовалась мертвым красавцем, покрывая его труп ласками. Боже упаси, приблизиться какой-либо женщине:

— Прочь, блудницы! — кричала спятившая королева.

Как только наступала ночь, Хуана Безумная отправлялась в дорогу, освещаемую факелами, перетаскивая останки мужа с места на место. Прошло 14 лет, чуда не случилось, и тогда королева впала в буйное помешательство. Она сделалась опасна для людей, ее заточили в башню, где она и сидела 36 лет, предаваясь ужасным сумасбродствам, умерев в 1555 году — решающем году для ее сына...

Этим сыном и был «первый гражданин» Европы, который, всю жизнь кочуя из страны в страну, тоже таскал за собою гроб — для себя! Карл I — король в Испании, он же Карл IV — король в Сицилии, он же Карл V — император «Священной Римской империи» (то есть Германской). По сути дела, в одном человеке совместились владыка почти всей Германии, Австрии, Нидерландов, Испании, Люксембурга, почти всей Италии и Американских владений за океаном, включая Мексику и Перу.

— Над моей империей никогда не гаснет солнце, — возвещал он, не забывая добавить «Plus ultra» (Хочу больше!).

«Plus ultra» хотелось извергу, воевавшему со всем миром. В его войсках служили отпетые мерзавцы и отбросы общества, в основном швейцары, испанцы и немцы, которые все время бунтовали, и потому возле своей ставки Карл V всегда устраивал «живодерню»: помост с висели-



цей и чурбан для отсечения голов. Чтобы утихомирить немцев, император вешал парочку испанцев, а чтобы не шумели испанцы, он отрубал дюжину крепких тевтонских голов. Так поступал «первый гражданин» Европы, который сам не был ни испанцем, ни немцем, а просто... Габсбургом!

Карл V высаживал галдящие от восторга десанты своих убийц даже в Алжире и в Тунисе,— он помешался на создании всемирной империи, чтобы властвовать до ледяной Патагонии и в жаркой Африке, которую уже огибали его каравеллы. Этот жестокий, ненасытный, молчаливый и бледный ханжа, похожий на загробное привидение, целиком выпел из потемок Средневековья, а эпоха Возрождения коснулась его зловещего облика только кистью великого Тициана, писавшего его портрет на коне — победителем при Павии, где он пленил Франциска, короля Франции...

Римский папа Климент VII (из рода Медичи) боялся всемогущего деспота, а Карл V не был уверен в папе. Во избежании всяческих сомнений, император в 1527 году обрушился на Рим!

Его солдаты вырезали половину города, весь Тибр был доверху завален мертвецами. Прекрасные дворцы и памятники искусства были повержены. Разбойники осквернили не только женщин, но даже детей. Женские монастыри они превратили в казармы, предав насилию даже престарелых монахинь. Ландскнехты «первого гражданина» Европы ножами отрезали римлянкам носы, а уши отрывали клещами; раскаленными прутьями они выжигали глаза детям...

В этот момент здоровенный ландскнехт, волоча за волосы окровавленную женщину, добродушно спросил Карла V:

— Научи, как отличать католика от еретика?

Ответ императора уцелел для истории:

— Убивай всех подряд! А когда мертвые соберутся на том свете, господь сам рассудит, кто прав, а кто виноват..

Участник римского погрома Себастьян Шертлин радостно вспоминал: «Мы разграбили весь Рим; мы во всех церквях и, где только можно, забрали все, что нашли; едва ли мы пощадили хоть один дом... в узком зале мы нашли самого пану и 12 его кардиналов, все они плакали, а все мы сразу разбогатели». Среди пьяной солдатни слышались призывы:

— Изберем нового папу — Антипапу Мартина Лютера!

Франц Меринг считал, что это «грубая шутка, однако бросившая луч света среди царившего вокруг ужаса». Но я думаю, что шутки плохи, ибо среди ландскнехтов Карла V было немало и лютеран (еретиков). Когда надо грабить, тогда вопросы религии забывались, и бог становился един для всех...

Климент VII смиренно предстал перед победителем, благословив для него еще две короны — римскую и ломбардскую.

— Я рад, — отвечал Карл V, — что вы распознали мои благие намерения. Если зараза лютеранства уже объяла Германию, то в Италию она не проникнет, ибо я показал свой гнев! А вам, как Медичи, я — так и быть — возвращу Флоренцию...

Обменялись коронами, словно подарками. Оставив Рим в дымящихся руинах, император удалился, не забыв прихватить в дорогу свой гроб. В год смерти Хуаны Безумной он передал сыну, испанскому королю Филиппу II, управление Нидерландами, а сам решил устроить себе похороны при жизни. Сложив с себя регалии власти, Карл V скрылся от мира в монастыре св. Юста, не уставая бичевать свое хилое тело хлыстом из бычьей шкуры, наглядно показывая монахам силу своей веры:

— Смотрите, как надо увеселять Иисуса Сладчайшего!

Затем лег в гроб, велел накрыть его саваном. Началась погребальная служба, во время которой он подпевал монахам.

— Плачьте! — взывал он из гроба. — Великий император покидает этот мир, не успев уничтожить миллионы еретиков...

Его окропили святой водицей, как мертвеца перед отбытием в могилу, после чего император сел в гробу и сказал:

— Думаю, теперь можно поужинать...

Через 22 дня после этого гнусного маскарада он умер.

После него осталась гигантская «Священная Римская империя», которая не была священной, не была римской, и эту великую империю успешно развалил в 1860 году Наполеон. Но я понимаю, почему в 1958 году Европа чествовала загробную тень Карла V: ведь он был предтечей создания в Европе НАТО.

.....

Хамово отродье в Вене продолжил Фердинанд I, а в Испании король Филипп II, имевший сущую ерунду — всего 23 короны.

Невозмутимо жестокий, вероломный и подозрительный, он, подобно ядовитому пауку, протягивал мохнатые лапы во все столицы мира, желая всюду расставить виселицы, везде распалить до небес костры, чтобы уничтожить инаковерующих, и при этом никогда не терял хладнокровия, одинаково равнодушно воспринимая радость или несчастье. Сила этого мракобеса заключалась в его удивительном спокойствии. Ничто не могло вывести его из состояния величавой торжественности. Даже когда он узнал, что «непобедимая армада» целиком поглощена морем, он вяло заметил:

— Я посылал свои корабли наказать еретиков в Англии, но совсем не для того, чтобы они боролись с бурей на море...

Не знаю, испытывал ли он страх, но, думаю, именно это паршивое чувство заставило строить Эскуриал, неприступный, как крепость, пожалуй, именно страх побудил короля искать новую столицу в центре набожной Кастилии — в безводном Мадриде, где нищие воровали воду вместе с кувшинами. Воду они сразу выпивали, а кувшины меняли в ближайшем трактире на миску гороховой похлебки. Филипп II явно был опечален:

— Мне, как и Христу, суждено умереть среди воров и разбойников, между которыми и распяли Спасителя нашего...

Набожный скряга, он в проявлении чужого ума видел только оскорбление престижа королевской власти. Зато при встрече священника, несущего святыне дары, Филипп II выходил из кареты и, не взирая на грязь дороги, повергался ниц, прося благословения. Любого монаха он выслушивал, как мудреца, но отвергал все советы кортезов (депутатов), и скоро в Мадриде уже не оказалось людей, которые бы желали давать ему советы.

У него не было даже министров, а только секретари, которым он неустанно диктовал, что надо сделать, а чего делать не следует; это был крайний абсолютизм, доведенный уже до абсурда. Когда Филипп II разъезжал по стране, за его каретой мулы тащили громадные возы с бумагами и доносками, ожидавшими королевской резолюции. Если в Испании все хотели поесть хотя бы один раз в день, то «непобедимая армия» чиновников алчно пожирала ос-

татки испанского богатства. Где царит деспотия, там привольно размножается бюрократия. Испания изнемогала от такого засилия судей, прокуроров, нотариусов и адвокатов, что, казалось, в Испании половина людей — это подсудимые, а другая живет для того, чтобы осудить их...

По примеру отца, Филипп II завел себе гроб, и сам принадлежал не живым, а мертвым:

— Лучшие поучения в мудрости исходят из глубины могил.

Уединяясь от людей, недоступный народу, как бог, Филипп II с ожесточением бичевал себя, не сводя глаз с картины Иеронима Босха, изображавшей немислимые муки грешников на том свете. Ледяной холод исходил от короля, все замолкали и никто не смел улыбнуться, когда появлялась его невзрачная фигура в черных одеждах, с лицом без мимики, но с быстрым движением зрачков в тусклых, как у дохлой рыбины, глазах.

— Дамы и кавалеры могут танцевать и при мне.

Но танцевать уже не хотелось. Король постоянно мерзнул, кутаясь в меха, которые поставляли ему ганзейские купцы, закупавшие соболей и горностаев в дикой Московии.

— Какие холодные ночи в Мадриде, — жаловался он. — Одна лишь королева может согреть мою стынущую кровь, и это нужно для моего здоровья, для сохранения истинной веры в мире...

Ближе к ночи Эскуриал слышал выкрики стражей:

— Король идет к королеве! — звучало в глубинах замка. — Король прошел к королеве! — отзывалось эхо из горных ущелий, где клубятся туманы и ползают разные гады...

Хамово отродье несло в себе зародыши вырождения и деградации. Визитируя королеву, согревавшую его, король обрел сына, будущего Филиппа III, который до пяти лет не держался на ногах, его водили на помочах, он не умел говорить и был настолько слаб, что уже в юности еще сосал груди кормилиц. Но у Филиппа II был и старший сын — знаменитый Дон-Карлос, рожденный от первой жены короля Марии Португальской. Косноязычный, он не мог изложить на словах даже самую простейшую мысль. Но, как это и бывает с идиотами, в нем рано пробудились животные инстинкты, и в возрасте десяти лет Дон-Карлос уже преследовал женщин. Одно плечо у него было выше другого, а одна нога короче другой, весь за-

росший волосами, как дикарь, он постоянно дрожал телом, словно припадочный. По странному капризу поэтов, они вложили в уста этого безумного кретина речи о свободе человеческого духа и величии гуманизма...

Вот и верь после этого поэтам!

.....

Возрождение породило гуманизм, заставляя человека задуматься о ценности его жизни; Ренессанс нарядил женщин в праздничные одежды, умышленно выставив напоказ красоту человека. Великие мастера тщательно выписывали обнаженные тела, насыщенные румяным соком жизнерадостной плоти, жаждущей любви, света и всеобщего восхищения.

Но Филипп II не выносил чистых и светлых картин о радостях земной жизни, инквизиция карала художников, посмевших изобразить наготу женского тела: им грозило отлучение от церкви, 500 дукатов штрафа и один год ссылки на Канарские острова. Знаменитый Диего Веласкес, позже написавший туалет Венеры, был очень храбрым человеком! Он так старательно обрисовал мощные ягодицы, что в трибунале инквизиции его бы сочли исполнителем воли Дьявола, а художника — кандидатом для бесплатного посещения Ада. Зато картинная галерея Филиппа II напоминала нечто вроде учебно-наглядного пособия для палачей, хирургов, инквизиторов и монахов.

Филипп II с удовольствием созерцал распятие на крестах, вознесение из гроба на небо, картины дьявольских искушений и мученичество святых, отвергавших соблазны, сцены бичевания Христа и непорочного зачатия боготоматери, вечные муки орущих от боли грешников. Не спорю, что язвы прокаженных были выписаны с большим знанием дела, а уж если кому отрубали голову, так кровь хлестала из тела, как из трубы, при этом анатомически точно отражалось устройство человеческой шеи в разрезе...

Какие там радости жизни? Откуда им было взяться?

Запуганные инквизицией живописцы Толедо или Вильядидо умышленно прятали красоту, работая над сюжетом, в которых мучеников церкви, и без того изможденных молитвами, теперь протыкали стрелами, подвешивали на веревках, жарили им пятки на раскаленных углях.

Люди на испанских портретах представляли землистыми, словно только сейчас выбрались из могилы. Даже ли-

ца испанских красавиц таили в себе молитвенную скорбь и ожидание «сошествия святого духа». Живописцы сознательно усиливали бледность своих персонажей, дабы выделить «чистоту крови» — без примеси рабской крови мавров-морисков или евреев-маранов. Испания была закутана в траурные мантии, женщины не смели обнажать плечи или грудь, напротив, им вменялось в обязательность носить длинные мантии, которые скрадывали силуэты их фигур. Темные одежды лучше всего выделяли бледность кожи, как доказательство благородного происхождения. Придворные дамы избегали солнца, чтобы их загар не вводил в опасное заблуждение...

Чем закончить эту проклятую главу?

Мне кажется, никогда не устареет блистательный вольтеровский афоризм о том, что «пышные бедра тициановской Венеры нанесли папе римскому вреда гораздо больше, нежели все тезисы Лютера». С этим нельзя не согласиться, ибо человек прежде всего остается человеком, и никто не смеет отнимать у него человеческое — дьявольскую красоту божественного тела!

## 10. НАПРЯЖЕНИЕ

Не думайте, что, осуждая Габсбургов, потомков библейского Хама, я стану щадить отродье Ивана Калиты, потомков легендарного Рюрика. Эта династия выродилась в 1598 году, всем своим преступным прошлым подготовив Россию к трагедии «смутного времени», а кровь Рюриковичей уцелела лишь в князьях Горчаковых, Долгоруких, Барятинских, Одоевских и прочих, иные же Рюриковичи смешались с мелким дворянством, иные навек растворились в среде служилого люда, купцов и даже крестьянодподворцев, растерявших свои семейные грамоты.

Кто был отцом Ивана Грозного — это вопрос, ибо Елена Глинская, жена бесплодного Василия III, была блудлива, как кошка, и фаворитом ее долго называли князи Ивана Овчину-Телепнева. Младший брат царя Ивана Грозного — Юрий Васильевич — был полным идиотом. Андрей Курбский писал о нем: «Без ума и без памяти бессловесен, тако же аки див якой родився».

Ивана IV я никогда не считал нормальным. Жестокость Торквемады и сладострастие Сардавапала, вместо ума — византийское коварство, его юмор пересыпан угро-

вами, а его писания, которым досталось немало славословий от историков, это хаотичный набор цитат из священных писаний, перемешанный с ядовитой злобой и ненавистью, заквашенный на крови его жертв и собственном политическом бессилии. Очень храбрый, когда надо казнить людей, Иван Грозный был жалким трусом, когда дело касалось его собственной шкуры.

Историк русской медицины (и сам врач) Яков Чистович упрекал Карамзина за то, что тот не догадался о причинах злодеяния Ивана Грозного, человека с извращенной психикой, и такие изверги нуждались в лечении с изоляцией от общества, как и все подобные сумасшедшие, — не их дело сидеть на престолах! Единственное оправдание для Ивана Грозного — это время, в котором он жил, а люди, занимавшие тогда престолы в Европе, мало чем отличались от русского царя...

Искусство так сильно воздействует на людей, что внешний образ Ивана Грозного у нас сложился по знаменитой картине Репина, мы судим о царе по фильму Эйзенштейна, в котором роль Ивана Грозного играл актер Черкасов... Давайте, сразу же отрешимся от подобных представлений! Подлинный царь был могуч телом, имел рост в 179 см, обладал широкими плечами и сильной мускулатурой. Лучше всего царя описал иностранец Даниил Принц, видевший его в Москве: царь, по его словам, «очень высокого роста, тело имеет полное силы и довольно толстое, большие глаза, которые у него постоянно бегают и наблюдают все самым тщательным образом. Борода у него рыжая с оттенком черноты, довольно длинная и густая, но волосы на голове, подобно большинству русских, он бреет (наголо) бритвой. Он так склонен к гневу, что, находясь в нем, испускает пену, словно конь, и приходит как бы в безумие. В таком состоянии он бесится... Некоторые области своих владений он уже превратил в пустыню»...

На этом закончу. Но добавлю, что брат царя Юрий — идиот — скончался как раз в том году, когда его царственный брат взял город Полоцк; Юрий умер в том самом Угличе, где имел «кормление» и где будет убит его племянник царевич Дмитрий.

• • • • •

Летом 1560 года молодой князь Андрей Курбский привел в Ливонию войска, которые взяли Мариенбург

(Алуксне) и осадили мощную крепость Феллип (ныне эстонский город Вильянди). Кеттлера там не было, а старый магистр Фюрстенберг, засев в цитадели, палил из четырехсот пушек. Но палил он недолго. Среди ночи его разбудили ландскнехты, которые держа ружья в левых руках, правыми подносили горящие фитили к затравке:

— Кровь на тебе или деньги на бочке! — кричали они. — Почему нам не платят? Выкладывай ключи от подвалов...

В подвалах Феллина были свалены все драгоценности рыцарей Ливонского ордена, бежавших от русских, и бюргеры там же укрывали свои сокровища. Фюрстенберг, сидя поверх постели, смотрел, как догорали фитили в руках этой наемной сволочи, и... тряской рукой он протянул им ключи:

— Вас бы всех перевешать! — сказал он, заплакав...

Через три недели осады Феллип сдался на милость победителей. Русские надавали немецким наемникам кулаками по шее и велели убираться, куда глаза глядят, и те, что попались потом на глаза Кеттлеру, были им перевешаны на деревьях. Зато Фюрстенберга, рыдающего, повезли в Москву. Старый рыцарь качался на шаткой телеге, оглядывая дымные горизонты, а вокруг всюду полыхали замки баропов и мызы дворян: эстонцы и латыши безжалостно жгли и грабили поместья своих угнетателей. Именно в эти дни новый магистр Готард Кеттлер, устав рубить и вешать, почтительно умолял в письме к польскому королю: «Итак, мы глубоко и преданно просим ваше королевское величество скорее прийти на помощь Ливонии в этих жалких и прискорбных обстоятельствах... Повстанцы разоряют нас, немцев убивают и грабят».

Иван Грозный был доволен:

— Заковать в цепи магистра и пусть толпа потешится...

В цепях его водили по улицам на потеху народу. Русские помалкивали. Но среди русских было немало и пленных татар, крымских мурз и ханов, которые оскорбляли старого рыцаря:

— Поделом вам всем, немцам.

— Поделом тебе, старый мерин! Не вы ли, немцы, дали царю те розги, которыми он высек сначала нас, а потом и тебя...

Фюрстенберга отправили на житье в Любим, но иначе



сложилась судьба ландмаршала Филиппа Белля, тоже пленного.

— Твой воевода Курбский,— сказал он царю,— просидь тебя, чтобы ты дарил меня жизнью, но ради истины я презираю жизнь и тебя тоже... Кровопийством живешь и кровью ты захлебнешься!

Ему отрубили голову, и это была еще милостивая казнь.

— Мне бы до Кеттлера добраться,— тужил государь..,

О многом тужил государь московский, но не было в нем заметно глубокой скорби от потери «чистой голубицы», как называли покойную царицу Анастасию. Зато очевидно заметили не что другое, более значительное. С царем что-то произошло, словно с него сняли узду. Возникло такое ощущение, что дикий жеребец, застоявшийся в конюшне, вдруг вырвался на волю. Иногда мне даже думается, что мнимая вина Адашева — это лишь злобная выдумка Басманова, а царицу извел сам Иван Грозный, чтобы более она не сдерживала его звериных инстинктов. В летописях сказано: «умершей убо царице Анастасии нача царь быти яр и прелюбодественен зело...»

Адашев был послан воеводою в Феллин, только что отвоеванный, а дела Посольского приказа взял думный дьяк Иван Михайлович Висковатов, человек умный и честный, он же стал оберегателем царской печати, почему иностранцы называли его даже «канцлером». С поклоном дьяк выслушивал решение царя — слать послов в Варшаву, чтобы высмотрели, какова из сестер короля — Анна или Екатерина — покажется лучше:

— Вели ехать до Вильны Федьке Сукину, дабы разведывал без утайки, какая обычаем и телом удобнее? Которая больна или телом суха, о такой бы молчал, а говорить о той, которая не больна и телом не суха. Желательно Катерину Ягеллонку, благо она моложе Аньки, сестры сигизмундовской. Ежели поляки не захотят ее показывать, Федьке Сукину тайно высмотреть, когда эта девка в костел пойдет...

Королевский посол Шимкевич, прибыв в Москву, отвечал, что «круль» согласен бы выдать Екатерину Ягеллонку за царя, но прежде брачевания просит о мире:

— Зачем нам воевать в Ливонии, которая и без того граблена свирепством войска? А если мира не станет, то Екатерину возьмет герцог Финляндский Иоганн, что шведскому королю Эрику доводится родным братом...

Узел завязывался еще крепче, и дело сватовства было отложено ради потех царских. Кремлевский дворец трещал от такого разврата, о каком говорить стыдно, и всех бояр Иван Грозный принуждал к участию в своих оргиях. Один старый князь Дмитрий Оболенский был печален, от содомских сцен отвращаясь.

— Чаю, не весел ты, князь? — спросил его царь. — Нешто не любо тебе голых девок пощупать?

— А что ты за царь, — отвечал старик, — если такой срамоты вавилонской Москва от начала своего не видывала.

Иван Грозный сделался ласковым, даже прослезился, благодаря князя за верную службу еще при отце его Василии III:

— Ты царский чин блюдешь, князь, и посему за правду твою желаю угостить тебя вином из ручек своих царских.

Оболенский все понял, но кубок с вином принял и, опорожив его, грохнулся на пол. Царь брезгливо сказал:

— Уж больно пьян, князь! Эй, вынесите его...

Не спесь боярская, а совесть человеческая разыграла в душе князя Михаила Репнина, когда заиграли музыканты, царь велел всем гостям «машкары» надеть (шутовские маски), сам с «машкарою» на лице в пляс пустился. Хотел он было силком натянуть на Репнина маску, говоря: «Или ты моему веселью не рад?» Но Репнин растоптал маску шута ногами и ответил:

— Если ты сам скоморох, так я, русский боярин, твоим скоморохом не стану... хоть режь ты меня!

Через день-два князь Репнин был зарезан в церкви — подле святого алтаря. В эти дни царь казнил родичей Адашева, даже детей не пощадили, а малолеток — девочек, еще разума неимевших, постригли в монашество. Постичь причины царского гнева никто не мог. Жила на Москве вдова польская Мария-Магдалина с пятью сынишками, приняла она веру православную, жила себе и никому не мешала. Басманов подсказывал царю:

— Ты вот Алешку Адашева в Феллине держишь, а любовницу его в Москве оставил, она, гляди, колдунья знатная, с ее крыши голуби неспроста над Кремлем летают.

Марию-Магдалину замучили, а детишек ее убили. Стали тут бояре пугаться, говорили так, что, если царя не женить, он злодейств своих не умерит. В это время

входил в силу не только дяк Иван Висковатов, возле царя обретался и князь Афанасий Вяземский; царь настолько верил ему, что даже лекарства, сделанные врачом Ленсеем, доверял сначала пробовать Афанасию, а уж потом, если не сдох Афанасий, сам их принимал... Вот это-то князь Вяземский и заявился к царю, очень веселый:

— Обрадую тебя, государь ты наш! Приехал из Кабарды пятигорской черкесский князь Темрюк, а с ним дочка лепоты небывалой. Уж такая дикая, ажно кусается, зато стапом гибкая, аки змея подколодная, а в очах ее звезды сверкают.

Иван Грозный воспылал, велев Афанасию похитить черкешенку, по князь от блудливых мыслей царя предостерег: все войска в Ливонии, а Темрюк за честь дочери отомстит войной на юге, Девлет-Гирей за него вступится — тогда беды не миновать.

— Лучше уж крестить ее в нашу веру да чтобы русский язык понимать научилась... Чем тебе не жапа? — сказал Афанасий. — Паче того, при дворах султанов мусульманских черкешенки в большой цене за пылкость любовную...

Невеста во крещении стала называться Марией Темрюковной, и в августе 1562 года она стала русской царицей. На горе себе (и на горе народу русскому) воцарилась эта черкешенка, дикая и темная, по развратная и мстительная; она не только не удержала царя от лютости, но сама жаждала крови, сразу возлюбив казни, с хохотом она смотрела, как жарят людей живьем, как отлетают с плахи головы боярские, как разрывают людей на куски раскаленными щипцами. Ни стоны матерей, ни детский плач — ничто не трогало ее сердца:

— Ой, любо мне! — воскликнула она... Вот именно этой пришлой восточной красавице иногда историки приписывают внушение Ивану тех мыслей, которые позже и породили чудовище — о п р и ч и н у!

. . . . .

В самый канун царского брачевания случилось событие, какое не могли предсказать ни звездочеты-астрологи, ни самые отважные колдуны... Дело касалось русской Кольвани, немецкого Ревеля, эстонского Таллина!

После пленения Фюрстенберга, когда новый магистр Кеттлер — ради личных выгод — перешел на сторону

Польши, когда окрестности Ревеля были выжжены и разграблены, а помощи никто не сулил, магистрат города решил отдать Ревель и всю провинцию эстов под власть Эрика XIV, короля Швеции.

— Мы не рижане,— говорили чины ревельские,— мы не привыкли кормиться от поляков и литовцев, а ближе нам земля шведская с ее королем и его порядками.

Послали депутацию к Кеттлеру, чтобы избавил их от прежней присяги Ливонскому ордену, и Кеттлер покревился:

— Я бы, конечно, желал видеть Ревель польским, а не шведским, но это ваше дело. Приказывать вам не могу, ибо слагаю с себя высокий сан магистра ливонского, а король польский обещает мне выделить Курляндию и Семигалию, где я успокоюсь навеки с титулом тамошнего герцога...

Ливонский орден, когда-то столь грозный, сумевший покорить всю Прибалтику, был упразднен, и рыцари, проклиная Кеттлера, разбрелись по разоренной стране в поисках добычи или нового хозяина, который бы платил за их умение убивать (а ничего другого они делать не могли, да и не хотели). На этот раз рыцари оказались на распутьи многих дорог: можно присягнуть Литве или Польше, короне датских или шведских королей, наконец, можно сложить свой меч к ногам того же проклятого Кеттлера, который собирается стать герцогом всей Курляндии и Семигалии со столицей в Митаве...

На перекрестке дорог встретились одичалые рыцари:

— Я решил день и ночь скакать в Пруссию, где магистры из маркграфов дома Бранденбургского нуждаются в людях.

— Есть дорога короче — ответил другой. — Можно служить и поганому Кеттлеру, ибо его герцогство тоже вассально королю Сигизмунду, как вассальна ему и вся Пруссия.

— Мне кажется,— сказал третий,— совсем неплохо служить Эрику шведскому, который уже прислал в Ревель корабль с вином и закусками, так что теперь там с утра до ночи все пляшут от радости, а девицы шьют новые платья.

— А если,— заметил четвертый,— плюнуть в лицо судьбе и предложить свои услуги царю московскому?

— Ты и правда, что плюешь дальше всех нас,— отвечали ему.— Но плевки твои вылетают вместе с зубами...

Однако, события в Ревеле обозлили Сигизмунда, считавшего что за один стол в Ливонии садится слишком много незваных гостей. Он вызвал воеводу Николая Радзивилла, родного брата любимой Барбары, отравленной Боной Сфорца.

— Черный,— назвал он Радзивилла по цвету его волос, ибо другого брата звали «Рыжим»,— тебе надо спешить с войском в Ригу, где сейчас поддыхает архиепископ из дома Гогенцоллеров. Боюсь, Ригу утащат у нас из-под носа шведы или датчане. Эрик уже правит в Ревеле, а датский принц Магнус с острова Эзель желает перебраться в эстонский Гапсаль и тоже скулит, как пес, чтобы его не забыли покормить...

Датский король ополчился против Швеции, а Дания в те времена была опасным соперником. Но скоро шведский король Эрик XIV велел пресечь торговлю Европы с русскою Нарвой:

— Я желаю, чтобы купцы не плавали далее моего Ревеля, где и должны разгружать все свои товары...

Его каперы разграбили корабли Любека, большого ганзейского города, а Любек имел свой флот и привык господствовать на Балтике, как у себя дома; в ответ на грабеж кораблей Любек ответил войной шведскому флоту. Английские купцы тоже не видели прибыли от заходов в Ревель, где жили подачками из Стокгольма, англичане торопились с товарами в Нарву, и английская королева Елизавета I тоже грозила шведам. Так что, в Прибалтике завязывался столь запутанный узел, что царю предстояло задуматься... Висковатов надоумил его:

— Если порвать прежний мир со шведами, так будем иметь в Ливонии двух неприятелей — шведов да поляков с литовцами. По моему слабому разумению, великий государь, мир с Эриком лучше нам продолжать, а на Ревель пока глаза зажмурить: пусть там пляшут солдаты с бабами немецкими...

Но плясали там недолго: на Ревель вдруг напал мор, от которого разом померли две тысячи шведских кнехтов (солдат), но эпидемия странным образом не коснулась горожан. Висковатов отправил в Стокгольм послов, дабы обнадежить Эрика XIV миром. Скоро он читал их донесение, что еще с Выборга их «речами бесчестили и бранили, корму не дали... весь день сидели мы взаперти, не евши». Из Стокгольма послы докладывали, что их захихну-

ли в одну комнату без печати и лавок, на прием к королю шли они пешком, а за обедом Эрик навалил перед ними мяса, хотя знал, что они постятся.

Висковатов зачитал царю и конец посольских обид:

— А против наших поклонов король Ирик с места не двинулся, будто камней наглотался, и как сидел в шляпе, так он шляпы даже не тронул... Что делать?

— Пусть терпят, — отвечал Иван Грозный.

...«Ливонская хроника» деловито сообщала о том, что князь Николай Радзивилл въехал в Ригу «с большой пышностью и великолепием... с ним было много людей чужих народностей, как-то: армян, турок, татар, подольцев, русских валахов, а также много немцев, поляков и литовцев... и благочестивые сердца в Риге, видя столько чужих народов, удивлялись и печалились». Печаль их была объяснима, но Радзивилл-Черный все немецкое правление города оставил на своих местах.

Но тут русские воеводы Василий Глинский и Петр Серебряный пошли на Радзивилла, настигли его под эстонским Перновом (Пярну), разбили его и все вокруг разорили...

Война началась! Ливонская — суматошная.

1562 год памятен. Князь Андрей Курбский спалил предместья Витебска, иные отряды русских воинов доходили до Орши. В ответ литовцы жгли и грабили деревни возле русских городов Опочки и Невеля. Сигизмунд отдал бы свою сестру Екатерину за царя Ивана IV, если бы тот согласился на мир. Но мира не было, и он уступил сестру финляндскому герцогу Иоганну, брату шведского короля. Свадьба игралась в Ковно, а король занял у шурица 80 000 золотых талеров.

— Видите как? — усмехнулся король. — Ваша нищая Финляндия, где ничего нет, кроме камней, богаче моей Польши...

Рижский архиепископ Гогенцоллерн был уже в агонии, когда его кафедру решил захватить герцог Христофор Мекленбургский, сразу же ограбивший сокровища рижских и окрестных замков.

Но это ему даром не прошло. Возмутился Кеттлер:

— Герцог светский выше герцога духовного.

Христофор за обедом зарезал польских офицеров, потом укрылся в замке Делен, где его и взял Кеттлер, про-

держав бандита-архиепископа пять лет в темнице Митавы. Затем шведы осадили замок Гапсель, на который покушался датский Магнус, шведы дочиста ограбили жителей, вывезя из города все, что плохо лежало, с церковей спяли колокола и отправили их в Швецию, чтобы там колокола переплавили в пушки. «Ливонская хроника» свидетельствовала, что запад Эстонии был опустошен: «бедные крестьяне сами впрягались в плуги, а жены правили ими, как скотом, так как все лошади были уведены...» Война превращалась в настоящий разбой, и больше всех от этой войны страдал простой труженик...

Висковатов докладывал царю:

— У короля Сигизмунда не стало грошей, он войны боится, а потому направил послов к крымскому хану Девлет-Гирею, чтобы тот ударил конницей по границам нашим. Видно, что одних речей о мире не хватает, чтобы мир наладить.

Иван Грозный указал собирать в Можайске ополчение из ратников, при них было около двухсот пушек, которые в те времена, как и корабли, каждая имела свое название. Русская артиллерия уже тогда была передовой в мире. «Мажоры» (мортиры) били навесным огнем, «тюфики» изрыгали подобие картечи, а «гафуницы» (гаубицы) выпаливали во врагов целые кучи мелко раздробленных камней...

В поход царь взял двоюродного брата князя Владимира Андреевича Старицкого, который не раз отличался в войнах мужеством, он был честен, великодушен, талантлив. Братьев окружала громадная свита, в ней были и царевичи казанские и касимовские — татары! Сигизмунд сибаритствовал в Петрокове, и не хотел даже верить, что в Литву вторглась громадная армия московитов. Он сказал Николаю Радзивиллу:

— Черный, пока эти лентяи тащутся к Полоцку, ты сумеешь опередить их. Если царь захотел сломать зубы о твердость нерушимых стен Полоцка, то за Полоцк мы можем быть спокойны: там сидит опытный воевода Довойна. Надеюсь, — заключил король, — тебе сорока тысяч жолнеров хватит...

Но русские выставили заслон, и Радзивилл не отважился на битву. Ополчение Руси осадило Полоцк — древний град старой Руси, помянутый не только в летописи Нестора, но воспетый еще в скандинавских сагах. Полоцк и теперь был намного богаче Вильны, имел до ста тысяч

жителей, город открывал дорогу на Вильну и Ригу. Царь взмолился:

— Неужто не изольет бог милосердие на пас, недостойных?

«Мажоры», «тюфяки» и «гауфицы» начали обработку крепостных стен. Когда рухнули триста сажен обгорелой стены, воевода Довойна сдал крепость... Узнав об этом, Сигизмунд был в отчаянии и сказал пристыженному Радзивиллу:

— Эта война станет позором моей старости...

В письмах к Девлет-Гирею он упрекал крымского хана за то, что тот не вылезает из Крыма для набега на Русь; король засыпал своими письмами русских воевод, предлагая им бежать в Литву на вольное житье; такое же приглашение к измене получил и князь Андрей Михайлович Курбский.. Иван Грозный возвратился в Москву, где жители встречали его с таким же ликованием, как и после взятия Казани. В селе Крылацком, на окраинах столицы, томилась, его ожидая, сыновья Иван да Федор и слабоумный брат Юрий, и он их всех нежно расцеловал, а потом глянул на сжавшуюся возле печки супругу свою Марию Темрюковну:

— Слыхивал, что в блюде живешь.. ненасытная!

Потом махнул рукой и больше не глядел на нее:

— И без твоих шалостей вашего добра на меня хватит...

## 11. БЕГИ, ПОКА НЕ ПОЙМАЛИ

Жизнь Куэваса, всего лишь носильщика королевского паланкина, складывалась прекрасно. Не каждому молодому идалго выпадало такое счастье, чтобы приблизиться ко двору испанского короля, где можно думать о чем угодно, но только не быть озабоченным добыванием обеда.

Мадрид в ту пору считался столицей всего мира, властно диктуя свои моды, свои симпатии и вкусы Вене, Парижу, Амстердаму и даже Лондону; только закоснелый в упрямстве Стокгольм перенимал испанские одежды с брезгливым опозданием, а Московия продолжала париться в дедовских шубах, даже не подозревая, что в этом мире существует такая коварная мода на моду...

Блеск испанского двора казался тогда неподражаем, вызывая зависть иных дворов Европы если не траурным



фоном одежд, то хотя бы изобилием сверкающих драгоценностей, выставляемых напоказ градами, сеньорами и сеньоритами. Позже все это богатство испанской знати делось непонятно куда, но зато точно известна дата великого испанского грабежа: в 1810 году Наполеон попросту обчистил Эскуриал, вывезя во Францию десять громадных фургонов, наполненных драгоценностями. Все эти ювелирные изделия были безжалостно исковерканы: сверкающие камни император раздаривал своим дамам и маршалам, как детям конфеты, а испанское золото и серебро навеки исчезло в бурлящих тиглях Парижского монетного двора, превратившись в звонкую монету для финансирования войны с Россией. В ленинградском Эрмитаже уцелели лишь немногие драгоценности двора Филиппа II, в том числе и украшенные «тремя гвоздями» (в память о тех гвоздях, которыми Христос был прикован к распятию).

Ливонская война, в перипетиях которой Мадриду издали было трудно разобраться, кто кого бьет и зачем бьет, эта война почти не волновала испанцев, а Филипп II думал о ней как о борьбе двух «еретиков» — совсем не жалко ливонских лютеран (!), схватившихся с москвитями, которые оставались верны византийской схизме (!). Испанского короля, как и римского папу, больше волновали иные вопросы. Шла затяжная война Франции с Англией из-за гавани Кале, а совсем недавно в Шотландии высадилась Мария Стюарт, католическая королева, соперницей ее в Англии стала королева Елизавета I — и борьба этих двух женщин напоминала, скорее, религиозный диспут католички с протестанткой.

Наконец, политиков Мадрида беспокоило глубокое проникновение мусульман в самое сердце Европы. Венский император Фердинанд I был близок к смерти, а Сулейман Великолепный продвигал свои таборы внутрь Венгрии, делал из нее турецкий «пашалык», султан уже прочно сидел в мадьярской Буде (Будапеште), угрожая владениям венских Габсбургов...

До жалкого носильщика, каким был Куэвас, конечно, не доходили эти кошмарные новости, потрясающие всю Европу, да ему, честно говоря, и не хотелось знать, что творится в мире, ибо важнее знать, какой суп варят сегодня на королевской кухне. Духовные запросы Куэваса были так же ограничены, как у сороконожки, живущей в зловонии отхожего места и считающей, что весь мир за-

ключен в этой блаженной и теплой вонищи, и лучшего ничего не надо...

Питаясь объедками с королевского стола, Куэвас насыщал свой убогий интеллект и огрызками тех обывательских слухов, которые едва ли волновали других европейцев. Тогда в Париже впервые появился табак, завезенный из американских колоний, и дипломат Жан Нико подарил королеве Медичи табачные листья, чтобы, нюхая их, она избавилась от головных болей. Табак сначала нюхали, а затем — по примеру американских индейцев — стали и покуривать. мода на курение из Парижа перекочевала в Германию, где задымили трубками бродячие ландскнехты всяких национальностей...

Куэвас запомнил разговоры придворных:

— Если строят дом, то не забывают в нем двери, чтобы войти в дом и выйти из дома. Так и в этом случае. Создатель дал человеку одну верхнюю дырку, чтобы он принимал яства и не забыл сделать в человеке нижнюю дырку, чтобы он освобождался от яств. Но с табаком что-то непонятное. Если человек вдыхает дым дырой для приема пищи, тогда... где же труба, чтобы он выдыхал дым паружу?

— А на что же тогда человеку даны ноздри?

— Чтобы сморкаться...

Английская королева Елизавета I повелела всем курильщикам табака отрубать головы, чтобы они больше не дымили. Но тут лучше всего обратиться к воспоминаниям самого Куэваса.

...Каждый навоз знай свою кучу,— говорили испанцы, и я, позже побывав в Москве, удивился, что у русских есть подобная же сентенция: каждый сверчок знай свой шесток!

Я ничем не выделялся среди таких же идалго, имевших счастье прислуживать королевским особам. Но, подражая благородным грандам и приорам церкви, я перенимал от них величественный жест, выражающий покорность: моя правая рука была приложена к сердцу, где затаилась вечная скорбь по святой девице Марии. В такой позе, воздев глаза кверху, я застывал надолго, как невменяемый истукан, принимая заслуженные похвалы видевших меня в этот момент:

— Посмотрите, как благочестив этот молодой и краси-

вый идалго! Почему бы пам не сказать королеве, что ему не под силу таскать паланкин по нашим грязным дорогам?..

Божья благодать вскоре снизошла на меня с высот горных, грешникам недоступным: из носильщиков паланкина, еще раз проверив мою родословную по линии отца, меня зачислили в штат пажей нашей прекрасной королевы. Конечно, меня переделали заново, и я был безмерно счастлив, когда служители гардероба назвали меня «сеньором».

Сначала я примерил красные башмаки с фестонами и очень тупыми носками. Потом натянул перед зеркалом штаны-бриччес — короткие и пышные, вроде подушек, костюмеры советовали напихать в них сена и пакли, чтобы эти бриччес раздулись на бедрах пошире. Малиновые трико-чулки обтянули мне ноги до самого паха. Возле шеи приятно похрустывал воротник из фиолетовых кружев. Шпага с левого бока лежала почти горизонтально, покоясь эфесом на оттопыренных бриччес, а возле пояса висел толедский кишжал в ножнах, придавая мне мужественный вид.

Именно в эти дни меня изволила заметить графиня Изабелла Оссориа, бывшая с королем на аутодафе в Толедо.

— О, как ты похорошел! — засмеялась она. — Гадкого заморыша из Каталонии отныне и не узнаешь...

Дама была поражена переменою во мне, а я, достаточно возмужавший, невольно восхитился ее перезрелю красотой, как яркой вишней, что надклевана прелестными птицами, отчего ягоды еще слаще. Графиня в тот день была вооружена всем необходимым для дамы: с пояса ее свисали па цепочках черный складной веер, нюрнбергские часы в форме куриных яиц и круглое зеркало в богатой оправе. Оглядывая меня, Оссориа лениво перебирала четки, украшенные алмазами.

— Не забывай, — сказала она, — что это именно я просила короля обратить внимание на твое христианское рвение, с каким ты подкладывал хворост под еретиков.

Оссориа закрыла лицо густой черной вуалью.

— О, зачем вы лишили меня случая насладиться красотой вашего облика! — воскликнул я.

— У меня дурной глаз, как у колдуньи, — отвечала женщина, колыша вуаль своим дыханием, — и я нарочно

защищаю тебя от лукавого... Ты знаешь мои комнаты во дворце?

Я знал, что они поблизости от комнат королевы.

— Верно. Но я согласна видеть тебя завтра в моем загородном «сигарралес», который ты узнаешь по множеству мавританских завитушек в духе модного платареско... Приди!

Благородная Оссориа приняла меня на простынях из черного бархата, чтобы еще больше выделялась мраморная белизна ее аристократического тела, и нас до самого утра укрыло громадное покрывало, украшенное гербом с «тремя гвоздями» — в знак страданий Христа, спасителя нашего.

— Но будь скромен! — наказала мне дама, отпуская меня. — Я слишком дорожу честью фамилии своего мужа, и, как настоящая испанка из Памолы, умею быть мстительна... Не забывай о поговорке: всякий навоз да запомнит свою кучу!

Мне, жалкой горсти навоза, было тепло и уютно в королевском хлеву, а сознание, что у меня имеется «дама сердца», тешило мою дворянскую гордость. В моем гербе красовался всего лишь глиняный горшок с кипящей смолой, который когда-то нечестивые опрокинули на голову моего предка, а теперь я приобщился к трем библейским гвоздям, завершившим страдания Христа на Голгофе... Разве это не счастье?

С упоением ротозея я вникал в разговоры придворных, генеалогия которых не вызывала сомнений: среди их предков никто не осквернил себя физическим трудом или коммерцией, ни у кого не было порочащих связей с евреями или мавританками, никто не подвергался суду инквизиции, зато все прекрасно владели шпагой и умели скакать на лошади. Этикет испанского двора (знаменитый «сосиного») считался древнейшим в Европе и столь стеснительным, что иногда я не знал, как встать, как повернуться и когда кланяться. Парадная фреза на моей шее была столь широка, что мне приходилось пользоваться вилокю с удлиненным черенком, иначе я не мог дотянуться до своего рта. При дворе больше всего рассуждали о любви, о тайнах египетской астрологии, о том, что в подземельях на Мальте благородные рыцари уже научились добывать золото из меди, а писать доносы на еретиков — дело богоугодное. Почти никогда я не слышал разговоров о политике, и только однажды все охотно внимали римскому го-

стю Рафаэлю Барберини (он был дядей папы Урбана VIII), который недавно вернулся из Московии, где его радушно принимал царь:

— Я был допущен к Хуану де Базилио, благодаря рекомендательным письмам от английской королевы и обедал в Кремле. Недавно он женился на черкешенке, а такой товар дорого ценится на рынках, где торгуют невольницами. Но при этом, — рассказывал Барберини, — Хуан де Базилио хлопочет о выдаче ему Екатерины Ягеллонки, ставшей женой герцога Иоганна. Тут за столом все долго удивлялись:

— Странно! Имея жену-черкешенку, зачем же царю Хуану требовать и чужую жену, уплывшую с мужем из Польши?

— На это трудно ответить, — сказал Барберини, — но, очевидно, русский царь желает иметь Ягеллонку в своем обширном гареме, чтобы унижить польского короля Сигизмунда.

— А вам не удалось видеть пленного магистра Фюрстенберга?

Этот вопрос задал сам герцог Альба.

— Нет, ваша светлость, — поклонился ему Барберини, — Фюрстенберг получил в дар от царя город Любим, где и проживает теперь на правах его владельца.

— Что еще вы заметили при дворе Хуана де Базилио?

— Во время обеда бояре стояли, прислуживая, а царь сидел в окружении многих немцев, которых он пленил в Ливонской войне, а затем переманил на свою службу...

Итак, моя жизнь складывалась прекрасно, а мои визиты к графине Оссория доставляли мне радостное волнение, которое приходилось скрывать под маскою равнодушия, ибо любое волнение считалось преступным нарушением кодекса «сосиего». Во время ночных дежурств при дворе иногда я видел Филиппа II, мучимого бессоницей. Король блуждал по темным залам и коридорам, привратники бесшумно открывали перед ним двери, они же запирали двери за ним — и в страшной тишине уснувшего дворца король казался мне собственным загробным призраком, внезапно выбравшимся из гроба...

Но однажды дворец вздрогнул от истошного вопля:

— Лютер прав! А все вы здесь — грязные свиньи... Не держите меня... дайте мне выйти отсюда!

В коридорах дворца замечались отблески факелов, раз-

дался топот стражей, куда-то бегущих, мимо меня, развеиваясь сутаной пробежал духовник Дон-Карлоса, скоро еретический вопль затих, придушенный так, словно на кричащего навалили гору подушек, под которой он и задохнулся...

. . . . .

В обществе пажей королевы у меня завелся приятель Мигель дон-Падилья из Алькасара, который, подобно мне, был далек от «рикосомбрес» (знати), скромно именующий себя «кабальерос» (кавалером). Мигель был опечален, ибо его отец унизился занятием торговлей, что грозило моему приятелю удалением от двора, где жилось нам совсем неплохо. Но мне нравилось общение с Мигелем, его начитанность, и потому я откровенно делился с ним всем, что знал, что видел, что слышал.

— Сегодня на кухне дровосеки говорили, что Дон-Карлос уклонился в ересь и желал бежать из Испании, чтобы укрыться в еретической Англии. Неужели, восхваляя гадину Лютера, он не боится оскорбить своего благочестивого отца?

Мигель дон-Падилья отвечал мне шепотом:

— Слушая дровосеков, можно самому уклониться в ересь. Вернее другое: Дон-Карлос помешался, когда его невеста стала женою его же отца. А недавно,— добавил Мигель,— будучи в Алькала, он упал ночью с крутой лестницы и разбил голову, отчего и сделался неистов...

Двор был заволнован, когда в порыве необъяснимой ярости Дон-Карлос бросился на герцога Альбу, чтобы его зарезать, но Альба скрутил его в узел, словно матрос мачтовую веревку. Наконец, от конюхов короля я однажды услышал, что принц совсем лишился разума, превратившись в скотину:

— В потемках дворца он выждал свою мачеху и пытался увлечь ее в свои комнаты для насилия...

Об этом я рассказал графине Оссориа, и она, лежа рядом со мною, со смехом ответила, что с этим «дураком» королю предстоит еще немало повозиться:

— Но когда он слишком буянит, его связывают. Духовник откладывает требник и ставит Дон-Карлосу клизму, в раствор которой наш мудрый король добавляет чуточку яда с невинным аптекарским названием «Requiescat in pace»...

Я имел несчастье рассказать об этом Мигелю.

— Откуда тебе известно даже название королевского яда, который является секретом для всех? — побледнел он.

— Со слов дамы своего сердца.

Мигель поразмыслил и вдруг стал смеяться:

— Боюсь, тебе, как и Дон-Карлосу, тоже поставят клизму, чтобы ты не болтал лишнего. Конечно, под покрывалом, расшитым гербами с «тремя гвоздями», дело всегда найдется. Но лестница, ведущая в спальню графини, насколько узка, что нам будет трудно разойтись, не задев один другого...

Ночью я был доставлен в трибунал священной инквизиции. Ничего страшного я тут не обнаружил. В обширной палате, украшенной одиноким распятым Христом, меня поджидал вежливый монах с приятным добродушным лицом, который ласкал на своих коленях жирную кошку, благодарившую его мурлыканьем.

С явным сочувствием инквизитор встретил меня словами:

— До чего же много негодяев развелось на белом свете, которые своими доносами не дают нам, бедным, пожить спокойно... Вы догадываетесь, кто сочинил донос на вас?

— Догадываюсь, — отвечал я, весь холодея.

Инквизитор не стал называть имени моего приятеля:

— И вы не называйте, ибо все равно ошибетесь. Мы, сидящие здесь, обязаны вступаться за невинных, дабы покарать лжецов и еретиков. Но донос на вас оказался настолько омерзителен, что мы не можем отложить его в сторону, как подоенную лепешку. Теперь мы вправе осудить вас.

— За что? — упал я перед ним на колени.

Кошка замурлыкала еще громче, убаюкая монаха.

— Если не за ересь, так за оскорбление его королевского величества. Откуда вам известно название яда?

— Проклятый Мигель! — закричал я, вскакивая с колен.

Инквизитор записал тут же его имя:

— Теперь произнесите его фамилию. В любом случае вязанка хвороста для вас обоих уже приготовлена...

Я зарыдал. Инквизитор искренне пожалел меня:

— Вы можете отомстить доносчику. Скажите, с каким выражением на лице он принимал причастие от истинной церкви? Не замечали вы в ком-либо из придворных на-

клонности к лютеранской или кальвинистской ереси? Не снесите с ответом.

Я обещал инквизитору вспомнить все, что знаю.

— А почему вы не просите у нас адвоката? Я понимаю, вы не в силах оплатить его услуги, но Санта-Оффисио благожелательна к бедным, и адвокат найдется... бесплатный.

Не знаю, каковы другие адвокаты, но этот мерзавец долго пугал меня муками ада, а потом разложил уже заготовленный лист генеалогического древа моего старинного рода:

— Поступая на королевскую службу, вы скрыли свою печистую кровь. Ваша прапрапрабабка была из мавританской семьи Гренады, и это многое меняет. Но господь милостив, он простит вас, если укажете не только своих врагов, но и друзей.

Тут я понял, что, назвав врагов, я выдам друзей, а друзья, попав сюда, сделаются моими врагами. Я ответил, что прежде хочу пройти церковное покаяние, дабы предстать перед трибуналом Супремы с чистым сердцем, и это повредило инквизитору, который пощекотал кошку за ухом:

— Хорошо. Облегчите себя покаянием, и мы продолжим беседу. Но предупреждаю вас: если сами не явитесь, вам заранее будет вынесен приговор, как злостному еретику...

Думаю, со мною поступили столь мягко еще и потому, что я был беден, а конфискация моего имущества могла вызвать лишь горький смех инквизиторов, ибо кому нужны мои штаны-бричесс с чулками и моя наваха? Отпуская меня под утро, инквизитор запретил мне ношение одежды из шелка, велел не есть мяса, яиц, творога и рыбы, чтобы, постясь, я готовил себя к предстоящему очищению. Ощувив свободу, я долго шлялся по улицам Мадрида, даже не зная, куда иду и зачем. Наконец, я забрел в ближайшую траторию. Божий перст указал мне этот трактир, ибо здесь же я встретил Мигеля дон-Падилья, который почти в ужасе отступил от меня.

— Как? Тебя... это ты?.. Тебя разве выпустили?

— Да. Правосудие свершится...

С этими словами я выхватил из-за пояса наваху и всадил ее по самую рукоятку в сердце Мигеля, который сразу же рухнул назвничь, с грохотом обрушив столы и табуретки.



— Держите его! — закричал трактирщик, а я побежал...

Я летел по кривым переулкам Мадрида, словно обрета крылья. Но, оборачиваясь, видел толпу нагонявших меня, и с каждой улицей толпа увеличивалась, а мои силы убывали.

— Убийца! — слышал я крики. — Именем короля и самого господ-бога, если кто верующий, задержите его...

Я понял, что погиб. Переулок извивался вдоль длинной стены, сложенной из грубых камней. Я с разбегу перемахнул эту высокую ограду и вдруг оказался...

Я оказался в прекрасном саду! Это был рай.

.....

Именно этот «рай» и стал для него капканом.

## 12. ЭМИГРАНТЫ

До революции близ Ярославля самое богатое село называлось Курбы, из него и вышли князья Курбские. А под городом Ковелем, в селе Вербки, была построена церковь над гробницей князя Андрея Михайловича Курбского, о котором много писали раньше, пишут и теперь, но единого мнения о нем, кажется, еще не сложилось. Мне, автору, да позволено будет изложить знаемое так, как я понимаю, и пусть это будет мое личное, авторское, мнение, — осуждая Курбского, будут, наверное, судить и меня... Согласен: судите!

.....

После полоцкого триумфа, нахваливая своих воевод и пушкарей, Грозный отправил любимца своего Курбского на дерптское воеводство, и князь почуял в этом изгнании признак близкой расправы. Просил он тогда печерских монахов:

— Многажды вам челом бью, молитесь обо мне, окальном, понеже напасти и беды от Вавилона кипеть начинают...

Тяжело было на душе Курбского. Недолго и жил, а сколько лошадей под ним пало в битвах, сколько раз вылетал из седла, весь израненный, в битвах ратуя. Но боли телесные — ничто, вроде детской шалости, ежели сравнить их с муками душевными. Слышал Курбский — стоном пла-

чет земля русская, земля отчая, скорбят вдовы и сироты, а царь окружил себя прихлебниками да всякими «стратилатами», словно Змий Горыныч, на весь народ огнем пышет. Курбский сам пленил ландмаршала Филиппа Белля и, отправляя его в Москву, просил царя милловать рыцаря, «бо муж не токмо мужественный и храбрый, но и словесства полон, и остр разум (его) и добру память имуща». Царь отрубил Беллю голову, как барану...

— Не стало на земле правды,— скорбел Курбский.— А коли правды нет, так и ничего нету... И несть людей на Руси! — воскликнул князь.— Некому стать человеком!

В этом он ошибался, ибо «московская деспотия» еще не могла дотянуться до русских провинций и окраин страны, где жил непобедимый народный дух, где рождались богатыри, вроде Ермака Тимофеевича. Но даже в самой Москве бывали «светлые мужи», идущие наперекор деспотизму. Безвестный инок Филофей громил астрологию, он смело утверждал, что нет смысла Руси иметь календарь, ведущий отсчет годам от мифического Сотворения Мира. Вассиан (князь Патрикеев) укорял духовенство за то, что златят кубола церковей, тогда как народу бедному не купить ни хлеба, ни соли, чтобы посыпать краюху хлеба. Шереметев и Висковатов, рискуя своими головами, отказывались от участия в крестных ходах, даже если сам царь возглавлял эти крестные ходы...

Ночь опустилась на кровли древнего града, заложеного еще Ярославом Мудрым в веки приснопамятные. Теперь в Дерпте-Юрьеве только псы лаяли да перекликались стражники — всех жителей города царь разогнал по русским закутам. Курбский еще раз перечитал письмо от литовского воеводы Николая Радзивилла-Черного, писанное от имени короля Сигизмунда, сулившего князю имение в Литве и спокойное житие до старости. Свернул бумагу.

— Не царь московский, а круль варшавянский заливаёт масло в мои лампы,— произнес Курбский...

Когда пал Полоцк, царь пушкарей да «стратилатов» (полководцев) своих нахваливал, а Курбский в изгнании своем — от Москвы подальше — ощутил признак близкой расправы. А если бежать?.. Это простолоудье сидело на земле, прикованное к своему тяглу, словно к колоде тюремной, а бояре-то бегали — кто в Литву, кто сразу в Польшу, а иные, совсем отчаясь, бежали даже в Крым, ибо среди татар жилось спокойнее, нежели дома, где не сего-

дня, так завтра тебя клещами рвать станут, на огне изжарят...

— Что теперь человек? — размышлял Курбский. — Ныне даже кошкам и собакам не бывать живу, всех под корень сведут, словно траву дурную.

Человек толка государственного, воитель опытный, Курбский видел, пожалуй, то, чего не мог уже видеть царь, ослепленный своим величием. Россия скудела с каждым годом, год от года вместо пашен росли пустоши, а Ливонская война, начатая наскоком, без политической и военной подготовки, скорее, ущемит Россию, нежели добудет ей славу. «Для Курбского, навлекшего немилость царя, — писал профессор А. А. Зимин, — отъезд был единственным шансом на спасение, трактуемым им как осуществление законного права выбирать любого государя и служить ему, единственной возможностью доведения всех подданных критику в адрес монарха...»

Курбский решил остаться честным и казну воеводскую даже не тронул. Но московских денег при нем было всего 44 рубля (остальные деньги он имел в дукатах, золотых и талерах, прибереженных заранее). Исторически так уж получилось, что соседняя Литва, ставшая врагом отечества, сделалась ближайшим убежищем для всех бежавших от царского гнева.

Плохо было боярину! Жена в Москве и уже на сносях, дети малые без отца останутся. Взять бы их, да... как? Строить семью из Москвы в сторону рубежей, царь сразу заподозрит, и тогда жди беды неминуемой. Курбский средь ночи, весь в разладе чувств, вызвал верного холопа — Василия Шибанова:

— Голова-то у царя безвольна стала, — сказал он, вдоль палат похаживая, — так он рукам своим много воли дал... По всей Руси слышать говор, как внове царь обижает брата моего двоюродного, князя Владимира Старицкого, и сам царь ему тоже двоюроден. Сам я царскому чину родственен, но иного не вижу, кроме бегства от их милостей. Церковь божия Содому и Гоморре служит, царем нарочито задобрена, дабы не мешала ему кровопийствовать. У меня вон там, — показал Курбский на подпечек в палатах, — важные писания укрыты. Запомни, где. Коли велю, так изынешь их, дабы они глас обрели.

— Бежать из Юрьева трудно, — отвечал Шибанов, — город стерегут со всех ворот, а стены крепости высоки.

— Нет такой стены, через которую не перелезть бы нам...

Все было готово к побегу, добро уложено в переметные сумы. В одну из апрельских ночей Курбский с Шибановым перемахнули через стену Дерпта веревку, по ней и спустились с другой стороны крепости, где их ждали оседланные лошади. Князь легко вскочил в седло, торопя своего холопа:

— Скачем! Нас ждут в Вольмаре... Уж не знаю, что ждет меня впереди, но жалость имею к семье да книгам своим, кои покидаю, как вор, вместе с отечеством.

— Не словят ли нас, пока скачем до Вольмара?

— В чужой земле ныне безопаснее, нежели в своей...

Они скакали в Вольмар, где четыре года назад Курбский наголову разбил литовские войска Радзивилла, призвавшего его в объятия своего короля (Вольмар — нынешний город Валмиера — в древности был русским градом Владимирцем). Скакали, скакали... Голову Курбского укрывала богатая шапка из рыжего меха, и Шибанов советовал снять ее.

Тут набежали местные дворяне, лисья боярская шапка досталась самому главному в городе. Напрасно Курбский призывал рыцарей к благородству, напрасно потрясал охранной грамотой.

— Так она подписана королем польским, — отвечали ему, а — мы умнее рижан и покорились королю шведскому...

Ограбленные и опозоренные, беглецы кое-как дотащились до Вольмара, и крепость приветливо распахнула перед ними свои ворота, а в воротах плялились на земляков Тетерин и Сырохозин, переметнувшиеся к литовцам еще раньше:

— Возблагодарите бога, — говорили они, — за то, что живы остались. Ныне даже волки по ливонским дорогам не бегают, как бы их люди не загрызли...

Обыкнув на новом месте, Курбский больше всего сожалел о своей библиотеке, и польские воеводы, дабы угодить знатному эмигранту, предлагали царю даже обменять библиотеку на русских пленных. Немало бояр бежали в Литву из Руси, но еще никто из них не пытался писать царям о причинах своего отбытия в эмиграцию. Андрей Михайлович Курбский был первым, кто издали вызывал Ивана Грозного на словесный турнир, чтобы помериться силами в борьбе за правду:

Царю, прославляему древле от всех,  
Не тонущу в сквернах обильных!  
Ответствуй, безумный, каких ради грех  
Побил еси добрых и сильных?..  
Безумный! Иль мнишишь бессмертнее нас,  
В небытную ересь прельщенный?  
Внимай же! Придет возмездия час,  
Писанием нам предреченный...

. . . . .

Василия Шибанова поймали близ Юрьева и, заковав его в цепи, доставили в Москву — чтобы разорвать, как паршивую собаку! Тирап, прочтя послание Курбского, впал в беспокойное уныние. Некий старец Борис Титов застал его в глубокой меланхолии, царь сидел, облокотившись на стол, перед ним стояло блюдо с объедками. Увидев Титова, он усадил гостя подле себя, велел доесть за него все, что осталось.

Титов, дабы угодить царю, даже вылизал тарелку.

— Вижу, любишь ты меня, раб мой верный?

— Аки пс предан тебе, о великий наш государь!

— Это мне любо, — отвечал царь. — Желая по-царски одарить пса своего, так наклонись поближе ко мне.

Титов наклонился, а царь отрезал ему ухо. Отрезанное же ухо с поклоном пнижайшим вернул его владельцу:

— Возьми на память о моей доброте. Мне для верных слуг, сам о том ведаешь, ничего не жалко.

Стерпев боль, несчастный жизни возрадовался:

— О, великий государь! Не изречь мне благодарности за добро твое, век за тебя бога молить стану...

Но ухо отрезав, царь оставил Бориса Титова в живых, и тот тихо убрался, рыдая от такой небывалой милости.

Жена Курбского была замучена в темнице, с нею убили и сына малолетнего, а младенца, которого она родила, Басманов приковчил одним ударом об стенку. Затем собрали всех слуг в доме Курбского, знать ничего не знавших, и всех утопили. Но иное вышло Василию Шибанову: даже под пыткой не отрекся он от своего господина, а когда вывели его перед плахой, чтобы срубить голову, он бесстрашно кричал народу:

— Всяк у нас смертен, а при вратах райских стой, не отрекусь от князя, который добра желал земле русской...

Такая стойкость поразила царя, и, упрекая Курбского в измене, он писал ему: «Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова? Он ведь сохранил свое благоче-

стие, перед царем и перед всем народом стоя, у порога смерти, не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя всячески и вызываясь за тебя умереть. Ты же не захотел сравниться с ним в благочестии...» Точно было царю узнать, что Сигизмунд обласкал беглеца, Курбский получил во владение город Ковель («княжа на Ковлю»), подписывался Курбский) — подобно тому, как и магистр Фюрстенберг получил от царя город Любим.

В гневе царь велел разорить поместье князя — ярославское село Курбы, всех тамошних крестьян побил, а село отдал татарским мурзам ради их «кормления». Ответ на послание Курбского царь писал в отъезде из Москвы, и академик Д. С. Лихачев верно заметил, что сейчас нам трудно, почти невозможно, определить написанное лично царем от того, что он заимствовал у других авторов, для нас неизвестных. Но уж ясно, как божий день, что вся ругань по адресу Курбского принадлежит перу самого царя: дурак, собацкое собрание, бесовское злохитрие, пес смердящий, злобесное хотение, псово лаianie, паще кала смердяе и прочее, — красоты языка Ивана Грозного...

Убеденный в собственном величии, Иван Грозный ни в чем не поступился перед доводами Курбского и, оправдывая себя, он с упорством маньяка утверждал свои главные аксиомы:

— Ежели государь волен людишек своих добром жаловать, то и казнить их головы то же волен...

По его мнению, если человек и не виноват, то обязан муками и жизнью своей расплачиваться за грехи своих отцов и дедов, которые были повинны перед отцом и дедом самого Ивана Грозного. Вдохновенный, красноречивый деспот, он писал Курбскому, когда совершал объезд владения князя Владимира Андреевича Старицкого, и князь, сопровождая царя в этой поездке, не мог знать, что его царственный братец уже примеривает его удельные земли к будущей опричнине.

Владимир Старицкий еще не знал, что конец близок...

Человек мягкий и нрава доброго, он имел права на престол Рюриковичей, если бы у Ивана IV не родился наследник. Но царь знал, что Владимир — опасный соперник для его самодержавия, ибо немало бояр хотели бы видеть на престоле не Ивана IV Грозного, а именно Владимира Старицкого. Царь действовал размеренно: отнимал у брата поместья, насыщал его свиту своими соглядателя-

ми, сковывал Владимира клятвами в верности, держал его в постоянном страхе, а чтобы страх был сильнее, он принудил его мать Ефросинью Старицкую к пострижению... Юродствуя, он притворялся любящим братом и дарил Старецкому удины лобзания при всем честном народе!

— Пусть всяка тварь видит ласку мою к тебе...

Так, наверное, грустная рептилия сначала обволакивает свою жертву ядовитой слюной, чтобы жертва, умиротворенная лаской, легче проходила в гадючью глотку. Запутавшись в делах Ливонии, где сам Макиавелли не разобрался бы, царь все зло за военные неудачи вымещал на боярах. Блаженны остались павшие в битвах, зато в муках кончали жизнь те, кто спасал себя в отступлениях. Война, изнунив государство, ничего, кроме ущерба, не приносила. Зато многим пришлось поступиться. Иван Грозный уже не думал о Ревеле, не зарился на земли эстонские, он даже обещал Эрику XIV свою помощь в борьбе с Сигизмундом, но с одним условием, которое удивляло тогда и удивляет теперь историков:

— Эрик шведский лучше брата мне станется, ежели получу с него Катерину Ягеллонову, для чего и велю Висковатову, чтобы важное посольство готовил в Швецию...

Ближним своим он пояснил свое странное желание:

— Ягеллонку хочу иметь в досаду королю Сигизмунду, чтобы, позоря ее на Москве, скорее мир с поляками устроить.

Вот логика! Воистину царская — подлейшая логика!

Осенью 1564 года войска Радзивилла повели наступление, и оно было успешно для литовцев, ибо в их рядах ехал и сам князь Курбский, который лучше Радзивилла знал слабые и сильные стороны своего «противника», которым стало для него отечество, им покинутое. Дремотно закрыв глаза, он покачивался в седле, убранном жемчугом, говорил о царе:

— И пусть страх войдет в душу его и пусть сатанинский трепет поселится в костях его, остуженных от разврата...

Это не все. Одновременно из-за лесов дремучих вырвались несметные полчища Девлет-Гирея, и вновь запылали зарницы пожаров, царь и его дворня в ужасе от нашествия не знали, куда бежать и где спастись, когда гонцы принесли страшную весть:

— Татары уже под стенами Рязани... секут все!

— Господи, с нами крестная сила, — взмолился царь...

Весть о нашествии татар настигла его на богомолье в Суздале, где он был со своей Темрюковной и сыном Иваном. Выручил его, как это ни странно, Алексей Басманов, совершивший свой последний похвальный подвиг. Татары уже штурмовали ветхие стены Рязани, когда он проживал в своем поместье на берегах Оки; он быстро собрал ополчение из мужиков и соседей, взял с собой сына Федора и поспел на выручку вовремя, когда татары уже лезли на стены города...

Штурм был отбит — Девлет-Гирей убрался в Крым в погайские кочевья. Царь, довольный, начал тешить себя охотой в лесах. А все, что дальше случилось, одни историки склонны считать комедией, мне же кажется, что это была провокация...

Царь, подобно Курбскому, тоже ударился в бег!

.....

3 декабря 1564 года — день был воскресный.

В памяти москвичей он остался торжественно-безмолвным, почти таинственным, словно царь творил какой-то мистический ритуал, суть которого скрыта от непосвященных.

Накануне своего отъезда Иван Грозный обобрал все московские святыни, монастыри и церкви; он забирал с собою всю казну, драгоценные сосуды и кубки, украшенные редкостными камнями, не оставил даже царских одежд.

Отъезды царя именовались «подъемами», но на этот раз «подъем» казался всем необычным. Царь указал боярам, сопровождавшим его, взять жен и детей; за обозом боярским ехал на лошадях «выбор» ратных дворян в полном боевом облачении. Ни сами москвичи, ни даже митрополит не были оповещены о целях отъезда. «И все они были в недоумении и в тревоге такому необычному царскому подъему и шествию неизвестно куда и зачем», — записано в Никоновской летописи...

С царем ехали жена его Темрюковна и царские сыновья.

Неожиданная распутица на целых две недели задержала обоз в селе Коломенском, но потом царский поезд начал кружить вокруг первопрестольной: из села Коломенского — в Тайнинское, оттуда тронулся в монастырь Троице-Сергиевский и, наконец, напрямик отправился в Александровскую слободу (пыне город Александров), ко-



тору Иван Грозный давно укреплял, словно готовил себе цитадель для укрытия. Там, в этой слободе, он и за- тих, ничем о себе не напоминая, и это молчание царя порождало в Москве неясную, но подозрительную тре- вогу.

Московские жители недоумевали — что случилось?..

А случилось и в самом деле нечто небывалое, почти необъяснимое: царь покинул престол и, хотя не бежал из страны, как бежал князь Курбский, но оказался внутри своего государства вроде эмигранта, заняв такую же угро- жающую позицию, подобную позе явного диссидента Курбского...

Молчание царя затянулось на целый месяц.

### 13. В ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ РАЮ

Итак, наш герой Кузвас, спасаясь от разъяренной тол- пы, ловко перемахнул через высокий забор, вдруг оказав- шись в прекрасном саду, который показался ему раем. Далее пусть он пишет сам, а мы превратимся в читателей.

. . . . .

Рай благоухал такими цветами, каких я пикогда не видел в нашей безводной испанской юдоли. Тенистые оре- ховые кущи симметрично разделялись тропинками; из зе- лени растений выступал мрамор божественных изваяний. А посреди сада ликующий дельфин, высываясь из пер- ламутровой раковины, тихо струил чистые воды фонтана. За вершинами деревьев угадывалось массивное строение с кры- шей, поверх которой жаркий ветер-солапо раскручивал медные флюгеры, выкованные из меди наподобие старо- модных каравелл времен Колумба.

Опомнясь, я услышал, что за оградой кричали люди, в ворота райской обители бились крепкие кулаки:

— Откройте! Кто бы тут ни жил, пусть даже гранд или сеньор. Мы видели, что убийца скрылся у вас... Име- ем короля и во имя пресветлой девы Марии выдайте нам убийцу!

Невольно обернувшись, я даже вздрогнул. За мною, появившись неслышно, пожилой человек углубился в чтение молитвенника, и читал с такой отрешенностью, будто ни- что в этом мире его не касалось. Черная сутана была ук- рашена на груди квадратной белой манишкой, а с за-

пятью левой руки свисала почти до земли гирлянда четок, крупных, словно грецкие орехи.

Дельфин безмятежно орошал водою ветви деревьев.

Незнакомый монах вдруг громко захлопнул молитвенник:

— Ты слышишь, как ломятся в наши ворота?

— Да, слышу.

— Может, их впустить? — с улыбкой спросил монах. — Кажется, ты свершил нечто ужасное, и горожане просят выдать тебя на расправу... Скажи, чем ты вызвал такой гнев людей?

Не знаю, что толкнуло меня сказать правду:

— Я зарезал соперника. Укройте меня.

— Укрыть тебя, значит укрыть грех твой...

Утверждал он это? Или спрашивал? Я не понял.

Его рука вдруг выхватила из-за моего пояса наваху:

— Вытри ее от крови. Ты знаешь, куда проник?

— Не могу понять, но... такой дивный сад.

— В этом саду ты можешь потерять все, что имел раньше. Но здесь же ты можешь вернуть себе все потерянное...

Монах говорил с акцентом, отчего я понял, что он не испанец. Меня провели в дом, укрытый деревьями. Здесь мне бросили монашескую рясу и быстрыми движениями бритвы обозначили на макушке головы монашескую тонзуру. Затем монах сунул мне в руки молитвенник, указывая следовать за ним. Мы смело открыли ворота, и перед разъяренной толпой, готовой ворваться внутрь, монах громко крикнул:

— Вам нужен ад, а вы ломитесь в рай. Здесь резиденция святейшего ордена «Общества Иисуса», и разве мы, верные псы господни, стали бы укрывать убийцу?

Я, опустив глаза долу, вслух читал молитвенник.

Снова лязгнули железные затворы, запирая обитель.

Так я случайно попал в испанскую конгрегацию иезуитов, ворота которой нерасторжимы для непосвященных, но я избежал ворот, угодив внутрь конгрегации иным путем — через забор. Пламя костров инквизиции уже опалило мне лицо, и, естественно, что я, мучимый страхом, не постыдился спросить — могут ли братья ордена спасти меня? Ведь я убил не еврея, не мавра, а христианина, верного святейшему престолу... Меня утешили словами:

— Наш орден подчиняется одному папе римскому, никого не выдавая его инквизиции. Мы можем выдать винов-

ного не духовным, а только светским властям; чтобы они сами решили, выдавать или нет его дело на суд Санта-Оффицио...

Впервые я встретился с такой изворотливой казуистикой, которой позже в совершенстве овладел с а м. Мне ведь не сказали, что я буду выдан инквизиторам. Но при этом дали понять, что в их власти поставить меня на костер. Первую ночь я провел в тесной келье, где, кроме молитвенника, обнаружил томик Боккаччио и, раскрыв его, я заметил жирно подчеркнутые слова. До сих пор я помню их наизусть: «Лучше грешить и потом каяться, нежели не грешить и все-таки каяться...» Только теперь я понял, что спасен:

— Твоими молитвами, о пресвятая дева Мария!

. . . . .

Придется выдать некоторые тайны, которые не могли быть известны Куэвасу, но известны мне, живущему в ХХ веке.

Дело в том, что папа Павел IV открыто ненавидел Филиппа II, желавшего стать высшей главой католического мира, отбивая, тем самым, кусок хлеба у самого папы. Это соперничество не могло привести к добру, и Ватикан, вооружаясь, вербовал в свою армию даже немцев-лютеран, которые плевать хотели на папу, лишь бы папа не забывал им поплачивать. Со стороны Неаполитанского королевства, входившего в корону Филиппа II, герцог Альба угрожал папе скинуть его с престола божия. Конечно, в таких условиях иезуитам, прислужникам Ватикана, нелегко было освоиться среди испанцев. Кое-где их преследовали, в Сарагосе они были даже избиты прихожанами. Испанская инквизиция враждовала с иезуитами, считая их иллюминатами-еретиками, тем более, что все грязные дела, и даже развращение женщин во время исповеди, иезуиты вершили в своем узком кругу, не выдавая виновных на суд инквизиторов. В это время генералом ордена (третьим после Игнацио Лойолы) стал Франческо Борджиа, который тоже попал на допрос в испанскую инквизицию Вальядолиде, обвинившую его в тайной ереси. Но Франческо Борджиа, бывший вице-король Каталонии, потомок по отцу и матери испанских королей и римского папы Александра VI, был не такой персоной, чтобы дал себя поджарить. С ним считался сам Филипп II, а потому орден иезуитов в Испании постепенно обретал большую си-

лу. Наверное, этими обстоятельствами, укрытыми от взора посторонних, и можно объяснить то, что мадридская конгрегация сознательно укрыла Куэваса от возмездия...

Первые двадцать дней он жил в резиденции, таясь от правосудия за высоким забором, и никто его не беспокоил. Он делил с иезуитами их сытную трапезу, читал светские романы, ему было даже хорошо. Но иногда Куэваса ошеломляли совсем неожиданными вопросами:

— Что главное ты видишь в булавке?

— Острие.

— А что примечательно в алмазе?

— Сияние.

— Думаешь ли ты о смерти?

— Нет. Но она для всех неизбежна...

Куэвас не мог не заметить, что среди иезуитов не было общей молитвы, никто не распевал их литургическим хором. Но когда он счел свое убежище монастырем, его поправили:

— У нас нет монастырей, а обители наших конгрегаций — это подобие военных бивуаков: сегодня мы здесь, а завтра в пути, чтобы оказаться там, где угодно генералу ордена. Мы находимся в вечном движении к цели, и у нас нет времени для остановок, чтобы предаваться общей молитве. Каждый из нас творит свою мессу, когда ему благорассудится...

Однажды, вспомнив прежнюю жизнь и дружбу с Мигелем, которого он зарезал, Куэвас невольно предался отчаянию, но иезуиты ласково ему объяснили:

— В чем же твой грех? Если человек стал мертв, значит, смерть его была угодна господу Богу, который именно тебя избрал для свершения своей воли...

Куэвас писал: «О, как мне стало легко и сладостно после этих слов утешения, и отныне я уже не терзался совестью, совсем перестав думать о загубленной жизни, которую пересекла рука всевышнего, вложив кинжал в мою руку». Конечно, он не мог знать, что — независимо от его воли — он уже включен в жесткую систему иезуитского воспитания для нужд ордена. В первой ступени проверки он назывался «индефферентос» (выжидающим), а само подворье ордена стало для него «домус пробатионис» (домом испытаний). В состоянии выжидающего Куэвас еще не замечал, что подвержен строгому наблюдению; исподтишка его изучали со всех сторон и, отвечая на вопросы братии, он невольно обнажал свой характер, свои прист-

растия и свои вкусы. Никто не торопил его сделать первый шаг. Однажды он сам изъявил желание чем-то помочь братии в их жизни, во многом еще загадочной для него.

Просьбу его приняли благосклонно. Потом дали грязное ведро и открыли перед ним выгребную яму с нечистотами.

— Если ты столь благодарен нам,— было сказано,— так вычерпай все дерьмо. Мы тоже останемся тебе благодарны!

Так впервые в жизни он вкусил унижение грязного труда, но, признаться, не очень-то оскорбился, вдыхая невыносимое зловоние. Когда же отмылся и выветрил из себя дурной запах, резидент миссии Суарец просил его сопровождать в вечерних прогулках по саду. Это был добрый и веселый старик, говоривший с юмором завязтого эпикурейца:

— Ах, молодость! Я тебя понимаю... Ты начитался глупых книжек, в которых лошади скачут через пропасти, словно лягушки через канавы, а благородные рыцари не успевают наизывать на свои копыта по сотне сарацин сразу, будто все неверные — это жалкие маисовые лепешки. И за все эти подвиги в конце концов прекрасные дамы позволяют тебе выпить кувшин воды, в котором они обмыли свои благородные чресла...

Исподволь иезуиты разрушали прежние рыцарские идеалы Куэваса, присущие всем молодым идальго. Когда первый срок испытания миновал, ему было заявлено со всей строгостью, какой он никак не ожидал, и даже — грубо:

— «Общество Иисуса» не может без конца содержать посторонних. Мы спасли тебя от гнева уличной толпы, а теперь можешь убираться отсюда. Ворота открыты.

— Куда же я денусь? — растерялся Куэвас.

— Свет велик. Иди куда хочешь.

Куэвас впал в отчаяние. Иезуиты и сами знали, что при дворе ему нечего делать, а, стоит показаться на улицах Мадрида, его схватит инквизиция, которая ко всем грехам припишет и убийство Мигеля... Куэвас взмолился:

— Я согласен делать все, только не изгоняйте меня. Если можно, сочтите своим собратом... спасите!

Его заперли в темной келье, три дня не давали воды и хлеба. Потом к нему ворвалась толпа братии, и он не узнал в смиренных братьях прежнего благочестия. Они словно озверели! Поставив Куэваса на колени перед рас-

пятнем; он был осыпан угрозами, порицаниями, оскорблениями:

- Нечестивец, желающий даром познать рай!
- Он же притворщик... гнать его отсюда!
- Откуда он взялся, этот слизняк из винной бочки?
- Оплюем его, братия...

Его оплевали с ног до головы, а почтенный казначей высморкался ему в лицо. Толкаясь в дверях, иезуиты покинули его, продолжая громко возмущаться. Куэвас вышел в сад, похожий на рай, и мраморный дельфин, вздымая фонтан, щедро отпустил для него воду, чтобы он утолил нестерпимую жажду, чтобы обмыл со своего лица плевки. Здесь его застал Суарец, похваливший его смирение.

— Ищи спасение в себе самом,— сказал он.— Но прежде, чем ты примешь решение, ты обязан дать клятву. Если желаешь служить престолу божию, как верный пес хозяину, сразу отрекись ото всех родственных чувств.

— У меня так мало осталось родственников!

— Но о тех, что остались, ты можешь говорить не иначе, как о покойниках. Заодно,— добавил Суарец,— сразу избавься ото всех привязанностей сердца.

— Проклинаю их! — отвечал Куэвас.

— Но тебе предстоит отречься и от своей родины, ибо пес господень не нуждается в будке, а бегаёт по всему свету, чтобы всюду слышали его лай, стергуший престол божий.

— Не быть испанцем? — Это ужаснуло Куэваса, считавшего, что «Испания — превыше всего».

Но его патриотизм был жестоко высмеян:

— А зачем быть испанцем, если можно быть немцем в Германии, русским в Московии или поляком в Полонии? Наконец, нас ненавидят в Англии, и потому хорошо быть англичанином... Разве не хочется быть человеком всего мира?

Куэвас не ощутил момента, когда его воля и гордость были парализованы насильем, и для него навсегда останется загадкой, как и когда он стал воспринимать послушание вроде указания свыше, которое всегда останется для него безоговорочным, неподвластным критике и сомнениям. Переведенный во второй разряд «новициатов» (испытуемых), он был честно предупрежден, что новициаты еще сохраняют право отказаться от службы в ордене.

— Подумай,— предупредили его,— ибо третья ступень

«схоластика» уже не позволит тебе покинуть наш орден, а если вздумаешь бежать, то с твоих ног свалится обувь... Впрочем третья ступень застанет тебя далеко отсюда.

— Где? — спросил Куэвас.

— Отвыкай спрашивать, — отвечали ему. — Приготовься уюодобиться трупу, который орден станет переворачивать с боку на бок и таскать по земле туда, где ты нужен. Но впреред ты научишься ценить в алмазе не сияние, а лишь его бесподобную твердость, какой станешь обладать сам, и ты сделаешься острее булавки, дабы проникать в сокровение душ... Скажи, разве не хочешь повелевать людским стадом?

— Хочу! — бестрепетно согласился Куэвас.

— Так она уже блеет, радуясь, что ты острижешь глупых баранов, а потом сам и выспишься на их мягкой шерсти... А сейчас возьми у садовника лопату и выкопай яму такой глубины, чтобы вылезти из нее с помощью веревки...

. . . . .

Безропотно повинуюсь, я выкопал такую глубокую могилу, из которой, казалось, никогда не выберусь. Но когда меня подняли наверх, я услышал голос Суареца:

— Теперь закопай ее. Видишь, из земли торчит сухой кол? Поливай его водою, пока из кола не вырастет дерево.

— Оно никогда не вырастет, — возразил я.

— Ты прав, — согласился Суарец. — Но это тебя не касается. Твое дело поливать кол, веря в том, что дерево вырастет.

Мне вручили хлыст о пяти концах со следами чужой крови и железную цепь, оснащенную колючими шипами:

— Если тебя навещают сомнения или гложет тоска по тому миру, из которого ты пришел к нам, начинай, сын мой, бичевать свою плоть, пока не возликуешь ты духом...

«Чем хуже, тем лучше», — это выражение я слышал постоянно от братии, и выпадал ли град на посевы, топил ли буря корабли на море, навещала ли города чума, — вывод иезуитов был непреложен и четок: «Чем хуже, тем лучше». Я вымотал себе все руки, таская ведро за ведром, чтобы поливать кол, торчащий из земли, но... пропозшло ч у д о!

Ошеломленный, я ворвался в келью отца Суареца:

— Мой кол дал первый отросток зелени.

— А ты не верил, — засмеялся резидент. — Ну, что ж.

Теперь я стану разговаривать с тобою, как с равным, ибо, вижу, что ты проникся духом святым... Садись рядом.

Старый эпикуриец наполнил вином бокалы, разрезал рокфор, о чудесном благовоении которого с такой похвалой отзывался в древности еще Плиний, как о самой желанной пище римских патрициев. Наши бокалы сдвинулись.

— Весь мир открыт перед нами, — возвестил Суарец, — и ты всегда помни, что сказал Иисус своим апостолам: «Вы пойдете на этот праздник, а я еще не пойду на этот праздник, потому что время мое еще не исполнилось. Но когда братья его пришли, тогда и он пришел на праздник, но не явно, а как бы тайно...» Ты, сын мой, тоже придешь на праздник, но тоже втайне, и никто не узнает тебя, веселящегося...

#### 14. ПСЫ ЦАРСКИЕ

Загадочное молчание царя, покинувшего Москву 3 декабря 1564 года и притаившегося, словно зверь, в берлоге Александровой слободы, это зловещее молчание затянулось на целый месяц — вплоть до 3 января 1565 года.

Москвичи волновались, не зная что и думать: уж сколько лет стояла земля русская, а такого еще не бывало, чтобы цари бегали от престола пращуров, словно воришки от сундуков обкраденных. Похоже, что царь своим небывалым «подъемом» желал возмутить народ. Нормально ли это? Где еще найти такого правителя, который бы сознательно вызывал смуту в стране?

— Это все бояре виноваты, — кричали на улицах. — Это они, кривобрюхие, довели царя-батюшку, вот и утек от нас...

Русское государство в ту окаянную пору было, по словам крымского хана Девлет-Гирея, «в длину земли его ход девять месяцев, а поперек — шесть месяцев» ехать. И вот эта великая страна, казалось, замерла в напряженном выжидании, еще не ведая, что готовит ей царь в Александровой слободе.

Наконец, царь излил на Москву, словно яд, два послания: в первом писал, что покинул царство свое, в котором поселилась неправда боярская, а второе послание обратил к посадскому люду, сообщая смердам своим, что



на них зла не имеет. Этими двумя эпистолами царь как бы разделил поданных на «козлищ и овец»: мол, вот эти виноваты, хочу их казнить, а эти вот невинны, желаю их миловать и голубить.

Москва волновалась в смятении:

— Увы, горе нам, сирым! Бояре-то прогневали батюшку пашего, кто нас помилует, кто оградит от супостата бусурманского? Мы, грешные, остались, как стадо без пастыря, а волков-то сколько округ нас зубами щелкают...

Тут ума много не надобно, чтобы возбудить народ против властей, паче того, бояре не были ангелами, и царь Иван IV загнал клин между ними, сам оставаясь хорошим для одних, а для других делаясь страшным. Митрополит Афанасий, уже немощный старец, заробел, когда к нему подступился народ:

— Веди нас в слободу Александровскую, будем бить челом государю и станем плакаться всем народом, чтобы не покидал престол отчий из-за козней боярских...

Глуп народ! Сам лез на эшафот — под топор.

Целая процессия бояр, духовенства, посадских и торговых людишек длинной килой потянулась по снежной дороге с иконами и хоругвями в Слободу, царь вышел к ним, все пали в ноги ему, тирану, просили его униженно души рабские:

— Не оставляй нас, великий государь, правь нами как тебе угодно, милуй и казни нас, грешных, коли гнев твой царский вызовем. Уж мы и сами кого надобно извести готовы...

Этого-то Ивану Грозному и было надобно! Отныне его самодержавие крепло желанием народа, который, казалось, сам призывал его не снимать шапки Мономаха. Но, видно, нелегко далось деспоту месячное сидение в Слободу: могло ведь и так случиться, что после его притворства, когда оставлял он престол московский, могли посадить на престол и князя Владимира Старицкого... Да, нелегко было желать царю призыва вернуться. Тут историки замолкают, не в силах оспаривать очевидцев, которые согласно пишут, что царя было просто не узнать — так он изменился и постарел за один месяц.

Таубе и Крузе, будущие опричники, писали, что черты лица его страшно исказились, взор угас, «у него совсем не осталось волос на голове и в бороде, которые сожрала и уничтожила злоба его тиранской души». Однако, лицо царя выражало при этом мрачную свирепость от ужаса

и ярости, «которые кипели в нем накануне нового периода казней...»

Челобитье от москвичей Иван Грозный принял:

— Волен огненные я на ослушников всех опалы класть, казнить нещадно измену боярскую, имения их в казну отбирать стану. А чтобы крамолы в государстве не стало, хочу опричь от страны свой обиход иметь с людьми мно верными...

«Опричь» (особо) от народа, отделенного от него царской властью, в крови и злобе зарождалась ОПРИЧНИНА.

Историки сколько лет втемняшивали в наши учебники ту фальшивую мысль, будто Иван Грозный мудро стремился к централизации власти, чтобы Москва указала, а Русь исполнила.

Так ли это, спрошу я их. Если он хотел видеть государство единым, как монолит, так зачем он делил его на части, словно разрубая топором сырое полено? Оказывается, деспот недаром сидел в Александровой слободе целый месяц, теперь у него все было продумано... Страна делилась им на Земщину и Опричнину, которая забирала под себя Можайск, Вязьму, Козельск, Белев, Перемышль, Медынь, Галич, Суздаль и другие цветущие города. Даже Москву не пощадил тиран: опричникам отводился Арбат, Сивцев Вражек, Никитская, и всех, кто там жил на этих улицах, вышибали на улицу со всем барахлом — убирайтесь ко всем псам, здесь будут жить опричники.

Но это еще не все! Перед выездом из Москвы царь ограбил ее святыни, как святотатец, а теперь объявил:

— За «подъем» мой и дорогу до слободы Александровской казна пусть даст мне сто тыщ рублей. А я казну свою не обижу, и насыплю в нее от тех, кого казнить пожелаю...

Царь вернулся в столицу в феврале и начал казни.

Сразу отлетели с плахи шесть голов, а седьмой мученик был посажен на кол, и сидел, пока кол из глотки не вылез... Бродячие собаки алчно облизывали кол, по которому струилась яркая и горячая кровь, хлеставшая из пронзенного человека...

Москву было не узнать: сколько плачей, стенаний, горестей! Всюду скрипели возы, бедные люди тащили на себе домашний скarb, навсегда покидая родимые жилища, в которых селиться не имели права, обо их забирали опричники. Но еще страшнее было в провинции, когда царь забрал в опричнину Вологду, Галич, Ярославль, Ко-

строму, Плес и Кашин: всех выгнали оттуда на мороз и гнали по снегу к новым местам... Современники писали об этом, что ограбленные горожане «должны были тронуться в путь зимой среди глубокого снега, так что многие из жен рожали на снегу. Если кто-либо из крестьян в селах или городские жители давали приют больным и роженицам хотя бы на один час, их тут же убивали безо всякой пощады. Мертвый не должен был быть погребенным и делался добычей птиц, собак и диких зверей... Шли нищими по стране и питались подаянием!»

Сотворив молитву вечернюю, Иван Грозный шествовал в опочивальню — к своей жилистой и смуглой Темрюковне, которая слова путного не стояла. Здесь же, при свете лампадок, освещавших иконные лики, постоянно томились три слепых старца, которые, не видя всех безобразий, поперебой ублажали царя-батюшку былинами и сказками. Без их говора царь не мог уснуть, и, когда их фантазия иссякла, он указывал:

— Ну! Хотя бы про Кащея Бессмертного...

Под говор слепцов он засыпал. Тогда старики наощупь отыскивали двери и покидали его, чтобы самим выспаться...

. . . . .

Как тут не вспомнить массовое выселение «раскулаченных» при Сталине? Недаром же Сталин так боготворил Ивана Грозного!

Дело врачей-психиатров выяснить, почему перед каждым злодейством Иван Грозный томился бессоницей, в канун самых лютых массовых казней он мог не спать несколько ночей, в мрачной меланхолии жаловался, что одинок, никто его не любит, все хотят ему зла, чтобы извести колдовским чародейством... «Вниде страх в душу мою и трепет в кости мои, и смирися дух мой», — писал царь еще в 1551 году, одолеваемый страхом, дрожал он скелетом своим от ужаса, но тиран притворялся, говоря, будто смирился духом. Источенный развратом, самым отвратительным, царь безмерно высоко цепил лично себя, много мнил о своих достоинствах.

— Токмо то хорошо на Руси, — говаривал он, — что пашу царскую власть тешит, а все остальное противно нам и недостойно царева звания...

Заметьте, среди распутников не бывает героев, а распутство царя сызмала превратило его в труса. Это в кинокартинах времен Сталина царь героически штурмует Ка-

плпль, а в жизни все было иначе: бояре силком принудили его к походу, а царь, плывя до Казани, горько плакал, боясь за свою драгоценную шкуру. Иван Грозный даже ходил-то не как все люди, а по стеночке, постоянно озирались, всюду прислушиваясь — нет ли где измены? Живи такой человек в наше время, он до конца дней не выбрался бы из психиатрической клиники, а тогда... Тогда он создал опричнину, рожденную страхом!

До сих пор ни один историк не может четко ответить на вопрос, что такое опричнина и для чего она была создана?

Научных версий множество, но все-таки опричнина, наверное, так и останется для нас за семью печатями — тайной, известной только ее создателю. Во времена Сталина нас учили в школах, что, уничтожая боярскую оппозицию, Иван Грозный стремился к централизации государства. Допустим. Но как объяснить, что, создавая опричнину, он одним махом раздробил Россию на две половины, враждующие одна с другою? Опричнина явилась самостоятельным государством в государстве, а царь как бы умышленно отделился от народа, но при этом оставался главным в стране.

В учебниках моего детства писали, что Иван Грозный правильно делал, удушая бояр, чтобы облегчить народные нужды. Но теперь мне хочется спросить историков:

— Да, царь уничтожал бояр за их мнимые «измены» и «чародейства». Но как объяснить, что крестьян вешали на воротах его дома, жену его, изнасилованную опричниками, топили в проруби, малых детишек, даже младенцев в колыбелях, разрубали на части, словно мясо, скотину жгли в запертых хлевах, заодно огнем уничтожали скудные мужицкие посева хлеба... Неужели вот это и называть «облегчением» для народа?

Недаром же в народе тогда говорили:

— Там, где царь Грозный проехал, там курочка пубегает, там даже собачки не лают...

«Царь грех наших ради», — писал Курбский о царе Иване IV. Но кто же был тогда грешен — вот вопрос! Народ был еще слишком наивен в своих упованиях на мудрость и милосердие царя, так можно ли винить его за это? Русский человек времени Ивана Грозного был глубоко несчастен уже хотя бы потому только, что имел несчастье родиться в том времени. Даже если он уцелел, то кошмары его жизни отразились на детях его, на внуках и

даже в правнуках его. Принципы свободы, задавленные ужасами опричнины, обратятся потом — уже в других веках, в иных эпохах! — низкопоклонством перед старшими, угодничеством и подхалимством, боязнью сказать слово правды в лицо начальнику. Это будет срабатывать незримый генетический код перестраховки, какой сработал во времена Брежнева после звериных репрессий Сталина...

Итак, — опричина... Что это за зверь такой?

Кремль без царя, в его палатах, боясь молвить лишнее слово, молча заседают бояре — те самые бояре, которых царь огласил «изменниками». Они решают государственные дела, а царь занят другими — опричными. С грохотом рушатся древние усадьбы бояр, и на их месте — подле Кремля — растет Опричный двор, обнесенный высокой стеной, словно крепость. Над железными воротами, куда вводят человека, чтобы он никогда не вернулся обратно, изображены два льва-барбара, а вместо глаз у них вставлены два круглые зеркала, сверкающие на солнце. Вокруг Опричного двора все улицы заняты под жилье опричников.

Вот едут они! Разбегайся, народ, пока не поздно...

Рожи у них сытые, довольные. Ухмыляются.

Возле седел приторочены собачьи головы и метлы — грозные символы того, что они, как верные псы царские, все вынюхают, всех загрызут насмерть, а метлой выметут из страны «измену».

— Спасайтесь, люди добрые! — слышны голоса.

Мигом затворяются ставни, заперты лавки, опустели ряды лоточников, улица пустеет, будто вымерла.

— Господи, пронеси! Кромешники едут...

«Кромешники» — так окрестили русские люди опричников, что явились на божий свет из «тьмы кромешной». Эту тему можно и продолжать. Археологические раскопки в Александровской слободе, столице опричников, проведенные в 1970 году академиком Б. А. Рыбаковым, обнаружили остатки крыши дворца опричников, крытые именно черными (кромешными!) плитками...

Всегда мучителен вопрос: как и где царь-изверг добывал людей без чести и без жалости, желающих упиваться страданиями других людей, как упивался он сам, главный «кромешник», венчаный шапкою Мономаха. Точно известно, что вступавшие в опричину давали жуткую клятву:

— Клянусь быть верным одному государю. Я отрекаюсь от матери и отца своих, не буду знать ни своей родни,

ни жеиной. Я клянусь не есть и не пить ни с кем, кто остался в Земщине, а знать буду только свою опричнину... Вот на этом и целую святой крест!

Сигналом для убийств и разбоя было татарское слово: — Гойда! — или «айда», то есть «начинаем»...

Охотников служить в опричнине сыскалось немало, да не в каждом царь и нуждался. Отбирали молодцов, склонных к разбойничей удали, к расправам скорым и беспощадным, чтобы ни чести, ни жалости не ведали, а страсть к мучительству похвалы достаивалась. Вхожий в опричнину — как отрезанный ломоть, и, если родители его оставались в Земщине, он даже не помышлял их видеть. А кто нарушил клятву — конец был одинаков: убивали опричника, убивали и тех, кого он повидал в Земщине...

Страшен опричник! Понравится ему шапка твоя — отнимет, красивая у тебя жена — тут же насиует. Через заборы они нарочно подкидывали в дома обывателей сережку или колечко, а потом хозяина по судам умучивали, будто он обворовал их. Вовек от опричника не откупиться, а на него, супостата, суда нет — за ним, крошечником, слава царской. Лучше отдать ему все, что есть, а самому по миру идти побираться, только бы в живых оставил...

Так кто же они, эти мучители народа русского?

Наш историк В. Б. Кобрин писал об опричнине: «Знатные бояре и отпрыски захудалых провинциальных родов, воеводы и палачи, тюремщики и дипломаты, царские шуты и лихие наездники, русские и немцы, кабардинцы и татары... Трудно разобраться в этом конгломерате». А столицей этого сброда царь сделал Александрову слободу — это был настоящий концлагерь, какие устраивал Гитлер в порабощенной Европе. Сюда, в самые лютые морозы, нагишом и босых, сгоняли «изменников», чтобы замучить их самыми изощренными пытками. Попавший сюда, пусть даже трижды невинный, не возвращался домой — его все равно убивали, чтобы он не вынес наружу правды об увиденном...

Что-то есть общее между опричниками и войсками СС, куда принимали бандитов любой национальности, лишь бы они убивали, никогда не задумываясь над целями убийств. Сталин сыграл зловещую роль в истории нашего народа, он сознательно — в угоду своим наклонностям — фальсифицировал роль опричнины, и сейчас даже страшно подумать, что в постановлении ЦК ВКП(б) от 4 сентя-

бря 1946 года отмечалась прогрессивная роль, которую сыграла опричнина в истории нашего народа.

В истории опричнины меня утешает только одно.

Все эти убийцы, псы царские и «кромешники» были потом уничтожены, как бешеные собаки, другими убийцами, и как тут не вспомнить народную мудрость, гласившую:

— Бог шельму метит!

. . . . .

Рафаэль Барберини, римский негодяй, принятый в Кремле, заметил, что царь обедал в окружении пленных немцев. Сколько их было — неизвестно, но история сохранила для нас имена четырех: Альберт Шлихтинг, Иоганн Таубе, Элерт Крузе и Генрих Штаден. Все они оставили записки о своем пребывании при царе, и мы должны быть благодарны этим немцам, ибо русским в то время было не до того, чтобы писать мемуары.

Ни один историк не миновал записок этих немцев, которые сами выкупались в русской крови. Правда, во времена Сталина, высоко почитавшего сатрапию Ивана Грозного, об этих записках помалкивали, ибо они чересчур откровенно и правдиво рисовали звериный облик сталинского героя и его опричников. Иногда же эти ценные источники попросту игнорировались на том основании, что их авторы, иностранцы, сознательно желали оклеветать великого государственного деятеля Ивана IV.

Позвольте, разве только мы, русские, можем писать правду, а иностранцы обязательно должны клеветать?

В угоду сталинской версии сами клеветали, упрекая немецких авторов в том, что они якобы сгустили краски, желая опорочить правление Ивана Грозного.

А зачем им «сгущать краски», если они, эти авторы, обвиняя царя в массовых репрессиях, сами же честно признавали свои кровавые преступления в рядах царской опричнины.

Доказано, что все четыре автора писали свои мемуары самостоятельно, писали их в разное время и никак не могли сговориться между собой об одинаковом изложении фактов, ибо позже, удрав из России, они никогда не встречались.

Зато написанное ими очень схоже в изложении событий, и подтверждается русскими летописями. Мало того, Шлихтинг и Штаден, Таубе и Крузе писали свои мемуа-

ры не для печати, их мемуары были найдены в архивах Европы тогда, когда от их авторов даже костей не осталось.

Но ни один из этих немецких опричников, натворив в России немало зверств, так и не мог понять главного:

— Что такое опричнина? Ради чего она создана? Зачем опричнина свершала немислимые зверства, никому не нужные? И ради каких целей понадобились царю эти зверства?

Нам придется вернуть свою память назад — в те самые дни, когда в Лондоне Себастьян Кабот готовил полярную экспедицию Ричарда Ченслера, приплывшего на Русь с северных румбов. Именно тогда ганноверский негодянт Ганс Шлитте сделал в Европе признание, которое казалось невероятным:

— Я видел русского царя, и от него я узнал, что он собирается создать на Руси монашеский или рыцарский орден, наподобие тех, какими перенасыщена Европа...

Не тут ли и затаился секрет всей опричнины?

Создавая ее, царь, наверное, создал орден для истребления противников. Но если, скажем, ливонский орден в Прибалтике крестом и мечом покорял языческие племена (пруссос, ливос и эстов), то опричнина, рожденная внутри русского государства, уничтожала свой же собственный народ. Историки заметили, что опричнина, как рыцарско-монашеский орден, в чем-то удивительно схожа с орденом доминиканским, а клятва, которую давали опричники, напоминает клятву иезуитов. Такое же отречение от родных и друзей, отречение от родины, и бессловесное послушание высшей власти...

Иногда в общем вопле опричников «Гойда, гойда!», зовущих не щадить ни старого, ни малого, мне чудятся ипостраанные голоса Штадена, Шлихтинга, Таубе и Крузе:

— О, шорт! Русска швайн, я буду показать твой, где рак зима шифет...

## 15. ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Кажется, царь уже понял, что Ливонская война — это камень на шее и легко было разделаться с Ливонским орденом, но с коалицией недругов не справиться. Сигизмунд II Август еще в 1563 году хотел замирения с Москвой, согласный даже не требовать возвращения Полоцка,



но Иван Грозный, упоенный тогдашними успехами, мира не пожелал. Теперь же думал, как извернуться, чтобы оставить Ливонию за собой, а все шишки свалить на чужую голову. Хорошо бы поставить над Ливонией своего «голдовника» (вассала), царю покорного.

— Но где взять голдовника? — размышлял царь...

Помощь пришла из Пруссии, совсем неожиданная. Великий магистр тевтонского ордена Вольфганг, видя, что его орден разваливается, предложил царю восстановить орден в Ливонии, а потом общими усилиями избавить Пруссию от польского владычества. Иначе говоря, Вольфганг соглашался быть «голдовником» московским, а не варшавским! Но прусские тевтоны желали освобождения Фюрстенберга, и такая комбинация пришлась царю по душе. Он велел привезти магистра из Любима, где старый рыцарь пообвыкся жить среди русского простолюдства, поправил здоровье поеданием осетров, налимов, стерлядей и севрюжины... Царь встретил его ласково:

— Поганый пес Кеттлер, — сказал он, — отнял у тебя звание и богатство твое, а я тебя разве обидел? Хочу снова сажать тебя в Ливонию, а ты кланись мне, что Ригу, Ревель и все, что мое, там, до самого моря, снова воевать станешь... ради себя постарайся изгнать литовцев и шведов.

Возле царя сидел сын его Иван, рожденный от Анастасии, еще подросток, силился повясть отцовские слова. Опричники стояли справа от царя, а земские слева. Генрих Штаден, сам опричник, зорко следил, чтобы царский толмач Каспар Виттенберг точно переводил с русского на немецкий.

Фюрстенберг знал, что царю лучше не перечить, но, человек старый, он уже не дорожил жизнью, отвечая царю честно:

— Не приходилось слышать, чтобы Ливония до самого моря была твоей вотчиной. Теперь ты устал от войны и потому меня посылаешь, чтобы я стал библейским козлом отпущения...

Штаден записал ответ царя: «А видел ты пожары, смерть и убийства, помнишь, как вместе с тобою шли в плен московский твои ливонцы? Так говори же, чего ты хочешь?»

— Лучше мне умереть в Любиме среди хороших и добрых людей, — отвечал бывший магистр, — нежели возвращаться в разгромленную Ливонию вассалом московским...

Иван Грозный смирил гнев, а Фюрстенберга отпустил в Любим умирать своей смертью. Непонятное снисхождение царя к немцам будет понятным, если признаем за истину, что русский царь не желал быть русским, говоря посланникам иностранным:

— Я на правде стою, а все русские — обманщики и воры. Я же веду свой корень от римского кесаря Августа...

Боярам приходилось пояснять выражение царя:

— Август-Цезарь обладал вселенной, брата же своего Пруса посадил на берегах Вислы и Немана, отчего и земля тамошняя зовется Пруссией, а в четырнадцатом колее от Пруса был Рюрик, от коего и происходит наш великий государь...

Это сушая правда, что Иван Грозный брезгливо морщился, когда его называли русским (он даже своих бояр лингвистически выводил от «баварцев»). Именно по этой причине, не довольствуясь браками в России, он всю жизнь искал себе иностранную принцессу. Надо полагать, что дикая Темрюковна была плоха в роли «принцессы», а сам Иван Грозный всегда считал себя женихом завидным, такому, как он, не будет отказа...

При живой жене, без стыда и совести, царь не оставлял дипломатических хлопот, чтобы Эрик XIV выдал ему свояченицу Екатерину Ягеллонку. Ради этого сватовства он в марте 1565 года снарядил в Стокгольм целое посольство во главе с Никитой Сущевым, чтобы «перемирие крепить»:

— Но скажи королю Ирику, что я на сердце кручину возложил, и не бывать мне покойну, покудова Ягеллонку зловредную не выдаст от мужа ее. Еще слыхивал я, что есть у короля Ирика сестра родная Цыцылька (Цецилия), как я, великий государь московский, хочу от той Цыцыльки почати...

Летом того же года царь вторично произвел чистку в Дерпте, высылая его жителей в русские города — в Углич, Кострому, Владимир и Нижний. Многих он заманивал на русскую службу, соблазняя многими льготами, каких и русские не имели. Среди высылаемых оказался дерптский пастор Иоганн Веттерман, человек образованный. Вот с этого пастора и начиналась та странная история, преисполненная тайны, которая не разрешена до сих пор, и вряд ли когда-либо уже разрешится...

Угождая немцам, царь в двух верстах от Москвы выстроил даже лютеранскую церковь, а пастора привлекал

к себе для бесед. Выказывая ему особое почтение, Иван Грозный велел открыть перед ним свою библиотеку (либерию), в которой были древние книги, неизвестные европейцам. Писанные на греческом, латинском и древнееврейских языках, эти ценнейшие книги были настоящие уникальны, что ученые в Европе едва ли знали о них. А если и слышали об этих книгах, то считали их навсегда пропавшими для мировой науки. Можно догадываться, как они попали в либерию Ивана Грозного — от его бабки Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского деспота, который, наверное, полагал, что Константинополь падет перед турками. А спасти книги можно в Москве...

Пыль погибшего Византийского царства наслаивалась на пыль древнего мира, а сверху их коснулась пыль московских тайников и подземелий, где Иван Грозный хранил библиотеку. Веттермана уговаривали засесть за перевод книг на русский язык, и тогда не надобно ехать в ссылку, а в благодарность за труд дьяки обещали ему не отказывать в еде и напитках.

Веттерман посоветался со своими прихожанами, за которыми следовал в ссылку, и пришел к мысли, что лучше «предпочесть мертвые листы живым людям»:

— Я не покину вас, братия! Если мы переведем одну книгу, царь заставит переводить вторую и третью, и тогда нас продержат здесь до самой смерти, словно на каторге. Лучше уж отговоримся плохим знанием языков древности...

Таинственные книги исчезли там, откуда и появились, — в подземельях Москвы, тайны которых были известны одному Ивану Грозному. Нам, живущим на исходе XX века, остается грызть локти — никогда мы не откроем тех книг, в которых заключена первобытная мудрость наших пращуров.

А впрочем... Впрочем, московский митрополит еще продолжает развиваться, и, может быть, землепроходчики, прокладывая новые туннели, еще откроют для нас тайник, где много столетий лежат именно эти книги...

При Иване Грозном было как бы две Москвы — одна Москва, где жили люди, видимая и явная столица, а другая была упрятана царем глубоко под землей, и там царствовал он, вроде слепого крота. Иван Васильевич, не будь он ко сну помянут, лучше любого метростроевца трудил-

ся всю жизнь, пронизав землю таинственными коридорами, лазейками и погребамн, где хранил свои сокровища и где пытал секретных узников. Археологи уверены, что именно в подземной Москве царь со своими опричниками решал, кого убить сегодня, а кто пусть поживет еще с неделку. Опричный дворец находился близ нынешней Ленинской библиотеки; так вот, представьте себе, царь Иван Грозный, войдя в этот дворец, иногда... пропадал. А появлялся на свет божий уже в густом лесу возле Воздвиженки. Вечно движимый страхом, царь загадочно исчезал для всех и таинственно возникал в другом месте.

Страх — вот что загоняло царя под землю, и даже в Александровой слободе, похожей на крепость, он не чувствовал себя в безопасности. Наверное, именно страх, и ничто иное, заставило царя искать новую столицу для государства, где бы он мог укрыться и — на случай бунта — скорее бежать за границу. Таким городом стала для него древняя Вологда, и в 1565 году, сразу после образования опричнины, царь начал поспешно ее отстраивать.

Вологда стала купеческим городом, обстросным складами, англичане тянули свои «коммерсиальные» интересы до Нижнего, до Астрахани, пробираясь к персидским дешевым шелкам. Иван Грозный не мешал им, и в вологодском предместье Фрязино основались конторы англичан, немцев, голландцев и шведов,— жизнь в тогдашней Вологде бурлила ключом, все были при деле, все искали выгод.

Царь строил в городе новый Опричный Кремль, копил здесь запасы и казну, как и в Москве, он залезал под землю. Вологодские легенды рассказывают о многом. Не раз жители находили древние погреба, в которых лежали скелеты, опутанные цепями; не раз являлись старикам привидения в иностранных костюмах с кружевами, иные воложане, наслушавшись легенд, даже покидали свои дома,— и во всех этих случаях народная молва поминала Ивана Грозного, возлюбившего Вологду... Судьба всех тиранов одинакова: сами живущие в страхе, они даже в наследство потомкам тоже оставляют страх.

Москва была запугана казнями и грабежами...

Народ стонал, причитая о невинно загубленных, а, постовав, разбежался куда глаза глядят. В храмах московских было не протолкнуться, в чаду ладана люди искали защиты у бога, но бог и сам не ведал защиты от опричников. Русское духовенство, когда-то мощная авторитет-

ная сила, при Иване Грозном боялась «печаловаться» за родную землю, и русский народ стал во всем без вины виноватым.

Афанасий, митрополит московский, был духовником царским, и права его боялся. На всю митрополию столицы царь возложил гнев свой, будто она покрывает изменников-бояр. Афанасий в дугу согнулся, еле ноги передвигал, дабы всем были видна его немощь. Жалобно просил он царя:

— Дозволь оплакивать мне тобой убиенных.

— Ну, плачь,— разрешил Иван Грозный...

Весною 1566 года Афанасий отпросился на покой, а вместо него поставили в митрополиты Германа Полева; он надерзил опричникам, и царь, надругавшись над его сном, сослал Германа в Свияжск — на прозябание. Никто не хотел заместить его, речистого, но тут Иван Висковатов подсказал царю:

— В обители северной, посреди моря Белого, давно славится святостью и разумом игумен Филипп из рода Колычевых.

— Ты мне Филиппа яви,— указал царь...

Дела духовные перемежались политикой. Сигизмунд давно помышлял о мире с Москвою, но «задирку» к примирению сделали литовцы. Иван Грозный крепко уповал на мир со Швецией, благо король Эрик XIV враждовал с королем польским. Хотя война в Ливонии малость затихла, но из Европы явилась эпидемия по прозванию «венгерская лихорадка». Она сначала проникла в Ревель, откуда перешла в Шелонские пятинны, побывала в Новгороде и Торопце, из Можайска переметнулась в Смоленск, где «многие дома затворили и церкви без пения были...»

Весною явились на Москве литовские послы во главе с воеводой Юрием Ходкевичем, с ними был писарь Михаил Гарабурда, человек очень смысленный. Литовцы соглашались, чтобы Иван не возвращал им захваченное, призывая царя совместно с ними изгонять из Прибалтики шведов. Но царь потребовал себе Киев, Оршу, Брест, Галич, Гомель, Ригу, Вольмар, Венден (нынешний Цесис) и Кокенгаззен с замком ливонских магистров.

— А еще скажите всем, чтобы король Сигизмунд выдал мне князя Андрея Курбского, а меня бы титуловал впредь царем ливонским, полоцким и смоленским...

Тут писарь Гарабурда наивным дурачком прикинулся:

— А отчего бежал князь Андрей в нашу страну?

Иван Грозный сразу изменился в лице:

— Собакой утек от меня, по-собачьи и пропадет...

Чтобы укрепить свое мнение, царь созвал Земский собор, и половина народных депутатов собора еще не ведали, что скоро лишатся они голов. Купцы, бояре и дворяне говорили, что от Ливонии нельзя отступаться, стоять там крепко, войну продолжая. Однако, насилия опричнины становились уже невыносимы. Смелее всех оказались костромичи — Василий Рыбин да Иван Карамышев, которые заявили о том гласно:

— Опричники с большими топорами по улицам на лошадях ездят, будто наше мясо рубить собрались, а нам, христианам, доколе терпеть злодейства сии? Коли придумано неспроста, так просто падо закончить — разогнать всех разбойников...

Просто им закончилось: ораторам отрубили головы. Князь Владимир Старецкий, запуганный, со слезами доложил царю, что бояре опять что-то затевают, но он прияге верен:

— Уж ты, братец, на меня гнева своего не имей...

Земский собор, позволивший царю продолжать войну, был только короткой передышкой между припадками злодейства. Михаилу Темрюковичу, брату царицы, государь повелел казначея своего «изрубить в его же доме вместе с женою, двумя мальчиками пяти и шести лет и двумя дочерьми и оставить их лежать на площади». Таубе и Крузе писали: «Ни один (человек) не знал своей вины, еще меньше знали время своей смерти и что они вообще приговорены. И каждый шел, ничего не зная, на службу в суды и канцелярии. Банды убийц рубили их безо всякой вины на улицах, воротах или на рынке и оставляли лежать, потому что ни один человек не смел предать их земле».

...Итак, Земский собор «приговорил» царя продолжать войну, хотя результаты ее уже тогда были весьма сомнительны. Мне же, автору, кажется, что воинский престиж России не пострадал бы, если бы уже тогда Россия согласилась на мир. Депутатов, желавших войны в Ливонии, я могу оправдать только полным непониманием политической обстановки в Европе, которая не простит русским даже их выхода к Барве.

. . . . .

Снова вернусь назад — к книгам!

Летом 1942 года я, мальчишка, в числе первых юнг нашей страны попал на Соловецкие острова, где величественный одряхлевший монастырь еще хранил многие тайны. Юность всегда любопытна, и, конечно, мы, юнги, облезали все закоулки соловецкого кремля, куда не удалось заглянуть наше начальство. Помню, как с лучиной в руках мы, замирая от страха, долго пробирались каким-то узким и тесным коридором со ступеньками, которые то увлекали нас вверх, то круто уводили вниз, и вдруг оказались внутри громадного храма.

Из разбитого купола лился солнечный свет, освещающая старинные фрески, а посреди храма высокой горой (не преувеличиваю!) были свалены древнейшие книги...

Тогда нам не казалось это кошмаром, и мы подивились только тому, что как много было книг и какие они древние, но, раскрыв наугад одну из них, мы швырнули ее обратно в кучу, ибо нам было неинтересно, — писанная на непонятном языке, покрытая плесенью, которая слепила страницы, эта книга не шла ни в какое сравнение с романами Дюма или Жюль Верна. Так мы и оставили это кладбище древних манускриптов, погибающих под дождями, лившими сверху через разбитый купол храма.

Случись это сейчас, я бы на своем горбу перетаскал эти драгоценные тонны книжных сокровищ, чтобы спасти их от гибели, укрыть от дождей и снега, а тогда... что тогда взять с меня, юнги? Мы были воспитаны по шаблону: не лезь не в свое дело, начальство лучше тебя понимает. Ладно, я не понимал. Но, видать, и начальство не понимало. Теперь-то я знаю, что соловецкие монахи успели передать в Казанский университет лишь некоторые уникумы древней письменности из своей библиотеки, а остатки ее я видел своими глазами. Мне хочется думать, что среди виденных мною книг были, наверное, и такие, которых касались руки игумена Филиппа.

Об этом человеке мы не забыли, поминая о нем в энциклопедиях, и помянем его сейчас — в канун тысячелетия «крещения Руси». Летом 1566 года, в самый разгар Земского собора, игумен Филипп был избран в митрополиты московские...

## 16. ВЫСОКАЯ ПОЛИТИКА

Но была еще Вена с императором германским Максимилианом II, который мог бы круто решить распри в Ливонии, благо авторитет императоров был очень высок, но сейчас ему было не до русских... Племянник Карла V, женатый на его дочери Марии, он же король римский, чешский и венгерский, Максимилиан II был утрашен грозным нашествием Сулеймана Великолепного.

Османские орды уже подступали к Вене, турки утвердились в мадьярской Буде (Будапеште), венгерские земли они превращали в свои «пашалыки» с властью своих сатрапов. В 1566 году Сулейман Великолепный решил сломить отчаянное сопротивление венгров. Накануне похода, по совету своей любимой жены Роксоланы-Хохотуньи, он передумал всех своих детей, рожденных от других жен. Нет нужды приукрашивать эту мифическую султаншу, бывшую для Турции столь же кровожадной, какой была Бона Сфорца для Польши, Екатерина Медичи для Франции, царицы на русском престоле — гречанка Софья Палеолог и литвинка Е. Глинская. Все они одним миром мазаны!

Максимилиан II дрожал в своем венском дворце, когда узнал, что янычары Сулеймана пошли на штурм крепости Сигетвара, и он перевел дух, когда престарелый Сулейман внезапно умер во время штурма. Турецким султаном стал его сын от Роксоланы-Хохотуньи — Селим II, прозванный «Пьяницей». Трусливый и безнравственный алкоголик, жирный чурбан с красным носом, Селим-Пьяница больше думал о выпивке, чем о войне, и потому заключил с Габсбургами мир. Но теперь, ощутив слабость власти на Босфоре, усилился крымский хан Девлет-Гирей — хитрый и коварный политик, нагло бравший «поминки» (дань) с Руси, но бравший «поминки» и с Польши, обещая королю Сигизмунду II Августу ударить по Москве с юга.

Россию ожидали новые потрясения, память о которых не изгладится в потомстве, сострадальном к мукам своих предков. Иван Грозный, занятый делами в Ливонии, помнил об угрозе с юга, но царь не ожидал, что новый враг объявится на севере, и этот новый враг довершит его позор, обнаружив его военную слабость, его политическое бессилие.

.....



Стокгольм! Здесь царил династия Ваза...

Подобно тому, как в России соперничали двоюродные братья, царь Иван IV и князь Владимир Старшцкий, так враждовали в Швеции сводные братья — король Эрик XIV и герцог финляндский Иоганн (или Юхан). Эрик настойчиво добивался брака с английской королевой Елизаветой Тюдор, которую никогда не видел, но засыпал ее любовными посланиями, а брат женился на польской королевно Ягеллонке.

Шведские историки, восхваляя Эрика, признавали с большим огорчением, что «ему часто изменяли нервы». Да, с первыми было не все в порядке, и Эрик еще до вступления на престол славился сумасбродствами. Так, например, застав свою сестру Цецилию в постели графа Остфриландского, он тут же его кастрировал с помощью ножниц, — наверное, нервы не выдержали! Затем, чтобы спасти честь сестры, Эрик повелел выбить золотую медаль с ее профилем, а на реверсе медали Цецилия была изображена библейского Сусанной в купальне, где ее соблазняют старцы... Наверное, опять нервы расшатались! Здесь уместно напомнить, что Иван Грозный сватался к королеве Елизавете, к королеве Ягеллонке и «хотел почати» от Цецилии...

Скандал в династии Ваза начался, когда Иоганн (Юхан) — вопреки брату — женился на сестре польского короля. Эрик считал это «изменой», и судом риксдага бедный братец был приговорен к лишению головы. Но Иоганн, как герцог Финляндский, заперся в крепости Або (ныне город Турку), где и был осажден королевскими войсками. Або взяли штурмом, брат пленил брата вместе с его женою. Затем Эрик упрятал Юхана в темницу Грипсхольского замка, а Ягеллонка, женщина большого мужества, заявила, что не желает разлучаться с любимым мужем, согласная разделить с ним все тяготы тюремного заточения. Вот тогда-то Иван Грозный и начал требовать ее выдачи для своих мстительных воцелений.

Весною 1567 года в Упсале король свершал казни, лично зарезав своего министра Сванте Стурре с его сыновьями; за короткий срок он обрек на смерть 232 человека, и шведы ужаснулись такой жестокости. В каком-то необъяснимом бешенстве король сам убил своего старого учителя Дионисия Бурре, математика и астронома. Сам увлеченный астрологией, Эрик XIV по звездам угадывал, кто его тайный враг — расстановка небесных светил под-

сказывала ему, кому пора отрубить голову. «Ливонская хроника» сообщала подробности пыток над людьми, «коих обливали горящим вином, сажали в раскаленные тазы, пока те не признавались в никогда не случавшихся вещах, а многих других, которые не сознавались, со связанными руками и ногами безжалостно топили в реках, а также вешали в тюрьмах, а король говорил, будто они повесились сами...»

Так что, в этом жестоком времени лютовал не только наш Иван Грозный! Именно в эту пору в Стокгольме давно томилась русские дипломаты Никита Сущев и Третьяк Пешечников, потом их сменили Воронцов и Наумов; послы с нетерпением выжидали выдачи Ягеллонки, чтобы увезти ее в Москву — на потеху царю-батьюшке. Эрик XIV соглашался отдать царю жену своего брата, а сам в это время просил политического убежища у английской королевы Елизаветы. Вскоре русских послов навещил «немец, детинка молод», от имени короля так говоривший:

— Тут много чего накрутилось! Как ваш царь бояр боится, так и наш король своих дворян пугается. Теперь ему ни в чем воли не стало, так он послал меня просить вас, чтобы вы его с собой в Москву увезли, иначе он пропадет...

Новое дело! Видать, нервы совсем распатались.

Затем русских дипломатов визитировали шведские вельможи: но у них в голове водились здравые мысли:

— У царя вашего своя жена есть, так зачем он чужую жену захотел? Если ему так захотелось с Сигизмундом родниться, так у Сигизмунда другая сестра есть — А н н а Ягеллонка, вот пусть к ней и сватается...

Послы отвечали: «Государь наш берет у вашего государя сестру польского короля Катерину для своей царской чести». Наконец, московских дипломатов принял сам Эрик XIV, сказавший им так: «Мы не дали вам до сих пор ответа, потому что здесь (в Стокгольме) начались дурные дела от дьявола, и кроме того, война с датчанами мешала». Послы вернулись к себе и решили ждать, рассуждая:

— А как на Москву нам без Катеринки приехать? Ведь царь-батьюшка всем нам головы поотрывает: а наши семьи вконец разорит... Лучше потерпим, покуда король Ирик или сам не образумится или уж совсем ума не лишится!

После лютых казней Эрик снова просил руки и серд-

да у английской королевы, заодно посватался и к Марии Стюарт, занимавшей престол в Шотландии, а в июле 1568 года он женился на Катерине, дочери простого кнехта-солдата, и даже короновал ее — на зло братьям своим и вельможам. Осенью снова вызвал послов и сообщил, что против него — заговор.

— Когда же он начался? — спросили дипломаты.

— С тех пор, как вы, дураки, здесь появились...

Восставшие держали Стокгольм в осаде несколько недель. С высоты «Башни трех корон» Эрик видел, как столичные бюргеры ломают ворота, чтобы сдать город восставшим, и тогда король грустно заметил:

— Жаль, что мало отрубил я голов...

Он был свергнут с престола, королем Швеции стал его брат Юхан III, а королевой стала его жена Екатерина Ягеллонка.

Один брат сказал другому брату:

— Это ты меня заточил? Ты мою супругу хотел отдать на растерзание московскому извергу? Так теперь будешь сидеть до конца своих дней в темнице, в какой меня ты мучил...

К русским дипломатам порвались кпехты и стали избивать их. Избитых до полусмерти раздели догола и вагишом выгнали на улицы, а потом целый год держали их в тюрьме. Конечно, вернувшись домой, они сложили головы на плахе.

Конец же истории был таков: новый король воспылил яростной злобой к царю за то, что тот желал осквернить его жену, и потому Швеция, дружественная России, сразу сделалась ей враждебной, склоняясь к союзу с Литвой и Польшей, чтобы совместно воевать против московитов. Едва заняв престол, Юхан III сразу же заявил, что русский царь — его личный враг:

— Клянусь перед богом, что я ему отомщу! Ревель уже наш, а скоро станет шведской и Нарва и даже Новгород...

Иван Грозный уже привык отбирать жен у своих бояр, а потом, утолив свою похоть, топил их в прорубях; наверное, ему казалось, что царям даже в Европе все дозволено.

. . . . .

Политика — родная сестра торговли, но со времен Ричарда Ченслера английская королева слала в Московию

«торговых мужиков», хотя Иван Грозный хотел бы видеть от нее дипломатов. Верные себе, англичане искали в России прибылей, а не союзов с нею, хотя царь предоставил им такие льготы, каких не имели купцы других стран. Москва хотела не только продать, но и купить, а Европа, переполненная товарами, не была слишком щедрой. Польский король Сигизмунд писал Елизавете, чтобы не искала коммерческих выгод в России, ибо есть один способ справиться с царем — задушить его в полной изоляции. «Вашему величеству,— писал он,— не может быть неизвестно, как жесток враг, как он тиранствует над своими подданными, и как они раболепны перед ним». Елизавета отвечала Сигизмунду в том духе, что, кроме нескольких паршивых рыцарских панцирей, она ничего не дала царю из военной техники, но торговая компания англичан при этом быстро осваивала русский рынок, «торговые мужики» проникали уже в Бухару и в Персию, подбираясь к Индии...

Россия много хотела иметь от Европы, но что она сама могла дать Европе? Увы, только сырье, и ничего больше. Но это сырье имело громадное значение. Простой пеньковый канат, как и парус, тоже двигал цивилизацию,— так вот, в этих канатах, державших паруса великих мореплавателей, была перекручена русская пенька. Миллионы верующих католиков и протестантов ежедневно возжигали в храмах тысячи свечей,— хочу спросить: много бы они там намолились, если бы Московия не поставляла Европе пуды и тонны чистого яркого воска, из которого лепили свечи? Наконец, вся Европа красовалась русскими мехами, короли и бюргеры обшивались русскими соболями и горностаями (тогда как сами русские чаще прятали меха, делая из них лишь подкладку для своих одежд). Через Нарву и Архангельск уплывали для обихода европейцев русские товары — рукавицы и плети, ветчина и масло, сапоги из юфти и сыромятные кожи, шкуры волков и медведицей, хмель и треска, даже сани, а сама Русь на вес золота ценила любой моток медной проволоки. Россия не имела своих металлов, и — смешно сказать — вывозила из Европы чужие монеты, чтобы, переплавив их, начеканить свои. Это для нас, читатель, кастрюля ничего не значит, а во времена Ивана Грозного купцы за один котел на рынках дрались до крови...

Иван IV тоже переписывался с английской Елизаветой I, он просил у нее любви и дружбы, а заодно и пушек

для своей артиллерии. Вот что удивительно: в переписке с князем Андреем Курбским царь был как бы на равных по степеням литературного таланта, зато вот в письмах к Елизавете царь выглядел наивным простаком, которого Елизавета попросту дурачила. Царя, кажется, очень смущало то обстоятельство, что королева Англии засиделась «в девках», и он, чересчур любвеобильный, учитывал ее как свою будущую невесту — на очень шатких весах междупародной политики. Но об этом — позже...

Как раз в ту пору, когда в Швеции вызревал заговор против Эрика XIV, на Руси тоже творились страшные дела; о них можно, скорее, догадываться, ибо там, где нет фактов, а лишь версии, мы крадемся во мраке прошлого па ощупь, как слепцы без поводырей. Не знаю, верить тому или нет, но вполне похоже на правду, что летом 1567 года король Сигизмунд разослал зпатым боярам подметным письма, соблазняя их участью князя Курбского, чтобы ехали на его королевскую службу, а он не откажет им в должном «кормлении». Для Ивана Грозного, всюду видевшего «измену», этого было достаточно, чтобы подозревать бояр в поворе «заговоре». В августе русские послы, Умный-Колычев и Григорий Нагой, вернулись из Гродно, где они беседовали с Сигизмундом, и доложили царю, что король уступать Ливонию не согласен, а их, послов, тамошние папы бесчестили, кормили худо...

А был ли заговор? Если был, то историкам рисуется лишь умозрительная его схема: недовольных возглавил Иван Петрович Челядшин-Федоров, и, конечно же, бояре, свергнув царя, посадили бы на опустевший престол добросердечного князя Владимира Старицкого. Но заговорщиков и выдал царю сам князь Старицкий... Все это предположительно, все строится на одних намеках. Скорее, вся эта боярская оппозиция — плод большого воображения царя, который попросту выдумал вины людей, чтобы избавиться от них.

Осенью царь задумал большой поход в Ливонию; его сопровождал и князь Старицкий, уже запуганный царем. В пути Иван Грозный, настроенный мрачно, указывал пути войску — брать Розиттен (Режицу, ныне станция Резекне). Но 12 ноября что-то вдруг изменилось в планах царя; в Орше был собран военный совет, решивший, избегаая сражений, вести лишь оборонительную войну. Вот именно в этот день Старицкий, якобы, и вручил царю список заговорщиков. Конечно, царь спросил — кто список

делал, и, возможно, князь Старицкий, ответил, желая отвести беду от себя... Он ответил:

— Старался твой конюший Иван Петров Челыдин-Федоров, что ранее был наместником в Дерпте, откуда и утекнул князь Курбский...

Сочетание имен Федорова и Курбского породило в царе животный страх; трусливо покинув армию, он поскакал обратно в Москву. Его окружали одни опричники, и на скаку лошадей возле седел мотались отрубленные головы собак, топорщились грязные метлы. Царь мчался день и ночь, объятый ужасом, повелев распустить всю армию по домам:

— Иначе что делать им на рубежах,— говорил царь, ежели весь «наряд» (артиллерия) застрял в грязи подо Исковом...

Прибыв в Москву, царь сразу велел казнить дьяка Дубровского, который, провозя пушки, не мог справиться с дорожной грязью, в которой завязла артиллерия: «Казарина Дубровского да двух сыновей его, да 10 человек его, которые приходили на пособь» (вытаскивать пушки из грязи) тут же казнили. Но царя одолевали более важные заботы. Он имел тайную беседу с «торговым мужиком» Антоном Дженкинсоном, допытываясь у него, согласна ли королева Елизавета дать ему политическое убежище — царь желал бежать в Англию с женой и детьми.

— Слух дошел до нас, что королева ваша сама стеснена соперницей Марией Стюартовой, так пусть душевно страдает моим горестям, а я зову ее к себе, ежели от Марии бежать станет...

Какой жалкий и ничтожный человек — царь Иван Грозный!

Ставя в вину князю Курбскому бегство в Литву, он, царь, не стыдился замышлять свое бегство в Англию.

Конечно, Елизавета не собиралась бежать от Марии Стюарт, но царю убежище в Англии она обещала, а ее торговый агент Дженкинсон, не будь дураком, тут же выговорил у царя для английских купцов новые льготы.

— Моя благодарная королева,— заверил царя Дженкинсон,— никогда не откажет в приюте столь великому государю...

Вологда спешно отстраивалась, туда перевозили казну и там же строились корабли, чтобы плыть на них в далекую Англию. Я думаю: пусть бы он и уплыл ко всем чертям...

## 17. НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ

Начать придется издалека. В 1521 году Федя Колычев был еще мальчиком, когда татары разграбили Москву и увели в полон на продажу 800 000 русских, навсегда потерянных для своей родины. По свидетельству иностранцев, бывших тогда в Крыму, один еврей-меняла, живший в Перекопе, даже утомился видеть нескончаемый поток рабов, день за днем вливавшийся во владения Мегмет-Гирея, и, наконец, воскликнул:

— Да остались ли еще люди в той несчастной русской стране, откуда татары нагнали столько народу?..

Великий князь Василий (отец Ивана Грозного) постыдно бежал из Москвы и обещался с тех пор платить татарам дань. Федя Колычев воспитывался родичами патриотом, скорбящим за несчастья своей родины, он смолоду невзлюбил царскую власть, которая издревле пыталась и казнила множество Колычевых, имевших поместье в новгородских землях.

Неизвестно, что подвигло юного Федора бросить службу при дворе. Он разом порвал со своей родней и, скрывая свое знатное происхождение, оказался в Кижях, где напялся в пастухи к богатому мужику. Был 1537 год, когда к Соловецким островам прибило жалкий плотик, с него сошел босой и оборванный Колычев, назвавшись Филиппом, он просил принять его в послушники. Истомленный, с мозолистыми руками, он напоминал обедневшего крестьянина: «Ни мешца имяеше, ни двою ризу, ни при поясе меди, ни иного чесого иже на потребу».

Соловецкая обитель находилась тогда «на краю света», и жизнь там была очень сурова. Если на Руси множество монастырей жило богатыми вкладами от царей и бояр, а монахи бездельничали, упивались вином и даже девок блудных в кельях держали, то на Соловках царила очень суровая жизнь. Соловецкие монахи подавший не ждали, каждый кусок рыбы добывали трудом праведным, оттого-то сюда шли в послушники только рыбаки-поморы, угнетенные нуждою крестьяне, здесь укрывались беглые и даже разбойники. Но зато здесь никогда не ведали сытой праздности, не знали и псевдо-научного фарисейства, человека оценивали по труду его рук и по тому разуму, какой имел от природы, а не от лукавого. Богомольцев Соловки в ту пору не знали, ибо кто же рискнет тащить-

ся в такую даль, через леса непролазные, через топи болотные, а потом плыть бурным морем?..

Творчество — вот, пожалуй, то самое главное, чему отдавался русский человек, когда не угнетали ни цари, ни власть царской бюрократии, способной удушить все живое. «Во льдах северной России, — писал историк, — проявлялось то многостороннее творчество, которое, благодаря мертвящему давлению московской централизации, исчезло на всем пространстве нашего государства... монах-труженик выказал тот практический гений, которого не доставало людям, стоящим у кормила правления». До чего же мало мы знаем о наших предках! Филипп изобретал механизмы, схожие с автоматами. На Соловках появилась странная «телега», которая сама на себя взваливала груз, сама отвозила груз и сваливала его в нужном месте. Работало особое «решето», которое «само сеет и насыпает, отруби и муку разводит розно (отделяет их) да и крупу само ж сеет и насыпает», отделяя зерно от высевок. Правы историки, пишущие: реформы Петра I понадобились для того, чтобы избавить Русь от насилия центральной бюрократии, а простой русский человек не нуждался в понукании, ибо он без реформ всегда стремился к новому, мыслил самостоятельно.

Филиппа влекло в ризницу игумена, где хранилась библиотека. Соловки, удаленные от России, были тогда крохотным царством учености, здесь укрывались книжные и летописные сокровища в период татаро-монгольского погрома, здесь прятали памятники русской письменности от войн и пожаров. Престарелый игумен Алексей Юренев заметил в Филиппе большую грамотность, не свойственную пастуху из Кижей, он вынудил его сделать признание:

— Сын я боярский. Колячевы сродни бывали великим князьям московским, но не тешит меня суета праздная, опротивел мне свет, где не стало правды, а только кровь и насилие...

Соль тогда для России была столь же важна, как и порох; Филипп днями утруждался на соляных варницах, выходил в море ловить рыбу, выпекал хлеба для братии, а ночами читал, вникая в старые были старой Руси. В 1548 году умирающий Алексей Юренев со словами «аз в путь отец моих гряду» благословил Филиппа на свое место. Филипп не хотел возвышения над другими, но монахи уговаривали его стать игуменом Соловецкого монастыря. Уроки прежней пастушеской жизни в батрачестве не прош-



ли для Филиппа даром, и первая его грамота ограничивала произвол властей, обиравших крестьян русского севера безжалостными поборами... Так он начал!

Я певольно вспоминаю свою юность, проведенную на Соловках. Мы, юнги, еще часто встречали в лесах добродушных оленей, которых Филипп вывез из Арктики, акклиматизировав их для жизни в новых условиях острова: я помню массивные «коровьи дворы», выстроенные при Филиппе для зимовки скота; мы, юнги, с песнями маршировали в лесах вдоль прекрасных и прочных шоссе, каких не было даже в нашей стране; наконец, Филипп соединил каналами 52 озера, и наши шлюпки, минуя шлюзы, свободно проходили через весь остров. Наконец, мне известно, что стараниями Филиппа на Соловках работал кирпичный завод, а зерно стали молодь водяные «Филипповы мельницы». Ничего теперь этого не осталось. В нашей печати лет 15 назад сообщалось, что последний олень был застрелен ради мяса, а дороги разбиты вдрезг пьяными трактористами, не ведающими, где право, где лево. Кремль, этот ценный памятник древнерусского зодчества, разваливается гораздо скорее, нежели его успевают реставрировать добровольцы-студенты.

Наверное, кому-то было надобно создать из жемчужины русского севера сначала тюрьму и концлагерь для уничтожения «врагов народа», а потом сделать все, чтобы наше прошлое было разрушено, как разрушено и многое на Руси.

Кстати, я учился на Соловках в здании тюрьмы, которая до революции была гостиницей для богомольцев.

Как тут не воскликнуть: о, времена! о, нравы!

.....

Как не хотел Филипп быть игуменом соловецким, так же не хотел он быть и митрополитом московским. Как и все выходцы из вольного города Великого Новгорода, он с детства был приучен ожидать от царей только мерзости, и ничего путного. Иван Грозный, порожденный от «прескверных семян», когда отец его почал от Елены Глинской с помощью волхвов и кудесников, имел безумного брата Юрия, а сын его Федор тоже был ненормален, как и Дон-Карлос испанский. Филипп правомерно считал Рюриковичей издыхающими тиранами, которые в каиюп гибели спешат насытиться человеческой кровью. По дороге в Москву Филипп певольно дивился, как такие люди,

вроде Адашева и Висковатова, сами разумные, научились управлять безумным царем, и он их слушался. Наверное, они сумели сыскать отмычки к его душе, какие находят и врач для воздействия на душевнобольного... Рассуждал он в дороге:

— Не народ видно, а бояр, кои к царю ластятся, словно кошки, парного молока хотящие. Сами себя отдали на поругание, жен и дев на осквернение, а все восхваляют того, кто зачат был в мерзости пакостной от пособия колдовского...

После отставки Макария и отчуждения Германа царь с ненормальной настырностью желал видеть Филиппа митрополитом. Для уговоров непокорного игумена он даже унизился, прислав на Соловки делегацию бояр и епископов, которые слезно умоляли Филиппа ехать в Москву:

— Един ты остался, надежда наша! — говорили ему. — Кто, кроме тебя, отведет от нас гнев царский, кто станет печаловаться за землю Русскую? Может, сам бог указывает на тебя, чтобы не покинул нас во тьме кромешной, во тьме опричниной.

Филиппа убедил их крайний довод: «Если митрополю ты отвергнешь, царь в свирепство войдет, и всех нас, к тебе ездивших, с детьми и женами в опричнину выдаст...» Вот Филипп и поехал в Москву, чтобы принять высокий сан, почти равнявший его, владыку духовного, с царем московским.

Встретились! Иван был доброжелателен:

— Стоустая молва по всей святой Руси о тебе идет, будто жизни ты праведной, а в делах разумен... Так скажи, святой муж, в утешение мне, страдальцу, слово божие.

— Скажу! — отвечал Филипп. — Великое бремя на тебе, а вручил ты его шаткой ладье без ветрил и без весел. Я пустыню свою Соловецкую покинул, оставил, дабы усмирить совесть твою заблудшую. Оставь опричнину сатанинскую, хватит собачья головы на себя вязать да метлами народу грозить.

— Молчи, отче! — закричал царь.

— Если все молчат, так един я говорить стану, — покорился Филипп. — Почто разделил государство на две страны, на Земщину и Опричнину, ежели даже в святом писании нам возвещено: «Аще царство свое разделиши, тое царство и запустеет».

Иван Грозный посох железный отбросил и зарыдал:

— Мои же люди хотят мя поглотити.

— Оставь дурь эту,— сказал Филипп.— Никто не замышляет на тя. Показывай путь народу делами добрыми, а не вводи людей за собой в геену огненну. Соединяй землю русскую воедино, и велик станешь, а коли разведишишь ее — сам погибнешь...

Это все, что известно мне о разговоре меж ними. Но, очевидно, Филипп сказал царю что-то еще такое, что царь смирил гордыню, внешне он даже покорствовал митрополиту. Возможно, он бы и разодрал Филиппа на сто кусков раскаленными клещами, но, суеверный, боялся оскорбить высокий сан митрополита — после Макария да после Германа... Что скажут в народе?

— Не укройся от меня,— предупредил Филипп царя.— Ежели не станешь слушать речей моих в царских покоях, а такие же речи скажу в храме при всем народе...

Он принял сан митрополита как раз в то время, когда в Москве Земский собор решал — быть войне или быть замирению, и царь — вот чудо! — на время притих, затаился. Почти полгода Москва не ведала казней, и народ благословлял Филиппа:

— Солнышко наше! Усмирил зверя лютого... Кромешники-то, и те утихли. Едут да плюются на нас, а голов не секут...

После этого был осенний поход в Ливонию, поспешное бегство царя из Орши, тайные свидания с Джекинсоном, и за это время Иван Грозный освободился от упреков Филиппа Колычева, он снова стал тем, кем всегда был.

Строгий подвижник Филипп был готов завершить свою жизнь подвигом. Недаром же его прославили в своих картинах лучшие живописцы России: Неврев, Репин, Пукирев, Симов, Шаховской и прочие... Все они хорошо знали историю своей родины, и все они глубоко почитали Филиппа.

.....

Опять возвращаемся к этим подметным письмам, в которых король Сигизмунд предлагал боярам покинуть царя и бежать от его гнета в свои польские земли. Что-то очень подозрительное было в этих посланиях, адресованных важным боярам — Челяднину-Федорову, князьям Бельскому, Воротынскому и Мстиславскому. Не была ли это явная провокация Сигизмунда, который, хорошо извещенный о подозрительном нраве царя, поименно указывал

царю, кого из ближних бояр ему следовало уничтожить в первую очередь. Истратив склянку чернил и стопку бумаг, король мог легко избавиться от умнейших и деловых противников, сам оставаясь в стороне... Наконец, провокацию можно повернуть и обратной стороной. Не сам ли уж царь подослал эти письма от имени короля, чтобы потом иметь предлог для казни бояр? Историк Уманец, кажется, подтвердил эти мои догадки: «С уверенностью можно сказать,— писал он,— что в настоящем случае никаких подсылок (писем) со стороны Сигизмунда не было, но Ивану надобен был предлог для того, чтобы, отложив в сторону скучную добродетель, снова начать кровопролитие...»

И оно началось! Сразу же, как только царь, покинув армию, опрометью вернулся в Москву — с таким горячим нетерпением, будто спешил на свадьбу. Скажем так: что там этот жалкий испанский король Филипп II с копотью и смрадом его аутодафе? Он выглядит жалким плюгавым бюрократом по сравнению с русским царем, который в деле истребления людей был не просто убийцей, а почти вдохновенным артистом с фантазией героев Шекспира...

Челяднин-Федоров, уже старик, чина лишенный, заранее весь ограбленный, был зван во дворец, где Иван Грозный встретил его очень ласково, как лучшего друга. Слугам своим велел он одеть гостя по-царски, и те облачили конюшего-старика в царские бармы, надели на голову его шапку Мономаха, дали несчастному в руки царский скипетр.

— Ты возомнил, что сладко царем быть,— сказал Иван Грозный,— так сядь и посиди на моем месте...

Не смея царю перечить, Челяднин-Федоров уселся на троне, и тогда Иван Грозный, обнажив перед ним голову, встал на колени, отпустив ему низжайший поклон до земли. Сказал так:

— Теперь возымел ты все, чего искал и к чему стремилась душа твоя, хотел ты занять мое место, вот и стал великим князем московским, так радуйся и наслаждайся своим владычеством.

Старик сидел на престоле — ни жив, ни мертв. Молчал.

— Впрочем,— досказал царь,— в моей власти садить тебя на престоле, но в моей власти и убрать с престола тебя...

«И, схватив нож,— писал Шлихтинг,— он тотчас несколько раз вопзил ему в грудь и заставлял всех вопнов, которые тогда были, пронзать его пожами, так что грудные кости и прочие внутренности выпали из него на глазах тирана». После чего убитого за ноги выволокли на Красную площадь и там бросили — чтобы народ ужаснулся, чтобы собаки бродячие сыты были...

— Гойда, гойда! — веселились опричники, а царь, тоже радостный, послал их в дом Федорова, чтобы замучили жену его и всех, кто живет в доме казенного...

Среди главных приспешников был князь Михаил Темрюкович, брат царицы Марии Темрюковны, которого Иван Грозный высоко почитал за его жестокосердие. Это он вывел семью Казарица Дубровского на двор, отрубил голову ему и жене его с сыновьями, но дочь Казарина, юная девушка, убежала и спряталась. Долго искали ее по всей Москве, а когда поймали, Михаил Темрюкович разрубил ее пополам секирою. Страшный смрад пронизывал покою кремлевского дворца — это на громадной сковороде живьем жарили князя Темкина-Ростовского. Но что там Темрюкович, что там царь? Вы бы посмотрели на царевича Ивана, каков молодец растет, как он старается угодить батюшке своему: «Когда он проходит мимо трупов убитых или святых с шеи голов, то являет дух, жаждущий еще больше кары, он скрежещет зубами нанодобие собаки, ругается над мертвыми, попосит их, протыкает и бьет их колкою, укоряя мертвецов за неверность в отношении к его отцу...» Так что, читатель, Ивану Грозному росла достойная смена!

— Зверь! — раздался вдруг голос Филиппа, который в полном облачении митрополита явился в палатах царя.— Доколе же ты невинных людей будешь умучивать? Неужто меры не стало ярости твоей ненасытной? На что же тогда законы писаны, ежели правды не стало? Понимей жалость хотя бы к невинным душенькам — ко вдовам плачущим да к сиротам...

Царь, опираясь на посох, молчал, дыша тяжело, с гневом; но, гнев смирив, отвечал кротко:

— Тебе ли, чернецу, судить о делах моих царских? Молчи, отче праведный, молю тебя... Христом-богом, молю — молчи.

— Лютовали предки твои, на костях Русь выросла и сама на костях хлеб сажала,— отвечал Филипп,— по таких злодейств еще не ведала земля Русская...

От подобных увещаний царь не усмирил лютости, но слушать Филиппа не хотел, и даже сам скрылся от него в новом дворце у Расположенных ворот, где его окружали одни опричники, где не угасало пьяное веселье, где потешали его шутками-прибаутками Басманов с сыном Федором да князь Афанасий Вяземский. А вскоре явился, словно из преисподни, и тихо присел к столу царскому звероподобный и ухмыльчивый, себе на уме, Малюта Скуратов — мужик здоровый, дышащий шумно, как лошадь, с громадными, словно клешни, ручищами. Но тут до царя дошло, что Филипп, лишенный права видеть царя, начал обличать его при всем честном народе — в храмах божних...

Малюта Скуратов скромно поклонился царю:

— Великий государь, помянем мудрость народную: коли не по лошадям хлещут, так бьют по оглоблям... Решай сам!

Чтобы запугать Филиппа митрополита, опричники арестовали его духовный клир, священников, связанных, тащали по городу на веревках, как скотину, и все время били железными дубинами до тех пор, пока не умерли все от побоев. Москва в эти дни пропиталась зловонием, множество разодранных трупов разлагались всюду, никем не убранные, жители старались не выходить из домов своих, по Москве гарцевали на лошадях одни опричники да бегали разжиревшие собаки и громадные свиньи, обжиравшие мертвецов... Филипп удалился в монастырь, но сана митрополичьего с себя не сложил:

— Ежели не я скажу правду, так кто скажет?

Настал 1568 год. Царь по-прежнему уповал на доброе сердце королевы Елизаветы, чтобы бежать в Англию со своей Темрюковной и казною, а пока не получил ответа от королевы, он утешал себя зрелищами казней. В тех случаях, когда ему уже не хватало фантазии, его выручал Малюта Скуратов, делавший в опричнине очень скорую карьеру. Во времена погрома Федоровских вотчин он «ручным усечением» избавил от жизни 39 слуг Челядни-на-Федорова. А всех других людшек запер в амбаре, подсыпав в подвал пороху. Раздался страшный взрыв, и ошметки человеческих тел, долго кувыркались в воздухе, долго шлепались наземь, вызвав небывалый восторг в самом царе и его сыне Иване:

— Ай да Малюта! — кричали. — Вот позабавил...

21 марта в Успенском соборе Филипп увидел, что храм

наполняется опричниками, среди них был и сам царь, просивший благословения. Филипп сделал вид, что углублен в молитву. Алексей Басманов подтолкнул сына Федьку, и тот сказал:

— Владыка святой! Великий и благочестивый государь всея Руси явился за твоим благословением... Глянь сам!

— Благочестивый? — сказал Филипп. — Но с тех пор, как солнце появилось в небесах, никогда еще за алтарем церковным не проливалось столько слез и крови народных, как от благочестия Неропа московского.

Иван Грозный, заострившись носом, и без того длинным, с такой силищей ударил жезлом о каменные плиты собора, что он высек из камня снопы искр и даже сам долго звенел.

— Филипп! Молчи, заклинаю тебя... молчи!

— Нет, — отвечал Филипп, — твои угрозы не устрашат меня, ибо лучше смерть претерпеть лютую, нежели пред тобою смириться... Я тебя не боюсь. Уходи прочь...

Закончив службу, Филипп опять-таки сапа не снял, по жить стал в Старо-Никольском монастыре. Иван Грозный уже разлакомился в рабской покорности бояр, и сопротивление митрополита было для него — словно стенка, на которую он напоролся со всего разбега. Чтобы досадить Филиппу, он придумал такое, страшнее чего и не придумать нормальному человеку. Заранее были составлены списки всех московских красавиц, жен боярских, купеческих, посадских, чиновных и прочих. Операцию проводили Вяземский, Скуратов, Басмановы и Васька Грязной, новый любимец царя. Внезапно они являлись в семейные дома, хватали жен, кидали их в телеги, и в одну ночь лошади умчали из Москвы сразу четыреста лучших красавиц...

— Забавушка, — ласково сказал царь своему сыну Ивану.

— Побалуемся, — с готовностью отвечал сынок своему напешьке.

До чего же любил царь своего Иванушку! Этот молодец-удалец наверняка повершит батюшку — не то, что второй сынок Федор, который в коленках слаб, сам трясется, голову клонит и бормочет что-то божественное... Сущий дурак — весь в своего дядю Юрия, который скончался в полном безумии.

## 18. ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ

Уж если зашла речь о большой любви Ивана Грозного к его сыну Ивану, так пришло время напомнить о страшной ненависти испанского короля Филиппа II к его сыну Дон-Карлосу.

Отгородясь от мира высокой каменной стеной, иезуиты мадридской конгрегации знали многое, о чем тогда не догадывались даже испанцы. Куэвас однажды проводил до кельи резидента неизвестного монаха, которого Суарец принял с большим почетом. Куэвасу удалось слышать слова странного гостя:

— Король не мог поступить иначе. Но это не было наказанием отцовским. Королю ничего не оставалось, как пожертвовать богу плотью от собственной плоти, ибо служение церкви он предпочел всем мирским помыслам.

— Дон-Карлос уклонился в ересь? — спросил Суарец тихо.

— Тут много разных причин, а главная, что он в безумии своем замышлял бежать в Нидерланды, где еретики уже бросали в костры иконы, отказываясь от кротких увещаний священной инквизиции. Герцог Альба уже в Брюсселе, — рассказывал гость, — ему дозволено королем зарывать в землю живых женщин, а ветви деревьев уже прогнулись от тяжести, силошь увешанные гроздьями повешанных мужчин...

Куэвас, будучи пажем при дворе, не раз видел герцога Альбу, высокого жилистого старика с длинной седой бородой, и он уже слышал, что герцог заседает в «Трибунале убийств», дабы карать еретиков. Проводив гостя, он спросил привратника миссии — кто этот человек, что павещал Суареца?

— Это был Диего Эспиноза, великий инквизитор в Испании и ближайший друг испанского короля...

В этот день за общей трапезой Суарец сообщил, что здоровье Дон-Карлоса ухудшилось, он с небывалой алчностью поглощает невероятное количество пищи, и ему все время ставят слабительные клизмы. Иезуитская братия восприняла эту новость спокойно, понимая, что Дон-Карлоса уже нет в живых. Все последнее время до конгрегации доходили самые невероятные слухи (и нам, читатель, предстоит им довериться, ибо все документы о Дон-Карлосе были уничтожены его отцом). Екатерина Медичи, сосватав Елизавету за короля Филиппа II, вознамерилась



выдать за его сумасшедшего сына инфанту Маргариту Валуа, и с тех пор Дон-Карлос начал буйствовать, требуя невесту. Изрезав кожу своих сапог, он заставил сапожника, сшившего их, съесть сапоги вместе с подошвами. Встретив девочек, он раздевал их и начинал сечь без устали, наслаждаясь их страданиями; наконец, однажды он забрался в конюшни отца, где жестоко изранил кинжалом всех лошадей...

Восстание в Нидерландах, потрясшее всю империю Габсбургов отразилось в голове идиота желанием бежать из пределов Испании, чтобы стать королем фламандцев. В ночь на 18 января 1568 года длинный коридор мрачного Эскуриала осветился факелами: сам Филипп II прошел в комнату сына, и двери отворились бесшумно, чтобы застать сына врасплох. Дон-Карлос лежал в постели, стражники сразу отобрали оружие, с которым инфант не расставался. При виде отца Дон-Карлос закричал:

— Я знаю, что пришел мой последний час!

— Нет,— ответил ему Филипп II,— никто не знает своего последнего часа, как не знаешь его и ты, мой возлюбленный сын. Я пришел, чтобы облегчить твои страдания, а потому ты прими все, что случится, как благословение свыше...

Тогда же окна были наглухо заколочены досками, и в полном мраке, загасив факелы, король неслышно удалился. Больше никто и никогда не видел Дон-Карлоса. Диего Эспиноза был, кажется, последним, кто его видел. Но великому инквизитору не пришлось утешать отца, ибо Филипп II никаких угрызений совести не испытывал. При этом осталось тайной, что стало с самим Дон-Карлосом: был ли он задушен, отравлен ли клизмой с ядом или захлебнулся в ванне с горячей водой...

Жалеть об этом выродке, достойном наследнике Хуаны Безумной, не приходится. Но зато смерть Дон-Карлоса невольно стала образцовым примером для будущих монархов — для Ивана Грозного, убившего сына посохом, для императора Перта I, погубившего царевича Алексея, и для прусского короля, который едва не повесил своего сына — будущего короля Фридриха Великого.

В год гибели Дон-Карлоса, желая избавиться от бременности, умерла королева Елизавета Валуа, и Филипп женился в четвертый раз на молодой, краснощекой венке,— брак объяснялся просто: Габсбурги, испанские и австрийские, нарочно рождались, чтобы совместно утопить

в крови восстание Нидерландов. По ночам Эскурпал снова вздрагивал от воплей дежурных алебардистов:

— Король направился к королеве!

Этикет даже в этом случае оставался неукоснителен. Шагая в спальню королевы, Филипп II держал в одной руке меч, а в другой нес рыцарский щит; камергер шел впереди с факелом, освещая дорогу, и тащил громадную банку («не для того, чтобы из нее пить, а совсем для иного употребления»).

Я устал, и далее пусть за меня пишет сам Куэвас...

...Наша миссия стала пустеть: члены братии один за другим незаметно покидали ее, отяжеленные кошельками с золотом, они спешили в Нидерландские провинции, чтобы крестом и кострами довершить то, что не удалось сделать мечом герцогу Альбе. В моей судьбе тоже возникли перемены, которых я с нетерпением ожидал. Пройдя строгий искус в первоначальных ступенях индефферентоса и повициата (выжидающего и испытываемого), я готовился познать мудрость третьей ступени — схоластику, и был уже предупрежден секретарем миссии, что мне предстоит покинуть Испанию:

— Отныне ты не вправе сам решать свою судьбу, и, если Орден не пожелает иметь тебя, ты получишь «синий конверт», в котором найдешь чистый лист бумаги, после чего можешь убраться куда хочешь...

Я знал, что «синий конверт» получают офицеры в армии, которые без объяснений причин увольняются в отставку, и на пенсию от своих сюзеренов уже не могут рассчитывать. Впрочем, за время испытаний я уже смирился со своей судьбой пса господня, а слепое повиновение начальству Ордена никак не пугало меня, ибо мне казалось, что лучше пусть меня переворачивают, словно труп, нежели мне самому переворачивать трупы. Вскоре нашу миссию — перед отъездом в Рим — посетил сам великодушный «генерал» ордена — Франческо Борджиа, и я был умилен его вниманием, с каким он удостоил меня беседы. Весьма доверительно, доходчиво и четко, «генерал» указал мне места будущих сражений за истинную веру, и его слова настроили меня воинственно, как солдата ландскнехта перед решающим штурмом. Вся северная Германия, включая и Нидерланды, Чехия и Моравия, Швеция и даже Франция уже отравлены протестантским ядом, ко-

торый струился через церковные врата в католические храмы, а лютеранство покорило умы горожан Ливонии и Полонии.

— Наконец, существует Московия — эта загадка для Рима, далекая от распрей Европы, но давно погрязшая в схизме отжившего наследия Византии, на развалинах которой сейчас пируют султанские янычары... Вступая в этот греховный мир, — поучал меня «генерал» Ордена, — ты обязан помнить, что всегда будешь прав, зато другие всегда останутся виноваты. Тебя беспокоит страх? Или ты дорожишь своей жизнью? — засмеялся Борджиа. — Так будь умнее. Сейчас, когда ты слышишь эти слова от меня, тысячи падают под ударами мечей, теряя головы, а другие тысячи покорно ждут своей очереди, чтобы заполнить могилы. Dixi, — завершил беседу Франческо Борджиа, — и пусть земные блага никогда не станут целью твоих желаний, а лишь средством для достижения цели твоего праведного пути...

Я, конечно, не забыл тот свирепый, унижительный голлод, который мучил меня смолоду, и теперь, пес господень, я дорожил сочной костью, из которой с наслаждением высасывал жирные мозги. В уединении своей конгрегации мы, конечно, были извещены, что Испания разорена поборами, что сонмище нищих уже заполнило все ее города, воруя и грабя на каждом перекрестке. Но меня это уже не касалось. Нас кормили такими яствами, каких я не пробова! даже с королевского стола. Совсем недавно (в 1565 году) из Америки доставили в Испанию первые плоды картофеля, чтобы угостить молодую королеву, и не знаю уж как, но мы тоже вкусили от этого плода, который вскоре папа римский запретил есть, назвав их «дьявольскими яблоками». Наши трапезы проходили шумно и даже весело. Всегда в избытке было вино, но я, чистокровный каталонец, предпочитал пить чистую воду. Мы потешались аппетитом собрата из Салерно, который в один присест мог слопать десять жирных каплунов и проглотить, как фасолины, сразу четыреста яиц. В шуме пирующих через наш стол летали жирные курицы, шлепались жирные окорока и разбивались сырые яйца о потные лбы уснувших пьяниц. Не могу сказать, чтобы мы были очень скромными, и за трапезой велись иногда разговоры, от которых я даже краснел:

— Скажи, Петруччио, как она была одета?

— Как всегда. На шее у нее красовалось дивное ожее-

релье, а на руках и ногах звенели драгоценные браслеты.

-- А какое же было у нее платье?

— Днем она была озарена солнечными лучами, а ночью предстала передо мною, вся в голубом лунном сиянии.

— Неужели не прикрылась даже молитвенником?

— Ты догадлив, брат мой во Христе...

Здесь уместно заметить, что «общество Христа» отличалось от других религиозных монашеских орденов. Мы имели право на грех — ради высших идеалов служения церкви. Все нарушения морали считались законной «диспенсацией» (уступкой Рима), любой из нас имел право отступать от моральных норм, обязательных для каждого христианина. Сначала меня это удивляло, особенно то, что мы совсем не придерживаемся постов, регламент которых строго проверялся церковью, но в ответ на мое недоумение Суарец только засмеялся:

— Посты не для нас — посты для других! Даже не глядяывая в церковный календарь, мы сами вольны избирать для себя сроки и продолжительность постов. Пусть нарушены уставы благочиния церкви, зато мы сохраняем здоровье, столь нужное для спасения церкви. «Общество Иисуса» не нуждается в хилых аскетах, которые питаются акридами и сороконожками в своих пещерах... Нет, мы не монахи Рима — мы brave солдаты самого римского папы, готовые штурмовать еретические твердыни!

Секретарь миссии предупредил меня:

— Ты уже стоишь на одной ноге, а другая поднята, чтобы продолжать путь. Скоро тебе предстоит покинуть Испанию, и обратно ты никогда не вернешься. Дабы скрасить твою разлуку с родиной, наша миссия позволяет тебе навестить Зумарага...

Вблизи нищенского городка Зумарага свято хранилась обитель самого Иниго Лойолы. Вдали от мирской суеты я увидел безмолвную колыбель своего Ордена, снаружи напоминавшую хаотичное нагромождение диких камней. Внутри же обители все коридоры казались безвыходными лабиринтами, чтобы укрыться легендарному Минотавру, а узкие кельи напоминали тюремные камеры для пожизненно осужденных. При этом все выглядело настолько нищенски, что даже не верилось в могущество основателя нашего ордена. Но старик-настоятель, позванивая связкой ключей, отворил двери в келью самого Лойолы и сказал:

— Возликуй, сын мой! Именно здесь выковывался меч истинной веры, рукоять которого в Риме, а острие блистает всюду...

Я невольно затих, оказавшись внутри главного штаба нашей великой армии. Стены кельи были сплошь обтянуты алой парчой, арабские ковры скрадывали шорох моей благовейной поступи, а все вещи, сделанные из золота, были орнаментированы перламутром, хрусталем и рубинами. Именно здесь жил Иниго Лойола!

Мне живо представилось, как в этом небывалом великолепии одинокий, искалеченный человек, опираясь на костыли, владел верховною властью, умело поставив себя выше самого папы, и слова его, произнесенные тихим шепотом, отзывались в далеких странах громом пушек, стонами и мольбами миллионов...

Я рухнул на колени и воздал молитву деве Марии!

За время моего отсутствия в миссии моя судьба была решена. В миссии меня ожидал молодой и красивый миланец Ферерро, приехавший из Рима, чтобы сопровождать меня, и я не имел понятия о конечной цели нашего путешествия. Одетый богатым сеньором, с кошельком у пояса, Ферерро велел облачить меня в светское платье и сказал, что в дороге я буду исполнять роль его слуги. Мы покинули Мадрид, прибыв в Валенсию, где на черной ночной воде тихо покачивалась грузная мальтийская галера, а на лавках, прикованные к ним цепями, спали полуголые каторжники, перед каждым из них лежал уже утренний завтрак — кусок хлеба с медом. Только сейчас мне сделалось очень страшно и хотелось убежать, чтобы жить вольной жизнью нищего бродяги. Но, заметив мои душевные колебания, Ферерро с дьявольской усмешкой точно ответил на мои мысли:

— Уже поздно! Побывав в Зумараге, разве не видел ты келий, похожих на гробницы? Оставь сомнения, иначе ты насидишься там до тех пор, пока твои волосы не отрастут до самого копчика, как у женщины... Подсчитай сроки!

Я быстро прикинул в уме, что отрастить волосы такой длины, как у зрелой женщины, я могу на протяжении лет сорока, если не больше, и ступил на палубу мальтийской галеры.

— Везите меня,— сказал я, и в этот момент почувствовал себя трупом, который перевернули на другой бок.

На рассвете мальтийские рыцари, закованные в брон-

зовые доспехи, ударами бичей разбудили гребцов, те с бранью и молитвами разобрали грохочущие весла, раздался свист — и весла дружно, взлетев над волнами, зачерпнули черную воду...

Галера тронулась... К у д а ?

Если мир — кольцо, Антверпен — бриллиант в нем. Так говорили тогда в Европе. Нидерланды мы, читатель, чаще называем Голландией, но раньше эта страна составляла общину нескольких государств, принадлежавших испанским Габсбургам: это были сама Голландия, Фландрия, Бургундия, Намюр, Брабант, Люксембург, Фрисландия и Бельгия. Все, что произошло тогда в Нидерландах, нелегально описал Шарль де Костер в своем превосходном романе «Тиль Уленшпигель», и образ неунывающего весельчака Тили отразил дух народа, не желавшего быть бесправным скотом на испанской живодерне короля Филиппа II. Правила Нидерландами Маргарита Пармская, сестра Филиппа II, рожденная от блуда императора Карла V с какой-то прачкой (вот тебе и Габсбурги!). Кстати, Маргарита тем и отличалась от Габсбургов, что была женщиной доброй, зла людям не желала.

Испания нищала. Филипп разорил ее, испанцы даже дверные крючки, даже гвозди, даже моток шерсти покупали в Нидерландах, которые быстро богатели трудом и торговлей; там процветали искусства, живописцы в своих натюрмортах отражали изобилие своего стола — полыхало вино в драгоценных кубках, топорщились розовые омары, источала пезный сок свежая ветчина, среди диковинных фруктов всегда царил благоуханный лимон. Нидерланды имели много гульденов, сукна и шерсти, пива и колбас, бюргеры обвешивали женщин жемчугами и кораллами, они сами представляли на портретах с конторскими счетами в руках, нюхая красные гвоздики, и, кажется, не собирались наслаждаться вдыханием копоти от костров королевской инквизиции.

Конечно, Филипп II не мог равнодушно взирать на чужое счастье, и когда ему доложили, что «еретики», протестанты и кальвинисты, даже спят с женами не голыми, а в ночных рубашках из нежного шелка, король пришел в ужас:

— Богатство порождает разврат, а где разврат, там всегда пробуждается лютеранская ересь,— сделал он вы-

вод... — по зато прав Диего Эспиноза, утверждая, что ересь окрыляет торговый дух и мануфактуры.

Он держал в Нидерландах свои голодные войска и нарочно не платил им жалованья, чтобы его голодранцы проворнее обжирали и грабили население. Маргарита Пармская, жена Оттавио Фарнезе, со слезами умоляла брата-короля не испытывать терпение ее поданных, но Филиппа II не так-то легко было уговорить на доброе дело. Сначала его инквизиция сжигала на кострах сочинения Лютера и Кальвина, а потом принялась за людей. Но возмущение народа было столь велико, что «еретики» разгромили все католические храмы и перевешали инквизиторов, как бешеных собак; священники папы римского так были запуганы, что спешно отращивали бороды и тщательно маскировали тонзуры на своих макушках. Из монастырей все разом разбежались, и монахи играли веселые свадьбы с монахинями.

Вот тогда Филипп велел ехать в Нидерланды герцогу Альбе; этот набожный кастилец не считал молитву доходящей до бога, если она не подкреплена пролитием крови. Король указал ему начать с истребления знати (и в этом он напоминал Ивана Грозного, начинавшего с уничтожения боярства).

— Закапывай женщин в могилы сколько угодно, по ты обязан казнить никак не менее семидесяти тысяч мужчин...

Альба привел в Люксембург громадную банду головорезов — испанцев, валонцев, итальянцев и немецких ландскнехтов, которым всегда было безразлично, кого убивать, лишь бы на убитом висел кошелек. Маргарита Пармская сказала Альбе:

— Будь ты проклят, старая сволочь! Я вашим злодеяниям не слуга и завтра же уезжаю... к мужу. Лучше кормиться с нищенской Пармы, нежели иметь большие доходы с Амстердама...

Альба считал день пропащим, если не удалось убить пятьсот человек. Отрубленные головы пасаживали на пике для устрашения тех, кто будет убит завтра. Опозоренных женщин загоняли в громадные могилы, а сверху на матерей швыряли их детей младенцев, потом закапывали, и земля долго шевелилась на этом месте, словно живая. Сам же герцог являлся в окружении лютых корсиканских собак, приученных рвать мужчин за половые органы. «Трибунал совести», созданный герцогом Альба, в народе

прозвали «трибуналом крови». Зато королевская казна сразу обогатилась на ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ талеров.

— Альба — настоящий кастилец! — говорил король...

Ватикан ликовал, радуясь погибели «еретиков». Папа римский наградил Альбу короной и шпагой с бриллиантами из своей личной шкатулки, при этом папа простил извергу даже то, что Альба убивал в Нидерландах всех подряд — и католиков, и лютеран, и кальвинистов, лишь бы убить побольше. В результате этой грандиозной бойни фабрики опустели, магазины закрылись, купцы разбежались, корабли покинули гавани, люди спасались в землях Франции и Германии, а богатейшая страна, еще вчера столь счастливая и радостная, превратилась в кладбище.

Но победителем все-таки останется Тиль Уленшпигель!

. . . . .

Есть ли нужда в исторических параллелях?

Наверное. Между королем Филиппом II и царем Иваном Грозным я нахожу немало общего: оба они с одинаковой жестокостью не щадили людей, одинаково убежденные в том, что, убивая, творят богоугодное дело, только один мерзавец упичтожал народ с помощью инквизиции, а другой негодяй с помощью опричников.

На этом я заканчиваю, чтобы вернуться в Москву, из которой в одну ночь вывезли сразу четыреста лучших красавиц.

## 19. НЕЧТО БОЖЕСТВЕННОЕ

Чтобы досадить митрополиту, царь накануне провел облаву во многих домах, опричники изрубили много людей и куски их побросали в колодцы; жены черпали воду из колодцев, где плавали их сыновья и мужья, а мужья пили ту воду, в которой была кровь их жен. Многих жеп царь перевешал на воротах домов, «и мужья должны были ежедневно проходить под их повисшими телами, и при этом не имели права показывать вида», как тяжелы их страдания, — так писал очевидец. Но какое бы злодейство не творилось, подле царя неотлучно пребывал его сын — царевич Иванушка, его плоть и кровь, копия батюшки, лучший товарищ отцу в пьянстве, в блуде, в молитвах и в пакости...



Рано утром сын радостно доложил батюшке, что четверста жен-красавиц вывезены в лес, можно учинять поход, и царь Иван Грозный сам возглавил тысячную орду опричников и пищальников, будто шел на врага, дабы победить или умереть. Страшно читать, что он сделал дальше: «Приказал вывести всех этих благородных женщин (которых забрал от мужей), выбрал из них несколько для своей постыдной похоти, остальных разделил между своей челядью», и опричная сволочь с воплями «Гойда, гойда» разом накинулась на несчастных, мигом обнажила их всех и стала насиловать всех подряд без разбора.

— Ой, любо мне... любо! — хохотал царь и царевич.

После надругательства жены были снова посажены на телеги и отвезены обратно в Москву, «где каждая сохранившая жизнь была оставлена перед ее домом. Но многие из них сразу покончили с собой или умерли от сердечного горя во время этой содомской поездки». В самом деле, что им было делать? Испытав такое глумление, как они могли вернуться к мужьям? Что могли эти жены сказать им, кроме беспомощных слов:

— Бей меня... но невинна я! То воля была царская...

Таубе и Крузе, участники этого изуверства, писали, что царь после этого шесть недель не мог успокоиться. Со своим войском он больше месяца кружил вокруг Москвы, «сжигал и убивал все, что имело жизнь и могло гореть... все, что имело дыханье, должно было умереть». Причем здесь бояре? Бояре остались в Москве, а теперь царь убивал крестьян, ни в чем неповинный деревенский люд. Детишки на груди матерей и даже те, что во чреве, были задушены. Женщины, девушки и служанки были выведены нагими в присутствии множества людей и должны были бегать взад и вперед — ловить кур! Все это ради любово-страстного зрелища, и когда это было исполнено, царь приказал перестрелять всех (женщин) из луков. Но когда все было уже мертво, опричники жгли скирды хлеба в полях, резали скот, перебили всех собак и кошек. Иван Грозный перекрестился:

— Кажись, славно всех отделали!

Но сын Иван сказал, что остались рыбы в пруду. Царь указал сломать плотины мельниц, спустить из прудов воду, и с наслаждением наблюдал, как бились в тине издыхающие рыбины. А теперь я спрашиваю тех историков, которые восхвалили «государственную мудрость» Ивана Грозного — в чем же заключалась его мудрость? Если он

борол оппозицию боярскую, называя бояр врагами, то почему же врагами для него стал крестьяне, их жены, их дети, коровы, лошади, собаки, кошки и даже рыбы?

Кто мне на это ответит? А ведь сколько ученых мужей зарабатывали себе научные степени, украшались значками лауреатов и орденами, сделались академиками — только потому, что высоко ценили подобные «подвиги» Ивана Грозного, чтобы угодить тому, кто считал его народным героем... Все продалось, и только один академик Вессловский называл вещи своими именами. Но его не печатали — печатали других, подхалимствующих!

.....

Все молчали, задавленные страхом, и только один митрополит Филипп Колычев молчать не стал, ибо кто-то должен страдать за всех, и пусть тиран не думает, что перевелись на Руси отважные люди. Как это и водится в мире насилия, у каждого честного человека объявляются враги, были они и у Филиппа: протопоп Евстафий, духовник царя, архиепископ новгородский Пимен, сам желавший стать митрополитом, и другие...

28 июля в Девичьем монастыре был крестный ход, и народу скопилось немало, ибо в години всенародного горя люди ищут милости в церкви. Был здесь и царь со своими опричниками, одетыми, как монахи, во всем черном, а на головах — высокие черные шляпки, похожие на колпаки инквизиторов. Филипп всенародно обличал злодейства их:

— Даже у народов диких таких злодейств и беззакония не водится, какие пошли на святой Руси, где слабым и невинным нет жалости... Возвещаю от бога: мир вам всем, люди добрые!

При этих словах все обнажили головы, но один опричник остался в шапке. Филипп указал на него царю:

— Твой пес? Так усмири его сам...

Опричник, явно подговоренный, мигом снял шапку и спрятал ее за спину, а другие опричники стали галдеть:

— От митрополита нам никакой ласки, а сколько зла от него терпели? Зачем он напраслину возводит, коли брат наш во Христе исправно молится...

Царь стал ругать Филиппа:

— Ты зачем моих верных слуг при всем честном народе порочишь? Моему царскому державию ты лучше не прекословь...

На этот раз царь не стал бесноваться. Он поступил

ппаче — подлее. Собрал врагов и завистников Филиппа, отплавил их на Соловки и там эта «следственная комиссия» угрозами и побоями вынудила соловецких монахов дать показания против Филиппа, своего бывшего игумена. С этим и вернулся в Москву, притащив с собою и свидетелей, обязанных стать обличителями. 4 ноября 1568 года, в присутствии Ивана Грозного состоялся «сборный суд». Свидетели, потупив очи, послушно подтвердили, что митрополит Филипп еще игуменом вел «неподобную и порочную жизнь». Филипп все понял, по оправдываться не стал.

— Государь! — с достоинством сказал он царю. — Ты напрасно ухмыляешься, думая, что я боюсь тебя. Ни ты мне не страшен, ни смерть не страшна. Ведь даже камни под тобою, и те вопиать станут против тебя... Так лучше уж мне принять смерть и мучения, нежели иметь митрополию при твоих мучительствах и беззакониях... Неужто ты сам стонов народных не слышишь?

При этом, говоря такие слова, Филипп начал разоблачать себя, слагая с себя регалии духовной власти. Таубе и Крузе запечатали этот трагический момент: «так как великий князь не желал такого благородного прощения и ему не понравилось, что митрополит сам сложил с себя свое облачение», он крикнул:

— Нет, Филипп! Зачем мне расставаться с тобою? Облачись снова, и в праздник святого Михаила служи как прежде. Пусть народ услышит от тебя словеса полезные...

Тут и весь синклит судей начал царю поддакивать, угодничая перед ним, просил не покидать митрополию:

— Не гневи царя нашего, отслужи всем нам...

Что еще задумал царь? Иван Грозный, натура артистическая, всегда стремился к драматическим эффектам. любое свое переживание, которое другим человеком было бы забыто, он старательно и даже мазохистски растравливал в беззаживающую рану, чтобы его личная боль отозвалась в муках других людей. Был день 8 ноября. Филипп вел службу в Успенском соборе, когда собор стали заполнять опричники. В самый торжественный момент службы через толпу людей проломился Басманов. Он стал рвать с митрополита его одежды, шитые золотом, сбил с него митру.

— Ты доколе тут православных мутить будешь? — кри-

чали опричники и на глазах людей стали бить Филиппа метлами.

— Прощайте, люди! — успел крикнуть Филипп.

Басманов зажал ему рот и велел опричникам:

— Тащи его! Сейчас отделаем болтуна...

Филиппа выволокли из собора, бросили в дровни и повезли в заточение. Иван Грозный хотел сжечь его на костре, словно колдуна, зашить его в шкуру медведя, чтобы потом затравить собаками, словно зверя, но... Но царь испугался народных волнений, ибо москвичи толпами собирались под стенами Староникольского монастыря, где томился Филипп, опутанный кандалами. Еще не решив, как поступить с Филиппом, царь все зло выместил на его близких: «он приказал содрать с них живых кожу, и ничто не было им пропущено из того, что когда-либо изобрела тиранья». Наконец, он обрушил свой гнев на весь род Колычевых, и в камеру Филиппа слуги внесли большие подносы, поверх которых лежали отрубленные головы. Филипп смотрел на мертвые лица, узнавая своих братьев, дядей и теток, племянников и племянниц. Иван Грозный надеялся, что уморит Филиппа голодом, цепями и страхами, но старик не умирал, а толпа москвичей не расходилась возле стен монастыря, плачущая. Людей днем разгоняли, так они стали собираться ночами. Тогда царь распорядился:

— Филиппа заключить в тверской Отрочь-монастырь, и пусть там приставом будет Степан Кобылин, который драться горазд.

Необходим вывод. Филипп желал, чтобы его личное сопротивление террору стало общенародным протестом, а на боярскую оппозицию он уже не рассчитывал. До нас из мрака шестнадцатого столетия чудом дошли подлинное слова Филиппа:

— На то ли совокупились мы, отцы и братие, — говорил он, — чтобы молчать, страшась молвить истину? Не своим ли молчанием потакаем преступлениям царским, а души свои обрекаем на грех и погибель... Нам ли смотреть на бояр безмолствующих? Они связали себя житейскими куплями, дела предатели и злобе пособники. А мы не станем щадить себя ради истины...

Страшный конец ожидал митрополита Филиппа!

Но притихло все, и занесло Русь-матушку белым снегом.

. . . . .

В нынешней Владимирской области есть такой городок — Александров, в двух часах езды от Москвы на электричке. Там есть радиозавод, ткацкая фабрика, клубы, рестораны, универмаги. Живут там люди, и не ведают, что дома их строены на костях, а сам город был когда-то «невенчанной столицей» Руси, «кровоийственным градом» для России и загадкой для Европы. Может, жителям современного Александрова лучше бы и не знать об этом. Но местные краеведы, люди дотошные, много лет тешатся постичь его кровавые тайны. Однако, город молчит, словно проклятый, и где-то, очень глубоко под новостройками, затаилась подземная «труба» — широкий туннель, вроде метро, до сих пор не отысканный; археологи уверены, что царь садился на тройку лихих коней и под землей мигом проскакивал в город из слободы на целых пять верст. Как гут не вспомнить и дерптского пастора Веттермана? Краеведы убеждены, что драгоценную «либерию» Ивана Грозного следует искать не в Москве, а где-то здесь. Но... где? Я раскладываю старинные рисунки и фотографии столицы Опричнины, и мне жутко видеть келью-тайник в самой толще стены Успенского собора. Каким болезненным воображением надо обладать, чтобы затаиться в каменной кладке, подобно гнилостной крысе в норе, и отсюда решать судьбы России, которые отзовутся на судьбах всей Европы!

Вернемся в прежние времена, слава богу, угасшие...

Интересно — что там вытворял царь-государь?..

Все опричники, будучи равноправными членами одного секретного ордена, монашеско-воинственного, были похожи один на другого, как две капли воды. Пребывая в Александровской слободе, они носили почти нищенскую грубую одежду типа монашеской на овечьем меху, зато под рясами была скрыта одежда суконная, но расшитая золотом и подбитая нежными мехами соболей или куницы. Все здоровые, молодые, одинаково бездушные и бессердечные, все спаянные единою клятвою. Каждый опричник имел в руке длинный железный посох с очень острым концом, чтобы насквозь проткнуть человека, а под рясами они держали длинные ножи, «чтобы иметь все готовым для свершения мучительства или казней». Внешне же все они выглядели смиренными членами дружной монашеской братии.

Ни сам царь Иван Грозный, ни его сыновья, садист Иван да придурок Федор, ничем не выделялись из среды

«кромешников». Только царь считался игуменом, князь Афанасий Вяземский назывался келарем, а Малюта Скуратов ретиво исполнял службу пономоря. Вот эти люди стояли у самого кормила власти, управляя долгим и страшным плаванием опричного корабля, бороздящего волны в необъятном море людских слез и народной крови.

В те времена вокруг Александровской слободы смыкались дремучие дебри, где полно было медведей, лисиц, волков и лосей, а берега реки Серой густо обживали многотысячные семьи бобров. Внешний вид твердыни Ивана Грозного — это явная крепость, обнесенная высокой стеной, окопанная валом и окруженная глубоким рвом. Нерасторжимые ворота, окованные железом, имели прочные запоры. Внутри же цитадели — как монастырь со множеством церквей, укрывавших под сводами подземные тюрьмы и пытошные камеры. Александровская слобода — это русский Эскуриал, только, в отличие от короля Филиппа II, царь устроил здесь не монастырь-гробницу, а монастырь-тюрьму с камерами и разными приспособлениями для мучительства. Синодальная летопись удостоверяет: «И быша у него мучительныя орудия, сковороды раскаленные, печи тоже, бичевания жестокия, ногти острия, клещи ражженные, терзания ради телес человеческих, игол за ногти вонзения, резания по суставам, претрения вервями на полы (т. е. перетиранья веревками пополам) не токмо мужей, но и жен благородных...» — этот список я мог бы продолжить цитатой из Новгородской летописи, но и этого нам достаточно.

Еще до первых петухов, затемно, царь с сыновьями взбирался на колокольню и будил набатом окрестности. В четыре утра все опричники были в церкви, и горе тому, кто проспал или замешкался; Иван Грозный таковых не щадил:

— Восемь ден епитемии со столом постным,— наказывал он,— и стоять, как столбу, тебе в углу трапезной...

С четырех до десяти утра царь пел с опричниками столь исправно, что монахи позавидовали бы их согласию. К тому времени была готова на кухнях еда, все шло в трапезную палату, столь обширную, что за столы садилось не меньше трехсот опричников. Каждый приносил с собою кувшин, кружку и блюдо. Во время насыщения братии царь в рот крошки не брал и, как игумен, читал с наложья всякие назидательные поучения в духе евангельском. Еда подавалась самая добротная, преобильная, было много ви-

па и меда, всю порцию «кромешники» не осиливали, остатки уносили домой, чтобы кормить семью или улаживать нищих. Лишь после этого обедать садился к столу царь-игумен.

Иван Грозный ел, как всегда, очень много, а все объедки складывал обратно на блюдо. Началось главное, ради чего он жил, и не бывало такого дня, чтобы, пожрав, он не спускался в застенки «многие сыски чинити». Из трапезной лестница вводила в кухонные подвалы с печами, где узники подземной тюрьмы каждодневно насыщались запахами пищи своих палачей. Археолог И. Стеллецкий в канун революции осматривал подземную тюрьму, поразившую его мраком, загадочным лабиринтом планировки и высоким качеством отделки стен, выложенных из белого тесанного камня с «классической тщательностью отделки». В стенах было много таинственных отверстий и одно оконце, в которое узникам спускали хлеб и воду. Стеллецкому стало не по себе, когда во мраке пытошной он увидел пламя, но пытошная уже была пекарней, где монашенки выпекали для себя булки. Они же объяснили археологу, что отверстия были сделаны для дыхания тех опричников, которых царь замуровал здесь заживо, подозревая их в измене своему делу... Монашенки говорили:

— Дышать им давали, чтобы они дольше мучались!

Не могу не процитировать Таубе и Крузе, которые сами бывали с царем в этой тюрьме; по их словам, здесь постоянно ждали казни многие сотни человек, а царь, вкусо пообедав, «заставляет в своем присутствии пытать их безо всякой причины, что вызывает в нем особенную радость... никогда не выглядит он более веселым и не беседует более весело, чем тогда, когда он присутствует при мучениях и пытках до восьми часов» вечера. Как раз в это время все опричники снова сходились в трапезной для вечерней молитвы, длившейся целый час.

Царь, забрызганный кровью, распевал молитвы...

Отмолясь, он следовал в спальню, где слепые старцы усыпляли его глупыми сказками, но сон царя был удивительно краток — ровно в полночь он уже вставал, чтобы в три часа ночи уже лезть на колокольню. Все государственные распоряжения он делал в паузах между молитвами, убийствами и пытками, а приказы, кого убить, кого изжарить, кого рассечь, кого взорвать порохом, он отдавал исключительно в храме божием... «Этому приказанию, — писали очевидцы, — никто не противился, но все, на-

оборот, считают за счастье, милость, святое и благое дело исполнить его».

Орден! Да, это был настоящий орден убийц...

Только не надо думать, что царь чувствовал себя даже здесь в полной безопасности. Пребывал в молитвенном экстазе, он часто укрывался от людей так, что его не могли найти. Трусливый по натуре, он имел еще потаенную келью, похожую на щель в крепостной стене, где окно надоминало бойницу, и как раз напротив этого окна стояла виселица. Царь, пишет Стеллецкий, любовался отсюда повешенными, которые, крутясь под напором ветра, иногда как бы заглядывали к царю в это окно. В углу кельи была простая русская печка — для обогрева. Из этой молельной потаенная лестница вздымалась прямо на колокольню, где по утрам царя ожидали, позевывая от недосыпа, Малюта Скуратов и сыновья, дабы благовестить к заутрене.

Такова была Александровская слобода, куда сгоняли сотни «изменников» — вимой их гнали босых по снегу, до гола раздетых, и никто из узников, вошедших сюда, прав он или виноват, живым обратно не вышел. Ни один! Однако, слобода не была лишь царством стонов казнимых и воплями пытаемых. Нет, совсем нет. Здесь не раз бывали смотрины царских певичек, играла порой свадебная музыка, здесь пировали царицы, слобожане не раз видели и посольский блеск высокочтимых дипломатов Швеции, Англии, Ливонии, Польши и даже... даже Ватикана.

Пора заканчивать. Да, здесь царь немало блудил, прежде завешивая иконы, дабы святые лики праведников не оскорбились его срамом, здесь он «починал» девственность юных цариц, тут же он принимал их последние предсмертные вопли. Да, здесь царь Иван Грозный хотел бы и умереть, если бы не трагический день 19 ноября 1582 года.

Комната, где он уюкошил своего наследника, была угловая, ничем не примечательная, почти квадратная, единственное окно в ней было закрыто железной решеткой. Когда дворец-тюрьма позже был переделан в Успенский женский собор, то в этой самой комнате юные монашки рассказывали пикантные анекдоты, и на вопросы археологов, знают ли они историю этой комнаты, монашенки весело отвечали:

— Да, у нас тут кошка вчера окотилась...



А теперь, читатель, коли мы коснулись «божественной» темы, так поведаем тебе, как на духу, откуда пошло на Руси кабацкое пьянство... Веселие на Руси не есть пити, а на княжеских пирах древней Руси упивались медами, которые, кроме пользы, ничего дурного человеку не делали. Простонародье само по себе варило на праздники пиво, квасы и меда «бархатные» — тем и утешались. Вино было штукой редкостной, им угощались только знать да высшее духовенство.

Но вот появилась опричнина, а вместе с нею и первый в Москве кабак (слово татарское, «постоялый двор» означает). Сооружая Опричный двор, украшенный львами с зеркальными глазами, Иван Грозный на том месте, что звалось «Балчугом», велел завести кабак для своих опричников. Именно для них, чтобы, убийствами натешившись и чтобы совестью не страдали, пили псы царские, сколько душа примет, и ни о чем больше не думали. Пировать в кабаке могли только опричники, и они этим правом гордились: пьян да умен — два угодя в нем! Но к слову «кабак» приложилось слово «царев», и нашлись охотники забежать во «царев кабак», чтобы лизнуть хмельного, ибо запретный плод всегда слаще. Но сам народ с кабацким веселием связывал что-то черное, почти гибельное, по Москве ходило даже поверье, что церковь на Балчуге сквозь землю провалится.

Когда же миновало лихолетье опричнины, дело Ивана Грозного не пропало даром, и кабак с Балчуга цари перенесли прямо в Кремль, под сень хором царских, и поставили кабак там, где ныне трезвые экскурсанты разглядывают Царь-пушку. Однако, кабаки царские были народу ненавистны, как и сама память об опричнине. Потому царям пришлось немало потрудиться, чтобы приучить народ к казенному пьянству. Героям тогда орденов не давали, а награждали их царским ковшом, чтобы владелец ковша пил всюду бесплатно столько, сколько может этим ковшом зачерпнуть водки с одного раза...

Читатель да помнит: русский человек до появления опричнины пьяницей никогда не был, а, упичтожая в стране пьянство, мы уничтожаем проклятое наследие кровавой царской опричнины.

**Жирная, грязная  
и продажная**  
роман-информация





## ЖИРНАЯ, ЧЕРНАЯ, ГРЯЗНАЯ, СТРАШНАЯ, ВОНЮЧАЯ И ПРОДАЖНАЯ... КРАСАВИЦА

Такое многоэпитетное выражение отражает почти все варианты поиска автором названия своего произведения, «героиней» которого он выбрал нефть.

К давно задуманному роману-информации, как видно из приведенной фотокопии титульного листа рукописи, Валентин Саввич Пикуль непосредственно приступил 29 мая 1988 года.

ЖИРНАЯ, ЧЕРНАЯ, ГРЯЗНАЯ... — таково первоначальное название. Затем Пикуль вычеркивает ЧЕРНАЯ и добавляет — СТРАШНАЯ... Приписку — КРАСАВИЦА, после небольшого раздумья, тоже убирает. В записке на клочке бумаги, где вместо СТРАШНАЯ идет И ПРОДАЖНАЯ, Валентин Саввич пометает: «Таково должно быть название с обязательным словом «продажная» (см. рис. 3, 4).

Кстати, содержание и название именно этого и только этого романа Валентин Саввич держал в строгой тайне — никогда и нигде, ни в каком интервью не упоминал о нем, не делился планами его написания и очень просил меня нигде об этом не проговариваться.

И это понятно.

Образные и очень емкие прилагательные, подобранные Пикулем к извлеченному из глубоких земных недр веществу, обозначали смысловую направленность произведения.

Все, что гениально — просто... если задуматься.

Мы с раннего детства уяснили, какие блага дала людям нефть и продукты ее переработки — от свечки до синтетических материалов, от асфальта до космических кораблей. Потому что позитивные элементы роли нефти в развитии цивилизации лежат на поверхности. Какафония звуков бравурных гимнов нефти практически полностью заглушала стоны людей и народов с другой, не такой уж видимой стороны медали. Услышать их может только очень чуткий человек.

ЖИРНАЯ, ~~ЖИРНАЯ~~, ГРЯЗНАЯ, СТРАШНАЯ..

(Красная книга)  
~~роман в 2-х частях (роман-эпопея)~~  
(серия романа)  
~~роман~~  
(роман - кинематограф).

Удивлены постоянны поступки творца.  
Переполнены горечью наши сердца.  
Мы уходим из этого мира, не зная  
Ни начала, ни смысла его; ни конца

Смер Х в я м

Нач. 29 мая 1988 года

Рис. 3. Титульный лист черновой рукописи романа  
«Жирная, грязная и продажная»

Харная, грезная,  
~~вдохновенная~~ и преданная

---

Таково должно  
быть название с  
обязательным  
словом: преданная?

Рис. 4. Страница черновой рукописи  
Автограф

Из жестких, резких, с интонацией отвращения и осуждения определенных заголовка четко просматривается необычный взгляд автора на рассматриваемую проблему.

— Реки человеческой крови протекали в одном русле с реками нефти, мазута, соляра и бензина,— гласит одна из черновых заметок, написанная рукой Пикуля.

Среди бумаг рукописи я нашла листок, который не пронумерован, но по смыслу и содержанию является вариантом авторского вступления к книге.

Вот он.

«Думаю,— а стоит ли мне бурить скважины в нашем прошлом, если сейчас нефтяная проблема зашла в тупик, а газовые извержения нефтяных продуктов засорили города и загадили легкие людей, когда жирная, черная и грязная, эта мерзость, подобная реликтовым экскрементам доисторических времен, дает не безобидный керосин наших бабушек, а грозит отгрыгнуть отравляющие вещества, перед которыми иррит кажется безвредным кремом для ухода за кожей.

Невольно вспоминаются годы войны, когда мы конвоировали караваны союзников с поставками по ленд-лизу, помню, что в ряду сухогрузов шли и танкеры с высокооктановым бензином; память сохранила облики людей, спасенных после гибели кораблей. Это были уже не люди, а какие-то жуткие комки отвратительной нефтяной грязи со слившимися глазами, которые сами они уже не могли открыть; желудки спасенных требовали немедленного промывания, иначе грозила смерть, ибо они наглотались мазута, облепившего их снаружи, а изнутри уже разрушавшего их организмы.

Я, конечно, не настолько наивен, чтобы декларировать немедленное и абсолютное запрещение нефти, как дурмана нашей чересчур «прогрессивной» жизни, но я что-то не вижу на прилавках магазинов и тех товаров, которые, рожденные из нефти, могут стать полезными и нужными. А все-таки, заканчиваю я свое не лирическое отступление, писать о нефти стоит — дабы читатель знал, что она мало принесла людям радости, зато сколько из-за нее было страданий, сколько возникло трагедий...

Нефть сама по себе, пока она лежит в недрах земли, безобидна. Но, стоит, ей вырваться наружу, как она становится агрессивно-опасна, способная изменить даже судьбы государств».

Началу непосредственной работы над романом предшествовала длительная и необычайно тщательная подготовительная научно-исследовательская работа.

Длительная — это само собой разумеющееся, поскольку Пикуль собирался «облить продуктами переработки нефти» события,

охватывающие период с 1870 года по настоящее время. По крайней мере «почасовик» (к нему мы обратимся ниже) составлен до 1961 года.

Сами понимаете, насколько огромен список стран, чьи нефтяные интересы сплелись в один клубок, изрядно запутанный двумя мировыми войнами.

Замысел романа был поистине грандиозен.

Сам Валентин Саввич говорил мне, приступая к написанию:

— Это будет необычный роман. Даже отдаленно похожего на него я ничего не писал. И он «выстрелит».

Пикуля не смущало многообразие действующих лиц и множество регионов театра нефтяных действий. Такого рода информация он впитывал, как губка.

Особой тщательности требовала проработка новых для автора вопросов, в основном технического характера: разведка местонахождений, технология бурения и переработки нефти, конструктивные особенности различных двигателей внутреннего сгорания и так далее.

Политика, дипломатия, шпионаж и военные вопросы — тоже вещи для Валентина Саввича вполне знакомые. Но для нового романа ему требовались более глубокие познания в химии, экономике, торговле, автомобилестроении и экологии.

В длинном списке необходимых источников есть книги по всем этим вопросам. И Валентин Пикуль «перелопатил» почти всю эту гору литературы: книги испещрены его пометками, подчеркнутыми абзацами, среди страниц лежат закладки — вырезки из старинных газет и редких журналов.

Да и писать, например, о Персии, не проштудировав Коран, персидские пословицы и поговорки, не изучив обычаи и характеры персов, Валентин Саввич не мог. Все сведения собирались, отпечатывались и аккуратно складывались, готовые к использованию.

Вот для примера два листочка:

В быту персов бытовало такое изречение: «Сомнение есть начало знания; кто не сомневается, тот ничего не изучает; кто ничего не изучает, тот не способен ничего открыть нового; а кто ничего нового не открывает, тот всю жизнь осужден быть глупцом и глупцом он умрет».

Персы никогда не дерутся — даже на базарах, зачем им драться, если обычная словесная перепалка таит столько возможностей проявить остроту своего языка в ругани? Их остроумие бесподобно (русские в таких случаях говорят: «ради красного словца не пожалеет родного отца»). Путешественники, пачивая с Шардена и Гобино, называли персов «парижанами Азии Востока».



Персидский базар зачастую не для того, чтобы торговать, а чтобы провести время в приятных разговорах: выскивая случай для общего смеха над неудачником. Хохот бывает такой, что древние базары из кирпича-сырца не выдерживают нагрузку звуковых герп и рушатся, погребая под собой хохочущих людей, жаждущих остроумия, веселья.

Сахар! Пьют всегда и не чай с сахаром, а сахар с чаем — по сути дела, пьют сахарный сироп, лишь заваренный на чае. Налоги плаха! Перс сначала думает, что выгоднее — платить или бежать? Бежать кажется удобнее. Все имущество его — два-три ковра да еще сундук. Деньги прячутся в поясе, жены сидят на ослах, лошади и волы тащут ковры и сундук. После этого никто не знает, куда делся налогоплательщик...

Дервиши более напоминали разбойников, по отличались от них тем, что на серебряных цепочках несли чаши из кокосового ореха для сбора подаяния. При виде путника они издавали ужасный вопль, призывая Аллаха в свидетели своей нищеты, а если чаша не отяжелела от милостыни, тогда дервиши осыпали подаятеля самой грязной бранью.

Если слово «мирза» поставлено на втором месте, например, «Аббас-мирза», то это означает положение принца, если же оно поставлено перед именем (например, «Мирза-Эгбер»), то оно означает принадлежность человека к чиповному сословию.

Ф е р а ш - б а ш и — повелитель слуг. Сарбаз — солдат. Любимая приправа персидских блюд — зеленый лук. Двап-ханэ — приемная для аудиенций.

Х а н у м — главная (старшая) жена в гареме. Из множества жен в гареме все персы и даже шах могут по праву иметь только пятерых законных, первая из них и есть ханум, муж может со временем разлюбить ее, но она все равно сохранил к себе уважение других жен.

В мраморном бассейне бил маленький фонтан, а струя воды падала на всякие колокольчики, издавая приятную музыку.

П е ш к е ш — подарок.

Здесь мне хотелось бы подробнее остановиться на «почасовике», чтобы читатель прикоснулся к «кухне» создания произведения.

Вот она, самая сердцевина рождающейся книги — стопка исписанных листов бумаги с приколотой старинной картой Персии, вырванной, как свидетельствует надпись на ней, из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, и приложенной к ней обширной библиографией.

Это спрессованный до нескольких десятков страниц план романа, отражающий все важнейшие события, связанные с темой

1878 - *Кабель, так же у кабелей. нефть.*  
*Битум - 2223!*

1879 - основание Тов-ва бр. Нобель, конкуренция со всемогущим Рокфеллером. Нефт. войны 21-24.

1880 - Р.В. Нобель уехал загр. лечиться, оставаясь лишь пий-ином Тов-ва. Нобели, СЮ. 47.

1880 - приобретение дизеля ускорило развитие нефтяного дела. Иран. нефть 18-19.

1880-1882. - "Стандарт ойл" Рокфеллера выросла в гиганта, по-коря все фирмы. Нефт. войны - 8,11,14-17 и 21 (1).

*вспл. ч*

1881 - русский керосин пошел в Европу, возник "Русский вопрос". Нефт. войны 84 и 87. 23.

*1882 - Коссе и Нобель-Дар, Багдад, с. 19.*  
*Австрийские, немецкие, 1964, с. 9...*

1882 - планы адм. Эверса относительно переходе на жидкое топливо Иран. нефть 25. Нефтяные войны - 57-58.

*1882 - с.ч. Багдад, с. 13 (нефть, нефть).*  
*использов. 1883/84*

1883 - успехи Нобелей, их война с Рокфеллером. Нефт. войны - 28-29 (Монтанеза, Таггезы, Гукасов) в стр. 85...

1884 - некто Готц добился концессии в Персии, но его бурение не дало результатов. Иран. нефть 20.

*1885 - сабжу*  
*в Аравии.*  
*Ф. Хейксон.*  
*После Мо-*  
*санд, с. 109.*

яв. 1886 - нефть в имени Нобеля: Монополист. хеп. в нефт. пр. стр. 1 (письмо его). *Майков: 2 ию. 2430*  
*25 том, с. 396. Багдад, с. 78.*

1886 - англич. Стюарт основал в Баку первую англ. фирму. Нефт. войны 58... *соединить с рефератом (1886)*

*май* 1886 - Ротшильды купили Бакинское нефт. общ., переименовав его в Каспийско-Черноморское. Нефт. войны 29, 26 (1), 50...  
Дипломатия им - 30, ваятия Скальковскому - 30-33.  
Львов в 28 кулюсов 87-88. *с. м. 1391 = 26 77.*  
*очередь со 4 астория*  
*экономич. м. м. 1964, с. 29 294.*

Рис. 5. Страница плана «почасовина»



16 августа 1953 - шах и шахиня вылетели в Рим. Ир.нефть 390.  
Кровавые дни в Тегеране: арест Мосаддыка и  
новый премьер-министр - З а х е д и.

5 сент. 1953 - США порезали Иран своей щедростью (45 миллионов  
долларов). Ир.нефть 391.

октябрь 1953 - восстановление англо-иран. отношений и суд над  
Мосаддыком. Ир.нефть 392-393.

21 дек. 1953 - приговор Мосаддыку. Иранская нефть 15... (это  
начало книги).

январь 1954 - Иран.нефтяной комитет, его мнение. Ир.нефть 394

6 апр. 1955 - Захедаи ушел в отставку. Ир.нефть 408.

ноябрь 1956 - антианглийская демонстрация в Кувейте. Гошев.  
СССР и страны Персид.з-ва 78.

лето 1961 - Ирак.хотел ваять Кувейт. Гошев 78-79.

19 июня 1961 - Кувейт объявлен независимым гос-вом. Гошев.  
СССР и страны Перс.з-ва 77...

Рис. 7. Страница плана-«почасовика»

произведения за выбранный автором почти столетний отрезок времени.

Привожу фотокопии первой, последней и взятой наугад из середины «почасовика» страниц (см. рис. 5, 6, 7).

Я понимаю, что не все на них можно прочесть, потому что качественные фотокопии с этого черновика сделать очень сложно. Пометки автора сделаны и карапдашом, и фломастерами разных цветов, и шариковой ручкой, и пером. Кроме того, на листах просвечиваются совершенно посторонние тексты (Пикуль почти всегда писал свои романы на оборотной стороне уже исписанной бумаги — говорил: «Она уже энергетически заряжена на письмо»).

Но, рассматривая их, можно хоть отдаленно представить себе процесс сбора материала, почувствовать размах замысла автора.

Сколько же там имен, которые должны были найти свое подобающее место в романе. Нобель и Дизель, Рокфеллер и Ротшильд, Витте и Скальковский, Детердинг и Гульбекян. Здесь Черчилль и Эйзенхауэр, Сталин и Гитлер, Моссадык и Хусейн, Реза Пехлеви и Сорейя. Среди них еще Фишер, Стюарт, Рейтер, Васр-Эддин, Янжул, Арси, Бош... — я устала перечислять — голова кругом.

Но ведь Валентин Саввич знал их не только по фамилиям. О каждом персонаже он мог рассказывать часами. Кстати о Нобеле и Витте им уже были написаны миниатюры. А при упоминании в «почасовике» об изобретении синтетического бензина (год) сбоку стоит пометка — «Бухгольц» — и здесь же лежит написанное от руки небольшое повествование. Оно, на мой взгляд, весьма любопытно, поэтому привожу расшифровку не всем понятного пикульского почерка:

«В начало главы — ПОЯВЛЕНИЕ».

Когда я переехал жить в Ригу (это было давно), я познакомился с бароном Эгбергом Леоновичем Бухгольцем, сыном председателя дворянства Баусского уезда, предок которого был послан еще Петром I на Алтай искать золото. Тетка моего знакомого была женою известного полярного исследователя барона Эдуарда Толли. Сам же Эгберг Леонович работал врачом-рентгенологом в городе Бауска, и когда он привел меня в местную кирку, то я каждый шаг делал по надгробным плитам его предков...

Генеалогия, как видите, весьма почтенная!

Рассорились же мы после одного случая, когда я рискнул показать фотографию спившегося бродяги-грузчика, одного из предков Бухгольца, выведенного в пьесе М. Горького «На дне» под именем «барона». Но дело не в этом...

Э. Л. Бухгольц, давно успокоившийся на Баусском кладбище, до революции окончил Юрьевский университет, служил в армии

врачом, а в 1914 году был в Тегеране, где Антанту представлял русские и англичане.

Разговаривать с Бухгольцем мне было трудно, ибо он пересыпа свою речь вставками на немецком, на английском, а однажды долго цитировал что-то по латыни, и, увидев, что я ни бумбум, разругал меня.

— Неужели вы даже такой ерунды не знаете?

От него же я впервые услышал такие имена, как Д'Арси, Дердинг, Гульбеян, Реза Пехлеви и, наконец, немецкий химик Бош, сделавший то...

Он много рассказывал о своих тегеранских впечатлениях, но многое забылось, а то, что уцелело в памяти, никак не годится для печати.

Однако запомнилось:

— О Бошо я вам расскажу как-нибудь при случае... Все это ерунда! Знаете ли вы, что нефть принесет еще немало страданий, а ездить можно и на простой воде. Это Бош доказал.

— Куда же делся этот гений?

— Убили,— отвечал Бухголец.— Кому из миллионеров-нефедобытчиков выгодно, чтобы люди заводили моторы на воде.

В конце. Мы рассорились после того, как я имел неосторожность сказать по поводу горьковского прототипа:

— У нас в роду таких гошников не было!

Обиделся и ушел. А вскоре умер. Так и не узнал я тогда, что гениального сделал Бош, и узнал много спустя, когда запах бензина стал забивать запах керосина.

Любопытна запись прежде всего тем, что описываемые Пикулем встречи и разговоры относятся к времени, которое он определяет так: «Когда я переехал жить в Ригу (а это было давно)...»

Действительно это было в 1963 году. Как видим, уже тогда в голове Валентина Саввича отложились первые сведения, соприкасающиеся с темой, о которой он решил заговорить только в 1988 году. Вот сколько лет шло накопление и творческая переработка материала.

Да, собственно, оно и не было еще закончено. Это видно и по «почасовику» 1909—1913 гг. (см. страницу почасовика) были уже «переварены», осознаны и сюжетно скомпонованы. А последняя страница еще ждала своего часа доработки. Валентин Саввич печатал почасовик с интервалами, позволяющими вносить необходимые добавления и дополнения.

Пикуль начал роман энергично. Писал легко, раскованно, как бы беседуя с читателем. Начальные страницы произведения больше напоминают стиль его миниатюр, нежели стиль классического исторического романа. Довольно быстро написав то, что представ-

лено в данной публикации, Валентин Саввич приостановился, как бы собираясь с силами для нового броска, чтобы отшлифовать готовый материал по ответственному и сложному периоду — преддверию и ходу первой мировой войны.

Он работал очень много. Который раз вновь просматривал книги, вырезки, черновики.

Я уже ждала, что вот-вот он сядет за свой рабочий стол, чтобы выплеснуть на бумагу еще несколько глав. Но результат его раздумий был, как это часто бывало, почти парадоксален. «Прокрутив» в своей голове мировую войну, Валентин Саввич написал всего одну страничку. Не для романа, а, скорее всего, — для себя. И после этого сел за... «Барбароссу».

Вторая мировая война... Война машин и экономии... И вновь в стратегию войны нахально вмешивается жирная, черная, грязная.

Я ни о чем не спрашивала Валентина Саввича, боясь отвлечь сбить с мысли, которая и так металась, как птица в клетке. Собственно говоря, спрашивать ничего было и не надо. Текст, написанный Пикулем, по крайней мере мне, говорил о многом, если не обо всем.

Познакомьтесь с ним сами:

Война 1914—1917... это была великая война великого народа с великой опасностью, и русский солдат выиграл эту войну, а не проиграл. Судите сами: ни единой пяди Русской Земли мы врагу не уступили, Кайзер сумел ценою неслыханных жертв отодвинуть наш фронт только в Царстве Польском, только в Курляндии — тогда как на юге армии Брусилова захватили обширные земли Австро-Венгерской монархии... Так стоит ли повторять всякую ерунду, будто царизм, потерпев позорное поражение «в первой мировой войне?» «Позорное поражение» потерпел советский строй в 1941 году, когда Сталин и его прихлебатели — ценою жизни миллионов — не могли отстоять от Гитлера колоссальные западные земли и допустили немцев до Москвы и даже до Волги. Сами же немцы, участники первой мировой войны, говорили, что русский солдат в войне 1914—1917 годов был куда как более стойким!!!

— Это еще надо выяснить — что такое «свободная мысль»? Сейчас время полной свободы, а потому позвольте мне самому решать, какая мысль свободная, а какая нет и какую мысль я разрешаю высказывать, а какую — следует запретить. Мы все-таки живем в мире демократии, а посему требую всеобщего послушания, иначе свободы вам не видать!

«На подступах к Сталинграду» и закончил свою жизнь Валентин Саввич Пикуль, так и не успев вернуться к своему самому

фундаментальному, по задумке, произведению. Правда и от «Барбароссы» он отошел на короткое время, чтобы позволить себе «отдохнуть» от войны и на этом «привале» написать, как бы между прочим (а точнее — в подарок мне на женский день), бульварный роман «Ступай и не греши».

В «Барбароссе» Пикуль, как всегда и везде, делился своим мнением, своими взглядами на описываемые проблемы, никому их не навязывая. К сожалению, в отзывах читателей нет-нет да попадаются еще иногда грубые, злые письма. Достается в них и мне за посмертные публикации Пикуля. Но, если у человека было, что сказать людям, разве в моей компетенции лишать его этого права?

Валентин Саввич уважал читателей, имеющих свое, отличное от авторского, видение той или иной проблемы. Но считал ничтожествами чванливых оппонентов, самостоятельно и самолично присваивавших себе роль верховного судьи и безапелляционно выносящих вердикт — я умный, а Пикуль ничего не понимает.

Роман о нефти остался незаконченным. А, если честно — он был только начат. Если судить по «почасовику», Валентин Саввич написал, быть может, какую-нибудь десятую часть задуманного.

Каким этапом в жизни Пикуля было бы произведение?

Еще одной ступенькой на Олимпе Славы или очередным предметом травли и осуждения?

Скорее всего и тем и тем: в России всегда по поводу чего-то значительного — два диаметральных мнения!

...Но это из области мечтаний, поскольку полностью романа уже никто никогда не прочтет.

Даже, если бы Валентин Саввич дожил до сегодняшних дней, думаю, он все равно бы его не закончил, потому что столкнулся бы с реальными событиями (Ирак, Кувейт, экология), которые он сам давно предрекал и которые потребовали бы своего дальнейшего развития и отражения.

Такую книгу, как мне кажется, дописать до конца практически невозможно, ибо последняя точка в повествовании должна совпадать, по идее, с концом... цивилизации.

*Антонина Пикуль*



Удивленья достойны поступки творца.  
Переполнены горечью наши сердца.  
Мы уходим из этого мира, не зная  
Ни пачала, ни смысла его, ни конца.

*Омар Хайям*

## ОТ АВТОРА

*Я предлагаю читателю роман-очерк. Надеюсь, возражений не последует, ибо ведь никто еще не удивлялся тому, что Гоголь назвал свои «Мертвые души» поэмой...*

*Помню, прочитав «Каир» Джеймса Олдриджа, я был немало удивлен: биография города предстала передо мною как жизнеописание человека — от зачатия его до современной зрелости.*

*Тогда же я задумался: если героем книги может быть город, оживленный людьми, то почему бы героиней романа не сделать вещь, столь необходимому всем нам?*

*В этой книге я не стану претендовать на занимательность, присущую беллетристике. Я желаю сложить из подлинных фактов именно очерк об истории вещества, и пусть именно вещество станет нашей героиней.*

*Вот же она, полюбуйтесь: жирная, грязная, страшная...*

*С давних пор она играет почти заглавную роль во всеобщей мировой трагедии; сколько вокруг нее пламенных восторгов, как одни боготворят ее и как другие ее проклинаят!*

*Иногда кажется, что она, эта героиня, увлекает нас прямо в рай. Но мы, идущие в рай, должны осмотреться по сторонам, чтобы увидеть страшную дорогу — прямо в ад.*

*Не будем этому удивляться: мир так примитивно устроен, что человеческий рай всегда располагался неподалеку от ада.*

*А на кострах инквизиции сгорали не только безбожники, но и те люди, которые отказывались верить во всемогущество черта.*

---

## Часть первая. ПАХНУЩАЯ КЕРОСИНОМ

Всегда и во все времена будут  
являться шарлатаны за получением  
своей доли.

*Томас Карлейль*

### Глава первая

#### 1. О БОЧКАХ — С ПОСВЯЩЕНИЕМ КРИТИКАМ

Грешным делом, я всегда думал, что бочка — это чисто русское изобретение. В этом я был убежден смолоду, когда еще никто не боролся со мною за трезвость, и подле пивной бочки собирались лучшие друзья, дабы трезво обсудить сложное международное положение. Моя уверенность в «приоритете русской науки и техники» с годами все больше крепла, ибо из бочек извлекались соленые огурцы и малосольная селедка — это, смею вас заверить, всегда считалось отличной закуской.

Так бы и жил я в счастливой уверенности того, что Россия вправе гордиться перед всем миром своей бочкотарой, если бы... Если бы не узнал, что бочка известна человечеству задолго до Рождества Христова. Мою национальную гордость безжалостно добил историк древности Плиний, указавший, что бочка появилась однажды в Италии, куда, наверное, попала от греков-виноделов. Наконец, при раскопках легендарной Трои археологи нашли бочку, уже скрепленную обручами. Варвары вывезли бочку на север Европы, где она полюбилась всем народам, а в эпоху средневековья Германия побила мировые рекорды по выделке бочек, изобретая бочонки-шутихи и бочки-монстры чудовищных размеров, в которых власть имущие и топили закоренелых пьяниц...

Я не сразу пришел в себя от такой информации, но гордость патриота была утешена сознанием, что мои гениальные предки освоили производство бочек еще до Рождества Христова, то во всяком случае еще до Ивана Грозного. По тогдашней системе мер бочка составляла четверть или треть «воза», а вместимость бочки определялась «ведрами». В «Арифметике» Магницкого бочка показана равной сорока ведрам, но по ходу истории количество ведер менялось — в зависимости от построения мастеров бондарного дела.

Бочарным производством на Руси славилась Казанская губерния, особенно Козьмодемьянский уезд, где почти все деревни жили тем, что делали бочки. В те времена русские знали только одну рыбу — волжскую, и сто лет назад в Астрахань сходились бондари Костромы и Рязани, сколачивая под засол рыбы бочки на сумму более миллиона рублей. При этом за выделку бочки мастер имел два рубля, а хороший бондарь мог сколотить за день даже три бочки, — вот и прикиньте, сколь прибылен был этот народный промысел. Не лишне сказать, что для бочек годилась не всякая древесина, а лишь отборная, без сучка и задоринки. Под разлив вина и пива шел дуб, под смолу и деготь — сосна, осина годилась под насыпку сахара, ольха — для вологодского масла, а бочонки из липы употреблялись для хранения меда.

Дочитав до этого места, критики возрадуются, что поймали меня на «искажении исторической правды», ибо я забыл упомянуть керосин... Нет, я не забыл о керосине! Но до начала семидесятых годов прошлого столетия Россия бочек под керосин никогда не производила. Страна уже имела свой керосин, но бочки для керосина были чужими — американские с маркировкой по-английски: «Стандард ойл компани». Джон Рокфеллер, начиная с 1863 года, буквально затопил святую Русь своим керосином, используя под разлив бочки из добротного американского дуба. Каждая его бочка вмещала восемь пудов и была очень удобна при транспортировке, ибо ее легко перекатывал один человек. Естественно, что, поставляя керосин в Россию, Рокфеллер как настоящий джентельмен не требовал от русских, чтобы они вернули ему бочки обратно за океан, — это было бы и глупо и разорительно.

Так продолжалось до октября 1876 года, когда на рынки Санкт-Петербурга поступил бакинский керосин, но привычная маркировка «Стандард ойл» была забита на бочках

свежей надписью: «Роберт Нобель». Это и понятно: пустых бочек от Рокфеллера скопилось очень много, и они, хорошо проклеенные, были заполнены отечественным керосином. Производство русского керосина увеличивалось столь быстро, что вскоре Нобелям потребовались целые заводы по выделке бочек. Конечно, сразу возникла острая нужда в дубовом лесе — где его брать? Российский дуб был дорог, а срубленный в лесах Лепкорани оказался хрупким в работе, так что одно время для бондарей завозили из Персии чинару. Пробовали мастерить бочки из дешевой сосны, но ее смолы не впитывали клей, ель имела много сучков, отчего бочки протекали, липа требовала долгой просушки... Наконец, на бондарном заводе в Перми провели опыты с осиной, которой так богаты леса, и осина оказалась прекрасным материалом для выделки бочек под хранение нефтепродуктов...

Догадываюсь, что именно тут критики скажут, что Валентин Пикуль разводит эмоции на пустом месте, что через дырку в бочке читателю не увидеть социальных перемены в русском обществе, что автор не отобразил накала классовой борьбы, без которой невозможно поступательное движение к коммунизму.

Между тем, осмелюсь заметить, я, автор, имею право на выражение личных эмоций, возникающих даже в вопросах о производстве керосиновых бочек. Как говорят наши восточные соседи, «что увидит молодая женщина в зеркале, то старуха способна разглядеть даже в обычном кирпиче...»

.....

Обычно критики упрекают меня в том, что история — в моем изложении — выглядит как увлекательный роман. Кажется, им хотелось бы, чтобы Валентин Пикуль писал невыразительно, лишь констатируя те факты, которые доступно изложены в школьных учебниках. Некоторые из критиков, еще не потерявшие человеческого облика, говорят мне архичестно:

— Слушай, когда ты перестанешь писать, чтобы мы больше не мучились? Ведь мы не успеваем разлаять один твой роман, как у тебя готов другой. В наше время, чтобы тебя заметили и оценили, писать надо, как можно меньше. А лучше же всего — вообще не писать, а только высказываться по насущным вопросам о путях развития нашей бесподобной литературы.

Кстати, за сорок лет служения в словесности у меня накопился немалый опыт борьбы с критикой, и оружием в этой борьбе служит... молчание. Еще Александр Блок мудрейше советовал писателям вообще не замечать критиков, способных сегодня говорить одно, а завтра порицать сказанное ими вчера, и Блок предупреждал пишущих никогда не вступать в полемику с критиками, ибо автор прав... он всегда прав!

Даже не читая моих книг, а лишь повторяя один другого, критики в один голос заверяют читателя, что за движением исторических событий я наблюдаю через «замочную скважину». Это так же нелепо и глупо, как и то, что один из критиков назвал меня «советским Дюма». Однако, желая подтвердить мнение своих Зоилов, в этом романе-очерке я, действительно, приглашаю читателя заглянуть в прошлое через скважину...

Только не замочную, а — нефтяную!

Завершая прелюдию к роману, заодно уж припомню, что было сказано в Коране: «Неужели же вы дивитесь этому рассказу и все еще смеетесь, а не плачете?..»

Перейдем к делу, ибо наша бочка требует заполнения. Хотя бы тем поносом трусости, которым давно страдает наша всемогущая и прогрессивная критика.

## 2. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Весной 1873 года — давненько, читатель! — на пароходе «Великий князь Константин» был объявлен всеобщий аврал.

— Ходи все наверх... быстро! — орали бодмана.

Аврал был по всем правилам флотской науки — с матюгами, с зуботычинами и с обещанием хорошей выпивки в конце, если пароход станет «сверкать, как новый пятак».

— Да уж и без того сверкаем, — рассуждали матросы. — Не знаем, где как, а на русском флоте завсегда порядок...

Аврал застал команду на «девяти футах» Астраханского рейда, но в городе встревожились и жители. По улицам вдруг промаршировали разряженные, как павлины, лакеи императорского двора, за ними, покуривая сигары, шагали важные господа — повара, а юные поварята, замыкая процессию, били в медные тазы, словно в боевые литавры, возвещая победу.

Астраханцы на всякий случай пугливо крестились:

— Откеле вас, сердешных, целую свору пригнали? Или сам царь-батюшка решил навестить наше сонное царство?

— Хуже того! — отвечали веселые поварята. — Приехали мы из Питера, чтобы кормить шаха персидского с его женками...

Бескозырок на флоте тогда еще не водилось, матросам с «Константина» выдали черные лакированные цилиндры. Боцмана свирепо вращали кулаками, деликатно спрашивая:

— Видал миндал, что не раз едал? Ежели што, так у меня... сам понимаешь. И на баб чужих не разевайся. Коли шах возревнует, так его визирь тебе вмиг шулята отрежет.

— Да на што нам чужие, — огрызались матросы, шуруя швабрами. — Нам и своих-то на берегу хватает, такие стервы — не приведи бог! Последнее отберут...

«Константин» преобразился. Из салона первого класса убрали всю мебель, по бортам расставили широкие тахты, накрыв их драгоценными коврами, — это для шаха. Второй же салон в корме парохода приготовили для размещения эндерума (гарема), а, чтобы обеспечить надзор за женами шаха, для его евнухов разбили на палубе большой шатер... Якоря были выбраны.

— Куда идем-то? — спрашивали матросы.

— В персидский порт Энзели...

Пришли они в Энзели, что в Гилянской провинции, стали ожидать. Матросы спрашивали офицеров — как зовут шаха?

— А зачем тебе это? Или познакомиться хочешь?

— Да на кой ляд! Но знать-то надо.

— Насср-Эддин, — поясняли им. — Как у нас царствует династия Романовых, так в Персии правит династия Каджаров. Впрочем, что тебе толковать? В одно ухо влетит, в другое вылетит...

Наконец, шах появился. Офицеры выстроились на шканцах, подле них расположились придворные лакеи в красных ливреях, а матросы, стоя в шеренгах, заранее прокашлялись, готовясь горланить «ура». Еще издали слышались грохоты барабанов, звоны бубнов и мычание рогов. В богатом паланкине несли Насср-Эддина, за ним — его гарем-эндерум, который охраняли вооруженные солдаты. Поднявшись на палубу, Насср-Эддин ослепил коман-

ду блистанием алмазных пуговиц, на его каракулевой шапке сверкал лев с мечом, сплошь бриллиантовый. Шаху было едва за сорок, но фигура его была слишком массивной, грузной. Тяжелым взором исподлобья, шевеля бровями, он сумрачно обвел ряды встречающих, как бы прицениваясь — кто тут самый важный, и сразу двинулся к лакеям, желая пожать им руки. Но лакеи прятали руки за спину, ответно кланяясь, переводчик пояснил шаху, что это прислуга. Насср-Эддин помрачнел и что-то долго толковал, возмущенно показывая на дымовые трубы.

— В чем дело? Трубы только что покрашены,— вступился командир парохода капитан первого ранга Перцев.

— Его величество недоволен,— объяснил переводчик,— что для его величества не нашли корабля с большим количеством труб... Его величеству неприятно, что у вас только две трубы. Неужели так уж трудно добавить труб для его величества?

«Урра-а-а!..» — закричали матросы по команде офицеров, которые молодецким возгласом решили покончить с недовольством шаха. Насср-Эддин поспешил укрыться в салоне.

Перцев поднялся на мостик, велел «стоять по местам». Но еще долго ворчал, недовольный:

— Труб ему мало? А где я ему труб больше возьму?..

Темнело над рейдом Энзели, когда «Великий князь Константин» вышел в открытое море. Навстречу тащилась в персидский порт развалюха баржа, и Перцев через мегафон окликнул ее:

— Эй, земляки! Что везете персам?

— Полно бочек.

— А в бочках-то что?

— Керосин,— донеслось в ответ.

Две мощные политические силы сталкивались на караванных тропях Афганистана и тогдашней Персии: с юга надвигались англичане, а с севера — русские. Сразу скажем, что Петербург никак не желал порабощения Персии или Афганистана, а если и вмешивался в дела Тегерана или Кабула, так лишь с единою целью — противостоять натиску англичан...

Появлению шаха Насср-Эддина предшествовал эпизод, который никак не возмутил величавого спокойствия русской нации, зато внес немалую долю волнения в обычную

жизнь здания у Певческого моста, где располагалось министерство иностранных дел. Во главе внешней политики государства стоял князь Александр Михайлович Горчаков — последний лицеист пушкинского времени и последний канцлер в стране. Еще за год до появления Насср-Эддина в России ему стало известно, что в Тегеране творятся дьявольские плутни британского Уайтхолла.

Озабоченность канцлера заметил и Александр II:

— Говорят, персидский шах, желая повидать Европу, нуждается в деньгах, дабы осуществить это путешествие вместе со своими женами... Вы, наверное, думаете, как лучше использовать визит шаха к нашей выгоде?

— Меня заботит иное, — отвечал Горчаков. — А именно — вмешательство в дела Персии барона Рейтера, который опутал весь мир телеграфной проволокой, а теперь согласен кредитовать шаха, лишь бы тот не мешал ему разорять Персию...

Все было так! Юлиус Рейтер, полунемец и полуеврей, титулованный в Англии баронством, уже достаточно прославил себя знаменитым «Телеграфным агентством Рейтера», но в 1872 году он стал щедро (чересчур щедро!) раздавать взятки приближенным шаха, и Насср-Эддин тоже получил немалую толику. В обстановке сугубой секретности, но с ведома лондонского Уайтхолла, барон Рейтер вырвал у шаха право на концессию.

— Цель? — отрывисто спросил император.

— Рейтер получил право на создание железной дороги от Каспийского побережья до Персидского залива, иначе говоря — от Решта с его портом в Энзели до цветущей Исфагани и далее.

— Свинство! — кратко выразился император. — Очевидно, России тоже надо потребовать от шаха, чтобы уступил нам право на укладку рельс от Тифлиса до Тавриза и далее — до Тегерана.

— Это еще не все, — печально вздохнул канцлер. — Насср-Эддин как был диким Каджаром, так им и остался, весьма далеким от восприятия благ цивилизации, жаждущий едино лишь удовольствий. Рейтер затмил ему остатки разума своими подачками, и шах — в знак гарантии британской концессии — предоставил Рейтеру управление всеми персидскими таможнями.

— На какой же срок?

— До конца века! Но при этом англичане получают



право ковырять земли Персии, где им желательно, дабы изымать из персидских недр все, что в них находится...

Александр II неуверенно хмыкнул:

— А что там есть, кроме бирюзы, которая растет сама по себе из костей женщин, умерших от несчастной любви? (Верно, что разработки бирюзы персы в основном проводили на древних кладбищах, где и добывали драгоценный камень.)

— Но если бы в недрах Персии,— объяснил канцлер,— находили только воду для полива садов, то и вода тоже становилась бы драгоценной. А барон Рейтер столь обнаглел, что потребовал от шаха оставить за концессией право устанавливать продажную стоимость даже колодезной воды...

Весною ожидался визит в Петербург германского кайзера вместе с Бисмарком, а после «Вилли» следовало ожидать на берегах Невы и явление персидского шаха. Александр II долго не думал, быстро сложив в голове комбинацию:

— Я останусь вежливым хозяином, чтобы принять гостя, как своего лучшего друга. Для него я велю убрать в восточном вкусе комнаты Эрмитажа, а вы... Вам, князь, предстоит побыть в роли строгого ментора, и я позволяю вам выразить шаху свое презрение в любой форме, какой и заслуживает этот Каджар...

Москвы шаху было не миновать; Александр II заранее указал московскому генерал-губернатору задержать Насср-Эддина в первопрестольной, дабы ошеломить его московским изобилием и славным русским гостеприимством. Управлял же в ту пору Москвою князь Владимир Андреевич Долгорукий — весьма живой и бодрый старец, обладавший уникальным для вельможи качеством: он умел НЕ спать даже на самых скучных лекциях в университете, внимая профессуре с усердием бедного студента, живущего на государственную стипендию.

Вечно подтянутый (благодаря корсету), даже без признаков старческого облысения (благодаря парикю) князь Долгорукий в обществе был душа-человек, пользуясь вниманием не только купцов, но даже благосклонностью молоденьких балерин. Ярый поклонник Терпсихоры, князь начал искушать Насср-Эддина именно достижениями московского балета. Гарем-эндерум шаха был размещен во дворце Петровского парка, и таким образом ни одна из жен не мешала Насср-Эддину лицезреть воздушные преле-

сти русских Матрен и Февроний (по сцене Аделей и Асназий).

Насср-Эддин чуть не вываливался из ложи на головы сидящих в партере, когда московские сильфиды трепетно и капризно стучали ножкой об ножку, а их короткие юбочки из кружев позволяли шаху догадываться, какие волшебные таинства сокрыты под их узенькими трико...

Наконец, шах не выдержал и подозвал переводчика:

— Покупая! — возвестил он и широким жестом восточного деспота алчно обвел простор всей императорской сцены заодно с балеринами, вполне пригодными для обновления гаремного персонала. — Плачу, чем угодно...

— Рано, — остудил его князь Долгорукий, велел подавать в ложу шампанское. — Рано, ваше величество, ибо вы еще не имели счастья видеть наших московских магазинов...

В магазинах гость пожелал иметь все, что видит (а глаза у него были завидущие), и очень скоро шахиншах сильно задолжал московскому «паше». Была чудная весенняя ночь, уже распевали в садах соловьи, когда Долгорукого разбудил полицмейстер:

— Проснитесь! Стыдно сказать... Бунт!

— Где? Фабричные? Или голытьба с Хитрова рынка?

— Нет, в Петровском парке — бунт в гареме...

Выяснилось нечто ужасное. Повидав немало московских чудес, Насср-Эддин вечерами рассказывал об увиденном своим женам, и до того возбудил их любопытство, что они потребовали возить их всюду — в магазины и в театры, в рестораны и даже в зверинец. Возник искрометный «семейный» скандал! Когда один муж лаетя с одной женой — это еще куда ни шло, тут можно обойтись призывом дворника, не беспокоя полицию. Но вы представляете, читатель, какой шурум-бурум развели в Петровском сразу сорок жен, наседавших на одного-единственного мужа! Именно по этой причине в спальне Долгорукого и появился полицмейстер.

— Бес с ним, — сказал он в конце доклада. — Но страшное в другом. Евнухи сразу выявили зачинщик бунта и шах, дурья башка, велел утром же предать их смертной казни...

Прослышав об этом, князь опрометью кинулся в Петровский парк, где застал жен шаха в рыданиях, а суровые евнухи деловито готовились к удушению пятерых непокорных.

— Ваше величество, — заявил князь, — позволю себе заметить, что вы находитесь в стране, где закона о смертной казни не существует, и я вынужден напомнить, что русские порядки не дозволено нарушать даже вам... нашему высокому гостю! Ведь это скандал не только в моем «пашалыке», а на всю Европу, а вы ведь желали, кроме Петербурга, повидать Париж и Лондон... повремените!

Насср-Эддин понял, что здесь не Персия, где он сажал на кол любого приятеля, и согласился с Долгоруким, что эндерум надо спровадить обратно в Тегеран. Сопроводить его жесп (заодно с евнухами) был назначен чиновник Зармаир Мессарьянц, знаток восточных паречий. Отправляясь на вокзал, евнухи не скрывали, что у каждого за поясом длинный нож, эти ножи они открыто держали на виду бедного переводчика.

— Ты в каком чине, братец? — спросил его Долгорукий.

— В коллежском, — отвечал Зармаир, ляскнув зубами.

— Ничего, мой милый, не бойся... Доставь это бабье до порта Энзели, вернешься живым — я в статские выведу!

Гарем отъехал. Генерал-губернатор перекрестился:

— Осталось дело за малым, — сказал он. — Выставим шаха в Петербург, и пусть там с ним разбираются другие...

Теперь, читатель, пора напомнить о керосине!

Нефть в потаенных недрах Персии еще дремала втуне...

### 3. КЕРОСИН НАШИХ БАБУШЕК

От угасающих костров дальних пращуров, минуя масляные светильники, деревенские лучины и восковые свечи, русский человек вдруг перешел в ту эпоху, которую бытописатели называют «керосиновой». Историки привыкли отсчитывать ее от начала шестидесятих годов прошлого века, полагая, что она завершилась триумфом электричества в канун нашего бурного столетия. Но мне думается, что керосиновая лампа освещала нашу жизнь — уютно и благостно — гораздо долее...

Я еще помню дни своего детства, тихую псковскую деревню Замостье и свою добрую бабушку, Василису Минаявну Каренину, которая с наступлением сумерек говорила:

— Повременим, внучек, до потемок. Нонеча керосин-то в красных сапожках бегают... Дождемся часу темного, тогда и зажжем лампу, чтобы напрасно керосин не расходовать.

Теперь-то я знаю, что юность моей бабушки была освещена еще не русским, а заокеанским керосином. Но, спроси у нее тогда, кто такой Рокфеллер, бабушка никогда бы не ответила. У нее был свой мир, заключенный в тот ограниченный круг, который высветил для нее фитиль керосиновой лампы. Между тем, мне, внуку ее, предстояло выйти из этого заколдованного круга — на широченный простор той мировой политики, которую когда-то делал простой и дешевый керосин.

Керосиновая эпоха начинается, как в детской сказке, с того, что жили-были два... полковника.

Один — самозванный — Эдвин Дрейк, шумливый американец; другой — подлинный полковник! — скромный Ардальон Новосильцев, русский. Оба они закончили плохо. Дрейк, ослепнув, умер на дармовой койке приюта для нищих. Но зато в его честь Америка до сих пор слагает оды, а в России нашего полковника чуть в тюрьму не посадили. Остались нам в наследство лишь золотые слова химика Менделеева, писавшего: «Имя первого бурильщика А. Н. Новосильцева, надо думать никогда не забудется в России». Наивный человек, этот великий Менделеев: мы забыли не только Новосильцева, но забыли и многое другое... Мы обставили свою землю памятниками всяким балбесам и демагогам, а вот не догадались водрузить монумент в честь Новосильцева.

Эдвин Дрейк, не всегда трезвый, бывший кондуктором на железных дорогах, по дешевке купил бесхозный участок земли в Пенсильвании. Шел 1858 год, когда он с приятелем по имени Билли решил пробурить скважину артезианского колодца. Бур ушел в землю не так уж глубоко, когда из недр со свистом вырвалась «нечистая сила» — зароботал фонтан нефти, жирной, черной и грязной... Этот момент вошел во все учебники американских школьников, и кондуктор почему-то сразу превратился — под пером историков — в braveго полковника.

Однако мир так подло устроен, что одни добывают нефть из земли, а другие добывают деньги из нефти. Как раз в эти годы некто Джон Девийсон Рокфеллер служил приказчиком мучного лабаза в городишке Кливленде. Засыпанный белой мукой, он решил, что от нефти грязнее

не станет. Дрейк — ну, его к чертям! Теперь настало время Рокфеллера, о котором лучше всего выразиться известным афоризмом: «Когда эти господа говорят, то они врут, а когда они молчат, значит они воруют...»

Как бы то ни было, в разговорах или в суровом молчании, но пенсильванская нефть очистила Рокфеллера от муки, и в Америке возникло могучее царство «Стандард ойл компани», а пенсильванский керосин — тогда же! — наполнил лампу моей доброй покойной бабушки...

Ну, а что же мы, русские?

Неужели отстали от американцев?

Ни в коем случае — того быть не может. Сталинская компания борьбы за «приоритет русской науки и техники» доказала нам, что все выдуманное в мире, начиная от пуговиц до презервативов, изобрели мы, великороссияне...

Баку уже тогда имел недобрую славу «вольного» города, куда стекались бездомные, беспаспортные, безродные, беглые, полицией разыскиваемые и прочие, всегда готовые составить артель по перевозке тяжестей из угла в угол или поднять то, что другими брошено. По всей России ходила тогда народная молва, что в Баку войдешь без порток, а вернешься в родимую деревню на тройке с бубенцами. Соблазн был непомерно велик: один пуд керосива (16 литров) стоил тогда — страшно сказать! — с е м ь копеек.

Подумайте, какой дурак от таких денег откажется?

Вот и гнали керосин — кто хотел и как умел. Самовольно, подальше от начальства, на Апшероне пробуривали нефтяные сважины. В 1869 году одна из таких «дырок» оглушила работяг свистом газа, потом — заодно с нефтью — рвануло из глубины песком, побило тут многих камнями насмерть. И скважину в геройской борьбе — забросали булыжниками.

Вторая же скважина дала столь могучий выброс нефти, что земля вздрогнула и загудела, из города прискакала полиция и сам уездный исправник:

— В протокол вас всех, мать вашу... Кто дозволил?

— Да мы так... Всею компаниею. За што в протокол? Мы люди бедные... с утра не жравшие.

— Босяки! — орал исправник. — Ты мне бумагу кажи от начальства, чтобы по всей форме. Эдак-то каждый начнет ковыряться, всю Россию продырявят, а с нас спросят — куда глядели?..

Скоро Джону Рокфеллеру доложили, что на Апшероне

некоторые фонтаны выбрасывают в сутки до ШЕСТИСОТ ТЫСЯЧ пудов:

— Тогда как один наш фонтан в Пенсильвании не дает более ПЯТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ пудов, если вести счет не в баррелях.

Рокфеллер отложил в сторону молитвенник:

— Это все, чем вы желали меня запугать?

— Нет, не все. Самое опасное для нас в смысле конкуренции — это мощность нефтяных фонтанов: у нас они достигают высоты лишь в ДЕВЯТНАДЦАТЬ метров, а в Баку русские фонтаны хлещут к небу до ВОСЬМИДЕСЯТИ ЧЕТЫРЕХ метров...

Размышления Рокфелера длились недолго.

— Возможно, что сравнение не в нашу пользу, — рассудил он. — Но у них ведь еще нет компании...

И был прав! Компании среди русских возникали частенько, зато у них не было компании, подобной его «Стандард ойл». Впрочем, таковая скоро появится... Интересно, что скажет тогда Рокфеллер? Он будет говорить много, однако, нам, читатель, следует запомнить только одну его фразу:

— Я всегда преследовал своих врагов и, видит бог, всегда их догонял и перегонял. Они оставались далеко за мной, посрамленные моими успехами. Но я ни разу не оглянулся назад, чтобы видеть, как, истребленные мною, они подымают...

Эта фраза относилась уже к братьям Нобелям!

.....

Не станем забираться в далекую древность, когда на заре человечества люди уже пытались извлечь пользу из нефти. Ее давали пить больным, как лекарство, пропитывали ею крыши, чтобы не протекали, смазывали колеса повозок, чтобы они не скрипели, нефть загустевала в асфальт, которым заливали улицы, нефтью заливали водоемы, в которых водился малярийный комар, в древнем Египте нефть употребляли для бальзамирования трупов, а нефтяные огни породили даже религию огнепоклонников, существующую и поныне. Через те края, где стоит ныне город Баку, когда-то проходил Александр Македонский и, не поверив в горючие свойства нефти, он обмазал ею одного местного мальчишка, который и был сожжен живо. Об этой же нефти писал и Марко Поло, называя ее «маслом», есть которое не советовал...

Оставим нефть в покое — лучше поговорим о керосине!

Было на Руси царствование кровавой Анны Иоановны, когда она отправила свое посольство к персидскому Надир-шаху, не менее ее кровавому. При посольстве состоял Иван Яковлевич Лерхе, известный врач, который вывез из Баку первые сведения о тамошнем керосине. Наверное, он дал царице понюхать керосину и не забыл рассказать, что Баку — это «черный город», называемый так местными жителями, которые отапливают жилища сжиганием нефти, а все дома в городе почернели от дыма.

— Там иногда дуют столь сильные ветры, что тучи сажи, поднятые вихрями, закрывают горизонт, а над морем порою плавают облака газов, которые сами по себе всплывают, и тогда море охватывает пожаром.

Вряд ли императрице понравился аромат керосина:

— А польза-то? Скажи, дохтур, польза-то какова?

Ответ врача Лерхе сохранился для нашей истории:

— Замечено, что верблюды, проходя мимо Баку, излечиваются от облысения, а люди тамошнии потребляют сию заразу от каменной болезни, скоробута и ревматизма. Смею думать, ваше величество, что Шемаханское царство потому и миновала моровая язва, коя испугалась подобной вонищи...

В конце жизни Анна Иоановна устроила свадьбу шутов в знаменитом «Ледяном доме», в очаге которого ледяные поленья, облитые нефтью, горели, а ледяной слон, в брюхо которого налили нефти, выпускал из хобота горящую струю. В новом царствовании Елизаветы нефтяной вопрос оказался заброшен в иные края, куда Макар телят не гонял, — на приполярную речку Ухту, где смекалистый мужик Федор Прядунов в 1745 году начал перегонять ухтинскую нефть в керосин. Там, на задворках нашего государства, впервые в мире заработали нефтеперегонные установки. Историки пишут, что «завод» Прядунова давал в год тысячу пудов керосина. Историки заодно уж и подсчитали, что для такой добычи Федор Прядунов ежедневно перегонял 134 килограмма сырой нефти... Сознаюсь, мне бывало страшно смотреть на фотографии тех мест, где работал завод Прядунова... какая глушь, какая дичь, и хочется сказать: здесь еще никогда не ступала нога человека.

Читатель, наверное, спросит: а куда делся Прядунов? Увы, в 1753 году, он умер в Москве под арестом Берг-

Коллегии, ибо за ним остался невыплаченный налог... ровно 35 рублей и 23 копейки!

Настали новые времена, и в 1823 году братья Дубинины, крепостные графини Папиной, случайно оказались в Моздоке. Увидели они там нефть и по русскому обычаю почесали затылки:

— А что, братцы, ежели это дерьмо сварить, как брагу... Может, из него, глядишь, да что-либо и вытечет?

Вот уж неразрешимая задача для историков — разгадать, почему сиволопые мужики из Мурома своим умом доперли до того, к чему позже пришли высокообразованные химики Европы, закрепившие свои имена в научных патентах. Кстати, читатель, керосин тогда называли «фотогёном», но Дубинины, не ведая о значении патентов, пошли гнать керосин-фотоген, как гонят мужики самогонку из крепкого сусла. В их кубах отвратительно булькала черная, жирная и грязная пакость, вытекавшая в чаны светлым и прозрачным настоем, которое братья нарекли протеским названием — «белая нефть». Из сорока ведер нефти они получили 200 литров керосина, после чего уничтожали бесполезные отходы в количестве 50 литров бензина и 250 литров мазута... На всякий случай, читатель, обнажим головы! Муромская земля дала нам не только Илью Муромца, но и башковитых братьев Дубининых: честь им и слава!

Пресловутый «приоритет русской науки и техники», набивший нам оскомину еще при Сталине, в вопросах истории негоден и даже вреден. Но все-таки ради соблюдения истины замечу: Россия пробурила первую скважину еще в 1848 году в прикаспийском урочище Биби-Эйбат, а бравый «полковник» Эдвин Дрейк начал бурение лишь в 1859 году. В это же время запах керосина учуял московский миллионер Василий Александрович Кокорев — человек, о котором пора бы вспоминать и почаще.

Костромской мецанин, самоучкой постигший азбуку и арифметику, он разогнал свой великороссийский бизнес до состояния в семь миллионов и брался за все, за что другие братья боялись. (Да будет известно, что Кокорев собрал и картинную галерею, которая — задолго до Третьякова — стала в Москве открытой для публики). Вот этот человек, обладавший крепким умом и ценкой хваткой, которые еще пикогда не вредили капиталистам, в 1859 году взялся за керосин. Кокорев основал большой завод в се-



лении Сураханы, что лежало в 15 верстах от Баку... Иногда его спрашивали:

— Почему вы выбрали для себя именно Сураханы?

— О-о! — отвечал Кокорев. — Вы бы хоть разок видели почью древний храм огнепоклонников, в котором доживают последние жрецы... умные люди. Они-то и подсказали, что подземные газы, бьющие из трещин земли, пригодятся как дармовое топливо для моего предприятия... Нет, я не прогорю, — убежденно говорил Кокорев, — ибо завод строю по планам великого химика Юстуса Либиха, о котором вы все знаете, что он изобрел искусственное кормление детей и мясные экстракты.

Бочки с кокоревским керосином поплыли на баржах вверх по матушке Волге, соперничая с керосином американским, их разгружали полуголые персы в персидском Энзели. И все-таки Кокорев... прогорел, ибо его талант задушила откупная система, а вокруг Сурахан забили мощные фонтаны нефти, на которые кинулись с черпаками другие промышленники, более хваткие, более удачливые. Заводской химик Энглер, утешая своего хозяина, сказал:

— Ваша ошибка в том, что вечерами вы отпускали рабочих спать, а завод должен работать круглосуточно.

— Так что же делать? — приуныл Кокорев. — Или уж совсем не давать людям выспаться? Ерунда какая-то...

Следующая страница истории — новая трагедия!

Михаил Константинович Сидоров явился как раз в те места, откуда увезли под московский арест Федора Прядунова. В 1868 году на реке Ухте он пробурил скважину на 52 метра. Ухтинская нефть пошла наверх, но... как вывезти ее из этой глухомани? Петербургские чиновники то разрешали бурение, то запрещали. В газетах Сидорова называли то гением, то аферистом. Только для того, чтобы отлаяться от критиков, он ухнул 650 000 рублей. Наконец, на большой глубине треснул дорогой заграничный бур, жди, когда из Европы привезут новый... Сидоров умер в бедности, близкой к нищете, сознательно разоряя себя ради будущего, но мог утешаться мыслью, что его пароходы — первые в мире! — ходили на жидком топливе. Перед смертью Сидоров писал: «Будущее поколение не упрекнет нас за то, что мы не заботились о его благосостоянии, напротив, оно будет нам благодарно!» Сейчас в городе нефтяников Ухте поставлен памятный обелиск — как раз на том месте, где когда-то Сидоров пробурил первую скважину... Снова, читатель, хочется обнажить голову.

Но уже подоспело время для появления Нобелей!

Старая русская бабушка была очень довольна. Она не ведала, что такое нефть, зато хорошо знала, сколько копеек платить за керосин. Улыбаясь широким и добрым лицом, Василиса Минаевна Каренина бережливо разжигала керосиновую лампу.

— Слава-те, господи,— шептала она.— Намаялась я смолоду с лучинушкой, сколь пятаков перевела на свечи во дни церковные, а вонеча-то, гляди, как ловко... Сподобил меня божиныка дожить до керосинцу! Вот и светло нам стало...

Не будем потешаться над подлинным величием «керосиновой эпохи» — керосин был тогда для людей столь же значителен, как значительна в наши дни атомная энергия. Впрочем, люди той давней эпохи еще не догадывались о великом будущем нефти, когда на ее отходах заревут моторы, а в сочленениях механизмов зачавкает добротная смазка. То, что раньше выбрасывалось, как ненужное и мешающее добывать керосин, станет ценнее любого керосина.

Завершая краткий экскурс в историю, вернемся в те дни, когда Мессарьянец везет гарем шаха обратно в Энзели, а сам шах катит по рельсам Николаевской железной дороги в Санкт-Петербург...

Заодно уж напомним, что на календарях наших бабушек значился 1873 год. В простом народе пели, как Стенька Разин не пожалел персидской княжны, зато о самой Персии люди имели смутное представление, даже примитивное:

— Оттеле,— говорила мне бабушка,— ранее купцы персидский порошок привозили, чтобы клопов да тараканов морить.

Да, русские генералы получали от шахов ордена Льва и Солнца, однако носить их стыдились, ибо все знали об их доступности. Зато персидских орденосцев часто видели в цирках русской провинции, где клоуны или борцы тяжелого веса демонстрировали свое искусство, заодно блистая и персидскими орденами...

#### 4. ОСЛОЖНЕНИЯ

С той самой поры, как Стенька Разин, выведенный из терпения, зашвырнул персидскую княжну в набежавшую волну, миновало очень много лет, и с того времени что-то

не слышать в народе, чтобы русские кидались персидскими княжнами, словно краюхами черствого хлеба.

Оставим в покое времена Надир-шаха, который разграбил «павлиний трон» в Индии, а нам, русским, подарил слона, которого в Петербурге не знали, чем прокормить, — лучше сразу перелистаем страницы истории, для нас близкие...

Последняя война между Персией и Россией была в 1828 году, еще при Паскевиче-Эриванском, и она случилась при втором шахе из династии Каджаров. Этот шах (Баба-хан) был племянником самого первого Каджара, который, кастрированный смолоду, люто озлобился на весь род людской и превратился в сущего изверга. В 1795 году евнух взял Тифлис, превратив его в груду развалин, мужчин угнал в рабство, а своим воинам приказал изнасиловать всех женщин. Захватив Кирман, кастрат велел подать себе на золотых блюдах 70 000 человеческих глаз, которые не поленился пересчитать, отбрасывая каждый глаз лезвием своего кинжала. Кончил кастрат свою жизнь, зарезанный слугами, как баран. Насср-Эддин, называвший себя шахи-шахом (что значит «царь царей»), тоже не был жалостлив. Однажды он велел вырвать из груди непокорного сердце, повертел его в руках, как игрушку, и, бросив на пол, раздавил каблуком, словно гадость.

Закончив воевать с Персией, русские стали изучать эту страну, их давнюю соседку. Из числа многих персегов России хочется вспомнить Петра Ивановича Пашино, ныне забытого. Персия при «царе царей» была совсем иной, нежели мы привыкли видеть ее теперь на экранах телевизоров. Так, например, когда Пашино верхом на осле ехал из Армении в «страну чудес», всю ночь за ними шел... тигр. Но страшнее тигров была встреча с разбойниками. А навстречу каравану из России постоянно двигались нищие персы, согласные прошагать даже тысячу верст, чтобы попасть в Россию на заработки. Как правило, они тянулись в Баку, чтобы трудиться на нефтяных промыслах. На этих несчастных были истлевшие рубахи до колен, их головы укрывали войлочные шапки. Пашино писал: «За спиной у них ни котомки, ни пилы, ни топора — признак крайней нищеты, лишь в руках они несли длинные посохи...»

Как же относились простые персы к России?

Чудесно! Пашино вспоминал, с каким восторгом, даже плача, персы слушали рассказы о России, которая казалась

им «почти раем» по сравнению с их родиной, погибавшей в пужде и бесправии. А те из персов, кто уже побывал в России, все хорошее в русской жизни безмерно преувеличивали, и потому простой народ взирал на Россию как на страну порядка, сытости и справедливости... Так было! Словно подтверждая эти рассказы, Россия слала на персидские базары груды цветастых ситцев, стеклянную посуду и хрусталь, искристые головы сахара, бархат и зеркала, самовары и свечи, наконец, горными тропами шагали в Тавриз ослы с бидонами керосина. Дешевые товары из России соперничали с дорогими английскими, но, правду сказать, русские купцы не раз обмишурились, развертывая ситцы с мотивами русских рисунков, тогда как англичане для расцветки своих материй заказывали узоры тегеранским художникам. Впрочем, англичане тоже попадали впросак, что им в копеечку обходилось. Однажды они завезли партию отличных седел и — ради пущей рекламы — хвастали, что седла сделаны из лучшей свиной кожи. Этого было достаточно, чтобы толпа мигом разнесла их магазины, а британские торговцы, избитые, были изгнаны с базаров...

Тегеран считался столицей шаха, столицей наследника престола был Тавриз, близкий к Армении, а религиозной столицей считался Мешхед в провинции Хоросан, уже близкий к Ашхабаду. Хотя Хоросан и был житницей Персии (там не знали только картофеля!), но жить в Хоросане было страшно. Все деревни строились, словно крепости (калу), огражденные глинобитными стенами. Крестьяне на своих нивах устраивались там, завидев всадника. Кочующие туркмены каждый год совершали набеги на Хоросан, и не было такой «калу», в которой можно было спастись от их разбоя.

Петр Гладышев, военный геодезист, работавший в Хоросане, писал: «Жители, способные к работе, вводились в плен, старики и детей убивали, чтобы с ними не возиться, женщин угоняли для продажи в гаремы. На базарах в Хиве и в Бухаре цена перса доходила до ста рублей, и сбыт их всегда был надежным заработком для туркменов... Жизнь персиян (в Хоросане) протекала под вечным страхом смерти и рабства...» Правда, если туркмен попадал в руки перса, то ему тоже доставалось; Гладышев писал, что «видел сидящего в железной клетке туркмена Гоклана; большие железные цепи шли от железного ошейника на нем к рукам и ногам; он был почти голый с всклокочен-

пыми волосами и ел только то, что ему бросали в клетку, как зверю...»

Стоит задуматься, читатель, что ведь все это было исторически совсем недавно! Но именно в 1873 году русские солдаты штурмовали ханскую Хиву, которая подчинилась России, и это было первым сигналом для туркменских разбойников. Горчакова срочно решил повидать английский посол — лорд Лофтус.

— Предупреждаю,— сказал он,— что в случае вашего дальнейшего продвижения к Мерву туркменские племена могут уйти на Афганские земли, и... неизбежны конфликты с Афганистаном.

— Но ваш кабинет не возражает против подчинения нами Хивинского ханства,— не то спрашивая, не то утверждая произнес русский канцлер, по-стариковски прищурясь.

— Нет,— откланился ему посол...

Когда же он удалился, Горчаков долго смеялся:

— Уайтхолл не возражает по той причине, что там давно запланировано проделать с Афганистаном именно то, что мы, русские, проделали с Хивинским ханством...

Но результат победы над Хивой был впечатляющим: русские солдаты избавили от рабства 60 000 персов, и они, посылая молитвы к Аллаху, густыми толпами потянулись на родину... Вернусь к воспоминаниям Петра Гладышева. Однажды, когда он в сопровождении казаков выехал в поле для топографических работ, он увидел вдалеке работающих персов-крестьян. Вдруг они разом побросали мотыги и с криками бросились к русским. Крестьяне целовали даже стремяна и ноги русского офицера, заодно перецеловав казаков, и при этом все время показывали на свои шеи, что-то возбужденно крича.

— Чего они хотят? — спросил Гладышев переводчика.

— Это люди, еще недавно бывшие рабами в Хиве, много лет носили на шеях железные ошейники, и теперь они плачут, благодарные России за то, что она избавила их от рабства...

Пожалуй что именно взятие Хивы и было главным событием 1873 года! Насср-Эддин слышал от царя только любезности, но для нас интересно другое — что будет сказано шаху канцлером Горчаковым?

.....

Русские газеты отзывались о шахе весьма благосклонно, признавая, что в его правление «Персия значительно продвинулась на пути цивилизации, отношения с Европою оживились, в ней стали устраиваться телеграфы и даже возникла периодическая печать...» Здесь я раскрыл мемуары генерала Констаantina Жерве, который навестил Зимний дворец, дабы лицезреть шаха. Насср-Эддин явился публике в сопровождении Александра II, никому не кланяясь, и поразил русских безвкусным изобилием бриллиантов: «шах был при русской андреевской ленте (голубой), а наш государь при персидской — зеленой». По далее Жерве сообщает одну деталь, очень важную для развития русско-персидских отношений. В честь высокого гостя состоялся парад. «Легко себе представить,— писал К. К. Жерве,— какое впечатление произвела на него наша стройная гвардия в полной форме. Смело можно сказать, что ничего подобного в своей жизни он не видел, да нигде больше и не увидит». Но об этом впечатлении я скажу потом, а сейчас вернемся к Горчакову, которому царь дозволил вести себя с шахом так, как ему заблагорассудится... Горчаков сказал:

— Если вашему величеству понадобились лишние деньги для путешествия, вы могли бы прибегнуть к помощи Петербурга, но вы решили воспользоваться услугами лондонского пройдохи Рейтера. Не скрою,— продолжал канцлер, отчитывая шаха, словно мальчишку,— что договор о концессии, который вы столь тщательно скрывали от нас, поразил в России не только меня. Ваше личное достоинство и даже ваш авторитет сильно пострадали от подобного акта, между Тегераном и Петербургом могут возникнуть нежелательные для дружественных государств... трения!

Академик В. М. Хвостов писал, что «шах был потрясен. Горчаков, очевидно, сумел его напугать. Во всяком случае он добился обещания Насср-Эддина расторгнуть договор с Рейтером». После чего шах покинул русскую столицу, чтобы повидать Европу. О посещении шахом Англии мне известен только один выразительный эпизод. Во дворце герцога Сутерланда был устроен для шаха банкет, и, пораженный великолепием убранства дворца, шах тихом спросил принца Эдуарда (сына Викторни, будущего короля Эдуарда VII), что он будет делать с хозяином, когда займет престол после матери? Эдуард удивился такому вопросу, а Насср-Эддин выразительно провел реб-

ром ладони по шее, намекая, как лучше поступить с герцогом, чтобы без лишних хлопот завладеть его богатством.

— У нас это не принято, — сухо отвечал принц.

— Как? — удивился шах. — Неужели король не смеет прикончить своего подданного, чтобы овладеть его добром? Нет, теперь я вижу, что в Персии порядки лучше, нежели в Европе...

Зато в Париже «царь царей» вел себя по-царски. В одном из магазинов ему до того понравился звон часовых будильников, что он купил сразу тридцать штук, наслаждаясь процессом их заведения и синхронным звоном в установленное время. Это его прямо-таки потрясло! Вечером шах появился в парижской опере, где президент уступил ему свою ложу. В самый трагический момент финала, когда певцы готовились сорвать бурю аплодисментов в конце дуэта, а публика замерла от восторга, — вот именно тогда разом сработали все тридцать пружин в будильниках. Певцы растерянно умолкли, вся публика уставилась в сторону ложи, извергавшей на них невыносимые перезвоны, а сам шахиншах, чувствуя, что доставил публике невыразимое удовольствие, улыбался дамам Парижа...

На родину он возвращался тем же путем — через Астрахань.

Как раз к тому времени «Константина» поставили на ремонт, а для шаха приготовили лучший пароход — «Цесаревич».

— Так он, зараза, не пожелал на нем в Энзели сплавать, — рассказывали потом матросы. — Ну, барышня, таких кретинов мы ишо не видывали, как этот бугай персидский. Скандалил!

— Или «Цесаревич» был хуже «Константина»?

— Да нет, — отвечали матросы, — как раз лучше. Но труба-то на нем одна. «Не желаю, кричал, унижаться! Туда везли под двумя трубами, а обратно из одной дым выпускаете...» Едва его успокоили. Сказали, что из одной трубы копоты меньше...

Вернувшись в Тегеран, Насср-Эддин сдержал слово, данное князю Горчакову, и порвал договор с Рейтером об английской концессии. Тем более, что барон Рейтер, не желая лишних расходов, лишь для видимости насыпал земляную насыпь длиною в два километра, и на этом успокоился. А вскоре в Тегеране вспыхнуло восстание войск гарнизона. Вот тогда-то шах невольно вспомнил перушенные ряды русской гвардии, парадирующей под окнами

царского дворца. Насср-Эддин срочно запросил Петербург, чтобы прислали ему русских офицеров для создания в Тегеране надежных войск. Так возникла знаменитая «казацья бригада», в которой ковались офицерские кадры для будущей персидской армии — той самой армии, которая и сбросит ярмо династии Каджаров.

Но главное в ином: образование русско-персидской «казацьяй бригады» стало хорошим рычагом, с помощью которого русская дипломатия — в пику англичанам! — влияла на шаха неотразимым блеском своих шашек и мощными залпами карабинов.

. . . . .

Читателю наверное интересно: а куда же делся гарем шаха? Остался ли жив бедный отважный Зармаир Мессарьянц, согласившийся сопровождать одалисок шаха под надзором евнухов?

Нет, читатель, мы своих героев не забываем..

Первый раз его хотели зарезать евнухи где-то под Тулой, когда он осмелился подать руку шахине, желая помочь ей при переходе через тамбур. Вторично евнухи схватились за ножи, когда гаремные жены увидели в окне вагона цветущие поляны и решили прогуляться до ближайшего лесочка.

— Останови машину! — требовали евнухи.

— Не могу,— отбивался Мессарьянц.— Я не машинист на паровозе, а лишь пассажир в вагоне. Как остановить, если существует расписание поездов, и, случись остановка, произойдет столкновение со встречным поездом.

Евнухи дружно оплевали бедного Мессарьянца:

— Какой же ты чиновник царя, если машины не можешь остановить, чтобы услужить нашему величеству?..

По возвращении в Москву доблестный Мессарьянц получил орден Анны на шею — за героизм, проявленный при сопровождении опасного груза. Князь В. А. Долгорукий не забыл смелого армянина, оставив его при своей канцелярии, где он заведовал отделом «по делам печати»... Пока все, читатель!

## 5. ПОЕХАЛИ — ЗА ОРЕХАМИ

Помните, как Рокфеллер успокоился, убежденный в том, что русские неспособны составить компанию, так что со стороны России конкуренция не угрожает? Но вряд



ли он был прав, ибо мы, русские, как раз большие знатоки в деле составления различных компаний, венцом которых являлся соленый огурец. Компании на Руси создаются стихийно и кончаются, как правило, двойным способом — всеобщим признанием в любви (с поцелуями, конечно) или поголовным мордобитием (с неизменным составлением протокола).

Заглянем, читатель, в «проклятое прошлое», когда из паших предков еще не вывелись «родимые пятна капитализма», а заодно уж прослушаем диалог мастеров художественного слова в общественном исполнении. Первый вопрос звучал бы весьма современно:

— Скажите, братцы, а чего это мы все пьем и пьем?

— Чтобы время даром не пропадало.

— Да вить денег-то, небось, жалко.

— А коли жалеешь, так и не пей.

— Золотые твои слова, Степан Иванович, за эту вот мудрость мы тебе ишо нальем до краев, чтобы ты не заколдобился.

— Не! Ему наливать не надобно, лучше меня угостите.

— Эва! А тебя-то за што?

— Потому как я ишо соображаю... ума не потерял!

Пили наши деды с умом, умели пить и без ума. Но при этом за сердце не хватались и не посылали домашних в аптеку за нитроглицерином. Между тем, нитроглицерин, как это ни странно, вполне отвечает теме нашего героического повествования. Во всяком случае бакинская нефть родственна аптечным таблеткам для сердечников.

.....

Нефть в ее сыром виде, жирная, черная и грязная, уже не продается в наших аптеках, зато всегда можно кунить нитроглицерин, расширяющий сердечные сосуды. В странном сочетании нефти с глицерином первое, что подсказывает память, так это фамилию: Нобель. Знающие эту семейку добавляют сюда — динамит, а из оглушительных взрывов динамита родились и знаменитые Нобелевские премии...

Перейдем к делу. Нобели произошли из шведской общины крестьян «Нобель», — отсюда и фамилия. Первым в Россию приехал очень талантливый инженер Эммануил Нобель (1801—1872), его мастерская в Петербурге позже разрослась в механический завод, который потом обрел всемирную славу под названием «Русский дизель». У ин-

женера было три сына: Роберт (1829—1896), Людвиг (1831—1888) и Альфред (1833—1896). Отец не делал из детей белоручек, а уроки его морали были жестоки:

— Вы должны помнить,— внушал он сыновьям,— что, пока вы изобретете замок, где-то уже сидит вор, изобретая к нему отмычки. Так будьте скрытны. Не доверяйтесь никому...

Отец трудился над взрывчаткой. Жизнь мальчиков проходила в грохоте взрывов, в звоне вылетающих из окон стекол, они привыкли видеть руки отца, опаленными жаром и кислотами. Нобелям не раз приходилось выслушивать ругань соседей:

— Если вам жизнь не дорога, так — мое почтение! Только оставьте свои безобразия, иначе городского позовем. Вот он вас в протокол впихачит, там будете знать, почем фунт лиха...

Нобели хорошо освоили русский язык, а Россию считали своей второй родиной. В период Крымской кампании Нобель-отец налаживал производство морских мин, которыми Балтийский флот ограждал подступы к русской столице. Правда, у него не все ладилось с начинкой мин порохами, почему он завел дружбу с русскими химиками — Николаем Зининым, Василием Петрушевским (тогда еще поручиком артиллерии), наконец, другом семьи Нобелей стал ученый полковник Петр Александрович Бильдерлинг, знающий оружейник-изобретатель, будущий генерал артиллерии.

Связи с научным миром русской столицы пошли Нобелям на пользу, открыв перед ними секреты взрывоопасного нитроглицерина. Но после Крымской войны заказов от флота не поступало, дела отца пошатнулись, и в 1859 году он вернулся в Швецию, оставив в Петербурге двух сыновей. Младшие Нобели, Роберт и Людвиг, стали заниматься созданием оружейных мастерских в Петербурге и даже в Перми; один только Ижевский завод, взятый ими в аренду, за восемь лет поставил для армии почти полмиллиона винтовок. Альфред же Нобель, проживая с отцом в Стокгольме, работал над производством взрывчатки сверхмощной силы... Между прочим, братья крепко запомнили один из моральных заветов отца, который внушал им:

— Думайте прежде о себе, а на людей не обращайтесь внимания. Кто такие люди? Это просто большая стая бесхвостых обезьян, которые вцепились в земной шар, и потому не падают...

Но взрывы нитроглицерина иногда гремели и на русской земле: младшие Нобели проводили опыты в кустарных условиях, мало думая об осторожности, и, наконец, власти потребовали от них, чтобы они прекратили свои эксперименты, опасные для людей. Тогда — в ряду прочих доходных дел — Нобели наладили продажу керосина в городах и провинции Финляндии, выступая еще в скромной роли перекупщиков и торговцев этой необходимой жидкостью. Был уже 1872 год, когда братьев навестил Бильдерлинг, ставший начальником Ижевского оружейного завода. Он сказал:

— Мы в Ижевске терпим большую нужду в ореховом дереве, столь необходимом для выделки прочных ружейных прикладов.

Нобели тоже нуждались в ореховой древесине.

— Орехов-то на русских базарах полно, — говорили они, — но ореховые рощи давно повырублены, и где найти их запасы?

— На Кавказе, — подсказал Петр Александрович, — еще сохранились в целости ореховые рощи. Надо бы скупить их заранее, пока они не попали под чужой топор.

Людвиг Нобель сказал брату Роберту:

— Ты же знаешь, я связан делами своего завода, на мне висят срочные заказы армии, так что, поезжай ты...

Сообща с Бильдерлингом братья решили образовать на Кавказе свое предприятие по закупке и сбыту ореховой древесины, которую военное ведомство приобрело за рубежом. Однако, приехав на Кавказ, Роберт Эммануилович увидел, что ореховые рощи давно поредели, он выискивал деревья даже в частных садах, но их владельцы соглашались продавать орехи мешками, а за вырубку самого дерева заламывали бешеные деньги. Тут Нобель понял, что «ореховая фирма» треснула еще при своем зарождении. Как раз к стати Роберт Эммануилович получил телеграмму от Людвига, извещавшего: не ищи орехов напрасно, так как военное ведомство сочло пригодной для ружейных прикладов березовую древесину.

Можно было ехать домой, но, побывав на Кавказе, не увидеть Баку — это все равно что в Париже не увидеть Елисейских полей. Паче того, по всей России уже блуждали слухи о миллионах, которые, выплескиваясь из земли, вскипали и лопались, как гнилые болотные пузыри. Появившись в Баку, он остановился в отеле «Европа», где его спрашивали:

— Вы, наверное, приехали по делам?

— Да нет,— уклончиво отвечал Нобель.— Просто мне любопытно взглянуть на древний храм огнепоклонников в Сураханах...

Нобель побывал в этом храме, где песли вроде дежурной вахты два старых индуса, которые, сотворив молитву, продавали гостям карамель ярко-красного цвета (с этих конфет они, кажется, и жили). Нобель, посасывая карамельку, возвращался в гостиницу, размышляя о том, что было бы глупо отказываться от доходов — даже в том случае, если они воняют керосином. В конце-то концов деньги не пахнут! Это еще в глубокой древности заметил император Веспасиан, обложивший налогом общественные уборные Рима, и деньги с этих поборов, действительно, не пахли желудочными отходами его верноподанных...

— Итак — смелее! — внушал себе Нобель, отъезжая на вокзал.

При этом решении Нобея все «бесхвостые обезьяны» еще крепче вцепились в земной шар, который раскручивал их в мировом пространстве по тем извечным законам мироздания, в которых мне, как и вам, читатели, еще многое остается непонятным...

Мало того, многое заставляет сомневаться!

.....

Подари ты мне девицу,  
Шамаханскую царицу,

Эти строчки Пушкина памяты нам с детства, только мы не всегда представляем, где и когда было это Шемаханское царство...

С незапамятных времён Шемахан славился своими шелками и коврами, дикими нравами, убийствами и грабежами путников да еще богатейшим рынком, куда свозили для продажи похищенных женщин. Голландец Ян Стрейс, современник Стеньки Разина, писал, что в Шемахане русские обменивают олово, медь, юфть, соболей и другие товары, а лезгины и татары (азербайджанцы) «торгуют лошадьми, мужчинами, женщинами и детьми, краденными друг у друга, а большей частью у тех же русских». Немножко скажу о нравах: «В караван-сараях лежат блудницы и каждая группа образует особый цех или корпорацию. Некоторые из них одаренные поэты, складывающие стихи в честь святого Хуссейна, а иные пляшут нагие...

Они крайне бесстыдны и даже на улице охотно позволяют трогать их груди и то, что я не осмеливаюсь называть...» Оставим эту тему, а то критики опять скажут, что Валентин Пикуль рассматривает историю через замочную скважину.

Ныне Шемаха — районный центр Азербайджана; в руинах древней Шемахи много лет копаются догошные археологи, которые скелеты своих достославных предков именуют не совсем-то почтительно «жмуриками». Присоединенная к России в 1805 году, Шемаха долго считалась губернским городом, но в 1859 году, целиком разрушенная страшным землетрясением, она покорно уступила свои губернские права огнедышащему зверю — Баку...

«Вечные огни» Баку разгорались все ярче!

Сенатор Ф. Г. Тернер увидел город таким: «Чудное южное солнце, лазуревое море представляли картину южного востока, отчасти Италии. Одно, что поражает в Баку, это — совершенное отсутствие всякой растительности... В Баку преобладает характер Востока со свойственной ему грязью и беспорядком». Вообще-то, если отбросить лирику, городишко был поганый и грязный, а жителей в нем было — кот наплакал (несколько тысяч). Но зато, как он оживился с началом «нефтяной лихорадки»! Вдоль Апшерона «черный город» выстраивал все новые вышки, сосущие нефть, а «белый» Баку постепенно приобретал более или менее европейский вид. Город рос быстро, а воды в нем не было, ее черпали из колодцев, заглянув в которые брезгливый человек, наверное бы, согласился лучше умереть от жажды. Правда, на берегу моря уже работал опреснитель — очень дорогой, отчего и вода была на вес золота, о водопроводе тогда не смели и мечтать... Когда это еще будет?

Французский инженер Рене Муллэн писал о жизни в Баку: «Королева-нефть царствует здесь, как тиран, и никакой деспот мира еще не господствовал столь всецело над своими поданными, как она... В грязных кабаках и раззолоченных гостиницах богачей, на всех устах — одно: не забил ли где новый фонтан, велика ли цифра дохода от нефти?» Каждый, кто закладывал скважину, чтобы добыть прибыль из нефти, сразу облагался негласным налогом преступного мира. Бур еще не вонзился в почву, а хозяин вышки уже должен платить, иначе его вышка завтра же сгорит на ярком огне. «Ракетирство», столь модное в Америке, появилось там, кажется, намного позже...

В этом вопросе «приоритет» опять-таки оставался за нами, русскими. Нажива была главным идолом всей бакинской жизни. Иногда дело доходило до фарса. Однажды ночью некий прохожий, спасаясь от преследования грабителей, кинулся к городовому:

— Спасите! Иначе я погиб... они с ножами.

— Охотно, — отвечал страж порядка. — Но сначала дай мне рубль, иначе мне до тебя нет никакого дела...

Наезжие босяки и голодранцы начинали свою карьеру амбалами (носильщиками), получая в день шесть копеек. Город был переполнен искателями удачи, готовыми выпастись в любой канаве, и в Баку царил настоящий Вавилон со смешением языков и народов. Боже, кого здесь только не было! Русские и армяне составляли главную «нефтепосную» силу, за ними шли индусы, грузины, персы, казанские татары, лезгинцы, турки, болгары и румыны, китайцы и даже европейцы, понаехавшие сюда подзаработать. По верованиям они тоже различались: православные, католики, мусульмане (с разделением на шиитов и суннитов), были тут буддисты, были и огнепоклонники.

Разделенные на работе языковым непониманием и множеством предрассудков, все эти люди — шмоль-голь перекатная! — начинали пожимать один другого только вечером, когда разбредались по своим баракам, а каждый барак составлял свое «землячество», куда посторонним лучше не соваться. Между бараками юрко шныряли пропащие бабы, которым цена — пятачок, бодрой рысцой носились торговцы гашишом и опиумом — для мусульман, торгаши водкой — для православных. Одурев от наркотиков и винища, озверелые люди сходились во мраке «барак на барак», и начиналась такая поножовщина, в которой никогда не сыскать виноватых, полиции оставалось лишь подсчитать убитых и развезти по больницам искалеченных.

Это... жизнь? Нет, это, скорее житуха.

Статистика бакинского бытия была ужасающей: из ста человек, работавших на нефтепромыслах, только два-три человека доживали до сорока лет, остальные вымирали, как мухи. А те, кому посчастливилось перевалить за сорок лет, превращались в инвалидов, преждевременная старость добивала их без жалости. Рабочий день длился по 15 часов, а в бараке на каждого работягу приходилось чуть больше четверти кубической сажени воздуха, недаром же санитарные врачи говорили:

— Удивляемся, как они вообще живы...

Профессор К. А. Пажитнов писал, что у бакинских нефтяников «переутомление нервных центров и угнетение мозговой деятельности настолько сильное, что рабочие становятся апатичными, безучастными к внешнему миру, несообразительными, а нередко и близкими к идиотизму...»

Нобель присматривался. Нефтяное дело в Баку еще не ведало ни расчета, ни плановости. Случайно бурили скважину, случайно возникал фонтан, случайно богатели, раскуривая потом сигары от сотенных ассигнаций, другие случайно разорялись. Иногда разорялись даже не от нехватки нефти, а, напротив, от ее изобилия, когда вдруг «буйный» фонтан, нефть затопляла соседние участки, губила сады и огороды, изгоняла людей из их жилищ, после чего предприниматель до конца жизни не мог рассчитаться с долгами, всем должный за убытки.

Нобель присматривался. Бурение скважины проводилось самым примитивным образом — воротом, который вращали полусогнутые люди, ходящие по кругу колеса, словно подневольные лошади. Год за годом — одно и то же: десять кругов, сотня кругов, тысяча, десятки и сотни тысяч — низко опустив головы, словно бурлаки, люди без конца крутили это чертово колесо, пока бур не касался нефти. Но бывало и так, что крутня была впустую, ибо бурили на пустом месте. Опять-таки, заметил Роберт Нобель, добытую нефть развозили владельцы арб (телег на двух колесах), предлагая ее заводам или сбывая на пристанях. Баку утопал от самогонщиков, желающих уйти в подполье, керосиногонщики работали прямо на улице, на огородах, с утра до ночи на крыши города осыпался лишний слой черной сажки. Керосин гнали в допотопных кубках, как во времена Прядунова или братьев Дубининых, но все считались при деле...

Нобель присматривался. Инженер с большим практическим умом, за всем увиденным в Баку он разглядел, что здесь промышленный хаос, и нет главного, что требуется для любого производства, — нет плана, нет режима работы и, наконец, в Баку попросту нет хозяина...

На вокзале, в ожидании поезда, идущего на север, Роберт Эммануилович раскурил дешевую сигару от шведской спички.

— Так дело не пойдет, — сказал он себе...

. . . . .

— Да,— согласился с ним брат Людвиг, выслушав подробный рассказ об увиденном.— Баку требуются такие люди, как мы. Все будет рассчитано! Случайности не должно быть места...

Бильдерлинг добавил: страсть к легкой наживе всегда сопряжена со случайностями, ибо разом схватить побольше, надеясь лишь на удачу,— это, скорее, похоже на азарт карточной игры, где одна козырная карта кроет всех дам и королей.

— Баку — это все-таки не Монте-Карло,— доказывал он,— ни в коем случае нельзя увлекаться и не учитывать конкуренцию Рокфеллера и его компании, которая банками со своим керосином обставила все пристани на Волге.

— В этом случае,— добавил Роберт Нобель,— бакинский керосин должен обрести качества, делающие его более дешевым и более лучшим, нежели керосин американский...

Люди расчетливые, Нобели начинали скромно, вкладывая в новое дело деньги с оглядкой, не спеша, без рекламы. Роберт Эммануилович не начал бурение, пока не освоил все новое, что появилось в практике бурения на Апшероне, он решил обогнать Рокфеллера, и бурил более широкие трубы, нежели американцы. Дело пошло — пошла и нефть, потом по дешевке (всего за 25 тысяч рублей) Нобель купил бросовый керосиновый заводик в «Черном городе», завел при нем лабораторию. По вечерам ставил опыт за опытом, добываясь от керосина такой добротности и такой дешевизны, чтобы он смело мог соперничать с американским.

Весною 1876 года его навестил Людвиг и, осмотревшись на пробуренных братом участках, пришел к выводу:

— Вижу, что необходимо расширение производства. На этих арбах с бочками далеко не уедем. Только в том случае, если протянем нефтепроводы с насосами, если по рельсам железных дорог покатятся наши вагоны-цистерны, лишь тогда... Тогда русский рынок станет нам тесен, как чулан для медведя, и хотим мы того или не хотим, но бакинская нефть сама выплеснет нас в Европу...

Через три года после этого разговора было учреждено «Товарищество бр. Нобель» с капиталом в три миллиона рублей. В числе учредителей был и полковник П. А. Бильдерлинг, человек небогатый. Его паевой взнос был всего 50 тысяч рублей, но у него была светлая голова:

— Не будем копать ямы для хранения нефти. Поду-



маем, в каких городах ставить гигантские баки-резервуары. Заодно решим вопрос о мазуте... Сейчас машинерия так быстро движется, ее суставы так быстро стираются от трения, что требуется много смазки. Может, из мазута и получим смазочные масла?

— Все-таки Баку — это Монте-Карло, — сказал Нобель,

Всем бакинцам памятен был босоногий перс — хаджи Зейнал Тагиев, начинавший амбалом с шести копеек. Но однажды этот амбал ковырялся на своем огорожке в Биби-Эббате (пригород Баку) и до того доковырялся, что из земли выбило мощный фонтан нефти, а Тагиев сразу положил в карман миллион.

Читатель, если у тебя есть огород и ты копаешь колодец, так будь осторожнее: как бы тебе не разбогатеть!

## 6. ПЛЕВАТЬ НА ВСЕХ!..

Пока еще неясно, кто кому соперник — Рокфеллер Нобелю или Нобель Рокфеллеру? Но парадоксальность их будущей схватки на ковре политекономики невольно вызывает сравнение о битве карлика с Голиафом: нефтяные промыслы США раскинулись на гигантских просторах сразу нескольких штатов, а Россия обставила вышками крошечный, почти мизерный «пяточок» Апшеронского выступа, — сравнение явно не в пользу России, и Рокфеллер не говорил, но мог сказать примерно так:

— Они так дружно набросились на этот каспийский полуостров, что еще год-два — и наступит полное истощение скважин, после чего русские с бочками и бидонами займут место в хвосте длинной очереди желающих купить у меня пенсильванского керосина...

Кстати. Обывательское мнение таково, что самые богатые люди на нашей грешной земле — это императоры, короли, султаны и шахи. Мнение глубоко ошибочное, которое лучше бы называть наивным заблуждением. В самом начале нашего бурного века русская печать опубликовала список самых-самых-самых-самых богатых людей нашей планеты. Все эти жалкие недоноски (вроде кайзера Вильгельма II) и все эти затюканные императоры (вроде нашего Николая II) путались где-то в конце списка, буквально раздавленные изобилием миллионеров, а сам список открывался именем Джона Дейвиссона Рокфеллера...

Чувствую, что пришло время рассказать об этом че-

ловеке подробнее. Ей-ей, он того стоит, ибо мультимиллионеры достойны нашего внимания в той же мере, как и нищие оборванцы, дежурящие на углах улиц с протянутой дланью...

.....

Извещая об уроках «морали», что преподавал Нобель-отец своим сыновьям, признаем сразу, что уроки отца Рокфеллера были гораздо убедительнее. Культивируя в сыночке недоверие к людям, отец все время врал ему и всегда обманывал его, желая, чтобы сынок, возмужав для жизни, тоже врал и тоже обманывал. Я уже говорил, что Джон Рокфеллер служил скромнейшим счетоводом в мучном лабазе Кливленда штата Огайо, получая за усидчивость 25 долларов в месяц. Невелики деньжата! Но парень умудрялся еще откладывать, а потом давал в долг приятелям, заламывая с них бешеные проценты. Репутация у него, прямо скажем, была неважная — молчаливый, скрытный, и, пожалуй, никто в Кливленде не видел улыбки Рокфеллера.

Смолоду героем его воображения был бизнесмен Даниэл Дрю, торговец скотом, который, гоня стадо на бойню, не давал животным ни капли воды, зато до отвала напавал их перед продажей, почему коровы сразу увеличивали свой вес, что и восхищало Рокфеллера:

— Сразу видно, что у этого парня светлая голова!..

Баптист по верованию, Рокфеллер не пил и не курил, а к танцам испытывал отвращение; никто не видел его читающим, а в театр парня было не заманить. И если Нобели считали людей «бесхвостыми обезьянами», то Рокфеллер выражался точнее:

— Сколько же расплодилось этих... вонючек!..

Неизвестно, как бы сложилась судьба молодого счетовода, если бы Америку не потрянула «нефтяная лихорадка», возникшая сразу после того, как бравый «полковник» Дрейк пробурил первую скважину. Рокфеллер остался невозмутим, но его хозяева велели парню ехать на нефтепромыслы, чтобы объективно доложить — стоит ли эта возня с нефтью того, чтобы бухать на нее капиталы? Здесь необходимо сказать, что к тому времени, когда Рокфеллер брезгливо озирает пейзаж нефтепромыслов Титасвилла, там (в штатах Пенсильвания и Огайо) царил такой же хаос, какой позже наблюдал и наш Нобель в русском Баку: беспорядочный лес вышек, всюду на горизонте ки-

вали «качалки», сосущие нефть из скважин, было очень много крикливых хозяев, все они меж собою давно перегрызлись, как собаки, но не было самого главного — одного хозяина, чтобы этот хозяин разогнал всех хозяев. Вернувшись в Кливленд, Рокфеллер так и доложил:

— Нефть — это не бизнес, а самое вонючее дерьмо, и дураком будет тот, кто станет с этим дерьмом возиться...

Разве не убедительно? Во всяком случае сказано точно!

Так бы он и сидел в своей бухгалтерии, прикидывая на счетах чужие доходы, если бы не появился инженер Сэмюэль Эндрюс, знающий толк в получении керосина; Эндрюс и предложил парню совместно основать заводик по перегонке «черного золота» в прозрачную жидкость для освещения убогой человеческой жизни. Рокфеллер цепко держался за свои сбережения, но приятель все же вынудил его выложить пять тысяч долларов:

— А больше не дам ни цента, — заверил его Рокфеллер...

Набожный баптист, он отслужил в церкви молебен, чтобы господь всевышний, если не желает ему прибылей, то хотя бы не растратил эти пять тысяч на всякую ерунду. Но все случилось к обоюдной выгоде: Рокфеллер с нефти стал получать одну тысячу долларов ежегодно, а с 1869 года его прибыль достигла шестидесяти тысяч, так что он мог подкармливать и баптистскую общину. Рокфеллер не сразу проникся тайнами керосина, делами фирмы ворочали сначала его помощники — некурящие, непьющие и нетанцующие.

Я не стану вдаваться в тонкости успеха Рокфеллера, скажу кратко: он тайно занижал тарифные ставки за перевозки по железным дорогам, его керосин катился по рельсам не в бочках, а в вагонах-цистернах; наконец, в 1870 году возникла фирма «Стандард ойл» с акционерным капиталом в один миллион долларов; она поглотила в себя сорок других фирм, еще вчера самостоятельных, а раздавленным конкурентам осталось только жалобно пищать. Не тогда ли и родился лапидарной афоризм Рокфеллера:

— Плевать на всех!..

Рокфеллера кулаками выставляли с заседаний нефтепромышленников, таскали по судам и комиссиям сената, его имя сделалось ненавистно на всех этажах Америки, «разгребатели грязи» позорили его за то, что он эксплуа-

тирует бедных, и Рокфеллер заявил в интервью для газет Херста:

— Мне просто завидуют! Однако деньги мне дал не народ, а сам господь бог... Вы тоже почаще молитесь.

Чтобы облагородить Рокфеллера в глазах общества, баптистская община просила его жертвовать на бедных:

— Не хотите жалеть бедных — и не надо. Но сейчас очень модно жертвовать на погибающих от алкоголя или делиться доходами на борьбу с желудочными глистами...

Пьяниц и бедных он не пощадил, а на глистов дал!

В год образования «Стандард ойл» Рокфеллер владел лишь четырьмя процентами всей нефтепромышленности страны, а в 1877 году его компания подмяла под себя 95% нефтяного дела. Рокфеллер продавал керосин по завышенным ценам там, где его монополия была всемогуща, и, напротив, продавал по дешевке, если требовалось «выбить из седла» своих конкурентов. Наконец у него появились нефтепроводы, по которым нефть растекалась в порты побережий США — для вывоза за границу, а конкуренты еще надрывались, вкатывая бочки в вагоны, и, вконец разоренные, они поняли, что выгоднее продать нефть Рокфеллеру прямо из скважин и не мешать ему... Правда, не все были такие покладистые — попадались и строптивые. Но их заводы случайно взрывались по ночам, нефтяные вышки случайно сгорали, а однажды (тоже случайно) люди «Стандард ойл» выкатили пушку и расстреляли нефтепровод конкурента. Конечно, обо всем этом Рокфеллер написал в своей книге «Искусство разбогатеть», которая, переведенная на русский язык, увидела свет на берегах Невы в 1910 году...

Пока другие миллионеры развлекались, осыпая бриллиантами ошейники на своих собаках или угощая гостей сигарами, завернутыми в стодолларовые ассигнации, Рокфеллер знал цену каждому центу. Любимой дочери он говорил за обедом:

— Привыкай доедать все на тарелке, ибо еда стоит денег...

Любимый сын получал от папы строгие замечания:

— Почему, уходя из комнаты, ты не загасил свет?

Этот сын миллионера (по имени тоже Джон-Дейвисон) освоил портняжное ремесло, шил кальсоны и кухонные полотенца, которыми торговал, чтобы иметь «карманные» деньги. Все, как видите, складывалось замечательно, если бы...

Все эти коварные «если» иногда способны испортить настроение любому человеку — даже такому, как Рокфеллер!

. . . . .

Россия была для Рокфеллера устойчивым и надежным рынком по сбыту керосина, в штаб-квартире Кливленда казалось, что русская провинция никогда не откажется от услуг «Стандард ойл». Русские люди, желавшие летом видеть Волгу и любоваться ее красотами, обычно завершали свое путешествие в Симбирске или Саратове, лишь немногие отваживались плыть до Астрахани, где ничего хорошего их не ждало — только жара и пылица, масса комаров, опостылевшая икра на завтрак, в обед обязательные севрюга да стерлядь во всех видах. Зато вот иностранцы охотно продлевали свои маршруты не только до Астрахани, но плавали и до Баку, о котором в Европе уже ходили легенды.

С некоторых пор кое-что изменилось в волжских пейзажах, на окраинах городов выросли громадные резервуары с броской надписью «НОБЕЛЬ», а в самой Астрахани, обычно сонной, иностранцы заметили небывалое оживление: от пристаней спешили речные суда, на путях вокзала шла активная сцепка и расцепка груженных нефтяных цистерн...

Рокфеллер был удивлен, когда ему доложили, что в России серьезно подумывают о прокладке нефтепровода до Батума.

— В этом случае бакинский керосин быстро перекачают в корабли из Европы, часто заходящие в Черное море... Самое неприятное для нас, что керосин фирмы Нобелей не только дешевле нашего, но и превосходит его по качеству.

Было над чем подумать. Если Рокфеллер уповал на железные дороги и нефтепроводы, то братья Нобели открывали теперь новую страницу в перевозке нефти — наливными судами (танкерами!). Первый из таких кораблей уже работал точнее хронометра: у бакинской пристани его через трубы накачивали доверху всего за три часа; затем 34 часа он был в пути — и вот уже Астрахань, где за четыре часа содержимое трюмов перекачивали в цистерны, и паровозы мчались на север, чтобы любая деревенская бабка не сидела впотмах...

— Но в Баку,— сказал Рокфеллер,— очень много дру-

гих нефтепромышленников, и конкурирующие фирмы, хотя бы Тагиева или Манташева, могут сожрать Нобелей с потрохами.

— Это невозможно, — был ответ.

— Если возможно у нас, почему невозможно в России?

— По очень простой причине... Людвиг и Роберт Нобели качают нефть в Баку, а их брат Альфред, который гениально перемешал нитроглицерин с инфузорной землей и получил динамит, дающий колоссальные прибыли, этот братец бакинских Нобелей никогда не допустит, чтобы бакинские конкуренты разорили его русских братьев.

Случилось то, чего Рокфеллер не предвидел: Россия, много лет жадно поглощавшая миллионы галлонов пенсильванского керосина, быстро сокращала его закупки на внешнем рынке, довольствуясь своим, бакинским. Но — хуже того! — керосин фирмы Нобелей теперь грозил вытесниться за русские рубежи, чтобы «девятым валом» обрушить рокфеллеровские прейскуранты, рассчитанные в конторе Кливленда. Перед Рокфеллером встал вопрос, который назывался «русским вопросом»!

— Как это ни печально, — решил он, — но для того, чтобы выбить почву из-под ног Нобелей, «Стандард ойл» предстоит образовать в Европе дочерние фирмы, и пусть они, торгуя нашим керосином, подорвут престиж русского керосина. Мало того, нам, очевидно, предстоит войти в соглашение с Нобелями и, впутавшись в игру нефтяных дельцов на Кавказе, сначала облизать Нобелей, чтобы легче их проглотить... живьем!

Конечно, это был крик души, Рокфеллер привык иметь дело с американскими сенаторами, а Нобели, зависимые от министров Петербурга, никогда не решились бы продать свою компанию. Вскоре Рокфеллера навестил его европейский агент по сбыту, доложивший очередную гадость:

— Русские химики освоили нефтяные отходы, которые носят татарское название «мазут» и которые раньше не знали куда девать. Но теперь в котлах их пароходов появились форсунки, распыляющие мазут при сгорании, и отныне эта дрянь оказалась нужна не менее керосина...

Рокфеллеру очень хотелось сказать по привычке «Плевать на всех!», но, вместо этого, он вежливо спросил:

— А что, наконец, думают в Лондоне? Неужели им безразлична вся эта подозрительная возня на Кавказе?

Персидская пословица гласит: «Если все прыгают, должна прыгать и черепаха». Однако все прыгали, но Англия хранила невозмутимое спокойствие — у нее были другие дела...

Для историков и по сей день остается непостижимой загадкой вопрос, почему викторианская Англия, опутавшая весь мир своими колониями, всюду черпая из них природные богатства, эта гордая Англия с поразительным равнодушием нигде не вмешивалась в нефтяные дела и делишки. Неужели тут сработало консервативное мышление: мол, английской метрополии хватит угля, и потому не стоит пачкаться в нефти?..

Английский исследователь Шарль Марвин, изучавший нефтяное дело на Кавказе, еще тогда приходил в недоумение: почему Англия, когда взоры всех капиталистов были прикованы к Баку, осталась безучастна. «Если мы, — писал Марвин, — не примем участия в вывозе нефти через Батум, то другие нации займутся этим делом. Короче говоря, мы должны решить, будет ли доходная операция вывоза бакинской нефти в наших руках, или же она перейдет к конкурирующим с нами нациями...»

Барон Юлиус Рейтер, суливший Насср-Эддину златые горы, обещавший катать шахиншаха на трамвае по улицам Тегерана, даже не успел ковырнуть персидские недра. Персы, жившие своими нуждами, привычно выращивали абрикосы и дыни, они годами копались на кладбищах предков, добывая бирюзу для украшения женщин, и без того красивых, а благословенные воды Персидского залива оставались еще безмятежны, в них вырjali полуголые арабы, поднимая наверх жемчужные раковины. О нефти здесь никто не помышлял, хотя она иногда сама по себе выступала на поверхность песков Хузистана...

Наш разговор о Рокфеллере еще не закончен!

## 7. БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

В «русском вопросе» требовалось найти какое-то утешение, и Рокфеллер быстро отыскал его в своей голове, смолodu приспособленной для бухгалтерских подсчетов:

— Нобели... стоит ли из-за них беспокоиться? — сказал он. — Из единицы сырого дистиллята пенсильванских скважин я имею семьдесят процентов чистого керосина, и русская нефть в Баку такова качеством, что из той же

единицы русские получают керосина чуть больше тридцати процентов... Поводов для излишнего трепания нервов и не вижу!

К тому времени нефтяной трест Рокфеллера уже превратился в международного спрута; неизвестное количество его примитивных щупалец, охвативших весь мир, было укрыто в тайниках «Стандард ойл», и никто не знал, когда и в каком месте он съест очередную жертву. Но уже набирала мощь «нефтяная империя» бакинских Нобелей, издавлявшая свои буры в район Эмбы, Нобели соблазнялись слухами о нефти Кубани, их волновала легенда о нефти в пустынях Небит-дага. Размах братьев Нобелей, как видите, был сродни рокфеллеровскому. Но сейчас нам предстоит чуточку вернуться назад, дабы читателю было ясно, как полыхали на едином костре жаркие поленья фактов войны, экономики и политики на южно-азиатских рубежах Российского государства...

Афганистан бурлил, и бурлил он давно, там враждовали (как говорят сейчас) «соперничающие группировки». Но при этом Кабул имел претензии к захвату всего того, что «плохо лежит» к северу от афганских земель: англичане исподтишка подталкивали эмира, чтобы вывел свои войска на берега Аму-Дарьи. Князь Горчаков утверждал, что во избежание конфликтов необходимо иметь промежуточный «буфер», и такой нейтральной страной может быть только Афганистан (при этом он желал предупредить захват Афганистана англичанами):

— Пусть лорд Форсайт, вице-король Индии, отвратит афганского эмира от необоснованных притязаний на Мервский и Пендинский оазисы, а Россия в свою очередь обязуется сдерживать эмиров Бухары и Коканда от грабежей и захватов рабов на территориях афганских хлебов...

Весной 1875 года граф Петр Шувалов имел в Лондоне доверительную беседу с лордом Эдуардом Дерби, и русский посол энергично высказал опасения. Петербурга по поводу того, что английская агентура на востоке стала очень активна в деле возбуждения мусульманских народов против России.

— Напротив,— отвечал Дерби,— мы всюду наблюдаем как раз вашу активность, но... что может помешать нам в делах Азии? Там, поверьте, хватит места для обоих...

Вот именно «места для обоих» там и не хватало!



Газеты Лондона развопились на весь мир о том, какая «страшная опасность» угрожает бедной Англии, если русские из Ашхабада выйдут к оазисам Мевра и Пенда, после чего перед ними откроется дорога на Кушку. Знаменитый генерал Скобелев как-то сказал за выпивкой (конечно, не для печати): «Азию надо бить не только по загривку, но еще и по воображению!» Но в данном случае именно Уайтхолл лупил Азию по загривку, а европейцев бил по воображению, ибо, скажите мне, какая парижанка или какой берлинец могли знать об аксакалах Мевра или Пенда, славными только тем, что там работали базары (да и то не каждую неделю). Но — правда! — Горчаков пальцем не шевельнул, когда царь указом присоединил к России буйное Кокандское ханство, и этим был положен конец кровавой резне сартов с кипчаками, а хана Коканда просто взяли за шкуру и спровадили в Оренбург, где он превратился в отъявленного спекулянта бракованными лошадьми. Тогда же и была образована Ферганская область.

Между тем англичане спешно прокладывали дороги из Индии к Афганистану, готовясь к нападению, но при этом принуждали Кабул, чтобы он объявил России войну. Лондон замышлял открыть для России «второй фронт» — как раз тогда, когда русская армия воевала с Турцией за освобождение Болгарии. Одновременно англичане вооружали туркменов, чтобы на южных границах России не прекращались диверсии, грабежи и похищения людей — для продажи их в рабство. В этом случае русскому правительству требовалось бить уже не по воображению, а сразу огреть по затылку!

Войска Туркестанского военного округа были поставлены под ружье. В Кабуле, наконец, сообразили, что англичане желают превратить Афганистан в придаток Британской Индии. Лондон уже призвал резервистов, когда Горчакова навестил британский посол Лофтус, сказавший, что Уайтхолл встревожен:

— Ради чего русские гарнизоны Туркестана переведены на казарменное положение, готовые к походу?

— Эти вынужденные меры, — отвечал канцлер, — будут сразу отменены, если кабинет вашей королевы прекратит враждебные действия на наших среднеазиатских границах... Мы в Петербурге догадываемся, что на берегах Амударьи вы не успокоитесь, пока не выберетесь в пригороды Оренбурга!

Осенью 1878 года англичане начали вторжение в Афганистан. Их претензии к эмиру были попросту смехотворны: эмир должен иметь в Кабуле британское посольство, но он не смеет иметь русскую миссию. Граф Петр Шувалов в Лондоне потребовал «уважать независимость» афганского народа.

— Ради каких целей ваши войска в Афганистане?

Ответ был такой, что голова могла закружиться:

— Ради строго научного исправления границ с Индией.

— Впервые слышу, чтобы людей убивали из пушек ради научного интереса,— сказал Шувалов и далее намекнул, что Россия вынуждена придвинуть свои туркестанские войска к оазису Мевра, может быть, и до Пенды, а там... там, глядишь, рукой подать и до Кушки!

Вот это был, говоря словами Карла Маркса, «шахматный ход русских в Афганистане». Шувалов — устами Петербурга — заявил английским заправилам, что Россия отныне возвращает себе «свободу рук» в среднеазиатских просторах, ибо Россия уже не имеет границ с прежним независимым Афганистаном, она заимела себе новые границы — с английскими владениями.

Мевр был взят в марте 1884 года!

Приношу извинения читателям, если написанное мною показалось ему скучным. Но знать об этом надо, ибо в школьных учебниках об этом не пишут. Дабы оживить политику, я дополню ее бытовыми чертами. Англичане обещали мервенцам свою защиту, распуская слухи, будто у них в Афганском Герате собрана армия для обороны Мевра, и в своих прокламациях они напоминали, что «по Корану мусульманам нельзя уступать свои земли без боя». Но русским оказали сопротивление лишь оголтелые фанатики, в руках у которых «были одни палки с прилизанными к ним ножницами для стрижки баранов». Помимо мусульман, Мевр заселяли евреи, имевшие в городе синагогу. Основное занятие жителей были работорговли и грабежи караванов. Русские сразу запретили работорговлю и провели жестокую борьбу с «аламанством» (разбоями). Принимая русское подданство, жители Мевра «нивелили, что «обязуются выдать всех пленных (рабов), и наоборот же прежде награбленный скот они не в силах, так как он еще раньше был ими съеден...» Русскому командованию стоило большого труда обшарить все подвалы в Мевре, где туркмены и евреи держали 700 пленных персов и бухарцев, приготовленных на продажу в базарный

день; пашли и юных женщин, почти девочек, прикованных цепями (за шею) к потолку за отказ стать наложницами в гаремах. Русские первым делом стали возводить жилища дома, велели очистить арыки от падали, устроили уличное освещение. Сразу открылось много магазинов с московскими товарами, булочные, трактиры, хлебопекарни, два колбасных завода и даже пивоваренный (к великому соблазну правоверных). Старшинами на базаре Мевра стали армянин, еврей и бухарец. Многие солдаты остались жить в Мевре навсегда, их жены брали в стирку белье чиновников и офицеров, зарабатывая в месяц от 15 до 30 рублей. А на берегу Мургаба раздавали участки для разведения абрикосовых садов, дынь и винограда... Думаю, этих подробностей вполне достаточно, дабы наши солдаты не выглядели конкистадорами, какими их иногда изображают скудные разумом историки.

. . . . .

Начиная эту главу, я вежливо попросил читателя чуть отодвинуться назад, а в конце ее прошу его передвинуться во временном пространстве вперед — сразу в самые последние дни сентября 1913 года... Что же тогда случилось?

Обычная история, каких случается немало на морях и океанах нашей планеты. Рыболовецкое судно, ловившее рыбу в британских водах, вдруг «затралило» в свои сети труп рослого усатого человека, очень хорошо одетого, при котором не оказалось никаких документов. На всякий случай, благо до порта было недалеко, рыбаки оставили труп на борту траулера, чтобы сдать его в полицию для опознания. Но тут неожиданно разразился шторм, утлов судно так мотало на волне, что его мачты едва не ложились вдоль горизонта. Рыбаки верили в старинную примету: если море не желает расставаться со своей жертвой, лучше верни ее морю сразу, иначе будет беда. Потому они, люди суеверные, решили избавиться от утопленника, чтобы «задобрить» морских богов. Недолго думая, рыбаки схватили хорошо одетого господина и — раз-два, взяли! — кувырк его туда же, откуда он появился. Море сразу притихло. Рыбаки вернулись в родимую гавань, доложили о своей находке в полицию, а в «Интеллидженс сервис» схватились за голову:

— Глупцы, что они наделали! Ведь криминал-полиция всего мира сбилась с ног, это сенсация международ-

ного масштаба — таинственно исчез с корабля Рудольф Дизель. Рыбакам наверняка попался его труп, но теперь уже никогда-никогда не установить, как он оказался за бортом парохода...

О том, кто такой Дизель, рассказывать не обязательно, ибо его имя стало названием изобретенного им двигателя внутреннего сгорания. Хотел он того или не хотел, но дизель невольно ускорил темпы нефтедобычи во всем мире, и моторы Дизеля, грохоча клапанами, отвергли керосин, но потребовали от человека жидкое топливо. Я знаю, что читателю, не имеющему диплома о высшем техническом образовании, нелегко вдаваться в секреты двигателя внутреннего сгорания, а потому нам важно не устройство дизеля, а лишь сам факт его появления, когда он начал вытеснять паровые машины.

Рудольф Дизель был известен всему миру с титулом «миллионера с самыми дорогими мозгами»; обладатель роскошной виллы и нефтяных промыслов, избалованный славой, постоянно чествуемый на банкетах, как «гений германской нации», он жил — не дай-то бог так жить! — «в атмосфере зависти, сплетен, лживых слухов и нечистоплотного соперничества». Лишенный чувства германского патриотизма, он готов был продать свои лицензии богу или дьяволу — это было ему безразлично, и «дизеля» Дизеля невольно стали первопричиной борьбы между концернами — угольными и нефтяными. Двигатель внутреннего сгорания не нуждался в работе угольных шахт, приводя их владельцев к разорению, и, напротив, он, как младенец к груди матери, прильнул к насосам нефтяных скважин, нуждаясь в мазуте и смазках. Дизеля безмерно обогащали нефтепромышленники.

В сентябре 1913 года «гений», приглашенный в Англию для секретных переговоров, прихватил с собой портфель, набитый технической документацией. Капитан пассажирского лайнера почтил Дизеля банкетом за счет кают-компании корабля, было сказано много тостов в честь Дизеля, остро ароматизировали цветы, гремел оркестр, заманчиво улыбались женщины... После ужина Рудольф Дизель вышел на палубу — и больше никто его не видел! Даже труп море вернуло, а потом потребовало обратно. Исчез — конечно же — и сам портфель...

Вернемся в «керосиновую эпоху», еще не изгаженную грязью мазута, которую не сразу разбудил торжествующий грохот дизельных шатунов. На время оставим Нобе-

лей, отмахнемся от Рокфеллера, чтобы представить нового для нас человека, заставившего Англию иначе взглянуть на нефть и ее отходы — не только взором обывателя, желяющего коротать вечера в уютном свете керосиновой лампы. Этим человеком был адмирал Джон-Арбетнот Фишер (1841—1920), командир могучего «Инфлексибла», самого первого британского броненосца. То ли он разгадал великое будущее дизелей на подводных лодках, то ли он попросту был дальновиднее других, но именно адмирал Фишер стал для Англии «нефтяным маньяком». Он говорил:

— Мы очень гордимся угольными копями Ньюкасла, но совсем не думаем, что в топках дредноутов будущего будет полыхать не кардифф, а вот эта грязная и вонючая жидкость, от которой пока мы, англичане, брезгливо фыркаем. К сожалению, мое королевство не таит в своих недрах этой чудесной дряни, как не имеет ее и наш звентуальный противник — Германия, уповающая только на угольные ресурсы Рура... Увы — говорил Фишер, — во всей этой дурацкой Европе повезло только нищим румынам, способным брызнуть на нас нефтью. Пора! Давно пора Англии задуматься, чтобы начать активные поиски не рынков сбыта керосина, перекупленного в Баку или Кливленде, — нет, нам нужна сама нефть, что бы она стала для нашего флота не только лишней грязью, но и сырьем стратегического значения.

Переход с угля на жидкое топливо еще не был решен, но англичане уже разбрелись по своим отдаленным колониям в поисках нефтяных источников, они пронзали бурами цветущие земли экзотических островов, но им не везло, и они с завистливым вожделением все чаще стали поглядывать в сторону Баку, где русские шлелись по колелю в нефтяной жиже, не успевая отсасывать ее насосами... Настал 1884 год, когда англичанин Готц, уже поднаторевший в деле обогащения своей персоны, заложил несколько скважин около Бушира в Персидском заливе. Готц, мечтавший о фонтанах, принесших бы ему миллионы, получил одну грязную лужу, разорившую его. Русские в таких случаях говорят: «Тыкался да не дотыкался!» Очевидно, Готц бурил не там, где надо. Но в эти же годы снова ожилелся барон Юлиус Рейтер, раньше соблазнявший Насср-Эддина прогулками на трамвае, а теперь он соблазнял шаха, вечно нуждавшегося в деньгах, открытием Англо-Персидского банка. Насср-Эддин, наивный простак, на-

деялся, что если банк будет находиться в Тегеране, то за деньгами и ходить далеко не придется: бери сколько надо... Основав банк, Рейтер перекупил у Готца его участки, нанял геологов, они углубили готцовские скважины до 800 футов, но персидская земля оказалась скупой — и Рейтер не пожелал тратить свои кровные на это бесполезное занятие.

Англичане, подгоняемые пророчествами адмирала Фишера, давно присматривались к успехам Нобелей, но тут, опережая этих «островитян», в немыслимый бакинский шурум-бурум, в котором и своих хватает, а чужих не надобно, вдруг ворвался мощный соперник Нобелей, способный выстоять даже под ударами самого Рокфеллера.

Это был... страшно сказать — Ротшильд!

## 8. ДЛЯ ФУФУ, МАРГО, МАНОН И ПРОЧИХ

Столичный главпочтамт уже не удивлялся, когда по адресу на Загородном проспекте приходили скромные дары на имя тайного советника К. А. Скальковского. В его квартиру вкатывали бочонки с астраханской икрой, таскали тяжкие рулоны персидских ковров или волокни гигантских осетров, хвосты которых тащились по ступеням мраморной лестницы...

Стыдно было не знать Константина Аполлоновича, вице-директора Горного департамента, опытного сотрудника многих газет и любимца женщины. Горный инженер по образованию, он писал о балете и Суэцком канале, о нравах Парижа и развитии торгового флота, а вечерами остроумничал в «картофельном клубе», как называли сборище мотов, картежников и стареющих бонвиванов, которым не было никакого дела до урожайности картошки.

Скальковский имел славу заядлого балетомана, а так как многие балерины состояли в интересных отношениях с членами царствующей династии, то он, главный критик русской Мельпомены, считался как бы «родственником» Романовых. Но славен он был другим. Скальковский побил все мыслимые и немыслимые рекорды в получении взяток, никогда даже не скрывая, с кого и сколько содрал во славу отечества. Имея на содержании множество женщин, Скальковский сам состоял на содержании заводчиков, компаний и корпораций по добыче золота, ртути и нефти. Каждый, кто решил потревожить русские недра, был извещен,

что дела его застрянут, если не дать Скальковскому. Однажды бакнинский «керосинщик» А. З. Иванов выложил перед ним двадцать тысяч, говоря, что «об этом никто не узнает». Скальковский отвечал этому придурку:

— Выложи мне все сорок и болтай кому угодно...

Скальковский владел особняком в Париже, а летние сезоны проводил на Ривьере, окруженный дамами приятными во всех отношениях. С некоторых пор он часто получал денежные чеки с указанием — кому они предназначены: «Это на Фуфу... прошу передать Марго... извольте принять для Манон...»

Наконец, однажды в парижской опере бинокли всех дам разом вскинулись, обозревая ложу, абонированную бароном Альфонсом Ротшильдом. Но сегодня в ложе сидел не он... ее занимал Скальковский... Начинаясь «русский роман» барона Ротшильда!

. . . . .

Альфред Нобель, имея верный доход с динамита, редко навещал Россию (а его брат Эмиль, еще в юности, был разорван в куски при взрыве нитроглицерина); Роберт в 1880 году заболел чахоткой, от дел бакинского «Тов-ва Бр. Нобель» отошел и, оставаясь лишь пайщиком общества, проживал на курортах Европы, а его сыновья Ялмар и Людвиг обосновались в Швеции; делами в Баку и заводом «Русский дизель» в Петербурге заправлял Людвиг Эммануилович, у которого уже подрастал сын Эммануил... Такова генеалогическая канва этого семейства.

«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» (сокращенно «Бранобель») набирало мощь. Журналист Сергей Протопопов, посетив нефтепромыслы, писал: «Стучит, гремит, и тысячи рук работают в грязи над приготовлением керосина ради обогащения хозяев. С технической стороны — прелестно, с гуманитарной — все черно...»

Заложенная летом 1880 года скважина в Сабунчи бурилась два года и дала Нобелям очень доходный фонтан, выбросивший около десяти миллионов пудов нефти сразу. Наливные танкеры, откачавшись керосином на «девяти футах» Астраханского рейда, брали в лохани трюмов волжскую воду — для рабочих столовок и для орошения парка, в зелени которого были выстроены коттеджи для семей инженеров. «Динамитный» брат Альфред настаивал перед Людвигом «на использовании», как он писал в Баку, — «подавляющей массы ваших капиталов, ибо это от-

пугивает конкурентов»; по мнению Альфреда, его динамит в сочетании с керосином способен взорвать рокфеллеровский «Стандард ойл».

Был день 17 января 1886 года, когда Людвиг Нобель, сидя в кабинете правления, начал письмо А. С. Ермолову, директору Департамента неокладных сборов: «Легендарное богатство нефти на Апшеронском полуострове укоренило в верхах мнение о неисчерпаемости ее запасов...» — и тут письмо было прервано приходом члена правления Белямина, внешне схожего с затюканным чеховским учителем из захудалой провинции.

— Михаил Яковлевич? — остановил бег своего пера Нобель.

— Здравствуйте, — ответил Белямин, свободно присаживаясь к столу магната. — Я не стал бы мешать вам, если бы не одно сообщение наших агентов... Осенью Скальковского видели флаширующим в Ницце подле Жюль Арона, зятя парижского барона Альфонса Ротшильда, а вокруг них весело щебетали известные Фуфу, Марго, Манон и прочие.

— Не занимайте меня пустяками, — ответил Нобель, желая продолжить свое письмо Ермолову.

— Простите, Людвиг Эммануилович, по Жюль Арон, входящий в правление банкирского дома Ротшильдов, агент по вопросам нефти и даже связан с фирмами «Стандард ойл».

— Это подозрительно, — задумался Нобель, отложив перо. — Очевидно, Скальковскому мало взяток и гонораров от писания анекдотов, он способен торговать интересами Горного департамента? Но какая же связь между бакинским керосином и названными вами Фуфу, Марго, Манон и прочими?

— Стало известно, что на содержание этих нимф Константин Аполлонович получает особую мзду от вашего бакинского конкурента Манташева... этого тифлисского чувориша!

— Он решил обойти меня... пакостник? Впрочем, — здраво решил Нобель. — Манташев по сравнению со мной жидко пляшет, как говорят русские. Его мы сломаем...

Белямин откланялся. Нобель продолжил писание: «...добыча нефти в Баку выросла с 8 млн пуд. в 1876 г. до 93 млн в 1885 г., но т. к. спрос на керосин не вырос так столь же быстро, как увеличивалась добыча нефти, то обнаружилось перепроизводство, урошившее продажную



целу керосина... Дешевизна сырой нефти привела к крайне небрежному обращению с нефтью, а нефтяные остатки, составляющие две трети всей переработанной нефти, не находили полезного употребления, почему большая их часть уничтожалась посредством сжигания или простым выливанием в море. Подобная расточительность привела нефтяные богатства к заметному оскудению: избыточных фонтанов вновь не появляется, из глубины до 40 сажен, как прежде, нефти больше не извлекается. На сколько времени (в будущем) хватит естественных запасов нефти, если и впредь будет продолжаться хищническое хозяйствование на бакинских нефтепромыслах? Есть опасение — не окажутся ли сказочные нефтяные богатства Баку внезапно исчерпанными?..»

Так писал хозяин «Бранобеля», хорошо понимая, что оскудение скважин Баку не коснется его детей и внуков, а сейчас ему было важно нагнать страху на Министерство финансов, чтобы оно перепугало его конкурентов усилением налогового режима, и тогда все эти господа Тагиевы, Манташевы, Гукасовы и Мирзоевы еще подумают, стоит ли им пробуривать новые скважины... По сути дела, Нобель даже не думал о Рокфеллере: бакинская нефть давала ему гораздо больший процент получения керосина (и лучшего качества), нежели получал его «Стандард ойл», ибо Нобель оснастил перегонку нефти технически выше, чем американцы.

Нет сомнений в том, что Людвиг Нобель был отличным инженером и химиком, деловым экономистом и плановиком, он окружал себя не собутыльниками, а людьми, знающими дело, у него инженеры получали жалованье больше столичных министров. Это и понятно: в беспощадной игре со ставками на миллионы рублей и пятаков не считают, ибо Нобель знал — погонись он за тем, что подешевле, и все обернется разорением. Парадоксально, но факт: чем больше тратился Нобель на технические совершенствования, тем он становился богаче, несколько не разорялся. Однако нам, читатель, все-таки интересно бы знать, каковы были методы, которые Нобель использовал в борьбе с бакинскими конкурентами, жившими не где-то за океаном, а вот здесь же, где живет и он сам... Для этого приведем несколько примеров.

Нобель понимал, что керосин дорог не тогда, когда он хранится на складах Баку, а когда он быстро растекается по рынкам страны, раскупаемый жителями. Потому и не

жалел денег на создание танкерного флота, на путях железных дорог копились его вагоны-цистерны. Бакинские конкуренты желали бы подражать ему, но их возможности были ограничены. Товарищество «Лебедь» перестроило две шхуны под наливные, общество «Арагат» вделало в трюмы парусников цистерны, но... Разве угонишься под парусами, завися от ветра, за машинными танкерами, которые легко выжимали 12 узлов? Нобели продавали керосин по заниженным ценам, какие были убыточны для других нефтепромышленников, и, теряя в этом копейки, они все равно выигрывали, вытесняя с русского рынка не только керосин «Стандарт ойл», но и свой — родимый, бакинский — от своих конкурентов. Но, завоевав рынок, можно было повышать цены. Чувствуете, что приемы Нобеля точно скопированы с рокфеллеровских?

Летом 1882 года, загнав конкурентов в угол, Нобели решили овладеть керосиновым рынком всей России. На собрании бакинских нефтепромышленников Нобель высказал потаенное желание обратить «Бранобель» в синдикат:

— К чему вам, господа, мучиться с бурдюками и бочками, переливая нефть ведрами, если весь дистиллят (сырую нефть) вы можете продать прямо из скважины здесь же, на месте, и сразу положить выручку в карман. Далее не ваша забота: моя компания перегонит дистиллят в керосин, она же доставит его, куда следует...

Разве из этих слов не видно, что Нобель следовал примерам Рокфеллера? Но к 1884 году русский рынок был уже перенасыщен керосином. Газеты писали о «кризисе перепроизводства», требуя у нефтепромышленников Баку — «Заткните свои фонтаны!» Но этот кризис был весьма относительным. Великий Сибирский путь еще находился в проектах, и в лампах на востоке великой державы, еще царствовал пенсильванский керосин. Весной 1885 года Нобель купил в Баку земельный участок, через который были проложены рельсы и шпалы железной дороги. Но в одну из ночей не осталось ни рельс, ни шпал, а если бы паровоз двинулся, он бы встретил на своем пути высокую стенку, сложенную из камня (сложенную тоже за одну ночь). Когда же городские власти вмешались, то пьяная голытьба, за гроши нанятая Нобелем, учинила полиции хорошую драку... Скажите, разве этот случай не напоминает повадки Рокфеллера, который из пушки расстреливал чужие нефтепроводы?..

Если в Баку находилась главная цитадель Нобелей, то их боевые форты были выдвинуты в Царицын, Рыбинск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, где монолитно высились неприступные громады нефтехранилищ. И, наконец, 60 длинных составов цистерн курсировали, как бронепоезда, уже на подступах к Петербургу, Варшаве и Риге, — и вот настал вождеделенный миг, когда первый танкер увидели воды Балтики.

— А без бочек все равно не обойтись, — сказал Нобель.

Был палажен бондарный завод, и керосин «Бранобеля» в бочках доехал лошадиной тягой в такие забвенные места, где еще нескоро услышат гудок паровоза. 1886 год начинался успешно, а простой подсчет бухгалтерии показывал, что в этом году «Бранобель» превысит сбыт керосина на 35%...

На пороге кабинета неслышно появился Белямин.

— Что-либо из Петербурга? — встревожился Нобель.

— Увы, с улицы Рю-Лафит...

Это был парижский адрес конторы банка Ротшильда, и Белямин плотнее затворил двери, чтобы их не подслушали.

— Вся эта возня с Фуфу, Марго, Манон и прочими, кажется, завершилась откровенным предательством наших интересов... Разве мы не давали прощелыге Скальковскому?

— Значит, слухи подтвердились? — спросил Нобель.

— Да. Банкирский дом Ротшильдов активно скупает все акции Батумского нефтепромышленного и торгового общества, собираясь переименовать его в Каспийско-Черноморское для вывоза керосина в порты Ближнего Востока и Европу, конечно.

Это было вторжение, но без объявления войны.

— Что вы сами думаете по этому поводу?

— Думаю, что это ловкий шахматный ход Рокфеллера, который сделал из Ротшильда лишь удобную ширму, за которой и таится его «Стандард ойл». Как говорят французы, у каждого есть свой способ уничтожения блох.

— Но мы не блохи, чтобы разводить чесотку! — вспылал Нобель. — Если нам объявили войну, мы сумеем отбить нападение. Я срочно телеграфирую брату Альфреду, чтобы повысил цены на свой динамит, который так полюбился военной публике...

Неизбежное случилось. Альфонс Ротшильд заполучил нефтеносные участки на Балахне и в Сабунчи, на него уже

работал керосиновый завод в Баку. Прикинув возможности этих участков и завода, Белямин подсчитал, что уже в этом году Ротшильд способен дать 1 200 000 пудов керосина. Очевидно, на улице Рю-Лафит к таким же выводам пришел и барон Ротшильд.

— Что бы вы еще желали от нас, кроме брака по любви?

Этот вопрос был задан Скальковскому, который признавал только любовь по расчету. Он даже рассмеялся:

— Я желал бы иметь то, чего еще не имею...

Ротшильд понял, и вскоре Скальковский стал кавалером ордена Почетного Легиона. Прослышав об этом, Нобель стал думать, какую бы гадость поднести Скальковскому под видом «подарка».

— Не дарить же ему икру, как Манташев, не слать же ему и ковры, как Тагнев... А в деньгах он не нуждается.

Людвиг Эммануилович вдруг просиял лицом:

— Пошлем ему золоченое бидэ, чтобы Фуфу, Марго и Манон почаще подмывались перед употреблением.

Так и сделали. Но результат был совсем не тот, которого ожидали. Скальковский несколько не оскорбился, прочитав имена своих паложниц, которым подарок предназначался:

— А что? Будет чертовски оригинально, если в этой бабской лохани подать к столу стерляжьё уху... Надеюсь, еще никто не ел ухи из дамского бидэ, и гости останутся довольны!

## 9. КАТАСТРОФЫ

Разве историческая закономерность выдвигает людей, которые оказываются необходимыми в том самом времени, в котором они жили? Пардон, господа читатели, но иногда не закономерность природы, а любая случайность способна вытолкнуть человека из безликой хаотичной толпы, как это и случилось с Сергеем Юльевичем... О фамилии этого человека вы уже догадались!

...17 октября 1888 года литерный поезд императора Александра III, возвращаясь из Ливадии, мчался по рельсам Орловской железной дороги. Два мощных локомотива увлекали за собой состав из пятнадцати вагонов — электроснабжения, вагон-мастерскую, вагон министра Посыета, вагон для прислуги, кухню, буфетную, столовую, личный

салон императора, светский вагон, конвойный, багажный и прочие.

— Нельзя ли ехать скорее? — спрашивал император.

— Нельзя, идем на пределе, — отвечал Посьет.

По расписанию опаздывали, а теперь усиленно нагоняли со скоростью 65 верст. В полдень сели за стол, чтобы перекусить до прибытия в Харьков, до которого оставалось сорок верст. К столу уже начали подавать «гурьевскую кашу», а лакей протянул императору стакан со сливками, когда началось что-то очень странное.

— Адмирал! — начал было царь. — В вашем ведомстве...

И — не договорил. Возникла страшная качка, послышался треск раздираемого металла. Царский вагон слетел с колесных тележек и помчался по рельсам, как сани, а под него с грохотом вкатывались колеса задних вагонов. Салон мигом превратился в невообразимый хаос, летели посуда и осколки разбитых зеркал, орали люди — даже самые смелые, но ничего не понимавшие. Стены вагона сплюснулись, пол рухнул, салон развернуло в обратном движении поезда, а сорванная крыша со скрежетом ерзала над людьми, угрожая размозжить им головы. Императрица в ужасе схватилась за первое попавшееся, и это были длинные бакенбарды адмирала Посьета, который как раз и являлся министром путей сообщения, ответственным за все, что тут творится.

— Et nos enfants? Где мои дети? — кричала она...

Дети царской семьи уцелели, причем маленькую Ольгу нянька храбро выкинула в окно, героически сиганув следом за дитятей. Лакей, подававший царю сливки, был убит на месте — заодно с собакой, недавно подаренной царю полярником Норденшельдом. В вагонах конвоя и прислуги люди оказались раздавлены всмятку. Выбравшись под насыпь, царь увидел инженера Кованько, управлявшего железной дорогой, которого вышвырнуло из вагона так удачно, что он даже не испачкал перчаток. Барон Сашка Таубе, отвечавший за жизнь царской фамилии, так перетрусил, что бросился бежать в лес. А солдаты, думая, что это злоумышленник, устроивший катастрофу, палили по нему из винтовок.

Только теперь императрица Мария Федоровна заметила, что стоит среди мужчин в беспардонном неглиже, а как было сорвано с нее платье, того она понять не могла.

— Черт бы побрал все ваши железные дороги! — на-  
варыд рыдала она. — С такими порядками недолго и со-  
стариться...

На дрезине к месту катастрофы примчались жандармы  
Харьковского округа, готовые искать и найти злоумыш-  
ленников.

— Вы их найдете очень скоро, — сказал царь и, физи-  
чески сильный человек, он запустил в жандармов пере-  
гнувшейся шпалой. — Все-таки, мать вашу так, хотел бы  
я знать, кто виноват?

Из Петербурга срочно вызвали знаменитого юриста  
А. Ф. Кони для производства следствия. Посыет обвинял  
императора:

— Ваше величество сами указали ехать на повышен-  
ной скорости, а более никто в этом не виноват...

Придворный художник Михай Зичи был ошпарен го-  
рячей «гурьевской кашей» и теперь в обломках вагонов  
искал свой альбом с рисунками, а бедная фрейлина Го-  
ленищева-Кутузова не могла даже присесть, ибо оско-  
лок дерева угодил ей в самое пикантное место, и ей  
предстояла операция в гинекологическом кресле. Эта  
катастрофа царского поезда осталась памятна еще  
и тем, что во время следствия государь вдруг вспом-  
нил:

— На станции Фастово, пока паровозы брали воду, я  
слышал разговор между путейцами на перроне. Один из  
них, не знаю его фамилии, горячо доказывал, что два то-  
варных локомотива, идущие со скоростью экспресса, могут  
расшатать рельсы до критического предела. Этот же пу-  
теец, по виду еще молодой, говорил, что, будь он на ме-  
сте Посыета, он запретил бы превышение скорости, особен-  
но на поворотах...

Инженера-пророка нашли, им оказался Витте, и почти  
сразу его сделали директором железнодорожного департа-  
мента. Появись в высшем свете Петербурга, Сергей Юлье-  
вич не торопился иметь собственное мнение, и Скальков-  
ский, хорошо знавший инженера еще по Одессе, теперь  
вещал на каждом углу:

— Запомните, что Витте очень умен, но бездушен до  
отвращения. Во всяком случае, это самый умнейший из  
всех мошенников, какие встречались мне во всех частях  
нашего грешного света. Я сам мошенник, но таких, как  
Витте, еще поискать надо!

Для нас важно не злословие Скальковского, а то, что

появление С. Ю. Витте было благожелательно отмечено в конторе банка Ротшильдов на парижской улице Рю-Лафит...

. . . . .

Мирза Тагиев, ставший миллионером со своего нефтеносного «огорода», этот бывший амбал, таскавший мешки за шесть копеек в сутки, теперь владел фирмой, занимавшей в Баку четвертое место — по прибыльности. Тагиеву принадлежало не так уж много, всего тридцать десятин нефтеносной земли на Биби-Эйбате и в Балаханах, откуда он перекачивал нефть на свой завод, и в 1885 году он имел прибыль с семи миллионов пудов нефти. С невыразимым акцентом восточного «челазка» Тагиев рассуждал — вполне разумно и даже основательно:

— Мне что Ротшильд, что Нобель — все они сволочи, по, чтобы досадить шведу Нобелю, я соглашусь облизать под хвостом даже у этого жидовского барона...

Бог с ним, с этим Тагиевым, что взять с амбала?

Совсем иное дело — семья Манташевых, о которых умолчать попросту стыдно. Главою семьи был основоположник ее счастья — Александр Иванович (1849—1911), круглый дурак, но бывают такие дураки во всем, зато очень хитрые в чем-то одном. Неизвестно, когда в Манташеве вспыхнула пылкая любовь к керосину, но отдавался он ей с воистину восточным сладострастием. Было у него четыре сына, но дальше всех глядел Леон (Леван), обещающая пасть на бранном поприще нефтедобычи, но своего рубля не отдать врагу... Отец же был человеком старого закала. Сидя верхом на лошади, он лично следил, как мелкие добытчики сливают нефть в ямы Манташевых, и тут же переводил на копейки количество опорожненных ведер, расплачиваясь, как джигит, прямо из седла:

— Сколько заработал, столько и получи, дарагой...

Конечно, бывал он и в Париже, ибо такие выскочки мимо Парижа не проедут. Ни бум-бум не понимая по-французски, Манташев у «Максима» садился ближе к кухням, откуда выбегали официанты, озирали выносимые ими блюда, а потом тыкал пальцем в то блюдо, какое выглядело подороже. В борделях Парижа он использовал тот же проверенный принцип: тыкал пальцем не в ту женщину, которая покрасивее, а попадал пальцем точно в ту, которая дороже других оценивала свою квалификацию. У себя же дома можно было и вовсе не стесняться:

Манташев содержал гарем, закармливал друзей, как Лукулл, а пока они там жрали и пили, перед ними плясали наемные танцовки, потные акробатки выгибались в дугу...

Семья Манташевых, чтобы противостоять натиску Нобелей, искала поддержку у Скальковского, и тот барствебно помогал им — не потому, что они милейшие люди, а по той веской причине, что из своих фонтанов Манташев каждый год выкачивал 50 миллионов пудов нефти. Конечно, при таких доходах, да еще заручившись «дружбою» в Горном департаменте, Манташев мог говорить:

— Пусть Нобель не думает, что меня можно скушать. Скоро я буду смеяться, когда его будет кушать Ротшильд...

Образы Тагиева и Манташева такие непорочные, такие светлые, такая благость спускается от их чистых намерений, что появление Ротшильда ждешь с нетерпеливым ожиданием, чтобы он дописал картину всеобщего бакинско-Эдема. Но именно вмешательство Ротшильда и нарушило стройную гармонию равновесия, которое сложилось при почти монопольной деспотии «Бранобеля». Вы думаете, что соперники сразу и сцепились, отрывая друг другу конечности, словно голодные пауки в одной банке? Ницуть не бывало!

Нобель и Ротшильд — это все-таки не «челазки», и по-сему Ротшильд, побаиваясь авторитета Нобеля, не замечал его, а Нобель, побаиваясь капиталов Ротшильда, делал вид, что такого не знает, и знать не желает. Говоря проще, барон Альфонс Ротшильд не только побаивался, но даже страшился Нобеля, ибо в России — с его появлением — сразу возмутилось дворянство, газеты писали, что нельзя людей с такой репутацией, какая у Ротшильда, подпускать к бочкам с керосином.

На Рю-Лафит понимали, что оппозицию им в самой России они могут побороть только в том случае, если сомкнут свои ряды с оппозицией против Нобелей в самом Баку, и в скором времени образовался блок недовольных, которые стали поддерживать Ротшильда, чтобы уронить значение «Бранобеля». Конечно, у Ротшильда были связи с правительством Франции, и нефтеналивные суда Ротшильдов его Каспийско-Черноморского общества, накачавшись русским керосином в Батуме, шли напрямик через Босфор и Суэцкий канал, чего другим нефтепромышленникам (и даже Нобелю) в Каире не позволяли... Ротшильд поступил с умом: чтобы не обострять ситуации, он оставил внутренний рынок в прежнем подчинении Нобеля, высту-



пив серьезным экспортером бакинской нефти за рубежом.

Появление Ротшильдов заставило думать не только в Баку — думали и на Бродвее, 26, где (поближе к Уолл-стрит) Джон Рокфеллер разместил контору «Стандард ойл». Когда-то заливавший Россию пенсильванским керосином, Рокфеллер, конечно, переживал потерю такого обширного рынка, и «русский вопрос» никогда не был так обострен, как именно теперь, когда в международный керосиновый бум затесался Ротшильд.

— Пикантность этой ситуации,— рассуждал Рокфеллер в кругу близких,— заключается еще в том, что недавно Нобель иногда бывал вынужден прибегать к займам именно в парижском банке Альфонса Ротшильда, а теперь, сидящие в одной лодке, они стали ее раскачивать. Если лодка перевернется, кому из утопающих протянуть руку, а кого послать ко всем чертям?

И на Бродвее, 26, и на Рю-Лафит были извещены, что Нобель опять испытывает финансовые затруднения.

— Если,— говорил Рокфеллер,— Нобель встанет на углу с мольбою о подаении, я хотел бы посмеяться над тем придурком, который даст ему ради хлеба насущного.

— Ему даст его брат Альфред Нобель, который со своим динамитным трестом может еще потягаться с нашей керосиновой лавочкой.

— Э, нет! — отвечал Рокфеллер,— Альфред Нобель не таков, чтобы сорить деньгами без оглядки, он даже в ресторанах требует сдачи до последнего цента. Это не тот чуткий родственник, который побежит кормить с ложечки подыхающего брата... Не выручить ли нам Нобеля, чтобы тот знал — у него есть хорошие друзья за океаном?..

Такое уже не раз приходило в голову Рокфеллеру, который желал бы контролировать работу «Бранобеля», чтобы потом взять Нобеля на поводок и вывести его на вечернюю прогулку вдоль Уолл-стрит, где прохожие спрашивали: «Скажите, какой он породы?..» Да, о том, что Рокфеллер протянул руку через океан, желая выручить Нобеля, писали газеты американские, писали газеты и русские. Рокфеллер не скрывал своих планов от близких:

— А что удивляться? Браков по расчету бывает гораздо больше, нежели браков по любви, и первые оказываются более счастливыми, нежели вторые. Но в подобных альянсах важно оставаться не конем, а всадником на коне...

Он хотел сначала финансировать «Бранобель», чтобы потом всосать его в желудок своего «Стандард ойл», после чего на человечество пролились бы дожди из кошмарной смеси бакинско-пенсильванского керосина. Но случилось так, что Нобели оказались хитрее и Рокфеллера и Ротшильда. В 1889 году «Бранобель» получил заем в берлинском банке «Дисконто гезельшафт». Бакинская лодка качалась, гребцы в ней гребли кто куда — одни вперед, другие табанили назад, но все-таки лодка плыла... Куда?

. . . . .

Вообще-то, если крепко задуматься, то финансовая политика служит лишь для одурачивания благопамеренных людей. Насср-Эддин имел немало оснований к тому, чтобы именно так думать об этих лощеных господах в хрустящих манишках, любящих носить очки, будто без очков света не видать, которые почему-то считают себя финансистами. Шахиншах понимал работу как работу: погонщика ослов всегда отличишь от палача, вот бежит по улице разносчик охлажденной воды, а эта девица за скромную плату исполнит танец живота — тут все ясно, и вопросов не возникает. Но что делают господа финансисты, кроме того, что они обещают, обещают, обещают?..

В данном случае я разделяю лучшие чувства шахиншаха, ибо его можно понять (хотя бы чисто по-человечески). В самом деле, Насср-Эддин, нуждаясь в деньгах для очередного осмотра Европы, снова дозволил барону Рейтеру возобновить его концессию; тот опять ковырялся в земле Персии, как у себя дома. Потом завел в Тегеране Англо-Персидский банк (для понимания европейцев), но в присутствии шаха англичане именовали банк «Шахиншахским» (для понимания самого шаха). Казалось бы, тут все ясно: если банк шаха, а шаху нужны деньжата, то шаху стоит повелеть, чтобы дали, и банк шаху даст. Но подлость финансистов в том-то и заключалась, что банк только назывался шахским, а денег шаху не давали, и потому в этом вопросе я целиком на стороне шаха. Сколько же еще нас можно обманывать? Сам бывал в таких переделках: банки у нас всегда народные, а попробуй сунься туда от имени народа, так ведь ни копейки не получишь... Говорит, что я ни шиша не понимаю в финансовой политике. Может быть, что и не понимаю. Тогда, черт побери, пусть поменяют вывески...

Озабоченный доходами, когда дело касалось прибы-

лей, Насср-Эддин считал религиозные различия излишними, говоря так:

— Мусульманскую кошку не заставишь ловить мышей во имя Аллаха, так и эти неверные гяуры не станут же учить своих собак лаять во славу Христа!

Казна пустовала. Верноподданные страдали от нужды, а шах страдал от безденежья. Но должны же эти финансисты понять, что, когда у человека 743 жены, ему немало и требуется. Между тем, барон Рейтер уже чеканил персидскую монету, а нормальных денег — европейских! — не давал. Слава Аллаху, явился в Тегеран румяный британский майор Джон Тальбот и сказал, что Персия такая страна, где мужчины курят на улицах, а женщины дымят в гаремах, и никто не думает о своем здоровье. Шах тут же велел подать чаршле — чего ему надо? Оказалось, что майор желал помочь шаху в безденежь: для его обогащения он придумал табачную концессию (с 1890 до 1940 года); отныне все персы — кроме шаха, конечно! — облагались высоким налогом на табак. Насср-Эддин получал ежегодную ренту в 15 тысяч фунтов стерлингов.

— И — пешкеш! — Половину чистой прибыли, — просил шах.

— Четверть, — отвечал Тальбот, как отрезал...

Ладно. Дело было поставлено англичанами на научную основу. Концессия по дешевке вывозила из Персии табак, «Империал Табакко-Корпоратион» вложило в борьбу с курящими свои 650 тысяч. Казалось бы, что, вывозя из Персии табак для продажи, англичане озабочены пошатнувшимся здоровьем персов, имевших дурную привычку курить. Но — нет! Хотя табак и стал дорожке масла, но персы продолжали дымить на улицах и в гаремах. Наконец, до курящих дошло, что надо спасаться, иначе эти английские майоры еще чего-нибудь придумают. Духовенство всегда было в Персии очень авторитетно, и вот в декабре 1891 года муджтехид (знатный мулла) обратился к народу:

— Правoverные! Проклятые инглеязы, вкупе с продажным визирем Китабджи-ханом, решили обворовать нас, и без того бедных. Так не будет с этого дня ни единого мусульманина, который бы — на радость инглезам! — закурил, и не будем курить до тех пор, пока наш светлый шах не отменит концессию...

Два месяца никто не курил, кроме шаха. В Тегеране проходили митинги и демонстрации жителей, в ли-

стовках призывали расправиться с англичанами, европейский квартал был оцеплен войсками, несколько сот человек были расстреляны, но никто не курил... Насср-Эддин отлупил палкой своего визиря Китабджи-хаша и в январе 1892 года концессия исчезла. Но явился английский посол и потребовал, чтобы Насср-Эддин внес в «Шахишахский» банк ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ фунтов стерлингов.

— За что? — обомлел шах.

— Таково финансовое право среди всех цивилизованных народов, и вы обязаны платить неустойку за нарушение договора.

Ну, разве не обидно? Мечтал иметь верный «пешкеш» с табака, а теперь сам остался в долгах. Визирь Амин-эс-Султан, первый министр, объяснил ему, что просимая из Лондона сумма неустойки равняется ДВЕНАДЦАТИ МИЛЛИОНАМ франков, а «пешкешем» тут и не пахнет:

— Вся беда вашего величества в том, что вы часто смотрите на юг, где англичане чего-то ищут в земле, и не хотите обернуться на север, где Россия дышит на нас приятной прохладой.

Амин-эс-Султан имел верный «пешкеш» из русского посольства, и отрабатывал его честно. Но сорок лет постоянного распутства не прошли даром, и Насср-Эддин сделался слабоумным, почти идиотом. В его голове собственная глупость перемежалась с афоризмами народной мудрости:

— Будь он проклят, этот майор! Однако, если в городе завелся один еретик, мечетей в городе не закрывают. Я не хочу умирать в нищете, и согласен разрешить любую концессию, лишь бы получить хороший «пешкеш», чтобы съездить в Европу...

1890 год обозначился новым керосиновым кризисом. Кто виноват — не знаю, в чем и признаюсь без тени смущения. Но цена на нефть в России внезапно упала до 5 копеек за пуд, тогда как нефтепромышленник платил налог 10 копеек с пуда. Однако нет таких дураков, чтобы резали куриц, несущих золотые яйца. Как раз в тот момент, когда разоренный Л. К. Зубалов загнал бриллианты жены и хотел стреляться, колодцы его скважин забурлили притоком свежих фонтанов, а из Петербурга, чтобы не умирал он бедным, снизили налог. Самым же счастливым человеком в Баку считался князь Челокаев: его единственный фонтан бесперебойно работал 35 лет подряд, даже не истощаясь, за что и назывался бакинцами «добрым дедушкой».

Между тем, барон Юлиус Рейтер опять ковырялся в южных провинциях Каджаров, однако поиски нефти на берегах Персидского залива оставались бесплодны. О причинах этого «невезения» можно спорить, но у меня своя точка зрения. Как бы не хвастались сыны Альбиона превосходством своей системы, как бы не гордились своей передовой техникой — не было у них ни того, ни другого. Нефть лежала у них под ногами, но они не видели ее, потому, что не имели научно осмысленной системы в поисках нефти, а их техническая отсталость бросалась в глаза. К тому времени они уже появились в Баку, примериваясь к добыче нефти, и тогда же Гаврилов, окружной инженер нефтепромыслов, писал, что «английские фирмы никакого влияния на развитие наших промыслов оказать не могли и относились к числу самых заурядных наших нефтедобытчиков...»

Наверное, этот Гаврилов лучше нас с вами понимал, где хорошо, где плохо. Одновременно с этим на улице Рю-Лафит было обращено особое внимание на молодого Вите, слишком быстро и слишком ловко делавшего головокружительную карьеру.

#### 10. ШУРУМ-БУРУМ

Персы — народ импровизаторов, при этом они умудряются импровизировать не только стихи, но даже события, что и доказала «табачная революция», когда вся страна разом отказалась от курения. Фантазия персов неисчерпаема. В окраинных улочках Тегерана европейца ждали тайные наслаждения, женщины закрывали лица чадрами, но, крутя обнаженными животами, легко и вдохновенно слагали поэмы в честь святого Хуссейна, воспевая при этом свои телесные грации, а на базарах столицы царил такая поэтическая кутерьма, попав в которую, даже собака теряла природный дар узнавать своего хозяина.

— Свекла не станет мясом, — зывали торговцы, — зато мой лютей враг станет лучшим другом, если попробует у меня шашлык из козлятины... Кому что дорого! Козлу дорога жизнь, а нам дорого его мясо. Воля твоя, несчастный слепой, но ты напрасно думаешь, будто зрячие съедают за обедом больше слепых. Так и быть, возьми этот жирный кусочек, ты расскажешь всем, что Шевкал замечательный человек!

Для простого народа Персии оставались неизвестны сделки Насср-Эддина с бароном Юлиусом Рейтером, который в эти годы прекратил бурение скважин, для него убыточное, так и не найдя нефти. Тогда же в Персии появились французы, близ границы с Турцией они отыскивали нефтяные колодцы, однако дело закончилось статьями в журналах Парижа, — все это было лишь теорией, далекой от практики, приносящей доходы.

«Нефтяная лихорадка» постепенно охватывала весь мир. Шарлатаны и жулики, видевшие керосин только в настольных лампах, кинулись сверлить земной шар где попало, втыкая буры наугад, и, ничего не получив, кроме хлопот и расходов, переносили бурильные установки на другие места. Зато на краю света, где цвели неувыдаемо экзотические острова Суматра, Ява и Борнео, дела с нефтедобычей пошли столь успешно, что возникла «Королевская компания по добыче нефти в Нидерландской Индии» (впоследствии знаменитый концерн «Ройял Датч»). Голландская по происхождению, эта компания имела контору в Гааге, а керосин с Суматры стремительно затопил все азиатские рынки. Нобель понес убытки, но еще больше голландцы ударили по карману Рокфеллера. Только в порты Китая и Австралии голландцы выплескивали миллионы галлонов превосходного керосина, и Рокфеллер грозил оторвать им головы. Модест Бакунин, русский консул в Батавии, докладывал в Петербург: «Американцы заявляют, что будущее мира в их руках и что с теми капиталами, которыми они располагают, они в любое время могут купить, что угодно и даже кого угодно...» Рокфеллер, пребывая в ярости, хотел бы сразу купить все скважины на Суматре, но... голландцы не сдавались. Из Баку поступило в контору «Стандард ойл» сенсационное сообщение, что в марте 1892 года за одни лишь сутки только один фонтан Нобеля выбросил сразу МИЛЛИОН пудов нефти, но Рокфеллер был озабочен иным соперничеством:

— Кто там вертит делами в Гааге?

— Генри Детердинг.

— Я должен помнить этого умника?

— Очевидно, Детердинга не стоит забывать...

Между тем, в жестокой конкурентной борьбе за право выжить «Бранобель» победил бакинских предпринимателей, выстоял перед свирепым натиском Рокфеллера и перед нахальным наскоком Ротшильдов, сохранив за собой право распоряжаться на русском керосиновом рынке; свои

дочерние филиалы в европейских странах Нобель снабжал керосином через германские фирмы. Новое время рождает новые песни, и — под громкие перестуки дизелей, под шипение воющих форсунок — мажут, новый властитель рынка, потек из Баку широкой рекой, делаясь все дорожее и все вужнее. Как бы то не было, но в канун XX века Россия начала перегонять (а вскоре и переиграла) Америку в добыче нефти.

— Как жаль,— говорил Нобель в минуты лирического откровения,— что персидский рынок, столь близкий нам, настолько беден, что едва пахнет моим керосином...

Керосин, конечно, сбывался на базарах Персии, но все же не в том количестве, в каком бы хотелось Людвигу Эммануиловичу. Часть его шла не только морем, а даже в бидонах до Тавриза, в пути караваны не раз были разграблены курдами. Но если англичане давили на Персию с юга, со стороны Персидского залива, где базировались их крейсера, то с севера, со стороны Каспийского моря, осторожно и настойчиво надвигался изворотливый российский капитал. Лазарь Соломонович Поляков, известный миллионер, завел в Тегеране страховое общество, устроил там спичечную фабрику, а потом перекупил у бельгийцев уличную конку в Тегеране, имея доход от продажи билетов. Под стать ему, не дремал и Степан Георгиевич Лианозов, который сумел понравиться шаху. Насср-Эддин продал ему монополию на рыбные ловли возле южных берегов Каспия, так что в Москве или Петербурге магазинщики Елисеевы не могли объяснить покупателям, какая у них сегодня осетрина — то ли персидская, то ли астраханская. Впрочем, рыбе это было уже все равно...

Северные города Персии (Тавриз, Решит, Казвин и Астрабад) очень скоро «русифицировались», народ привык к русским товарам. Мало того, местная знать быстро переняла от русских их безалаберные привычки и вкусы; теперь, забыв о священных заветах Ислама, персы пили не только желтое ширазское вино, но поглощали и русскую водку, не боясь закусывать жирною ветчиной. Если же они и попадали под праведный гнев духовных отцов, то у них всегда было готовое оправдание:

— Мы не позволим осквернять себя грязной свининой! Разве не знаете, что в Москве делают ветчину из поющих соловьев. Если нам не верите, так спросите русских купцов — они подтвердят!

Русские купцы, конечно, подтверждали:

— Да у нас ветчина так и зовется — соловьятиной...

Пока суть да дело, во главе Горного департамента стал Константин Аполлопович Скальковский. Но Маунташевы напрасно радовались, ибо ложиться костями за их интересы Скальковский не желал. Фуфу, Марго, Малон, расфуфырясь за счет бакишского керосина и мазута, не слишком-то были теперь обременительны для директора, тем более, что вышеозначенные отпшыне зависели от щедрот самого Ротшильда, а потому с этими «дикарями» можно было не церемониться.

Целых пять лет (с 1891 до 1896 года) Скальковский состоял директором Горного департамента, и кавказская нефть — жирная, черная, грязная — отлично насыщала его утробу, Скальковский не чувствовал себя испачканным, а тонкие духи фирмы Броккаров побеждали зловоние керосина. Пользуясь поддержкой Горного департамента, а точнее — его директора, Ротшильд увеличивал капитал своего Каспийско-Черноморского общества. Жюль Арон, часто благодаря Скальковского за услуги, тактично извещал взяточника: «Ваш заказ будет выполнен, ждите». Сие значило, что деньги уже отправлены. Альфонс Ротшильд не покидал Париж, зато Жюль Арон не раз навещал Баку, где, по его словам, он так уставал за день, что к вечеру не оставалось сил взяться за перо, дабы еще раз поблагодарить Скальковского, потому Арон слал ему телеграммы: «Получили ли вы свой заказ?..»

Зато в докладах самому Ротшильду он писал в восторженном настроении, ибо увиденное в Баку просто ошеломляло его своими несбыточными картинами возможностей для помещения капитала: «За три года со времени моего предыдущего приезда, нефтяная промышленность получила громадное развитие, и я думаю, что, по причине возрастающего потребления жидкого топлива в районах России, соединенных транспортной связью с Волгою, в будущем мы увидим еще более значительный прогресс!» Давний консултант по нефтяным вопросам при банках Ротшильдов, вездесущий Жюль Арон понимал, что скважинам Баку еще долго не будет грозить истощение, и «черный город» обещал керосиновые реки и мазутные берега, чтобы «белый город» Баку подбирал с земли миллионы.

Не забывали на Рю-Лафит присматриваться и к орлиным взлетам карьеры Витте, вчерашнего инженера-путейца. В феврале 1892 года он стал управлять Министерством путей сообщения, а в августе того же года воспа-



рил еще выше, сложив крылья в многообещающем кресле министра финансов...

В обширном клане Ротшильдов началось всеобщее ликование, тем более радостное, когда Жюль Арон известил из России, что Витте женат на разведенной еврейке, которая ведет себя скромно, однако, не лишенная доли тщеславия, она грезит о том, чтобы блистать при дворе российского императора. Сергей Юльевич Витте достиг высокого положения (и достигнет еще более высокого). И, казалось, что он может добиться всего на свете, но его Матильда осталась сидеть дома, ибо русский двор не пожелал, чтобы среди Рюриковичей и Гедеминовичей находилась она — еврейка...

. . . . .

Витте сразу быстро нащупал слабое место:

— Мы отстали! Тогда как американская дипломатия сомкнула свою политику с экономическими интересами фирмы Рокфеллера, у нас, как во времена царя Гороха, политика и экономика глядят в разные стороны, словно одна обиделась на другую. Если за границей давно возникли синдикаты, картели и тресты, то почему же мы по старинке балуемся компаниями, почти семейными и более пригодными для совместной выпивки, нежели для дела... Ради «бизнеса», как говорят янки! Наконец, — жестко заключил Сергей Юльевич, — во всем мире один лишь персидский шах полагает, будто банк обязан только давать, на самом же деле банк обязан отбирать! Стоит подумать...

Витте еще поднимался по ступеням власти на высшие этажи империи, когда финансовый вопрос мучил эту империю тем, что диагноз болезни был неизвестен. Не сама Россия, могучая и богатейшая держава, — нет, не она, а само финансовое хозяйство ее пуждалось в заграничных займах. Если были в стране миллионеры, то это, простите, еще не показатель всеобщего процветания. Дело и не в нищих, которые стояли на папертях церковей или подпирали кладбищенские ограды — нищие всегда были и будут, а их умоляющие взоры тоже не показатель истинного положения в государстве.

— Будем сами лечиться и лечить страну, — сказал Витте...

Как раз в это время в Чикаго готовилось открытие Всемирной выставки и, конечно, Россия была приглаше-

на в ней участвовать. Витте вызвал из Москвы экономиста Янжула:

— Иван Иванович, поедете в Чикаго от министерства финансов. Займетесь в Штатах изучением элеваторного дела, ибо до сей поры Россия не разучилась жрать хлеб, зато не научилась беречь его. Узнайте, есть ли в Штатах государственная проверка товаров в интересах покупателей? Присмотритесь к выделке маргарина, ибо в газетах Америки много кричат, будто Рокфеллер добавляет в маргарин то, что годится для освещения, но никак не для насыщения наших желудков... Главное же, ради чего вас и посылаем, вникните в устройство трестов и синдикатов, главным образом «Стандард ойл», так ли уж страшен черт, каким его у нас в России малюют?..

Тут я, автор, не выдержал и на всякий случай перечитал записки профессора Янжула, кстати сказать, написанные сухо и малоинтересно. Оживить их помогли письма его жены Екатерины Николаевны, сопровождавшей мужа в поездке за океан... Буду предельно краток, Янжул встретил в Америке симбирского предводителя дворянства Белякова, бежавшего от жены и от долгов, а теперь он содержал пансион для русских. Впрочем, Янжулы навещали русских евреев, ибо они, эмигрировав из России, еще не разучились варить щи. Е. Н. Янжул писала, что в Нью-Йорке «улицы до того грязны и так плохо мощены, что превосходят Москву... Над головой шумит проходящий поезд, который первое время пугает, но потом привкаешь...» Приехав же в Чикаго, она писала: «С одной стороны улицы вроде нашего гор. Ржева в худших его частях, с другой — дома такой вышины, что шляпа валится с головы, когда захочешь пересчитать их этажи. Грязь же невероятная и в этой грязи кишит народ...» За чужой текст я не отвечаю! Иван Иванович писал, что насколько безобразен был сам Чикаго, настолько хорошо была устроена выставка, похожая на музей труда и искусства. Стояла адская жарница. На выставке оказалось немало русских. Откуда-то вдруг появился матрос с броненосца «Дмитрий Донской», который поставил на выставке самовар (для русских, конечно), но американцы смотрели на самовар и матроса, как на экспонат, представленный российским царем для всеобщего обозрения. Екатерина Николаевна, заканчивая свой обзор Америки, пришла к выводу, что все американки ужасные лентяйки: весь день напропалую они, как угорелые кошки, мечутся по универ-

сальным магазинам, скупая всякую ерунду, а к вечеру им лишь готовить еду для семьи и они кормят мужей пашею поджаренным бифштексом...

Хватит! Янжул считал «соперничество в промышленности и торговле главным и свободным регулятором всех зол и крайностей индивидуальной деятельности». Синдикаты, в его личном представлении, явились «новой формой ликвидации устарелых экономических понятий о свободной конкуренции». Если читателю этого мало, я могу и добавить: «Во-первых,— писал он для Витте,— надо допустить легальное существование этих предпринимательских союзов, если уничтожить и задержать их становится невозможно, и, во-вторых, надо регламентировать и нормировать — в интересах общего блага — существование синдикатов, обставляя их надлежащими условиями...»

Хватит? Надеюсь, что сказанного уже достаточно!

Осталось сделать в этой главе заключение, неожиданное для меня и для моего читателя. Рокфеллер бросил перчатку для боя голландской компании на Суматре, и в Гааге эту перчатку, принимая вызов, невозмутимо поднял молодой человек весьма приятной наружности.

— Если старине Джону,— сказал он,— захотелось потягаться со мной, пусть он прежде подумает, чем наша драка закончится... Я ведь не слишком-то напичкан национальной гордостью и могу найти союзников для борьбы со «Стандард ойл», где угодно... в лондонском Сити... или, скажем, в копторе Ротшильдов... Наконец, найду общий язык даже в русском Баку!

Молодого человека звали Генри Детердинг.

Не удивляйтесь: он выведет нас прямо к Гитлеру!

## 11. ВЕЩИЙ СОН ШАХИШАХА

Оставались считанные дни до великого праздника: в конце апреля 1896 года Тегеран собирался отметить 50-летний юбилей счастливого правления Насср-Эддина, и в столицу загодя свозили из провинций блага персидской земли, издалека гнали на прожор влеющие отары овец. Пользуясь случаем, когда в свите шаха царило благостное умиление, солдаты столичного гарнизона принесли жалобу на командира полка и его помощника, которые таскали мясо, большой ложкой они снимали накипь бараньего жира. Наследник престола (валиагд) Мозаффер-Эддин

пребывал в Тавризе, а губернатором в Тегеране был другой сын — принц Наиб-ус-Султан, и шах повелел Наibu наказать виновных, дабы народ видел отеческую заботу шахишаха о своих подданных:

— Накажи, как следует по старинному правилу, когда каждый получает свое: кошка — шлепок, а собака — пинок...

Палачи постарались. Помощника (кошку) били по пяткам так, что из ног вылетели ногти, а командира полка (собаку) лупили палкой по голове, пока глаза не выскочили из орбит. Ночь с 18 на 19 апреля повелитель провел на веранде дворца «Текиз», и сон его был спокоен. Но, проснувшись, шах сразу же сказал садразаму (первому министру), что надобно срочно ехать в загородную мечеть Шах-Абдул-Азимэ. Садразам по имени Амин-Султан начал отговаривать шаха от поездки, но Насср-Эддин настаивал:

— Я видел сон, и боюсь, что он станет вещим... Во сне меня навестил мой предок Аббас-Мирза, говоривший, что Аллах открыл ему тайну будущего Каджаров. Когда же я просил поведать мне эту тайну, тень Аббаса исчезла, но я услышал голос его: «Будущее Каджаров ты узнаешь сегодня, если я увижу тебя в мечети Шах-Абдулла-Азим...» Потому-то, — доказывал Насср-Эддин, — я обязан ехать в эту мечеть, чтобы мне открылось великое будущее Каджаров...

Названная мечеть находилась в окрестностях Тегерана, и шах со свитой прибыл туда лишь после полудня. Обычно при его появлении народ из мечети изгоняли, но сегодня шах велел не беспокоить молящихся, а садразаму сказал:

— Скажи, чтобы для меня расстелили коврик... я буду молиться сегодня на женской половине...

Женщины с закутанными головами стояли плотно, но вдруг между их тел выставилась рука с револьвером и грянул выстрел. Амин-Султан увидел, что шах быстро-быстро пошатал прочь, а из толпы женщин выскочил человек, тут же схваченный свитой. Когда же кинулись к шаху, он был уже мертв — пуля пронзила его сердце. Это случилось за пять дней до столь желанного юбилея, и теперь, паверное, мудрейший предок Аббас-Мирза уже нашептывал мертвому шаху великие тайны будущего династии Каджаров...

Боясь волнений в Тегеране, смерть Насср-Эддина решили скрыть от народа. Мертвеца усадили в карету, а голову

шаха склонили на плечо Амина-Султана, будто шах утомился и задремал. Чтобы картина выглядела естественно, садразам, когда проезжали через базары, махал платком, словно навевая прохладу, а народ, увидев спящего шаха, торопливо кланялся. Русский посол тогда отсутствовал, в Тегеране его заменил поверенный в делах А. Н. Щеглов, записки которого об этих событиях я использую при написании этой главы...

Садразам стал плакать, говоря Щеглову:

— Какое горе! Неужели наша несчастная страна снова будет ввергнута в пучину злодейств, казней и крови?

Щеглов понимал опасения министра. Принц Мозаффер, законный наследник, которого поддерживала Россия, еще не скоро придет из Тавриза, а принц Наиб-Салтанэ уже здесь, в Тегеране, весь гарнизон в его руках, и Наиб способен силой захватить власть в столице.

— Но меня,— говорил садразам,— ужасает мысль, что Зели-Султан, узнав о гибели отца, может примчаться сюда и устроить такую резню, что кровь прольется и на базарах.

На базарах уже знали, что великий Источник Света и Знаний, Полюс Вселенной, Подножие Небосвода, Повелитель Народов Всего Мира, Мудрейший Царь Царей,— этот человек избавил их от своего деспотизма и своей уникальной алчности, а теперь... наверное, будет еще хуже!

Верить в лучшее персы уже побаивались...

Щеглов согласился с садразамом, что опасен Наиб, но еще опаснее Зели-Султан. Это был приبلудный отпрыск убитого шаха, заранее отстраненный от престола. Он управлял южными провинциями, где давно хозяйничали англичане, искавшие там нефть, и при дворе шаха (как, впрочем, и в Петербурге) справедливо считали, что Зели-Султан может стать именно той «пешкой», которую англичане станут подталкивать на высоту престола... Щеглов посоветовал садразаму отбить срочную телеграмму в Тавриз, известив обо всем законного наследника, и Мазаффер-шах отбарабанил в ответ, что срочно выезжает в Тегеран.

Весьма кстати во дворце появился полковник Коссагонский, командир Персидской казачьей бригады, составленной из персов и русских казаков. Щеглов сказал ему:

— Вы пришли вовремя! Тут заваривается такая каша, что не хватает только британского посла, который, надо думать, сразу потянет за уши Зели-Султана...

— Но сэр Мортимер Дюранд уже прибыл. Щеглов подсказал послу, чтобы тот оповестил Уайтхолл о смерти Насср-Эддина, и ответ из Лондона сразу прояснил бы, согласна ли Англия на Мозаффер-шаха или станет выдвигать Зели-Султана, уже достаточно обмазанного британским медом. Дюранд с минуту подумал, искоса глянул на полковника Коссаговского и сказал, что, пожалуй, в Лондоне не станут возражать, если Мозаффер обретет титул «его величества». Прибежал и турецкий посол, которого не пришлось уговаривать.

— Если,— сказал он, сердито отдуваясь,— великие державы, Англия и Россия, уже признали Мозаффера шахом, то мой султан Абдул-Гамид присоединится к их мнению.

Во дворец «Текиэ» прибыли чиновники русской миссии, и по старинному капризу случайности все они носили фамилии не так уж далекие от литературы: Лермонтов, Григорович и Юра Батюшков, студент-переводчик. С ними прибыл Тютрюмов, директор русского банка в Тегеране, его сопровождал бухгалтер Потехин (был и такой писатель). Все наперебой спрашивали — кто убийца? Садразам Амин-Султан сказал:

— Я знаю только имя его — мулла Реза Кирмани, но каковы мотивы его злодейства, покажет нам следствие...

Щеглов отозвал Коссаговского в сторону, шепнул:

— Вашей казачьей бригаде окружить дворец и банк...

— Вы плохо обо мне стали думать,— отвечал полковник.— Я давно это сделал. Тем более кстати, что тегеранский губернатор Наиб уже засел в загородном дворце, как в крепости, и затребовал из арсенала семьсот винтовок...

Щеглов сразу же навестил Наиб-ус-Султапа, которого настал в страшном волнении. Он не отрицал, что гарнизонные полки на его стороне, и он согласен будет отстреливаться.

— Вы, русские, не знаете, сколько трупов бывает навалено каждый раз, когда Каджары заполняют пустующий престол. Кто защитит меня и мою семью?

— Вы забыли о России, от священного имени которой я клятвенно обещаю вам защиту силой оружия, если вы признаете законность избрания вашего брата-валиага, уже гниющего в Тегеран... Вы поймите,— горячо убеждал Щеглов,— что, если не поддержать сейчас Мозаффера, на Тегеран обрушится с юга неистовый Зели-Султан с армией

бахтиаров и курдов, которые все живое здесь вырежут сразу...

Уговорил. Ночью Тегеран, правда, не раз вздрагивал от одиночных выстрелов. А. Н. Щеглову нелегко далась эта ноченка: «В душу закрадывался вопрос — все ли пройдет благополучно или, по прежним примерам, над Персией снова разразится кровавый, бессмысленный бунт?..» На другой день Насср-Эддина похоронили в ограде дворца «Текиэ», и только теперь объявили народу, что его не стало. Совсем некстати в Тегеран прибыла научная экспедиция графа А. А. Бобринского, бравшего на себя задачи этнографа, его сиятельство сопровождал известный зоолог П. В. Богоявленский. Граф учтиво спросил:

— Можно ли тут заниматься чистой наукой ради науки?

«Как раз балаган, только ярмарки не хватает», — с неприязнью подумал Щеглов, отвечая не менее учтиво:

— Не ручаюсь за животный мир Персии, ее антилоп и верблюдов, но ради этнографического интереса не советую бывать на базаре, ибо в Тегеране началось стихийное подорожание продуктов, а на окраинах столицы оживились шайки разбойников... Лучше попейте с нами чайку!

В эти дни Персидская казачья бригада охраняла не только русское, но и все иностранные посольства, в том числе и британское, ненавистное персам, и все послы душевно благодарили русских коллег. Консул из Астрабада докладывал Щеглову, что на побережье Каспия, слава богу спокойно: «Даже кочевые туркмены смирились, поняв, что за порядок в Персии отвечает Россия, и разбойничать, как раньше, она им не позволит...» В честь нового шаха в Тегеране салютовали из пушек, а в Европе царило полное недоумение:

— Как? Персия произвела рокировку шахам и при этом не было пролито ни капли крови? Ну, тогда это уже не Персия, какую мы знаем, а... черт знает что такое!

В русском посольстве тоже недоумевали, но на иной лад: почему вдруг спасовала высокомерная Англия, но поддержавшая своего подручного Зели-Султана, и так легко согласившаяся на Мозаффера, о котором было достаточно известно, что его кандидатуру поддерживают в Петербурге? Ответ тут прост: убийство Насср-Эддина было для всех крайне неожиданно, ни в Лондоне, ни в Испании, где сидел Зели-Султан со своими батальонами, никак не были готовы к тому, чтобы вмешаться в события. На-

конец, по словам А. Н. Щеглова, эти годы не прошли зря, «европейская цивилизация, медленно проникая во владения Каджаров, все-таки делала свое дело, смягчая дикие нравы старой Персии. К тому же персы успели осознать пользу от добрососедских отношений с Россией... при таких условиях стоило воздержаться от грабежей и убийств».

Может быть, прохладные ветры, задувавшие из Европы, что-то изменили в старых порядках, ибо убийца Насср-Эддина избежал пыток. Реза Кирмани оказался членом панисламской партии, а его политическое кредо было насыщено религиозным фанатизмом, далеким от политики:

— Зачем нам капитализм, зачем нам социализм и мерзкая демократия, если у мусульман имеется Коран, и одного Корана вполне хватит, чтобы разрешить все политические и экономические вопросы, и тогда великие идеи Магомета окажутся способными потрясти весь мир...

Он приехал в Персию из Турции, а сведения о посядках Насср-Эддина получал от своей родственницы, бывшей служанкой при гареме шаха. Стало известно, что из Турции он выехал не один, но своих соучастников не выдал, а судей Реза Кирмани ставил в тупик невероятной мешаниной анархизма, густо заквашенного на дрожжах мусульманской ортодоксии.

— Вот увидите,— угрожал он следствию,— мне еще будут поставлены в Тегеране памятники, ибо я ниспослан на землю свыше, чтобы моей рукой пресечь жизнь деспота, который отдал мусульманскую страну на поругание неверным христианам... К чему эти трамваи, если можно запрячь осла? К чему эти типографии, печатающие газеты, если у нас имеется одна единственная книга, в которой заключена вся мудрость Пророка...

Цитирую: «Следователи даже побаивались злодея, который забавлялся тем, что скалил зубы, свирепо рычал, как зверь, и они были рады, как можно скорее покончить с этим делом, никак не поддававшемуся их разумению». И рассматриваю старую фотографию убийцы, скованного цепями со своим конвоиром, и, честно признаюсь, что его лицо — лицо фанатика — наводит меня на некоторые современные сравнения... Что-то очень знакомое чувствуется в его речах!

Убийцу повесили на площади Тегерана, а горожане, слишком далекие от его воззрений, ходили под виселицей, почти равнодушные к судьбе казненного, который своими



длинными ногами едва не задевал их голов, имевшие иные заботы...

Мозаффер-шах въехал в Тегеран, его карета была плотно окружена всадниками Персидской казачьей бригады, державшими шашки наголо, как перед атакой.

Персия страшилась нового, но боялась и возвращения к старому. По-человечески персов можно понять. Когда уходит один тиран, то все невольно задумываются — каково будет новый деспот?

Вы заметили, что я всюду употребляю слово «Персия», не говоря об Иране, как это принято у нас ныне, хотя Персидский залив остается персидским, персидская сирень пахнет Персией, а персидская поэзия — боль души моей. Называть же Персию Персией у меня есть веские основания, ибо эта страна стала называться Ираном гораздо позже — лишь в 1935 году. А сейчас, приближаясь к финалу XIX века, я буду говорить о Персии... только о ней, возлюбленной!

Европейские дипломаты, которых не упрекнешь в незнании обширного мира, тогда говорили истину о Персии:

— Сюда приезжают со слезами, а уезжают с рыданиями...

Еще в пору своей молодости, работая над романом «Слово и дело», я впервые вдохнул дурмящий аромат персидских роз, впервые заглянул в раскаленные очи персидских женщин, глядевших из прошлого через прорезь чадры, и не тогда ли я полюбил эту страну, как люблю и поныне множество ее климатов, все ее несовместимы крайности, ее плачущих в счастье мужчин и хохочущих в горе женщин, мне понравилось раскаленное пекло ее пустынь, где ветры заметают караванные тропы, я хочу отдохнуть от жизненных несурзац в прохладе ее садов...

А кто они, эти наши южные соседи?

Так ли уж хорошо мы их знаем?

Сомневаюсь...

Персы имели право сравнивать свою страну с пушкой, которая есть ничто иное, как большая дыра, окруженная бронзой. В самом деле, внутри государства залегла гигантская пустыня, почти безлюдная, вокруг этой пустыни разместилось вавилонское столпотворение всяких народов, пришлых и местных, оседлых и кочующих, тысячи враждующих племен и различных наречий, множеству

городов, деревень, пещер и просто нор, вырытых в земле, в которых люди зарывались в опалые листья, чтобы согреться. А на юге страны, где притихла провинция Фарсистан, там донны лежат, восхищая археологов, сказочные руины Пасаргада и Персополиса, эти помпезные Версаль и Трианон глубокой древности мира, где когда-то цвели благоуханные сады царя Ксеркса, а потом укрывались разбойники, делящие добычу, отдыхали усталые пантеры и вили гнезда аисты. Пожалуй, вот именно этот клочок древности (с городом Ширазом) и есть осколок настоящей былой Персии, где жили чистокровные персы, иначе — парсы или фарсы, а все остальное, что окружает великие пустыни, — то не Персия, скорее, это просто великое кочевье завоевателей Персии, которые, покорив ее, так здесь и остались.

Начинайте же плакать! Мы въезжаем в Персию.,  
Я еще увижу всех вас — рыдающими.

## Глава вторая. УКРАДИ И ПРОДАЙ

Зачем, спрашивается, грабить банк, если можно основать банк?

*Бертольд Брехт*

### 1. БУКЕТ НА МОГИЛЕ НОБЕЛЯ

Нобелевской премии я, конечно, никогда не получу, и психологически подготовленный к этому печальному факту, я позволю себе говорить о Нобеле с отважною откровенностью, несколько не заискивая перед членами Нобелевского комитета по присуждению названной мною премии.

В самом деле, из чего слагается эта премия?

Это, по сути дела, чудовищная смесь апшеронской нефти, жирной, черной и грязной, в немислимом сочетании со взрывами динамита,— читатель уже понимает, что из подобного синтеза ничего путного не получится, и только Нобелевские премии иногда облагораживают наши мазутные отрывки да еще таблетки нитроглицерина, купленные на углу в аптеке, кое-как облегчают наши сердечные страдания...

Что ж, пора приниматься за дело,  
За старинное дело свое.—  
Неужели в жизнь отшумела,  
Отшумела, как платье твоё?

• . . . . .

Теперь поговорим серьезно, как говорят люди, привлеченные к допросу, когда от них требуют «чистосердечного» признания и советуют как следует «подумать»...

Думая об Альфреде Нобеле я признаю, что в этом человеке сочетались две несовместимые крайности. С одной стороны, он своими изобретениями способствовал массо-

вому уничтожению людей в войнах, а с другой стороны он являлся сторонником вечного мира, и Нобелевская премия мира — это не каприз «чокнутого» гения-одиночки, а вполне здравая и хорошо продуманная идея.

Наверное, легко писать о человеке, о котором никто ничего не знает (и знать не желает), зато как трудно воссоздать черты личности, ставшей хрестоматийной. Динамит в переводе означает «сильный», и Альфред Нобель был человеком сильного характера, что он доказал своей жизнью. Монополист мощной взрывчатки, он и сам ощущал небывалую мощь своего интеллекта, но речи его были загадочны, как и он:

— Мои динамитные заводы скорее положат конец войнам, нежели речи дипломатов в защиту мира. Отныне я не вижу причин держать тысячи солдат в казармах, пусть они разбегаются по домам. Своим динамитом я дал такое оружие уничтожения людей, что любая война становится бесполезной, ибо вместе с побежденными погибнут и победители...

Нобель всю жизнь обладал слабым здоровьем.

— Я лишь жалкий получеловек, — говорил он. — Если бы акушер, принимавший роды у моей матери, задушил меня сразу, он оказал бы немалую услугу всему человечеству.

Друзья (а были ли они у него?) спрашивали — неужели у него никогда не было сердечных привязанностей?

— Друзей можно иметь только среди собак или могильных червей. Да и собаки заинтересованы в дружбе со мною едино лишь ради насыщения, как и могильные черви, ожидающие продуктов химического распада моего тленного организма...

Список его изобретений велик. Из его потаенных лабораторий появился капсюль с гремучей ртутью, Нобель составил рецепт бездымного пороха. За ним — газовая сварка, искусственные шелка для женщин, гуттаперча для детских игрушек. Наконец, свободомыслящий гражданин США, садясь на электрический стул, конечно, не станет спрашивать своего палача:

— Скажите, пожалуйста, кто изобрел это чудо?

На это ему бы ответили:

— Вот так чудак! Неужели ты не слыхал о Нобеле?..

Синодик жертв Нобеля оказался впечатляющ! Баронесса Берта фон-Зутнер, урожденная Кинская, бывшая секретарем Нобеля, прославилась пацифистским романом

«Долой оружие!» (за который в 1904 году получила Нобелевскую премию мира). В романе она заранее оплачивала человечество, которому суждены танталовы муки будущей войны, она доказывала Альфреду Нобелю, что усилия всех народов в борьбе за мир могут положить предел всем войнам на планете.

— Все это ерунда! — отвечал ей Нобель. — Страх перед ужасом — вот что важнее... А мои динамитные мастерские, тресты и химические лаборатории активнее ваших мирных конгрессов...

Динамита казалось уже мало для его целей, и Нобель подумывал об изобретении бактериологического оружия.

— Если такой дамоклов меч повесить над постелью каждого мыслящего человека, — утверждал он, — мы скоро увидим чудо: война попросту станет невозможна...

Одинокий человек, без семьи, без друзей, без жены и даже без родины, Альфред Нобель был образцовым космополитом. Он сознательно публиковал свои стихи и пьесы, написанные на четырех языках, дабы все видели его «международность».

— Мой брат Людвиг мечется между Петербургом, где имеет завод по выделке двигателей, и между Баку, где в его честь грохочут фонтаны нефти, называет себя русским, считая Россию своим отечеством. Глупец! — усмеялся Нобель. — Моя родина там, где я в данный момент нахожусь, а действую я во всем мире, — говорил он...

Не будем забывать, читатель, что к своим доходам от сверхдинамита он «подсасывал» ресурсы из нефтяных скважин Баку, так что, в каждой Нобелевской премии не только силы взрывов его динамита, но и свет керосиновой лампы, который освещал жизнь наших бабушек. Награжденный многими орденами многих стран, даже экзотическим орденом Розы, полученным от бразильского короля Дон-Педро, Нобель относился к ним равнодушно:

— Конечно, я получил их не зря. Сам знаю, что у меня немало достоинства. Например, я содержу в чистоте свои ноги, не забываю стричь ногти, я никогда не лаюсь с прислугой и стараюсь не мозолить глаза публике своей вечно недовольной мордой. Разве эти качества не достойны награждения орденами?

Его редко видели люди, он никогда не гонялся за рекламой, презирая свою популярность. Нобель проживал анахоретом-затворником, избегая оживленной публики. Даже на свои заводы проникал крадучись, подобно вору в

ночное время, и на каждом заводе имел тайную лабораторию, в которой неутомимо экспериментировал. Его долго занимала кощунственная идея — безболезненное убийство человека, который не хочет жить, желая переселиться в другой мир, не ощущая страданий...

Но однажды на улице Вены он невольно вздрогнул.

Перед ним стояла девушка с корзиной цветов.

— Купите цветочек у несчастной сиротки, — жалобно просила она, — и бог воздаст вам сполна за один лишь цветочек.

— Как тебя зовут? — спросил Нобель, любуясь ею.

— Сильвия Гесс, — отвечала скромница...

До конца жизни он успел написать для нее 216 нптимных писем, которые Сильвия дальновидно сохранила для судебных процессов в будущем. Нобель не отказывал девке ни в чем, и она привыкла запускать свою нежную лапочку в доходную кассу Альфреда Нобеля, черпая немалую толику от взрывов динамита и от мощного напора бакинских нефтяных скважин. В это время швед Соломон Андрэ, имя которого столь почтено в нашей стране, желал достичь Северного полюса на воздушном шаре. Но у героя не было денег для постройки такого шара. Нобель субсидировал его для полета на «макушку» земли, и все в мире достойно расценили великодушный жест бескорыстия Нобеля. Однако правда была в ином: Альфред Нобель желал испытать воздушный шар для фотографирования военных объектов с заоблачной высоты...

Рожденный в 1833 году, Нобель, и без того болезненный, с возрастом стал впадать в депрессию, его пессимизм усилился. «Опасаясь, — писал он в таком настроении, — что вечному миру, о котором писал Кант, будет предшествовать мир могилы».

— Вы напрасно думаете, что у меня нет желаний, — говорил он Берте фон Зутнер. — У меня есть давнее и очень страстное желание, но единственное — не быть погребенным заживо...

Альфреда Нобеля «заживо погребли» в 1888 году!

Случилось это так. В России умер его бакинский брат Людвиг, по в газетах Европы — по оплошности репортеров — объявили о смерти не Людвига, а именно Альфреда Нобеля...

Лучше было не читать того, что о нем пишут!

Альфреду Нобелю казалось, что он и в самом деле мертв.

Только теперь о нем, уже мертвом, стали изрекать истины, сущность которых выражалась в чудовищных эпитетах, весомо дополняющих его имя: «король убийств», «миллионер на крови», «спекулянт взрывчатой смертью»... В этот момент, отбросив газеты, он — еще живой! — даже не скорбел о кончине брата: Нобель весь был под впечатлением той страшной характеристики, какую общество давало ему сейчас — после его мнимой смерти!

Альфред Нобель оказался надломлен: неужели в памяти потомства он сохранится только злодеем международного масштаба? По-новому обрели дурной смысл и его слова, сказанные им когда-то в минуту скверного настроения:

— Мир должен принадлежать аристократам гения, Атиллам точных наук и Зевсам технического прогресса. Но при этом недопустимо расширение прав демократии, ибо в конце концов любая демократия приведет человечество к образованию диктатуры, составленной из отъявленных подонков человечества!

Но после ошибочного объявления о его кончине, которую так горячо приветствовали газеты всего мира, Нобель... заметался. Он не находил себе места на всем гигантском земном шаре, в который вцепились эти мерзостные «бесхвостые обезьяны» и который теперь постоянно сотрясался в сериях взрывов его совершенного супердинамита, уже вступившего в конкуренцию с новоизобретенным и более мощным кордитом.

— Странно! — недоумевал Нобель. — Мне всегда думалось (или хотелось так думать), что я облагодетельствую человечество незаурядными выдумками своего ума и своего интеллекта. Но оказалось, что в мире меня считали лишь вульгарным разносчиком смерти... Увы, я начинаю чувствовать, — грустно вздыхал Нобель, — что моя жизнь пишется как авантюрный роман, в котором кто-то вырвал благополучный конец!

Отныне Нобель и сам сознавал, что необходим крутой поворот, чтобы в конце жизни поставить сочный восклицательный знак. Его дерзкое появление на Всемирном конгрессе мира в 1889 году вызвало забавную веселость одних и угрюмое недовольство других миролюбцев. Оптимисты говорили:

— Если и Нобель с нами, мир можно отстоять!

Но пессимисты лишь пожимали плечами:

— Как он смел оказаться здесь? Что может он пред-

ложить для дела всеобщего мира, кроме своих убийственных арсеналов?..

Нобеля иногда спрашивали, сколько у него денег, на что он отвечал, что никогда их не пересчитывал. Нобеля спрашивали, как он думает распределить свое богатство между законными наследниками, и тут Нобель заметно оживлялся:

— Надежды на получение наследства всегда плодят тунеядцев и паразитов, а я всю жизнь трудился, как лошадь, и не затем, чтобы мое состояние было разбазарено наследниками, уже давно отупевшими в ожидании моих денег...

Часто составляя завещания, Нобель каждый год перedelывал их заново, все больше уменьшая сумму наследства для родственников. Сильвия Гесс, его венская пассия, вышла замуж, как богатейшая невеста, но 216 интимных писем Нобеля оставались у нее, и эта «сиротка» знала, что ей делать:

— Я еще посмотрю, кто главный родственник Нобеля...

В 1890 году Альфред Нобель дал публичное интервью.

— Внимание! — объявил он. — Прошу господ-журналистов записывать мои слова точнее. Я собираюсь оставить после себя крупную сумму НА ПООЩРЕНИЕ ИДЕАЛОВ ВСЕОБЩЕГО МИРА, хотя и отношусь весьма скептически к последующим результатам европейской политики. Пусть среди нас появятся даже лауреаты мира, по войны будут продолжаться до тех пор, пока роковая сила чрезвычайных обстоятельств не сделает их невозможными...

Что он имел в виду под «обстоятельствами»? Или, может, в тиши лабораторий готовил взрывчатку такой силы, что от планеты отвалится кусок с Испанией или Австралией? Мы не знаем тайных соображений Нобеля... Сейчас он метался по Европе, меняя страны, города, отели — и всюду ему не нравилось. Наконец, захав в Италию, он, кажется, нашел именно то чудесное место, где рассчитывал успокоиться.

— Теперь не время размышлять, как жить, — говорил Нобель. — Пора подумать о том, как лучше умереть. А сама истина жизни откроется человеку, когда он подойдет...

Он купил виллу в Сан-Ремо на берегу Ривьера-ди-Поненте, в пяти часах езды от Генуи. Узнав, что среди них собирается жить сам Нобель, местные жители встретили



его враждебно. Соседи нобелевской виллы требовали выселения Нобеля, чтобы он своей репутацией не портил людям хорошего настроения... Здесь, в тиши итальянского курорта, Нобель — под шум моря — обдумывал самое зловещее свое изобретение:

— Приют для самоубийц! Пусть моя вилла в Сан-Ремо станет прекрасным убежищем для всех разочарованных в жизни, для кого смерть является спасением из запутанного лабиринта жизни. У меня все продумано. Последние дни самоубийства живет в райской обстановке, после чего садится на стул, изобретенный мною. Едва заметное нажатие кнопки — и он мертв от удара электричеством. А нажатие кнопки, убивая человека, заодно уж оповещает полицию о смерти еще одного неудачника...

Этот стул для самоубийства впоследствии и явился прообразом электрического стула для казней преступников в Америке.

Осенью 1896 года, уже прикованный к постели, он жаловался, что всякие международные попрошайки, гвоздя за свою жизнь не заколотившие в стенку, выпрашивают у него деньги:

— Ежегодно я теряю на этих подачках семь миллионов шведских крон. Согласитесь, что за такую сумму Ротшильды удавились бы от жадности. А я даю... Просят — значит им надо. В сущности я социал-демократ. Хотя и умеренный...

Странное заявление! Сделав такое ошеломляющее признание, Нобель скончался 10 декабря того же года, и вот тогда вскрыли его завещание. Шведы транжирами и мотами никогда не были, потому, наверное, вся страна почувствовала себя оскорбленной, негодуя по той причине, что «динамитные» капиталы распылятся по свету, а не войдут целиком в банки их зажиточного королевства. Ужас охватил и родственников Альфреда Нобеля — шведских и русских. Обычный листок бумаги, наскоро исписанный покойным, казался для многих страшнее динамита и кордита.

Дело в том, что весь свой капитал Нобель завещал на учреждение премий, которые ежегодно получали бы те ученые и писатели, которые принесли «наибольшую пользу человечеству». Наконец, часть своего капитала Нобель завещал в награду поборникам мира — тем, «кто наиболее и лучше других содействовал братскому сближению наро-

дов и упразднению или уменьшению стоящих под ружьем армий...»

Родственники, считая себя обделенными, собирались опротестовать это завещание Альфреда Нобеля:

— Юридически оно незаконно, составленное в припадке умоиступления, само же завещание даже не заверено нотариусом.

Тут появилась и Сильвия Гесс, потрясавшая внушительной пачкой любовных писем покойного, им же подписанных.

— Но в любви-то,— расхохоталась она,— разве требуются заверения нотариусов? Читайте! Пусть все знают, что я была любимой женой Альфреда Нобеля, а потому... к черту все эти премии для бездельников, вопящих о мире и разоружении! Если я не получу свое, так я устрою такую войну... о-о-о, вы меня еще не знаете! Но узнать меня вам придется...

Большинство же людей в мире просто недоумевало:

— Наверное, Нобель понадобилось замолить перед нами свои грехи. Вот и расплачивается золотом за всю ту кровь, что была пролита при взрывах нитроглицерина и динамита.

.....

...А мне, грешному, все думается: черт побери, а ведь в каждой Нобелевской премии сохранилась хоть капля бакинской нефти, и, кладя под язык таблетку нитроглицерина (спасибо Нобелю!), я невольно содрогаюсь от взрывов, расширяющих мои суженные кровеносные сосуды...

.....

Примерно таков был человек, бывший одним из со-владельцев «Товарищество Бр. Нобель и К<sup>о</sup>». После его кончины вся мощь керосино-мазутного концерна в Баку стала принадлежать его русскому племяннику Эммануилу Людвиговичу (1859—1932), который родился в России, а умер в Швеции.

Его повестил Рагнар Сульман, бывший секретарем покойного, и сказал, что от его решения зависит судьба замощания Альфреда Нобеля: остаться ли капиталам в семье Нобелей или... или послужить всему человечеству. Эммануил Людвигович подумал, что выгоднее для престижа его фамилии и его фирмы.

— Мой дядя Альфред всегда был скупейшим Гарпаго-

ном,— сказал он,— и столь широкий жест его в канун смерти я воспринимаю как деяние человека не совсем нормального. Вы же сами знаете, что некоторые афоризмы моего дяди требуют изучения не со стороны юристов, а самого Ламброзо. Впрочем,— торопливо договорил Нобель,— я отказываюсь от своей доли в дележе наследства и своим авторитетом сумею повлиять на своих шведских племянников, чтобы они не предъявляли претензий на дядино наследство. Надеюсь, что такое мое решение послужит не войне, а укреплению мира во всем мире...

Я закончу эту главу неожиданно. Через год после смерти А. Нобеля в Гамбурге, где находился главный завод по выделке динамита из нитроглицерина, был сооружен памятник с надписью: «Изобретателю динамита...» Бронзовая фигура женщины, воздевшей над собою факел, попирает ногой затылок поверженного мужчины, лицо которого искажено почти звериной злобой. Но при этом мужской торс образует какое-то чудовище, сливающееся воедино с глыбой каменного пьедестала. Надо полагать, что женщина со светочем — это олицетворение мира, который победит чудовище войны.

Вернемся, читатель, к нефтяным вышкам Баку...

## 2. НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

«Стандард ойл» уже давно пыталась сговориться с «Королевской нефтяной компанией», сосавшей нефть из пышной груди восточных «принцесс» Суматры и Явы.

— Постарайтесь внушить этим болванам,— диктовал свою волю Рокфеллер,— что это, наконец, глупо, если два таких громадных концерна будут действовать разобщенно...

Голландцы, народ упрямый, на уговоры не поддавались.

«Стандард ойл» пришла к неутешительным выводам: «С каждым днем положение становится все более серьезным и даже опасным. Если мы не сумеем овладеть ситуацией в ближайшее время, это могут сделать русские, Ротшильды или кто-либо другой...» Рокфеллер пытался привлечь на свою сторону другую голландскую компанию «Моера эним», солидным пакетом акций он хотел соблазнить английскую компанию «Шелл», имевшую нефтепромыслы на Борнео. Но британцы, всегда осторожные в сго-

ворах с американцами, уклонялись от союза с Вродвеем, а министерство колоний Голландии запретило «Моера эним» сливаться со «Стандард ойл». Это решение Гааги обрадовало и русских нефтепромышленников, которые побаивались «Стандард ойл» на обширном керосиновом рынке Дальнего Востока...

Эммануилу Людвиговичу исполнилось 37 лет; это был трезвый и расчетливый капиталист, смолоду приобщенный отцом к делам своей фирмы, он «купался» в нефти, как рыба в родимой стихии, инстинктивно выбирая точные пути миграции.

— Голландцы, — здраво рассуждал он, — с трудом вытаращиваются из кризиса, в который их загнали напористые янки. Борьба за рынки сбыта обостряется, и, как бы мы ни старались остаться в роли посторонних наблюдателей, рано или поздно Россию все-таки вызовут «на ковер» международной арены, предложив показать свое искусство захватов, бросков и прочее. Кто победит в этом «гамбургском счете»?

Его пожелал видеть министр финансов Витте, и при свидании с ним Нобель высказался в том же духе своих размышлений, а Сергей Юльевич обострил тему, задав прямой вопрос:

— Чтобы вы лично сделали бы, будь вы на месте голландцев?

— Наверное, стал бы искать богатого компаньона, чтобы пришвартоваться к надежным пристаням лондонского Сити. Сейчас англичане заметно отстали как в поисках, так и в разработке нефтяных ресурсов, и они, смею думать, охотно пойдут на соглашение с голландцами. Тем более, — продолжал Нобель, — коммерческим директором в «Ройял датч» состоит молодой человек Генри Детердинг, и он, кажется, уже примелькался в кабинетах лондонского Сити.

— Аннотируйте мне Детердинга подробнее, — попросил Витте.

— А что сейчас предпринимает Рокфеллер? — задал он вопрос, выслушав характеристику.

— Как говорят русские, он роет землю рогами. Предчувствуя мощную конкуренцию в Азии, его компания запелеснула своим керосином райские острова Яву и Суматру, сбывая его по самым низким ценам, лишь бы подорвать величие голландцев.

Витте засмеялся и сказал, что XIX век заканчивается

совсем иначе, нежели предыдущие, и, если в конце XVIII столетия Европа ополчилась против революционизирующей Франции, то теперь весь мир словно сошел с ума:

— Все помешаны на экономическом соперничестве, и американский «бизнес» стал притчею во языцах,— сказал Сергей Юльевич.— Кстати, а как поживают ваши соседи Манташевы?

— У них сильные позиции в Египте, что никак не может радовать англичан, но они, главные хозяева на берегах Нила, не могут дать своим нищим феллахам такого дешевого керосина, который поставляют им бакинские Манташевы...

Покидая министерство финансов, Эммануил Людвигович был уверен, что Витте как бы прощупывал его намерения, а заодно желал бы видеть нефтяную проблему не только в отечественном, но и международном масштабе. Совсем неожиданно для Нобеля его пожелал видеть генерал-адмирал русского флота великий князь Алексей, закаленный алкоголик и матершинник. За счет неограниченных ресурсов Балтийского флота генерал-адмирал содержал Элизу Балетта, французскую «пышку», которую никак не могла победить сила обществности (и только поражение при Цусиме заставило ее собрать свои манатки)... Эммануил Людвигович был принят в здании Адмиралтейства, из окон кабинета великого князя открывался освежающий простор Невы, звенящий «речными трамваями», которые развозили дачников по променадам Маргушкино и Оранienбаума.

Генерал-адмирал предложил Нобелю бокал «редерера».

— Послушайте! — напористо начал он.— Что там за хреновина с двигателями, работающими на жидком топливе? Правда ли, что будущее флотов зависит от всяких там керосинов, мазутов и прочей невыносимой вонищи?

— Ваше высочество,— почтительно отвечал Нобель,— я не могу ручаться за будущее морских сражений, но мой паливной «Вандал» явился первым кораблем мира, ходящим на мазуте.

— Какая же выгода?

— Экономическая. Наконец, подумайте, сколько сил берет у команд броненосцев извечная погрузка угля в портах. Потенциальная же энергия сгорания нефти превосходит уголь.

Генерал-адмирал долго и тупо смотрел в окно.

— Подождите, каково решат в британском Адмирал-

тействе. Пока англичане обходятся углем, нам не следует забегать перед ними зайцем, ибо в Лондоне, наверное лучше нас знают, какое топливо выгоднее для топок... Уголь хорош хотя бы тем, что не воняет!

. . . . .

Витте не видел особого греха в том, что иностранный капитал ломится в русские двери, давно переставшие быть перасторжимыми, чтобы, насытившись самому, насытить и русскую копилку, сильно оскудевшую. Министр был убежден, что времена «закрытых дверей» канули в Лету, а мир будущего делается общим рынком, независимо от того, какой валютой станут брэнчать торговцы и покупатели.

Адольф Юльевич Ротштейн, глава Международного коммерческого банка в Петербурге, известил министра, что берлинский банкир Мендельсон, дружески расположен к нему. Это было важно для Витте, который подумывал о государственном займе.

— Мендельсону можно верить? — спросил он.

Ротштейн, почувствовав доверительность в разговоре с министром, откинул фалды фрака и присел на диван.

— Вполне, — отвечал он. — Как не верить человеку, в доме которого черную икру едят столовыми ложками, но при этом услаждаются игрой на виолончели Пабло Сарате.

— Это ерунда! — отвечал Витте без тени улыбки. — Вы судите по немецким меркам. Между тем, я сам видел на Волге, как эту же икру пожирали наши грузчики, заменяя при этом виолончель игрой на гармошке... У вас ко мне дело?

В столице давно поговаривали, что Ротштейн является в Петербурге тайным агентом Ротшильдов (только, в отличие от Скальковского, не берет взятку на Фуфу, Марго, Манон и прочих). Как и следовало ожидать, он завел разговор о Ротшильдах, отводя самих Ротшильдов в удобную тень.

— Ноэль Бардак, — назвал он имя парижского банкира, — просил вас принять Жюля Арона, желающего высказать с глаза на глаз то, с чем сам Ротшильд не смел бы вас тревожить...

Витте любезно принял Жюля Аропа, который высказал ему недовольство по поводу того, что русские газеты в понимании Ротшильда на Кавказе усматривают «еврейские

козни», совсем не думая о том, какой колоссальный доход приносят Ротшильды таможням России при вывозке керосина через порт Батум. Витте внимательно слушал.

— На Рю-Лафит уже привыкли к подобным инсинуациям, но все-таки я прошу вашего авторитетного вмешательства, чтобы русские писатели прекратили травлю нашей компании.

Сергей Юльевич пожаловался Арону, что его положение сложное. Он еще не освоился в кресле министра, а газеты уже подвергают его критике, считая, что в делах о бакинской нефти он отдает свое предпочтение не Мантасhevым или Тагиевым, а семейству парижских Ротшильдов. Витте обещал дать в печати «опровержение грязных слухов», и тогда же Арон доложил Альфонсу Ротшильду, что он остался «в восторге от полученных (от министра) ответов, потому что они вполне соответствуют нашим взглядам...»

Между тем, читатель, не станем думать о Витте односторонне, ибо он отдавал предпочтение не самим Ротшильдам, а — капиталам Ротшильдов, и в вопросах бакинской нефти, как ее продавать дороже, был согласен и на большее.

— Адольф Юльевич, — сказал он Ротштейну, зная, что его слова дойдут, куда надо, — я не скрою от вас, что империя нуждается в долгосрочных и крупных кредитах. А посему я заранее поднимаю шлагбаумы перед англичанами, если они пожелают пахлебаться дешевой нефти из бакипских неиссякаемых скважин... Может, этот мой позволительный жест сделает банкиров Сити сговорчивее в предоставлении ими займов для оскудевшей России...

Витте пожелал видеть император Николай II:

— Сергей Юльевич, — смущенно начал он, покашливая и поглаживая усы, — у меня к вам вопрос и не знаю, как вы к нему отнесетесь... Согласен, что мы нуждаемся в займах, но как быть, если новый персидский шах Мозаффер желает подзаять у нас.

Витте начал было размусоливать свои теории об возможности займов на берегах Сены или Темзы, говоря, что выручить шаха необходимо, но только в том случае, если Россию выручат займами французы или англичане.

— Одной рукой брать, чтобы другой давать, — без выражения произнес император. — Не ручаюсь за Париж, но Англия сейчас имеет неприятности с бурами в Трансваале, и вряд ли она в нынешнем положении станет делиться с нами...

Далее Николай II сообщил, что новый шах уже сместил Амин-Султана, давнего сторонника русской ориентации, и стал выдвигать в министры Насер-эль-Мулька, известного англофила.

— Но дать Мозафферу надо, — сказал император. — Если не дадим мы, тогда в Тегеране пересилит английское влияние, а нам не хватит ни ситцев, ни керосину, чтобы Россия была первым купцом на персидских базарах...

Кажется, Мозаффер-паша затем и выдвигал отъявленных англофилов, чтобы задобрить Лондон, из банков которого он желал выклянчить ни много, ни мало — всего-то 25 миллионов. Но дельцы Сити дураками никогда не были и не дали шаху ни цента, ибо Уайтхолл еще не знал, какой ориентации будет придерживаться Мозаффер в дальнейшем — лондонской или петербургской. Русского императора (а заодно и шаха персидского) выручил из нужды бакинский керосин. Как раз в это время ожидался визит в Петербург немецкого кайзера. Германия, в избытке богатая углем Рура, своей нефти не имела, закупая керосин в России, теперь она поглощала и цистерны с мазутом, необходимые для двигателей...

Летом 1897 года Вильгельм II навестил русского «кувена», остановившись со свитой во дворце Петергофа. По случаю его приезда состоялся парадный обед, на который был приглашен и министр финансов. Между кайзером и Витте состоялся разговор, причем Вильгельм II сначала пропел дифирамбы Витте, говоря, какой он умный государственный деятель.

— Догадываюсь, что вам без помощи моего Мендельсона все равно не обойтись, и мне, верному другу России, хотелось бы закрепить финансовые дела существенным актом...

С этими словами Витте был вручен прусский орден Черного Орла, о коем Сергей Юльевич не смел и мечтать.

— Такие ордена, — объяснил кайзер, — жалуются только коронованным особам, но для вас я делаю приятное исключение. Надеюсь, мы совместно удалим из Германии имериканцев, чтобы в каждой немецкой семье шумел примус и светила лампа, управляемая керосином от Нобеля...

Да, берлинская биржа расщедрилась, и займом в Германии царь мог поделиться с Мозаффером, чтобы волки были сыты и овцы целы. Керосин сыграл свою роль во внешней политике, ибо в рейхстаге — как раз в эти годы! — бушевали страсти, депутаты требовали положить ко



пеп монополии «Стандард ойл», настаивали на том, чтобы закупать только русскую нефть... Не керосин, как говорил кайзер, а именно нефть!

Витте повидался с Нобелем. Он сказал, что заем в Берлине вызвал большое недовольство во Франции, ибо финансовая зависимость России от Германии, конечно, таила некоторую угрозу для русско-французского содружества, ибо эвентуальным противником России является все-таки Германия.

— Теперь,— говорил Витте,— на Рю-Лафит меня прекают в легкомысленной поспешности, с какой я добыл этот заем. Вполне понимаю причины гнева Альфонса Ротшильда, ибо он, ссылаясь на пример вашего нефтяного флота, желал бы и сам иметь свои танкеры на Каспийском море...

— А — вы? — резко перебил его Нобель.

— Ротштейн, конечно, советует уступить Ротшильдам, но я не желаю их появления на Каспии, чтобы Париж оказался более уступчив в размещении русских займов. Наконец,— договорил Витте,— я, кажется, понимаю подоплеку награждения меня орденом Черного Орла... Рейхстаг настаивает на том, чтобы Германия закупала у нас сырую нефть, и германский император старался заранее меня задобрить в этом вопросе.

«Сырье!» Нобель в таких вопросах был гораздо умнее Витте, и он сразу понял, чем эти дебаты в рейхстаге опасны для русской нефтепромышленности. Возможности немецкой химии, передовой в мире, Эммануилу Людвиговичу были достаточно известны; и он растолковал министру финансов то, о чем он сам, кажется, еще не догадался:

— Настаивая на закупке в России нефтяного дистиллята,— сказал он,— немцы, по сути дела, объявляют войну нашим керосину и мазуту. В этом случае, получив доступ к сырой нефти, они сами и будут получать свой керосин и свой мазут, и тогда к борьбе против Рокфеллера мы получим второй экономический фронт... в Германии!

Любезность кайзера теперь выглядела провокацией.

— Вы не ошибаетесь? — спросил Витте у Нобеля.

— Надо же знать немцев...

— Что же вы посоветуете?

Нобель встал, показывая, что разговор закончен:

— Советовать я не могу, для советов у вас существует Ротштейн... Но вы не удивляйтесь, если вскоре Европа на-

полнится зловещими слухами, будто моя фирма согласна на тесное сотрудничество с рокфеллеровской «Стандард ойл».

— Возможно ли такое?

— Да! И в этом случае топливный и керосиновый рынок Германии будет зажат между двумя мощными непобедимыми фронтами — американским керосином и русским мазутом! Имею честь откланяться...

. . . . .

Мозаффер-шах, конечно, проиграл кое-что в Лондоне, зато он кое-что выиграл в Петербурге, где ему «отсыпали» немалую толику для путешествия по Европе. Посетив всемирную парижскую выставку, шах здорово «прибарахлился», накупив себе массу всякой ерунды, которая утешала и развлекала «этого стареющего ребенка»: барабанные револьверы и пианоллу, мебельные серванты и даже искусственные цветы из воска. Конечно, Мозаффер-шах — проездом через Россию — был поражен пышностью русского двора, а изобилие товаров в магазинах Петербурга просто ошеломило его, увеличив в нем склонность к транжирству, а заодно и усилив в шахе доверие к неограниченным щедротам богатой страны...

Между тем, в мире шла потаенная, внешне незримая для обывателей война за источники нефти и за рынки сбыта ее продуктов. И при дворе турецкого султана Абдул-Гамида во время очередного «селямлика» (?) он поманил пальцем к себе носатого армянина, состоявшего в его свите, который умудрялся уцелеть при любой «армяно-турецкой резне»:

— Гюльбенкян! — сказал султан. — Объясни ты мне, старому и глупому, что там эти гяуры так усердно воинятся с нефтью, как будто в мире нет дела поинтереснее?

Ответ Гюльбенкяна сохранился для нашей истории:

— Ваше величество, не утруждайте себя мыслями об этом ужасном напитке для услаждения ламп, примусов и паровозов. Все охотники до нефти подобны мартовским кошкам Стамбула, они издают ужасные вопли, и при этом никогда не понять, — то ли они дерутся, то ли занимаются искусной любовью...

Если мой читатель не забыл Генри Детердинга, то прошу запомнить и этого армянина Гюльбенкяна — эти люди ниц не раз встретятся на нашем пути.

### 3. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

Когда турецкий султан Абдул-Гамид устроил массовую резню армян, когда он вырезал греков на Крите, все страны были возмущены этим первобытным варварством, и только кайзер Германии помалкивал, чтобы остаться в «друзьях» султана. Для этого у него были потаенные цели, и эти цели заводили Вильгельма II далеко — до самых берегов Персидского залива. Железная дорога от Берлина до Багдада, проложенная пемцами, вот что занимало его воображение, и рельсы уже настилались — от Босфора до захудалой и знойной Ангоры, родины пушистых ангорских кошек, где со временем выросла новая турецкая столица — Анкара...

Абдул-Гамид, ненавистник людей, еще больше ненавидел электричество, подозревая в токах тайные козни гяуров, и никакие посулы европейцев, желавших осветить Стамбул уличными фонарями, не могли убедить султана в безвредности лампочек накаливания. Гигантские владения османлисов были уже давно раздерганы по кускам, но под властью султана еще сохранились обширные земли Востока, где Абдул-Гамид не мог справиться лишь с курдами и бедуинами Аравии, которые в необозримых пустынях жили, как им вздумается. Турция не вылезала из финансовых кризисов; в 1898 году — ради экономии — произошло очередное «сокращение штатов» даже в многотысячном гареме султана, причем уволенных одалисок султан «трудоустроил», выдав их замуж за албанских головорезов. На этом примере видно, как далеко шагнула цивилизация в Турции, ибо раньше лишних жеп без разговоров зашивали в мешки и топили в водах Босфора.

Осенью того же года султану нанес царственный визит германский кайзер. Абдул-Гамид принял высокого гостя в Ильдыз-киоске, кайзер не отказался от угощения, когда ему предложили верблюжью ногу с жирным пилавом. Но утаим истины: два монарха, христианский и мусульманский, тут же «раздавили» бутылку коньяка, закусывая спиртное вареными яйцами. Украшением их беседы был тост Вильгельма II, провозгласившего, что гудок немецкого паровоза скоро разбудит мрачные руины Вавилона в Месопотамии, где проживали толпы оборванных халдеев, армян, сирийцев и евреев. Затем в честь кайзера был устроен парад, и Вильгельму II было приятно, что турецкими дюжками командовали германские офицеры, гордо марши-

рующие под зеленым знаменем Пророка. Приятно было видеть в Стамбуле и Георга фон-Сименса, директора «Дейче банка», который был уверен, что рельсы Багдадской дороги непременно выведут Германию сразу на подступы к Британской Индии.

— Этот Джон Булл до того зазнался, что пора выбить ему передние зубы, чтобы он не слишком-то улыбался!

Кайзера в поездке на Восток сопровождали лютеранский пастор и католический епископ из Кельна, но, тронувшись в Дамаск, император велел им «не высовываться со своими крестами». Сам же он, обрядившись в арабский бурнус и водрузив на себя тюрбан правоверного, посетил могилу святого Салладина, произнеся такую речь:

— Ваш султан Абдул-Гамид и триста миллионов мусульман, почитающих в нем своего духовного халифа, отныне могут быть уверены, что именно во мне, в императоре германском, они всегда будут иметь лучшего друга и защитника. Сейчас я здесь лишь убогий пилигрим, совершивший дальней странствие, дабы поклониться вашим святыням...

Дамасский шейх Абдоба-Эффенди был так поражен этой речью, что спросил Бернгарда Буллова, германского канцлера: «Уж не приехал ли ваш повелитель, чтобы мы сделали ему обрезание?..» Буллов указал императору, что тот в своем рвении до Багдада зашел слишком далеко:

— С одной стороны, ваша буффонада может вызвать излишние иллюзии в Ильдыз-киоске султана, а с другой стороны — не забывайте о Петербурге, ибо русский царь, как и султан, имеет миллионы мусульманских подданных.

— Но дорога на Багдад, — отвечал кайзер, — стоит молитвы во славу Аллаха. Пусть на берегах Невы и Темзы бесятся, но после речей в Дамаске мой «Дейче банк» станет энергичнее тянуть рельсы до Багдада, а султан не будет возражать, если мы проложим подводный кабель от румынской Констанцы до самого Бабула...

Теперь, читатель, мысленно перенесемся еще восточнее, чтобы на восточной стороне Персидского залива отыскать малоприметный Бушир. От Шираза к рейдам Бушира протянулся «кашгайский» тракт, выводящий товары Персии к морю. Эта дорога от Шираза, пересеченная ущельями, была в ту пору доступна лишь вьючным животным да бесстрашным путникам, которые карабкались по крутизне, словно матросы по корабельным трапам. Зато сам Бушир, пыльным оазисом расцветающий среди при-

морских песков, был оживлен торговлею, персы свозили сюда ковры, опий и сушеные фрукты. В самый канун визита кайзера на Восток появились в Бушире немцы со своими товарами. Но среди манчестерских тканей и мешков с цейлонским рисом они увидели «головы» русского сахара и тюки с московскими ситцами. Немцам казалось, что они станут вытеснять с базара только индусов, но русские купцы уже сидели в лавках Бушира столь нахально, будто расположились у себя дома.

— Доннер веттер! — обозлились немцы. — Мы-топлыли сюда из Гамбурга через Суэц, а вы-то как попали сюда, если в Бушир и дорог из России никогда не бывало?

— Это не так! — отвечали русские. — Москва-матушка много дорог имеет, вот по одной из них мы и пришли сюда...

«Германо-Персидская торговая компания» была запланирована еще в Берлине, и там, как следует подумали, прежде, чем ее создавать, и только одного не учли в Берлине, что свободных лавок в Бушире давно нет, и компания сразу распалась. Немцам, желавшим из Бушира обеспечить тылы будущей Багдадской дороги, пришлось убраться восвояси. Русским на Востоке всегда везло в торговых делах, но все же не в такой степени, как везло англичанам...

. . . . .

Пробуривая скважины на задворках мира, англичане, очевидно, пришли к выводу, что вернее будет купить уже готовые скважины, опробованные в эксплуатации... Баку шумел несколько дней, когда узнал, что наехали англичане.

— Да где же они?

— Конечно, в Биби-Эйбате.

— А чего они там?

— Пять миллионов сразу выложили.

— Да за какие такие коврижки?

— А вот так! Взяли да и без лишних разговоров скупиди у мирзы Тагиева все его скважины...

Скважины Тагиева славились своим могучим папором и почти все они давали высокие фонтаны. Не успел мирза пересчитать свои миллионы, как англичане продали тагиевские скважины за десять миллионов. В городе опять шумели:

— Продали? Так кому же они продали?

— Англичане продали англичанам, а Тагиев плачет.  
— Кто же плачет, на миллионах сидючи?  
— Заплачешь... Каждый день ездит на Баилов мыс и глядит на Биби-Эйбат, как ревут, будто звери, его скважины.

Тагиев, верно, часто плакал теперь, говоря:

— Вот был в Баку только один умный человек — это я сам, но продал Биби-Эйбат англичанам и сразу стал дураком...

Англичане скупили у него лишь 30 десятин нефтяной земли заодно с керосиновой фабрикой. Тагиева еще раньше соблазняли Ротшильды, чтобы уступил им свои участки, но тут вмешался министр Витте и, запретив Тагиеву продавать свою фирму французам, разрешил продать ее англичанам. Нобеля не удивляло, что тагиевские скважины, ставшие английскими, стали давать более мощные фонтаны — просто англичане пошли со своими бурами глубже Тагиева, им открылись еще нетронутые пласты нефти. Но активность англичан Нобеля не радовала:

— Если раньше, — говорил он Белямину, — мы боялись продажности Скальковского в Горном департаменте, то теперь надо остерегаться интернациональных взглядов министра финансов Витте, который готов на все — лишь бы государственный бюджет России не выглядел в заплатках.

Белямин ответил, что для затыкания дырок в бюджете Витте и ввел винную монополию, внося смятение в умы обывателей.

— Кабаки, где православный человек мог посидеть с разговором, Витте позакрывал, теперь всюду магазины-монополии, где русский человек покупает бутылку. А где пить? Где закусывать? Где присесть, чтобы поговорить о жизни?

— Под забором, — хмуро отвечал Нобель. — Наш министр одной рукой разливает водку для русского человека, другой предлагает иностранцам понюхать нашего керосина... Продажа вина не «распивочно», а «на вынос», как и продажа нефтяных скважин, еще лежащих в земле, — все это чревато большими осложнениями русской жизни в будущем...

Белямин напомнил: компания «Шелл» уже гоняет по морям свои танкеры на нефтяном топливе, адмирал Фишер лается в Британском Адмиралтействе с другими ад-

миралами, которые привыкли ходить на угле, а Витте взятки не берет.

— Вы уверены, Михаил Яковлевич?

— Убежден. Зачем ему деньги, если он женился на богатой еврейке? Витте не станет ушживать себя взяткой от англичан, зато Россия — устами Витте! — потребует внушительного займа от банкиров Сити.

— Думаете, все это связано с бюджетом страны?

— А как же! Для того и стоят наши пьяницы за бутылкой в очереди, для выравнивания того же бюджета в Батуме наливают до краев полную чашу танкерам фирмы «Шелл»...

Впрочем, в Баку образовалась британская фирма «Олеум», для ее руководства англичане не стали звать «варяга» из Сити, а поставили Эвелина Губбарда, который в Петербурге владел текстильной фабрикой и хорошо знал условия жизни в России. Рокфеллер получил из Батума точную информацию: мощные выбросы на Биби-Эйбате вызвали ажиотаж на лондонской бирже, акции «Олеума» поднимаются в цене, а «в перспективе весь бакинский бизнес может попасть в руки британцев». Ничего утешительного Рокфеллер не вычитал из депеши американского консула в Баку, который извещал, что город переполнен англичанами: «Их так много, что Баку скоро превратится в английский город... никто не удивится, если в ближайшем будущем вся торговля перейдет в руки англичан».

На приеме в британском посольстве к Витте подошел Эвелин Губбард.

— Ваше доброе участие в бакинских делах, — сказал он, — вызывает большую тревогу русских газет, которые пишут, что мы появились в Баку так неожиданно, что...

— Не читайте наши газеты! — раздраженно отвечал Витте. — Вы можете не сомневаться в том, что моя благожелательность к Англии обеспечена вам и в дальнейшем.

Это и понятно: допустив англичан до бакинских скважин, Витте делал как бы учтивый реверанс перед банкирами Сити, чтобы они, благодарные ему за источники нефти в Баку, уже не смели отказывать в займах, необходимых для выравнивания «пьяного» бюджета. Оппозиция, конечно, существовала, и Николай II тоже сомневался в разбазаривании нефтяных ресурсов страны, но Витте доказывал, что бюджет государства может быть спасен только допуском иностранного капитала. При слове «бюджет» царь и его министры глубокомысленно затихали...

# Джунгли

ВОСТОЧНЫЙ РОМАН







## ЯНЫЧАРЫ

В предыдущих комментариях, чтобы окончательно не запутать читателя, я умышленно не касалась данного романа. На титульном листе написано: начат 26 апреля 1989 года. С этого момента невозможно ответить — над чем конкретно работал Пикуль. Я привыкла, что у Валентина Саввича в параллель шла работа над двумя или даже тремя вещами. Но в последний год его жизни творилось что-то невообразимое. Представьте, что после «Ступай и во греша», которую он написал за пятнадцать дней (!), отрешившись на это время от всего остального, дальнейший перечень его интересов включал одновременно: вычитку и редактирование только что законченного «бульварного» романа, работу над «Барбароссой», работу над «Янычарами», работу над серией новых миниатюр для третьего тома. В конце перечисления я не поставила союз «и», ибо его нужно отнести к роману о нефти, который, еще не отложенный Пикулем в сторону, лежал на столе, продолжая «мозолить глаза». Да и «Янычары», как увидим ниже, не простой роман, а — трилогия.

Трудно даже представить себе, как можно держать в голове сразу столько нитей, довольно мало связанных между собой повествований.

Писать о романе «Янычары» весьма затруднительно, точнее — очень сложно, поскольку надо проследовать за мыслью Пикуля теми же извилистыми, запутанными, порой невообразимо трудно-объяснимыми путями.

Не буду долго интриговать читателя, сразу скажу главное: публикуемый здесь отрывок должен дать представление о произведении, в котором Валентин Саввич решил объединить давно задуманные, но по отдельности так и не реализованные романы — «Янычары», «Пирамиды» и «Лицо жестокого друга».

Чтобы быть абсолютно честной, я должна некоторые абзацы этого комментария начинать словами: «по всей видимости...» или им подобными, несущими вполне конкретную смысловую нагрузку.

Дело в том, что на различных этапах творческих исканий Валентин Саввич делился со мной планами написания каждого из названных романов. Но подробный разговор о том, как и почему он решил слить их воедино, у нас состояться не успел.

Поэтому к некоторым умозаключениям я пришла самостоятельно в результате кропотливого изучения всех записей и пометок Валентина Саввича, относящихся к этим романам, — работы, похожей на следовательскую, когда версии требуют документального подтверждения.

Впервые слово «янычары» я услышала от Пикуля в 1983 году, когда под его диктовку записывала один из планов. Я попросила пояснить малознакомое слово и, если можно, коротко рассказать о романе. Валентин Саввич с охотой выполнил просьбу. Из его очень доходчивых объяснений мне стала понятна и основная сюжетная линия романа, и я узнала, в частности, что янычары — это особая часть турецкой армии, представляющая собой профессиональное войско, свободное от семейных забот, состоящее преимущественно из христианских юношей, захваченных в плен, прекрасно обученных военному делу, отличающихся необузданным мужеством и воспитанием в духе мусульманского фанатизма.

Спустя некоторое время я вновь услышала упоминание о янычарах, но в контексте восторженного рассказа Валентина Саввича о делах и смерти Байрактара. Тогда же неоднократно прозвучало и название — «Лицо жестокого друга».

Сначала я подумала, что Валентин Саввич ищет миниатюру, так характерно было название и концовка рассказа — в миниатюрах Пикуля, как правило, прослеживал путь своего героя до последних дней его жизни.

Короткое, «миниатюрное», но яркое знакомство с пикулевским героем почти всегда вызывает желание узнать о нем побольше, познакомиться с ним поближе. Я попросила Валентина Саввича подсказать, где об этом можно почитать, и он дал мне книгу А. Ф. Миллера «Мустафа паша Байрактар».

В этой интереснейшей книге много познавательных и поучительных уроков из истории Турции периода Селима III и Мустафы Байрактара. По многочисленным подчеркнутым местам было ясно, что Пикуль работал с этой книгой, выпущенной в 1947 году, неоднократно.

Очевидным становилось и то, что миниатюрой здесь не обойтись. Пометки Пикуля высвечивали направленность поисков. Его интересовали не столько сами личности Селима и Байрактара, сколько глобальные исторические вопросы. Главное было — выяснение причин, приведших к развалу, распаду, потере независи-

мости и превращению в полуколонию великой Османской или, как еще встречается, Оттоманской империи. Империи, разбросившей свои владения к концу восемнадцатого века — на три материка: территория ее включала средиземноморское побережье Африки от Алжира до Египта, побережья Красного моря и Персидского залива, большую часть побережья Черного моря от Анапы на востоке до Очакова на западе, и простиралась по землям Европы от Молдавии до Албанских берегов Адриатики.

Тайным политическим кружком «рущукских друзей» (это первая в истории Турции, если не партия, то во всяком случае политически оформленная группировка) во главе с выдающимся турецким деятелем Мустафой Байрактаром и была предпринята попытка, как оказалось — запоздалая, спасти империю от расчленения и гибели.

Как я и предполагала, миниатюра не состоялась. Но появился почасовик и постоянно разрастающаяся папка с записями, из которых явствовало — это новое будущее произведение В. Пикюля. В голове у него был уже и конец книги, о чем говорят приводимые здесь мной фотокопии.

На записке после зачеркнутых фраз: «Начало, которое можно назвать концом» и «уничтожение корпуса янычар», следует абзац, к которому Пикюль делает пометку — «В конце книги» (*выделено мной — А. П.*). Он гласит:

Кемаль Ататюрк, могила Байрактара

— здесь лежит человек, который хотел того же, чего достиг я, но... я бы не хотел такого конца, каким был копец этого человека» (см. рис. 8).

В папке лежал и следующий листок.

«Так закончилась жизнь этого незаурядного человека, Мустафы-паши Байрактара, и лицо жестокого друга России мы попытались обрисовать в нашей книге по возможности справедливо и полно.

Европа его не поняла, Россия не поверила ему, а соотечественники люто ненавидели этого «знаменосца» (Байрактар в переводе с турецкого означает — прапорщик, знаменосец.— *А. П.*) Развитие Турции, вновь отдавшей во власть бандитов-янычар и ханжой-улемов, было приостановлено на долгие годы. Блистательный Порт доживала свой мучительный век в корчах долгой агонии...»

В 1911 году прах Байрактара был разбужен свистком паровоза, которому могила бывшего «знаменосца» мешала свершать путь до Стамбула, и останки великого визиря были перенесены на новое место — за ограду мечети Зейнеб-султан, по соседству с дворцом Топкапу.

В конце  
 инициалы

начало работы можно  
 считать кончить

---

~~уничтожить работу~~

Кемало - Агапари  
 Бах раисади

и все же  
 фактически

- здесь не так и много  
 теориях казахского  
 что досуга и т.д.  
 в том же направлении  
 и т.д., и т.д.

Рис. 8. Страница черновой рукописи  
 Автограф

На этом и должна была заканчиваться третья, заключительная часть романа «Янычары», названная Пикулем — «Лицо жестокого друга» ( см. рис. 9).

Вторая часть романа — «Пирамида» — также замысливалась как самостоятельное произведение.

«Величественная и всегда таинственная тень от египетских пирамид ложилась на все события Европы и всех героев того времени».

Пирамиды фараонов, вечно молчащие, возвышающиеся над людской суетой, стали свидетелями многих радостных и печальных событий, происходящих на этой священной земле.

Об одном из них, связанном с походом Наполеона Бонапарта на Египет и его покорением, и хотел рассказать в своей книге Валентин Пикуль.

В название романа он вкладывал широкий, точнее — двойной смысл. Пирамиды... Памятники старины Древнего Египта...

Их величие неподвластно времени. И это ощущение Пикуль переносил на людей, оставивших заметный след в мировой истории, незабвенная слава которых возвышает их, подобно пирамидам, над бренным миром. Речь в романе должна была идти о трех таких «пирамидах»: Наполеоне Бонапарте, Федоре Ушакове и Горацио Нельсоне и их противостоянии на морских и сухопутных коммуникациях.

Автор на протяжении нескольких лет собирал материал, давно был составлен почасовик, продуман план, определены герои и сюжеты, оставалось уточнить только некоторые детали и факты.

В 1989 году, оформляя заказы на комплектование библиотеки по месту своей работы, просматривая при этом планы издательств на следующий год, я обнаружила информацию о предстоящем выходе в серии ЖЗЛ книги В. Ганичева «Ф. Ушаков». Зная, что Ушаков — один из главных героев романа — его «российская пирамида» — я поделилась своими сведениями с Валентином Саввичем. Он был несколько огорчен этим сообщением, но при состоявшейся вскоре личной встрече с Ганичевым ничем не указал этого и даже участливо порекомендовал главному редактору «Роман-газеты» использовать в работе «Записки Метакса».

В характере Валентина Саввича была добродетельная и хорошая черта: никогда «не перебегать дорогу» коллеге по перу. Однажды их творческие дороги уже пересеклись при работе над эпохой Екатерины II, когда из-под пера Пикуля вышел сильно напумевший «Фаворит», кстати опубликованный впоследствии в «Роман-газете», а Валерий Николаевич написал роман «Росс неизбежный», первую книгу которого Валентин Саввич прочитал и высоко оценил.

Так закончилось жизнь это неудачно  
кто человек, мусульман ваши ваши  
ра, и много много друг Россия  
мы искали друг совет в имеет  
Круг во возможности справедливо  
и во во.

Своя его не ваши, Россия - не  
ваши его соотнесения мы какая делу  
этого и знаменит? Различные Турция,  
вновь объединяет во визит Дюглар и  
Новарик Алиханов, это представлено  
и долго годы. Бисмиллах Харид  
доживала своей любимый век в  
Коргах дома алкин...

В 1911 году врах Бабакар Джир  
духен свистком каров, капоро  
мощи бывало и знаменит и мелко  
и свернуть в устье до Алиханов,  
и останки визит каю визит Джир  
берем на новое место - за ограду  
мелко Забит - судан, во соседстве  
с Джир Тюбка

Рис. 9. Страница черновой рукописи  
Автограф

Поэтому он на время отложил рукопись, пояснив мне:

— Пусть выйдет книга Валерия Николаевича, пусть с ней познакомится читатель, а потом я допишу свою.

Видимо это обстоятельство также стало одной из причин, по которой роман «Пирамиды», путем смещения и перераспределения акцентов, превратился во вторую главу уже другого романа.

Искусственного в этом ничего не было, поскольку события всех романов приблизительно совпадали по времени, пересекались по географии и имели общих действующих лиц.

Вот одна из большой кипы заметок Пикуля:

«В 1789 году произошли два важных события, и одно из них — взятие Бастилии французами — заметили все люди, а второе событие — восшествие на престол Селима III — заметили только дипломаты.

— Пусть с этим султаном возьмется один русский, — рассуждали политики, — а Европе он пока не учинит бед, ибо султан еще молод, а его любимая сестра Эсмэ уговаривает его заключить мир с Россией, пока русские не ... совсем озверели...

Селим опоясал свои чресла мечом Османа как раз в том году, когда Потемкину-Таврическому оставалось жить всего лишь два года, а императрице Екатерине Великой оставалось царствовать всего семь лет...

...Султан говорил о французах:

— Они глупцы! Им кажется, что стоит казнить короля и взорвать Бастилию, как народ сразу обретет счастье. Так не бывает. Вот именно сейчас-то и начнутся все несчастья для французов, ибо нет такой революции, которая бы приносила людям облегчение — всегда свергнутая власть оказывалась лучше той, которая стала управлять народом, сидя на обломках Бастилии».

Имеющийся в наличии архивный материал позволит судить о том, что «Пирамиды» тоже были уже вчерне закончены. Но... вчерне.

В объемистой папке находится детально проработанный почасовик (см. рис. 10) и пронумерованные листы рукописи с многочисленными вставками и заметками. Вот на клочке бумаги его пометка: «Внимание. «Пирамиды» закончить 1801 годом, когда последние французы ушли из Египта, продавая женщин» (см. рис. 11).

Есть целые отдельные страницы, содержащие тот или иной незаконченный смысловой эпизод. Например, такие:

«В десятый день священного мухаррама 1213 года (24 июня 1798 года) в Каире узнали, что три дня назад подошли к Александрии английские корабли и стали спрашивать жителей — было ли здесь французов? Сеид города Кураим сказал очень грубо, чтобы убирались обратно в море, ибо ему одинаково противны





# Вичи маши

• Пирамиды "Яко",  
1891 г. 22 д. м.,  
сидят в с. с. ф. с. с.  
у с. м. у с. м. с. с.,  
бредав а. л. х. е. н.  
у. ч. и.

Рис. 11. Страница черновой рукописи  
Автограф

все франки и все илгезы. Англичане вежливо попросили Сеида, чтобы позволил взять на корабль запасы пресной воды, но Сеид даже воды им не дал, говоря такие слова:

— Это страна султана турецкого, а вы уходите прочь!

Как сказано в Коране, «бог свершает дела, записанные в его предначертаниях». — Кураим прогнал англичан с эскадры Нельсона, которые были захвачены повсюду тулонской эскадрой Бонапарта, а, будь Сеид повежливей, история Египта, может быть, писалась бы несколько иначе, нежелая мне предстоит писать вам...»

Валентин Саввич перебрасывает мостики от древних пирамид до современности, просматривая не только жизнь героев, но и их потомков. Вот еще одна страница рукописи:

«Исторически совсем недавно — 18 марта 1965 года — в одном из ресторанов Рима полный мужчина в черных очках и с белой астрой в петлице ужинал с дамой легкого поведения. Судя по тому, как он не скупился на изысканный ужин, официант решил, что клиент не знает счета деньгам. Пора уже было расплачиваться за ужин по счету, когда вдруг мужчина судорожно схватился за горло и упал лицом в тарелку с недоеденной пищей, разбрызгивая шикарный соус. Дама, чтобы избежать общения с полицией, тут же встала и торопливой походкой покинула ресторан.

Вызвали полицию и врача, который определил смерть от внезапного инфаркта. Полиция, чтобы установить личность покойного, выгребла все содержимое его карманов. Секретарь записывал:

— Миниатюрное издание Корана в переплете из чистого золота. Пистолет и две обоймы. Две ассигнации по тысяче долларов и одна в пятьсот долларов. Запасные очки со стеклами зеленого цвета. Футляр с лекарственными пилюлями...

Документов не оказалось. Комиссар римской полиции долго всматривался в разбухшее и неприятное лицо мертвеца:

— Узнать его можно — это Фарук, последний король Египта, который умер так, что не стоит удивляться, как не удивились бы мы, узнав, что Черчилль умер на трибуне парламента...

Да, это был Фарук, изгнанный из Каира революцией Нассера и решивший, что жизнь можно доиграть в роли «короля» ночных шантанов, числясь гражданином княжества Монако, где для таких, как он, издавна крутилась безжалостная рулетка. Наследники Фарука объявили розыск сокровищ, вывезенных королем из Каира, но после долгих поисков обнаружили лишь тощую чепуховую книжку: все уже было пропито, проедено и потрачено на красавиц краткой курортной любви. Так закончил свою жизнь этот пьяница, бабник и мот — потомок того самого человека, который заложил основу процветания угасшей династии».

Много интересного и даже ошеломляющего материала находится в этой папке. Иногда при чтении возникает растерянность — о чем писал Пикуль? О состоявшемся распаде Блистательной Порты или о предстоящем развале Союза?

Не будем гадать...

По крайней мере, я знаю, что много устно и письменно высказанных Пикулем мыслей стали пророческими.

В моем дневнике есть такая запись от 25.04. 89 года: «Валентин Саввич просит принести стихи Редьярда Киплинга».

Пролистывая на работе поэтический сборник, я пыталась угадать — какие стихи поэта могли бы заинтересовать Пикуля? И вот однотомика Киплинга на столе писателя. Он берет его и быстро перелистывает страницу за страницей.

— Вот они, нашел,— и читает своим выразительным голосом:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,  
И с места они не сойдут,  
Пока не предстанут Небо с Землей  
На страшный господень суд.

— Вот за это тебе спасибо,— довольно улыбается он.— Я возьму эти строчки эпиграфом к новому роману. Помнишь, я рассказывал тебе о событиях на Ближнем Востоке в последние годы правления Екатерины II и Павла. Так вот, именно сейчас у меня появилось желание окунуться в ту эпоху. Как ты на это смотришь?

Я напомнила Валентину Саввичу о «Барбароссе», срок сдачи рукописи которой давно истек, о письмах нетерпеливых читателей, жаждущих поскорее прочесть роман «Аракчеевщина».

— Роман об Аракчееве пикуда от меня не уйдет,— рассуждал Пикуль,— мне даже не потребуется дополнительного изучения, ибо все еще свежо в памяти после Потемкина. А роман «Инычары» должен занять свое подобающее место между «Фаворитом» и «Аракчеевщиной». Сейчас мне ближе Восток, куда я и отправляюсь в путешествие.

После этих слов он и сел за работу.

Хочу обратить внимание читателей, что все публикуемые в данной книге материалы представлены в том виде, в каком оставил их автор. Я только исправила опечатки и описки, оставив повторы, некоторые длинноты и кое-какие, может быть, неуклюжие фразы, ибо окончательно редактировать рукопись должна рука мастера...

Не на строгий суд дотошных критиков выпускается эта книга. Она для тех, кто хочет вновь прикоснуться к еще далеко неиспанной глыбе, имя которой — Валентин Саввич Пикуль.

*Антонина Пикуль*

Чему, чему свидетели мы были!  
Игралища таинственной игры,  
Метались смущенные народы,  
И высились, и падали цари,  
И кровь людей то славы, то свободы,  
То гордости багрила алтари.

*А. С. Пушкин*

...Запад есть Запад, Восток есть Восток,  
И с места они не сойдут,  
Пока не предстанут Небо с Землей  
На страшный господень суд.

*Редьярд Киплинг*

## ОТ АВТОРА

*Приступая к написанию этой вещи, я сознательно не ставил перед собой каких-либо литературных задач, решением которых бывает озабочен каждый писатель-романист; напротив, я желал бы даже пренебречь подобными задачами.*

*Мною владеет совсем иная потребность: выстроить перед читателем обширную панораму давних событий, в которых Запад и Восток противостояли один другому в их трагическом единоборстве, ставшем после гибели Византии традиционным.*

*Если угодно, читатель может считать эту книгу логическим завершением романа «Фаворит», ибо — после смерти князя Г. А. Потемкина-Таврического — русский кабинет продолжал тот же политический курс, какого Россия придерживалась и во времена громкой славы «светлейшего».*

*Но французская революция внесла в политику Европы особое ожесточение и вновь обострила борьбу за свободу тех славянских народов, которые, принадлежа Западу, издревле оставались под властью Востока...*

*Ах, как многое мы позорно и безжалостно позабыли!  
Не пришло ли время нам вспоминать?*

## И ОСТАЛАСЬ ОТ НИХ ТОЛЬКО МУЗЫКА

Было очень жаркое лето 1826 года.

14 июня янычарский ага-паша объявил янычарам, что впредь не видать им баранины, пока не изучат строевых порядков — по примеру армий европейских гяуров:

— Останется вам одна похлебка! По велению нашего падишаха Махмуда, да продлит Аллах его безмятежные дни, уже приехали египетские офицеры, вызванные из Каира, которые и станут учить вас, как надо маршировать...

Посмотрели янычары, чему их учат, и сразу заметили, что каирские франты нарушают их древние уставы, заведенные от дервишей-бекташей. Из толпы раздались гневные крики:

— Да это похоже на русских солдат!

— Мы не гяуры — и мы не станем позориться!

— Эй, не пора ли тащить из казармы котлы?..

Услышав призыв выносить котлы, разом исчез ага-паша, мигом попрятались и египетские офицеры. Зато на площади Эйтмайдана появились пляшущие дервиши-бекташи, они отрывали рукава от своих лохмотьев, а янычары делали из тряпок головные повязки, крича озлобленно:

— Пусть султан пришлет нам в мешке голову своего низира и головы семи министров, придумавших «низам-джедид»... Где котлы? Скорее выносите котлы...

В ожидании котлов они «рассеялись по улицам, грабя и нападая на всех людей, кто им попадался навстречу. Янычарский ага-паша возбуждал в них особую ненависть... они ворвались в дом его, переломали там все, что нашли, и в бешенстве своем дошли до последней крайности, какую может позволить себе мусульманин: они выломали двери гарема и обесчестили всех жен его».

От янычарских казарм в сторону Эйтмайдана уже тянулась странная процессия, увидев которую, не только ев-

реи и христиане, но даже правоверные поспешно захлопывали двери своих жилищ, а прохожие неслись по улицам куда глаза глядят:

— Ени-чери! Спасайтесь... ени-чери несут котлы!

Оркестры играли, не переставая — дико и бравурно!

На площади Эйтмайдана янычары перевернули котлы вверх дном, они лупили в их прокопченные бока, как в боевые литавры:

— Что нам голова великого визиря и его министров! — кричали они. — Мы хотим и глупую голову самого падишаха...

Очевидец вспоминал: «Янычары срывали с себя мундиры и топтали их своими ногами, остальная же часть их одежд была уже изодрана в клочья, чтобы все видели их ярость. Разрушив дворец Порты, они разграбили его, расхитив все, что имело хоть малую цену, янычары истребили даже архивы, в которых искали уставы новых порядков...» Восстание ширилось, охватывая столицу султана. Помимо бекташей, к янычарам примкнули носильщики тяжестей и пожарные, уже начавшие устраивать пожары, чтобы султан не вздумал упрячиться.

В самом деле, сколько уже султанов поплавились своими головами только потому, что не смогли угодить янычарам!

.....

Прослышав о восстании янычар, султан Махмуд II укрывался в мечети; с ним были великий визирь, шей-уль-ислам — главный духовник Османской империи, топчу-баши — начальник артиллерии, ага-паша янычарский и египетские офицеры, которым султан доверял более, нежели своим, турецким.

— Наймите крикунов, — повелел он, — и пусть они кричат на Эйтмайдане, что я дарю янычарам свою милость, если они унесут котлы с площади обратно в казармы...

С небывалым высокомерием янычары высмеяли крикунов, возвещавших о милости падишаха, и велели передать султану, что в его реформах они не нуждаются, маршировать в строю, как гяуры, они все равно не станут, ибо привыкли ходить толпою, а их ятаганы страшнее любого европейского оружия:

— Саблей добытое царство Османов саблей и удержится!

Узнав от крикунов, что янычары не желают убирать котлы в казармы, султан Махмуд II сказал своему визирю:

— Янычары возле моего Сачис Счастья — это такою же зажравшиеся мамелюки Каира, которых Махмед-Али Египетский не стал уговаривать, а просто перебил их всех, как собак... Янычары привыкли переворачивать свои котлы, но я, великий султан и падишах, могу развернуть Санджак-шериф, подобный благоуханному кипарису в саду моих неоспоримых побед!

«Санджак-шериф» — легендарное Зеленое знамя Пророка, пошитое, как гласило поверье, из халата самого Магомета. Шейх-уль-ислам сразу пал ниц, умоляя своего властелина не трогать священного знамени, которое жители турецкой столицы не видели уже целых полвека.

— Разве ты забыл, о великий падишах, что последний раз Санджак-шериф они видели, когда русские угрожали нашей империи, хранимой Аллахом, и тогда возникла пужда в созыве ополчения... Разве ты не боишься нашей черни?

— Нет, не боюсь, — отвечал султан. — Я согласен варить для них похлебку и давать им мясо, которое алчно пожирали мои янычары...

Он оказался прав. За много веков жители Константинополя уже столько настрадались от своеволия и жадности янычар, что теперь они охотно пришли на помощь султану. Санджак-шериф, извлеченный из казенных хранилищ, был — при чтении Алкорана — торжественно пронесен на кафедру мечети Султана Ахмета. Махмуд II верно учел силу людских предрассудков, и когда народ сбегался к нему, чтобы коснуться складок одежд самого Магомета, он проклял всех тех, кто в этот миг оказался не с ним, а гремел котлами на Эйтмайдане.

— Начинайте, — указал он топчу-баши...

На помощь прибежали с кораблей галионджи-матросы, с ними объединилась и великая армия бостанжи-садовников, все вооруженные. Прямо в ажурные ворота, что были украшены вывеской «Здесь султан кормит своих янычар», с грохотом вкатилась пушка, извергающая лавину картечи. Другие орудия, расставленные по флангам Эйтмайдана, беспощадно расстреливали янычар в упор, и они, стиснутые домами, ограждающими площадь, метались в поисках спасения. Не сосчитать, сколько здесь со времен Сулеймана Великолепного полегло барапов, сожранных яны-



чарами во славу Аллаха, как не сосчитать и того, сколько полегло янычар на «мясной площади» столицы...

Нет, не битва, а подлинное избиение длилось два дня — 15 и 16 июня. Эйтмайдан был завален горами трупов, когда уцелевшие янычары искали спасения в своих казармах, отстреливаясь от народа из ружей.

— Сожгите их, — повелел султан...

Пламя разом охватило громадные здания ветхой постройки, а жители радовались, наблюдая, как с верхних этажей прыгают объятые ужасом янычары, и тех, кто оставался жив, турки безжалостно добивали. Напрасно янычары прятались в подвалах, на чердаках и даже в колодцах — их всюду находили и убивали. Целую неделю подряд палачи султана работали без отдыха: рубили головы, вешали, удушали шнурками, рассекали янычар на множество кусков. Все улицы Константинополя были завалены трупами, среди которых бегали бездомные собаки, отгрызая мертвым янычарам носы и уши. Очевидец писал: «Несколько дней на арбах и телегах вывозили мертвые тела янычар, которые были брошены в воды Босфора. Они плавали по волнам Мраморного моря, а поверхность вод так была покрыта ими, что трупы даже препятствовали плаванью кораблей...»

— Умерщвляйте всех! — повелел султан, стоя под Зеленым знаменем Пророка. — Разгоните пляшущих бекташей, топите пожарных в Босфоре, убивайте носильщиков тяжестей...

По улицам столицы бегали люди, восхваляя Махмуда:

— Слава нашему великому и мудрейшему, нашему могучему и непобедимому, нашему ужасному султану!

Махмуд навеки запретил даже произносить имя янычар, предав их проклятью, он повелел уничтожить на кладбищах все их могилы, украшенные войлочными шапками, по бокам которых торчали острые уши. А после истребления янычар турки взялись за бродячих собак, гигантские стаи которых носились по улицам столицы, вечно голодные, алчущие добычи. Но с собаками поступили гуманнее: их отлавливали сетями, сажали на корабли — и они отправились в почетную ссылку на Принцесы острова, ставшие позже курортом международного значения.

Махмуд II, покончив с корпусом янычар, создавал новые войска, которые велел называть «Силами Магомета». Через несколько лет в Турцию прибыл молодой прусский

капитан с орлиным профилем — это был Гельмут фон-Мольтке, будущий знаменитый фельдмаршал бисмарковской эпохи.

Это он, тогда еще не великий, взялся переучивать войска султана на европейский лад. Мольтке водил эти войска в сражения против курдов, он сражался с египтянами в Сирии, он тщательно готовил турецких солдат для войны с Россией...

Кажется, я снова — в какой уже раз! — предлагаю читателю роман о политике, заквашенной на крови народов.

Что был тогда Запад и каким стал Восток?

. . . . .

Понимаю, что писать об янычарах сейчас не принято.

Если о них и вспоминают, так больше музыковеды.

От прошлых времен могущества великой империи Османов нам, читатель, осталась лишь великолепная «янычарская музыка». И теперь, когда в праздничные дни с улицы доносятся бравурные марши военно-духовых оркестров, когда неистово грохочут барабаны и лязгают медные тарелки, мы не догадываемся, что в призывах воинственных маршей невольно оживает то проклятое время, когда при слове «янычар» люди в ужасе закрывали глаза, а матери хватали детей, чтобы бежать прочь, чтобы спастись...

Все это было! В прошлом многое было.

Наконец, читатель, слушая классическую музыку Глюка, Бетховена, Гайдна или Моцарта, мы распознаем воинственные мотивы тех отдаленных времен, когда от вкуса янычарской похлебки или свежести куска мяса порою записели многие перемены в восточной политике государств европейских...

Я остаюсь верен себе и стану писать о том, о чем писать ныне не принято! Итак, смелее...

---

## Часть первая. НОВЫЕ ВРЕМЕНА

(1789—1798)

Не приставайте ко мне со своей Европой, которая всем нам давно надоела! Если мы, мусульмане, и не такие воспитанные люди, какие имеются в Европе, то мы все же не сумасшедшие, как вы о нас думаете...

*Сарым-эффенди*

### ПРЕЛЮДИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Наступили новые времена, а над просторами Средиземноморья по-прежнему раскручивалась стародавняя «роза ветров!» — трамонтане, леванте, маэстро и свирепо задувавший сирокко.

В самом конце 1789 года торговый бриг «Пенелопа» покинул Марсель, заполнив трюмы товарами для французских негодяев, проживавших в Каире; многочисленные пассажиры разместились в каютах, среди них были женщины с детьми.

Плавание не сулило особых тревог, а четыре тупорылые карронады, расставленные по бортам, вселяли уверенность в благополучном исходе плавания. Капитан уже не раз ходил до Александрии, и теперь уверенно провел «Пенелопу» между Корсикой и Сардинией. Но пассажиры брига были очень встревожены, когда он избрал путь намного южнее Сицилии, не пожелав следовать Мессинским проливом.

— Пощадите нас и наших детей, — зывали женщины. — Разве вы не извещены, что в открытом море нас подстерегают тупицкие корсары? Мы не имеем богатых родственников во Франции, чтобы выкупали нас из мусульманского рабства.

— Ваши волнения напрасны,— утешал капитан робких.— Я парочпо прижимаюсь к Мальте, ибо тамошние рыцари зорко стерегут торговые пути, предупреждая алчность тунисского Хамуда-паши. Поверьте мне, дамы и господа, что ваши жизни не закончатся постыдной продажей на невольничьих рынках...

Да, были причины для страха, ибо Тунис высылал на разбой не менее ста кораблей, и встреча с каждым из них грозила путникам вечным рабством, детей разлучали с матерями, а матерей продавали в гаремы. Впрочем, золоченая грудь «Пенелопы» легко и смело рассекала лазурную воду, а в один из дней, когда миновали утесы Мальты, им встретилась скампавея мальтийских рыцарей, с ее кормы повелительно окликнули:

— Во имя святого Иоанна — остановитесь!

Скампавея несла паруса, но силе ветра помогали гребцы, прикованные к веслам: это были бритоголовые мусульмане, пойманные в недобрый час на морском разбое, и теперь осужденные грести до скончания века — во славу того же христианского Иоанна. Два корабля недолго качались один возле другого. Супрокамито, начальник мальтийского судна, расфранченный, словно придворный Версаля, прокричал в сторону брига:

— Следите за ветром, чтобы вас не отжало к берберийским берегам, а к Александрии спускайтесь лучше от самого Крита, дабы избежать нежелательных встреч с корсарами.

— Мы так и сделаем, благородный супрокамито! — обещал ему капитан «Пенелопы». — Благодарим за добрый совет...

Паруса брига забрали попутный ветер, и он сулил пассажирам, что через три дня покажутся берега древнего Пелопоннеса. Дети, игравшие на палубе, оказались самыми зоркими:

— Кораблы! — закричали они. — За нами гонится корабль...

Сближение казалось неотвратимым. Скоро капитан признал зловещую символику ужасного флага: оскаленный череп в перекрестии берцовых костей, рядом с ними трепыхалось изображение песочных часов, отмерявших краткие сроки человеческой жизни.

— Уберите детей,— хмуро наказал он женщинам.— Укройтесь в каютах и запритесь изнутри. Будем отстреливаться...

«Пенелопа» прибавила парусов, матросы тащили тяжелые карронады в корму, укладывая их в ящики с песком. Капитан, посерев лицом, молитвенно сложил руки, по-слав мольбу к небесам:

— Имеем сладчайшего Иисуса, спасителя нашего, да пусть же все четыре пушки выстрелят на погибель северных!

В ответ пираты выстрелили поверх палубы брига не ядрами, а связкою базарных гирь, скрепленных звеньями цепей (это был «книшпель» для разрывания оспастки). Над головой капитана с оглушительным треском лопнули напряженные триселя — «Пенелопа» сразу смирила свой бег по волнам, лишённая скорости.

— Мы пропали! — разбежались матросы от пушек...

Капитан в ужасе закрыл лицо, когда форштевень корсара с хрустом насел на корму «Пенелопы», безжалостно сокрушая рамы оконных стекол, а в кормовые поручни брига разом вцепились острые крючья абордажных интрешелей.

— Стойте! — закричал он пиратам. — Разве короли Франции не платили дань паше Туниса, чтобы не трогал его кораблей?

Капитан ожидал кровавой ярости абордажа, но — странно! — пираты остались на своем судне, а на борт «Пенелопы» легко перепрыгнул лишь один человек, который, улыбаясь, отвечал капитану с акцентом природного гасконца:

— Стоит ли все поминать королей Франции, если в этих краях дань с европейцев собирают старинным способом?..

Корсарам явно не терпелось взобраться на палубу брига, чтобы опустошить его трюмы, но этот «гасконец» удержал их резким повелительным жестом. Его голову украшал тюрбан с высоким пером страуса, из-за пояса коротких штапов торчали рукоятки пистолетов и ятогана, украшенные жемчугами.

— Кто вы такой и откуда вы? — спросил капитан, удивленный его речью. — Вы из Алжира или из Триполи?

Пират был босым, но держал себя на палубе «Пенелопы» столь уверенно, словно скользил туфлями по вощеным паркетам парижских салонов. Отвечал же он с легкой насмешкой:

— Увы, я с острова Джерба... вы дрожите?

— Дрожу, — честно сознался капитан.

— Слышу стук костей вашего скелета. Да, на этом замечательном острове доныне возвышается пирамида из христианских черепов, в которых когда-то зрели мысли об отмене варварских принципов рабства. Впрочем, в нашей веселой столице собралась компания, для которой религиозные или национальные различия не имеют никакого значения\*.

Капитан вручил победителю свои пистолеты:

— Я... сдаюсь. Но, чувствуя в вас европейского человека, взываю к вашему милосердию. Ваше появление устранило пассажиров, доверивших мне свои судьбы. Не разлучайте женщин с детьми! Я вас очень прошу... я вас умоляю!

Пират с акцентом гасконца вернул пистолеты капитану:

— Они вам еще пригодятся. Но вы оказались догадливы, взывая о милосердии именно ко мне, ибо тюрбан ренегата накрывает слишком горячую голову человека, воспитанного на рассуждениях Дидро и Вольтера... Ваш скелет спокоен?

— Да! — вспыхнул капитан. — Но в своих речах вы просто издеваетесь надо мною. Кто вы такой, еще раз спрашиваю я вас?

Корсар выразил желание выпить хорошего вина. При этом он сказал, что окончил парижский колледж Рауля Гаркура, в котором из него хотели сделать добропорядочного кювье.

— Поверьте, коллега, я бы, наверное, исправно поклонился богоматери, если бы не вмешался дьявол, доказавший мне, что в мире, где царствуют деньги, братство и равенство — это смешная утопия. Дьявол однажды нашептал мне, что все человечество делится лишь на богатых и бедных. Уяснив это, я задержал на пустынной дороге дилижанс, быстро оказавшись под королевской виселицей, после чего и спаслся на острове Джерба. Вы, надеюсь, хорошо поняли меня, капитан?

Капитан понял, что с «висельником» лучше не связы-

---

\* Джерба — остров возле берегов Туниса, давняя столица берберийских пиратов, где евреи распродавали их добычу на рабовладельческих рынках стран Магриба; пирамида из черепов христиан была уничтожена лишь в 1837 г. стараниями европейской дипломатии. Сам же остров живописен и плодороден, а его первоначальные жители лотофаги (пьянявшие себя вином из лотоса) упоминались еще Гомером в IX песне его «Одиссеи».

ваться, и покорно отдал ему связку ключей от грузовых трюмов:

— Недаром же вы так настойчиво гнались за нами, чтобы иметь верную добычу... Так я согласен — грабьте!..

— А что у вас в трюмах? — равнодушно спросил пират.

— Суцая ерунда для европейской колонии в Каире — свертки сукна лионской выделки, бочки с желтою охрой, немного бумаги, оконные стекла, две сотни зеркал и мешки с сахаром.

— Не ради же этого я гнался за вами! — хохотал пират.

— Так чего же еще вам надобно от меня, черт побери?

Пират с удовольствием выпил просимого им вина.

— Я настигал вас совсем по иным причинам, более значительным, нежели ваши жалкие товары. Поверьте, моя душа давно жаждет не добычи и крови, а иного... совсем иного!

— Чего же? — удивился капитан «Пенелопы», глянув на рваные снасти и поникшие паруса, лохмотья которых развеивал ветер.

В ответ последовало признание пирата:

— Ах, знали бы вы, как тяжело жить без... газет. Если вы плывете из Франции, так скажите — что там за жизнь?

Теперь пришло время хохотать капитану:

— Неужели до вашей Джербы еще не дошло, что в Париже народ штурмовал Бастилию, разбросав ее камни?

— Впервые слышу, — обомлел пират.

— И если вам дороги прежние идеалы юности, так вам лучше покинуть Джербу, а дома для вас, наверное, сыщется дело...

Корсар торопливо допил вино, глянул с опаской.

— Я вам не верю, — произнес он с угрозой. — Хотите ли вы одурачить меня, желая улизнуть от нас поскорее?

— Что надобно для того, чтобы вы мне поверили?

— Мы на Джербе знаем, что Россия снова воюет с Турцией, так расскажите, кто там побеждает — или султан Абдул-Гамид русскую царицу Екатерину или Екатерина султана?

— Русские уже штурмовали Очаков, — пояснил капи-

тан, — но Абдул-Гамид спятил и умер, пресыщенный излишествами жизни, а престол занял Селим Третий, который, кажется, не намерен продлевать войну с русской царницей, благо в империи Османов даже кошки воют от голода... Может, показать вам газеты?

— Да! Я хочу видеть газеты, — воскликнул пират. — Дайте мне хоть клочок газеты — и я не стану удерживать ваш корабль! Но я перевешаю всех вас на реях, если не сыщете газеты...

Зато как он обрадовался, когда пассажиры вынесли из своих кают целый ворох ведомостей, парижских и гамбургских, и, покидая палубу «Пенелопы», корсар-гасконец шепнул капитану:

— Очевидно, вы столь наивны, что решили попасть в Египет, спускаясь к нему с широты Крита, — так вот, в благодарность за все ваши новости, я хочу предостеречь вас, что Хамуд-паша стережет неверных именно на этих курсах... Мой добрый совет: плывите вдоль берега — и будете в безопасности!

— Не знаю, как и благодарить вас за такое предупреждение.

— А я не знаю, как благодарить вас за известие о том, что французы разломали Бастилию...

Два корабля, столь разных, медленно разошлись.

Боже праведный, из-за чего волнуются люди?

Парижане штурмовали Бастилию, требуя свободы и хлеба, а этот пират стрелял из пушек, желая почитать свежие газеты...

Конечно, он узнал, что в мире немало перемен!

## 1. НА БЕРЕГАХ «КОРОВЬЕГО БРОДА»

Весна 1789 года выдалась ранняя, но Сладкие Воды турецкой столицы не оживляли ни цение бродячих певцов, ни говор беззаботных женщин, ни крики разносчиков сладостей.

Длинные хвосты, остриженные от черных кобылиц, гордо реяли над фасадом Серая, возвещая правоверным о том, что их великая Оттоманская империя продолжает войну.

С батареей Топ-Ханэ стучали арсенальные пушки, импортированные с Босфора корабли эскадры капудан-паши. Молодой султан Селим III приехал в мечеть Эюба-Джами, где



и опоясал свои чресла мечом Османа (этот жест заменял ему «коронацию»).

— Как не слепить сладкой халвы из пресного снега,— сказал он,— так без реформ не возродить былое величие империи османлисов. Закроем же свои рты, чтобы шире открылись глаза... Спящий спящего разбудить не способен. Но если все вы еще спите, так я уже пробудился, и устранил вас всех, спящих!

В один из вечеров прусский посол Дитц навестил здание «Палэ де-Франс», спрашивая парижского посла:

— Вступление Селима на престол было почти угрожающим. Как вы мыслите, граф, чего следует ожидать от нового султана?

— Кажется,— отвечал Шаузель-Гуфье,— Селим станет для Турции подобен тому, чем был для России царь Петр Великий, и ему предстоит такая же борьба с янычарами, какую вел русский царь со стрельцами. Головы покатаются... Но я боюсь, как бы среди множества голов не затерялась и голова этого реформатора.

— Вы, граф, намекаете на...

— Не бойтесь договаривать,— усмехнулся посол Франции.— В отличие от других султанов, Селим, опоясываясь мечом Османа, прежде не задушил своих кузенов Мустафу и Махмуда, а посему на престоле Османов еще возможны всякие комбинации...

Глубокой ночью прусский посол торопливо писал в Берлин о султани Селиме III: «Этот государь, имея немалые способности и деловитость, будет несомненно стоять выше своих подданных, и, кажется, именно ему предстоит роль преобразователя государства, закосневшего в своем величавом упрямстве...»

Но прежде, читатель, нам предстоит побывать на берегах древнего «Коровьего брода», где минареты мечетей, словно тонкие карандаши, казалось, выписывали на небесах заклинания Пророка.

.....

Первый в мире Осман оставил потомкам-османлисам одну ложку, одну солонку, чалму и рубаху, истлевшую от пота.

Византия была самой памятной жертвой Запада, и пришельцы с Востока отпавляли свою конницу из мраморных гробниц византийских императоров, их раскосые жоны заквашивали тесто в торжественных саркофагах было

го величия. Победители крошили в труху солнечные изваяния богинь Эллады, выделявая из них известку для побелки стенок в мечетях, а бронзовые бюсты героев античного мира они отправляли на переплавку, чтобы отлить пушки для осады крепостей. Одна из таких пушек весила 700 тонн, ее таскала по грязи сразу сотня волов, она метала мраморные ядра, каждое стоимостью в 1200 ливров.

Первый Осман, счастливый обладатель единственной ложки, не узнал бы своих наследников: на гончих собаках султанов красовались попоны из голубого бархата, а охотничьи леопарды, преследуя ланей, сверкали бриллиантовыми ошейниками. Запад дивился Востоку, Запад восхищался Востоком, он жестоко боролся с Востоком, но раз покоряясь силе его оружия, и Восток привык торжествовать свои победы над «франками» — так мусульмане называли не только французов, но и вообще всех европейцев.

Ослабление Османского государства началось не тогда, когда Россия времен князя Потемкина в двух войнах дважды ставила султанов на колени. Не будем так думать! Нет, сначала Османы испытали разгром на море в битве при Лепанто осенью 1571 года, когда великий Сервантес потерял руку; второй разгром Турция испытала на суше в 1683 году, когда ее гигантскую армию, желавшую выйти на берега Рейна (!), полностью уничтожил под стенами Вены польский король Ян Собеский.

Но Турция оставалась великой и мощной!

Кстати, османлисы считали оскорблением, если их называли.. турками. В турецком понимании «турок» — это невежда, достойный всеобщего осмеяния, в русском языке синонимом этого слова было бы выражение «сиволапый мужик». Турцию, как это ни странно, сплотило не национальное единство (какого у нее никогда не было), а лишь инветы мусульманской религии, и со времен первых Османов это был сброд различных кочевых племен, туркменов и, как подозревают историки, даже монголов; потом к этим выходцам из глубин Азии примкнули побежденные, уверовавшие в могущество Магомета, и даже те, кого победители силком заставили в него верить. Европейский же тип лица турок сложился по той причине, что их гарнимы были составлены из рабынь, купленных на базарах или плененных во время походов на Польшу, Россию, Украину, Венгрию и прочие страны. Перед нами историче-

ский парадокс: турки еще сами не сделались нацией, когда они уже создали необъятную Оттоманскую империю из покоренных ими народов...

XVIII столетие подходило к концу, а великая Османская империя широко раскинулась на трех континентах сразу — в Азии она простерлась до берегов Персидского залива, почти примыкая к Индии; в Африке обладала арабскими странами — от Гибралтара до Красного моря, в Европе она угнетала балканские народы и греческий; султанам принадлежал Крит, славный в древности лабиринтами, в которых обитало чудовище Минотавра; султаны владели и благоуханным Кипром, где нынешние киприоты по сей день показывают то место на пляже, на котором вдруг вышла на берег прекрасная Афродита, рожденная из морской пены...

Итак, читатель, Бастилия пала, но туркам не было до нее никакого дела. Едикюль (Семибашенный замок на берегу Босфора) высился нерушимо, и штурмовать его османы не собирались. Когда же в Порте узнали о провозглашении во Франции республики, турки приняли ее за новую королеву Версаля, а великий визирь Юсуф-Коджа воскликнул:

— Тем лучше для нас! Молодая королева Республика, падеюсь, не выйдет замуж за старого венского эрц-герцога...

Константинополь для историков, Царьград для славян, а Стамбул для турок, — этот город жил своей жизнью, и множество его нищих взывали о милосердии. Все корабли султана были заняты войной с эскадрой русского адмирала Ушак-паши (Ф. Ф. Ушакова), подвоз провизии из провинций нарушился, столицу Османов терзал голод. Обвешанные колокольчиками, на улицах зябко тряслись попрошайки, а бубенцы, громко названивая, предупреждали прохожих (правоверных и неверных), чтобы к ним близко не подходили — это зовят прокаженные.

Томно закрыв глаза, они сами рассказывали о себе:

— По воле Аллаха, что у богатого в мошне, то я вижу только во сне. Чашка моя давно пуста, но я целую ее и уста. В моей похлебке из репы даже редиска кажется маслом...

Я, автор, бросаю пищуему свой последний пиастр издалека, не приближаясь к нему, чтобы не заразиться. Я испытываю давний страх перед чернью Стамбула, ибо по сравнению с нею «чернь времен Римской империи явля-

лась собранием мудрецов и героев», — это не мои слова, так о черни турецкой выразился Карл Маркс, и мой пиастр, брошенный издалека, как бросают мясо собаке, очень точно был уловлен в чашку прокажепного. Но тут же к нему подошел молодой янычар, который смело выгреб из чашки нищего подавание, сложил монеты в карман своих необъятных шальвар и, свистнув, он пошел дальше...

Янычар — это тоже чернь, но — чернь, ставшая элитой!

. . . . .

Еще в первоизданной древности мира божественная Ио, возлюбленная легендарного Зевса, опасаясь ревности Геры, однажды превратилась в корову и переплыла Босфор, отчего этот пролив греки называли «Коровьим бродом». Само же имя столицы Стамбул — от греческого «исламбол», что означало «пойдем в город», по турки переводили «исламбол» на свой лад — для них Стамбул звучал как «изобилие ислама».

Константинополь, подобно Риму, возник на семи холмах.

Этот обломок Византии, давшей Руси свет христианства, обмывали воды Мраморного моря, от него начинался узкий Босфор, а бухта Золотой Рог обрамляла Константинополь вроде драгоценного браслета. Прямо в море острым мысом выступал султанский дворец Топкау, возле него высилась громада Айя-Софии, а в глубине улиц громоздился квартал янычарских казарм. Неподалеку от них, на том самом месте, где во времена Византии размещался скаковой ипподром, теперь грозно шумел Эйтмайдан (Мясной базар), а его ажурные ворота украшала гордая и выразительная надпись:

#### ЗДЕСЬ СУЛТАН КОРМИТ ЯНЫЧАР

Какой уж век — день за днем — тут вырезались стада баранов, чтобы каждый янычар получил в дар от султана большой кусок мяса, истекающий теплой кровью. Как бы ни голодали жители Константинополя, янычар это не касалось: казенную похлебку и кусок мяса они все равно получают! Мимо ворот Эйтмайдана прохожие пробегали с опаской, зато здесь бесстрашно крутились на босых пятках бекташи — «вертящиеся дервиши», давние покровители янычарского войска (ени-чери). Турецкая столица замирала в ужасе, если янычары выносили свои котлы из казармы, переворачивая их кверху дном, что означало их недовольство султаном или визирем.

Люди бежали по улицам, как можно скорее запирали двери своих домов, оповещая соседей истошными воплями:

— Ени-чери! Спасайтесь... ени-чери несут котлы!

Быно же котлов означал, что янычары требуют крови, Столице грозили смуты, пожары, грабежи, и убийства,

Впрочем, было одно неписанное правило: если сановник султана, уже обреченный на смерть, ухитрился спрятаться в янычарском котле, он считался невинным, приобретая звание «друга янычар»!. Только вот вопрос — как добежать до Эйтмайдана и как нырнуть в котел... Мало кому это удавалось!

Подалее от зловещего Эйтмайдана, на берегу Золотого Рога, широко раскинулся обширный квартал Фанар, отстроенный почти европейски, чистоплотный и благоустроенный, в котором из окон не выплескивали помои на головы прохожих. Здесь проживали фанариоты — потомки тех византийцев, которые, не изменив вере предков, изменили своему народу, оставаясь на службе турецких деспотов; фанариоты ценились султанами как превосходные драгоманы (переводчики), необходимые для дипломатических переговоров с иностранцами, ибо сами османы изучением европейских языков никогда себя не утруждали. В квартале Фанар проживал и греческий патриарх — тоже православный.

На другом берегу Золотого Рога уютно разгорались огни торговой Галаты, где во времена Византии селились гегуэзские негоцианты. Галата — сплошной базар, где можно купить не только драгоценное ожерелье ювелиров Венеции, но даже и соленый русский огурец. Здесь реже слышать турецкий язык, забиваемый выкриками на албанском, сербском или болгарском наречьях, евреи, чтобы их никто не понял, вообще предпочитали старо-испанский, и, казалось, что на торжищах Галаты хуже всего понимали как раз язык властелинов — османов. А в лавках крытого рынка распродавали пленниц. На вес золота ценились дебелие и жирные, с русыми волосами. Их ставили на весы, как скотину, и, чем больше женщина весила, тем дороже была ей цена. Потом рабыню уводили за ширмы, где покупатели совали ей в рот пальцы, заставляя кусать, их и по силе прикуса устанавливали степень ее любовной пылкости, после чего продавец и покупатель торговались о стоимости «прекрасной альмеи».

Далее, к северу вдоль Босфора, протянулись кварта-

лы Пера, напоминавшего города итальянской провинции; самые лучшие и мощные улицы здесь были населены ев-ропейцами, в Пера находились русское посольство и фран-цузское — «Пале де-Франс», издавна враждебные одно другому, как извечные соперники в восточной политике. В закоулках Пера торговали европейские магазины, тут можно было встретить женщин, не скрывавших свои ли-ца. Но чтобы женщин не похитили, их сопровождали на-емные кавасы — звероподобные арнауты, не снимающие ладоней с рукоятей пистолей и ятаганов.

В столице Османов чудом уцелели от пожаров и зем-летрясений редкие дома былой Византии, внешне схожие с теми, что бывали еще в древней Помпее; их отличали балконы, нависавшие над улицами, и узкие щели окон, чтобы удовлетворять потаенное любопытство византиек (такие же балконы потом строили и турки, дабы не ску-чали их жены, заточенные в гаремах). Под сенью этих балконов всегда нависали гнезда ласточек, а в окнах бы-ли выставлены цветы. Мы, читатель, тоже выставлем горшки с геранями на подоконниках, даже не задумыва-ясь о том, что эта китайская привычка досталась нам из подражания Византии, а византийцы перенимали вкус от гордых патрициев Рима...

Но Восток оставался Востоком! Чтобы скрыть свои доходы от налогов в пользу султана, османы нарочно строили свои дома безобразными снаружи, но их нищен-ские фасады скрывали царственную роскошь внутри по-коев. В кривых переулках почти внаклонку, прижимаясь один к другому, стояли развалюхи бедняков, в тупиках улиц догнивали свалки отбросов, на которых кормились сотни тысяч бездомных собак. Собак, лежащих посреди улиц, турки обходили стороной, не трогая их, ибо собака в Турции считалась таким же священным животным, как и корова в Индии. Между домами бродили громадные крысы, остро нюхающие зловоние, порхали над крышами голубиные стаи, а по ночам Стамбул раздирали вопли ко-тов, и кошек, жаждущих чего-либо одного — любви или рыбки.

Странно! Уголовных преступлений в Константинопо-ле почти не бывало; жители квартала, в котором преступ-ление случилось, облагались большим штрафом, — так что, не только асес-баши (полиция), но и сами горожане сле-дили за подозрительными людьми в своих кварталах. По-рядок в ночном Стамбуле тоже был идеальный. По ночам

люди по улицам не шлепались, а сидели дома. Если же у кого возникала надобность, то он был обязан ходить с фонарем. Прохожих без фонаря арестовывали и посылали на заготовку дров для общественных бань.

Таких бань в Константинополе было великое множество!

Мусульмане всегда рады помыться, а их жены проводили в банях целые дни — даже не ради омовений, а чтобы посплетничать о своих строгих мужьях. Европеец, давая денег жене, обычно говорит: «На тебе — на булавки!» Мусульманин, одаря жену пиастрами, скажет иначе: «Вот тебе — на баню...»

.....

Чувствую, что осталось сказать последнее.

На другом берегу Босфора, уже не на европейском, а на азиатском, высилась дивная панорама Сутари, венчанная кипарисами и смаковницами, издалека благоухающая кустами акаций.

Прекрасная лестница, ведущая от пристани в сторону скутарийских кладбищ, называлась «Меит-Искелли» (дорога смерти).

Знатные османы, жившие в Константинополе, на европейском его берегу, всегда помнили, что их далекие предки вышли из Азии, а потому они, их потомки, желали быть погребенными непременно в Скутари — на азиатском берегу Босфора.

Среди множества могил плясали «вертящиеся дервиши», а по пятницам в Скутари играли бравурные янычарские оркестры.

А вот мне, автору, стоит только закрыть глаза, и сразу видится волшебная Ио, которая, превратясь в корову, переплывает Босфор, за которым лежит город новых мифических чудес...

Верить ли мне в чудеса или не верить?

Лучше я стану верить...

## 2. КТО СКАЖЕТ ПРАВДУ?

Сераль — и фантазия рисует гарем с одалисками, Диван — и нам представляется удобное ложе для отдохновения. На самом же деле Сераль — резиденция турецкого султана, а Диван — это его правительство во главе с ве-

ликим визирем. Но султан Селим III был одинок в Сера-ле, а в Диване видел сборище своих противников.

— Все мнят себя мудрецами, — жаловался он. — Но если все умные, то где взять дураков, чтобы пасли наших овец?...

Селим III, могучий ростом, был человеком очень сильным, ему бы впору бороться на улицах Стамбула — ради «бакпиша», собираемого с ротозеев. На соревнованиях по стрельбе из лука султан не только поражал цель, но его стрела летела дальше всех (на 890 метров). Однажды, желая польстить ему, великий визирь Юсуф-Коджа назвал султана «Самсоном», и получил ответ:

— Если я и Самсон, то уже ослепленный неправдами этого мира, и не лучше ли сразу разрушить храм, чтобы под его обломками погибли и все вы... мои живые рабы! Как не видел я ног у змея, так не вижу и мудрости в людях...

Селиму исполнилось 28 лет. Лицо султана, источенное оспой, сохранило отпечаток той утонченной красоты, какой обладала и его мать — Мехр-и-Шах, украденная в Грузии для гарема отца; горячая грузинская кровь, сдобренная острыми приправами мусульманского фанатизма, часто управляла поступками султана. Впрочем, Селим III был достаточно образован и начитан; он писал недурные стихи; его влекло к мистике, музыке и поэзии. Империя досталась ему в развале хаоса — военного, административного, финансового.

Своей любимой сестре Эсмэ он говорил:

— Если бы не война с русскими, мне было бы легче насытить голодных и усмирить недовольных. Но пока Екатерина режет громадный арбуз, мы никак не можем поделить свои жалкие орехи.

— Будь жесток, — поучала султанша брата, — и храни тебя Аллах от избытка слов, ибо сейчас в Стамбуле вязанка дров или ломот лепешки важнее любых обещаний. Даже нищие устали слышать о наших бедствиях на Дунае... Наконец, избавь страну от визиря Юсуфа, живущего воровством и взятками.

Долгобородый Юсуф-Коджа начинал жизнь с того, что наваривал кофе для матросов, имея лавчонку на кораблях военного флота, а теперь... он и визирь, он и главнокомандующий, он и раб!

— Непоймаанный вор все-таки намного честнее вора пойманного, — отвечал Селим. — Да и где взять другого с



такой длинной бородой, чтобы внушать почтение другим ворам?..

Со времен Сулеймана Великолепного (современника русского царя Ивана Грозного) все турецкие султаны обычно следили за работой Дивана через окошко, вырезанное в стене над седалищем великих визирей. Селим III первым нарушил эту традицию Османов, появляясь открыто — уже не мусульманское божество, а как живой человек, обладающий земной властью:

— Наше будущее осталось в прошлом, — объявил он министрам, — мы отстали от Европы не на год и не на два года, а сразу на полтора столетия, и, как во времена Сулеймана, наши пушки стреляют булыжниками. До сих пор наши книги переписываются от руки — страна не имеет даже типографии. Смотрите мне прямо в глаза, не отворачивайтесь.. Я стану вас бить, и вы сами знаете, что битый ишак скачет быстрее небитой лошади... Где же ваша правда?

Правды не было. Один лишь колченогий шейх-уль-ислам, верховный муфтий Атаулла осмелился возразить султану:

— Ты решил оседлать муравья, чтобы, взобравшись в седло, возить на своих руках еще и верблюда... Не гневи Аллаха, о великий султан! Сначала ты раздавишь под собой бедного муравья, нашу империю, а тебе не удержать верблюда...

В воротах Баби-Гумаюн, ведущих к Сералю, перед Селимом высыпали из мешков гору ушей и носов, отрезанных у взяточников, казнокрадов, обманщиков и торговцев, обвешивавших покупателей. На базарах с утра до ночи истошно вопили купцы, уши которых были прибиты гвоздями к дверям их лавок, и эти гвозди из ушей им выдернут только завтра, чтобы наказуемый до конца жизни помнил: торговать надо честно!

Стамбул присмирел, словно мышонок при виде льва.

Облачившись в рубище дервиша, живущего подаянием, Селим III инкогнито появлялся на рынках, в канцеляриях и на фабриках, всюду требуя от людей честности. А телохранители, идущие вслед за султаном, тут же казнили обманывающих и ворующих. На одном из кораблей эскадры, когда отрубали головы офицерам, обкрадывающим матросов, палач султана, запяса меч, просил Селима посторониться, чтобы кровь не обрызгала его одежды.

— А кровь — не грязь, — отвечал Селим, и сам схва-

тил казнимого за волосы.— Так тебе будет удобнее... руби!

Султанше Эсмэ он потом признавался:

— Только один час жестокого правосудия намного лучше ста часов смиренной молитвы.

Обращаясь к заправилам Дивана, султан возвещал:

«Страна погибает. Еще немного — и уже нельзя будет ее спасти... мы должны положить конец злоупотреблениям чиновной власти. Я хочу, чтобы мне говорили правду, и только правду!»

. . . . .

Его навестил Татарджик-Абдулла-Эффенди, престарелый мулла из Румелии (так называлась европейская часть Турции).

— Великий султан, твои подданные работают с детьми и женами не для того, чтобы насытить себя, а едино лишь ради того, чтобы уплатить налоги, и не за тот год, в котором живут, а за полвека вперед, когда жить будут не они, а их внуки... Скажи, бояться ли мне своих слов, великий султан?

— Не бойся и говори, — разрешил Селим.

— Зато вельможи строят на берегах Босфора виллы-сахильхане, каких не имеют даже маркизы Парижа, они ввозят к Порогу Счастья предметы роскоши, служащие соблазном для других, их окружают сотни бездельников и множество алчных евнухов, гаремы уже не вмещают невольниц, которые так и умирают девственны, ибо не хватает жизни для их искушения. Скажи, я еще не вызвал твоего гнева, великий султан?

— Не бойся. Смело выдави суть вещей из благоуханного сока житейской мудрости, — просил Селим богослова.

— Твоя казна пуста, а вельможи тратят награбленное на свои прихоти, они обвешивают одалык (одалисок) драгоценностями. Так прикажи им носить фальшивые камни, запрети покупать соболей и горностаев, ибо шерсть наших баранов и ценных агнорских кошек — не хуже иностранных мехов. К чему нам шали из Кашмира или шелка Ливона, если в Алеппо или в Дамаске ткуются прекрасные ткани? Наконец, султан, и налоги...

— Говори, мудрый эффенди, не бойся слов правды.

— Налоги таковы, что многие деревни стоят пустыми, люди разбегаются, согласные жить в странах неверных — и в Сербии и в Мадьярии, даже в России. Нельзя постоянно

угнетать славян, греков и прочих христиан, с которых берут по сто пиастров за воздух, которым они дышат. Священный шариат не велит взыскивать подати со стариков и нищих, а у нас платят даже слепцы, безногие и безрукие. Наконец, только у нас народ обложен налогом «на зубы» чиновникам, у которых во время еды стираются зубы... Я прогневал тебя, султан?

— Нет, эффенди. Я внимал тебя с открытым сердцем. Но что делать, если нам мешает эта война с Россией?

— Так закончи ее! — воскликнул Татарджик-эффенди...

Погруженный в мрачные мысли, Селим III удалился в Эйюб, что возвышался над синевой Золотого Рога, и, поникший, он продумывал услышанное — правда была слишком жестокой. Ему хотелось создавать новую армию европейского типа, чтобы она заменила старое и прожорливое стадо янычар, но...

— Казна пуста, — признался Селим. — И где добыть деньги? Как мне стать ножом, который бы не резал свои же ножны?

Первые Османы, его предки, подобными вопросами не терзались. Для пополнения казны имелось два верных способа. Первый: при обилии жеп в гареме дети рождались часто, новорожденных девочек еще в колыбели объявляли невестами богатейших садовников, которые до наступления их зрелости вносили в казну колоссальные налоги на «содержание» будущих жен. Второй способ был еще проще. Все визири, живущие взятками, собирали громадные состояния, а султаны не мешали им воровать. Но, когда их богатство становилось чрезмерным, визириям отрубали головы, а все их имущество поступало в казну султана.

Не оттого ли в старину казна Османов не оскудевала?.. До покоев Эйюба долетал голос бродячего певца:

В тазу золотом разминаю я хну,  
Зовите ко мне молодую жену...

Гарем Селима III оставался бездетен, а сестра Эсмэ заменяла ему всех женщин на свете. Именно для нее султан и выстроил Эйюбский дворец-киоск, щедро украшенный золотыми орнаментами, для нее порхали под сводами райские птицы. Красавица-султанша, под стать брату, была умна и тоже писала стихи. Заняв престол, Селим выдал ее замуж за своего фаворита Кучук-Гуссейна,

человека крохотного роста («кучук» по-турецки значит маленький); Кучук был грузинский раб и товарищ детства султана.

Они встретились в Эйюбе втроем. Скинув туфли, мужчины сели, поджав ноги, на тахту. Невольники-нубийцы, опустясь на колени, разожгли им табак в длинных трубках. Султан сказал:

— Тебя, Кучук, я решил назначить капудан-пашой.

Это значило — быть «маленькому» адмиралом флота.

— Но я плавал не далее Родоса, — отвечал шурия, — и, делая меня капуданом, куда денешь старого флотоводца Хассана?

— Наш флот разбил неистовый Ушак-паша, пришло время звать корабли из Алжира и Туниса, а Хассака я пошлю на Дунай, пусть уговорит «одноглазого» (Потемкина), чтобы смирил ярость своего «Топал-паша», — последнее было сказано султаном о Суворове, который хромал после ранения...

Кучук-Гуссейн отвечал, что войска разбегаются:

— А наши янычары бегут с войны первыми. В таборе великого визиря стоит залаять собакам, как они бросают оружие и бегут прочь, крича, что русские их окружают.

— Да, — согласился Селим III, — янычары способны только хвастать, что перевяжут всех русских веревками. А на самом деле их на войну не дозовешься. Просишь четыре тысячи человек голов, но из казармы с трудом выманишь четыреста...

В беседу мужчин вмешалась Эсмэ:

— Не лучше ли помириться с Россией сейчас, пока Ушак-паша не стронул свои корабли к берегам Румелии? Куда нам бежать, если его эскадра бросит якоря напротив Серая?

Селим сам хотел мира, но боялся мира постыдного:

— Молчи... женщина! — прикрикнул он на сестру. — Пока Измаил неприступен, империя остается непобедима. И объявлю новый набор мужчин от четырнадцати до шестидесяти лет. Чтобы пополнить казну, я заставлю платить налоги уличных певцов и нищих столицы. От моих налогов не спасутся даже цыгане, которые привыкли шататься без дела. Наконец, христианским женам я велю появиться на улицах только в черных одеждах и босиком, чтобы, непричесанные, они громкими голосами выражали скорбь — на радость всем правоверным...

Длинные ресницы Эсмэ были загнуты и накрашены. Она взяла лютню и стала вслух импровизировать стихи:

Уеду от вас я в далекий Измир,  
Где сладкий в садах вызревает инжир,  
Где птицам подам я кормиться с руки,  
А плакать уйду на берег реки...

— Я женщина, но умнее всех вас, — вдруг сказала султанша, отбросив лютню. — Сразу как началась война с Россией, а русского посла заточили в Едикюле, я каждый день не забывала посылать ему от своего стола свежие фрукты.

— Зачем ты это делала? — строго спросил Кучук.

— Наверное, потому, что я всегда помню о страданиях вашей праматери-Грузии... Разве нам, сидящим в Эйюбе, дано оградить Тифлис от ужасов, которые несут грузипам алчные толпы персидского шаха Ага-Мохамеда, будь он проклят, этот кастрат!

Эсмэ вовремя вспомнила, что не так давно грузинский царь Ираклий II просил Петербург о покровительстве, и Екатерина II сулила грузинам защиту от варварских набегов. Но война на Дунае отвлекла русские войска от Кавказа.

Эсмэ сказала, что империя Османов нуждается в переменах.

— Реформы необходимы, — кивнул ей Селим. — Но мне легче проглотить железную лопату, нежели провести в жизнь эти реформы. Лучше пожалей меня, сестра, и, если янычары потащут меня на виселицу, ты не кричи мне вслед, чтобы я не забыл на обратном пути купить тебе новую юбку... Мне страшно!

День угас. Золото Эйюба померкло. Птицы уснули.

— Будем осторожнее с янычарами, не раздражая их новшествами, — тихо сказал Кучук-Гуссейн. — Чтобы измерить глубину колодца, не надо бросать в него ребенка. Я согласен. Пусть плывут к нам эскадры корсаров из Алжира и Туниса, чтобы разбить флот Ушак-паши, и пусть Хассан на Дунае договориться с Потемкиным о мире, столь нужном. Но Измаилу стоять вечно...

Да, молодой султан очень хотел бы разломать старое, чтобы па его обломках возродить новое. Селим был человеком большой личной храбрости, а если кого и боялся, так, пожалуй, только одних янычар, которые уже не раз играли головами турецких султанов. К сожалению,

Селим, всегда зная, что ему делать сегодня, никогда не знал, что ему делать завтра...

Было время начала Французской революции, когда князю Потемкину оставалось жить лишь два года, а императрице Екатерине Великой предстояло царствовать еще долгих семь лет.

Французская революция разбередила весь мир, и только у Порога Счастья оставались равнодушны, не понимая, почему возник такой шум из-за Бастилии, которая в понимании турок ничуть не лучше Едикюля (Семибашенного замка), в темницы которого они привыкли сажать на цепь иностранных дипломатов.

Королевский посол, Габриэль-Флоран граф Шуазель-Гуфье, известный археолог, изучал античные древности, исследуя места, воспетые еще Гомером, а революцию воспринял как национальное бедствие. Впрочем, высокообразованный человек, он никак не мог растолковать туркам, что такое «демократ», ибо в их произношении — «демыр кыр ат» — означала «белую железную лошадь».

Когда визирь находился при армии, в столице его замещал каймакам с правами визиря, а иностранными делами ведал реис-эффенди, Ахмет-Атиф, окруженный драгоманами-фанариотами, которые и подсказывали ему, как надо ругаться с франками.

— Если ваша Европа когда-нибудь и погибнет, — ругался реис-эффенди, — так только от того, что она много знает такого, чего нормальным людям знать совсем не обязательно.

— Ваша правда, — не возражал посол. — Но если империя Османов и погибнет, то, наверное, только по той причине, что она постоянно воевала с Россией, никогда не желая видеть в ней могучую соседку, с которой полезно дружить...

Подобный упрек вызвал в реис-эффенди приступ ярости, и он попросту накричал на графа, как на мальчишку:

— Постыдитесь! Вся ваша беда в том, что мы всегда смотрели на Францию, как на единственного друга в Европе, и не вы ли, французы, толкали нас на войну с Россией? А теперь, когда у вас завелась «белая железная лошадь», вы советуете нам мириться с «одноглазым» и его «хромыми»...

Шуазель-Гуфье отвечал с учтивым поклоном:

— Франция перестала быть королевской, и советую вам мириться с Россией не как посол короля, а, скорее, как честный француз, умудренный опытом в дипломатии... Я не хотел вас обидеть! Просто мне стало известно, что Хассан-паша выехал на Дунай, дабы убеждать Потемкина в том же, в чем осмеливаюсь убеждать вас и я, посол несчастного короля!

Топал-паша (Суворов) уже одержал внушительные победы — при Фокшанах и Рымнике, и мир Селиму III был крайне необходим, чтобы приступить к обновлению своего государства. В конце беседы граф Шуазель-Гуфье утешил турок словами:

— Скоро вам станет легче! Я имею известие из Вены, что там желают выйти из войны с вами, и Потемкин, встретясь с Хассаном, смирит свою гордыню, ибо Россия, покинутая Австрией, останется в одиночестве, имея два фронта сразу: один на Дунае — против вас, а другой на Балтике, где шведские эскадры грозят пушками Петербургу и лично императрице Екатерине...

...1789 год заканчивался, в этом году жители Корсика (тайком от французских властей) связались с русским послом в Париже, умоляя доложить императрице Екатерине о том, что корсиканцы согласны быть в русском подданстве, лишь бы избавиться от тягостной парижской опеки.

Тогда же генерал Иван Заборовский набирал на Корсике волонтеров, и среди прочих добровольцев, ищущих выгод от русской службы, заявился некий поручик Наполеон Бонапарт — угрюмый, взирающий хмуро, темноголовый, скверно одетый и, очевидно, не каждый день обдававший.

— Желал бы служить короне российской, — сообщил он.

— Эге! — свысока отвечал Заборовский. — Да больно уж много вас таких, почему и указ мною получен, чтобы в службу российскую иностранцев всяких брать одним чином ниже.

Бонапарт не соглашался начинать жизнь в России подпоручиком, и Заборовский, рассердясь, указал ему на дверь:

— Коли вы столь высокого о себе мнения, так соизвольте не досаждать мне более своей персоною незначительной.

Наполеон Бонапарт, уходя, пригрозил генералу:

— Тогда я предложу свою шпагу султану турецкому!

— А по мне, — получил ответ, — так хоть дьяволу...

Много позже генерал И. А. Заборовский рассказывал: «Не видать ли в сем случае движения Вышнего Промысла? Ведь указ о понижении в чине я получил дня за два до того, как Бонапартий сей явился ко мне... Опоздай указ на два дня, и я бы принял сего жалкого поручика в русскую службу тем же чином, а в двенадцатом годе Москве не гореть бы...»

Странный казус истории! С трудом даже верится.

Много позже Александр I, испытав поражение при Аустерлице и пережив позор Тильзита, говорил Заборовскому:

— Дернула же вас нелегкая отказать этому проходе в русской службе! Случись такое, и Европа никогда бы не знала императора Наполеона, а наша Россия имела бы еще одного скромного поручика артиллерии по фамилии Бонапарт...

### 3. В БОРЬБЕ ЗА МИР

Светлейший хандрил. Неприятно, что адъютант его Пашка Строганов — из графов! — замечен в числе штурмующих Бастилию, а рядом с ним была куртизанка Теруань де-Мерикур; теперь же этот Пашка из Парижа извещает отца в Петербурге: «Единого желаю — или умереть или жить свободным...»

— Во, щенок паршивый! — недоумевал Потемкин, ворочаясь на тахте. — Свободы ему захотелось. Чья бы королева мычала, а его бы лучше молчала. Вадумал на стенку лезть, коли перед нами свои Очаковы да Измаилы... чай, еще пострашнее!

Спать расхотелось. Зато вспомнилось нечто. За партией в пикет его Танька, племянница возлюбленная, от дядушки отвратясь, ногою под столом пылкость свою молоденьким партнером выражала туфелькой, и в гневе князь кликнул секретаря:

— Розог мне! Да вели Татьяну звать, чтобы явилась.

— Их превосходительство, — подобострастно отозвался секретарь, — уже изволят в галантном дезабилье пребывать.

— Тем лучше! Зови. Чтобы не мешкала...

Разложил превосходительную племянницу поперек



тахты и усердно порол ее розгами, а она плакала, вскрикивая:

— Ах, дядюшка, ох, родненький, ай, больно, ой, за что?

Была племянница мягкая, упитанная, метресса зело сдобная, и потому не сразу об нее все розги переломались.

— Ступай вон, — распорядился светлейший.

Стал думать дальше. Очень неприятно, что великий визирь Хассан, бывший капудан-паша, недавно умер — ни с того, ни с сего, и, наверное, без отравы не обошлось. Потому мирные переговоры, едва начатые, прервались. А мужик-то был здоровущий, ранее (сам сказывал) лихо пиратствовал у берегов Алжира, винище хлебал не хуже православных... Поговорили о мире, выпили как следует, а он вдруг помер. «Еще подумают, что я отравил!» — похолодел Потемкин, пирата сего жалеючи.

Утром в ставку светлейшего заявился атаман Патов, с пим казачий конвой доставил янычарский оркестр, пленный при Рымнике со всеми «погремушками», сваленными на телегу. Но даже сейчас, опутанные веревками, янычары еще рыпались, рыча в сторону неверных. Матвей Платов, молодой ухарь и пьяница, сказал Потемкину, что этих башибузуков отвозить до России боязно: они же по дороге до Тамбова весь конвой передуют. Потемкин велел пленных развязать:

— И пусть разберут с телеги громыхалы свои. Мне, братец, от Моцарта и Сарти скучно бывает, так хоть этих послушаю...

Сам взял медные тарелки, сдвинул их, с удовольствием выслушав звон, заверченный таинственным «шищением» меди.

— Ага! — сказал Потемкин. — Не эти ль турецкие тарелки и употребил Глюк в опере своей «Ифигения в Тавриде»?

Янычар развязали. Один из них засмеялся.

— Или ты понял меня? — спросил его Потемкин.

— У меня бабушка была... калужская.

— Это, небось, твои тарелки?

— Вот как надо! — И янычар воспроизвел гром, в конце которого загадочно и долго не остывало ядовитое «шищение»...

Янычары нехотя разобрали свои инструменты с телеги. Над их головами качался шест с перекладиной, на шесте висели, приятно позванивая, колокольчики. При-

дворный композитор Сарти еще не пришел в себя «после вчерашнего», а до Моцарта было далеко...

— Ну,— сказал светлейший,— теперь валяйте! Хотя бы свой знаменитый «Марш янычар»... не стыдитесь, ребята.

Разом сомкнулись тарелки, заячьи лапы выбили первую тревогу из барабанов. Полуголый старик лушил в литавры с такою яростью, словно убивал кого-то насмерть. Звякали треугольники, подвывали тромбоны, звенели триангели и тамбурины. В это варварское созвучие деликатно (почти нежно) вплетались голоса гобоев, торжественно мычали боевые рога, а возгласы трубных нефиров рассекали музыку, как мечи. Янычары увлеклись сами, играя самозабвенно, словно за их оркестром опять двигались в атаку боевые, гневно оружие отряды «байранов»...

«Марш янычар» закончился. Платов спросил:

— Ну, дык што? Опять мне вязать всю эту сволочь?

Потемкин взял нефир, выдувая из него хриплое звучание.

— Не надо,— сказал он.— Лучше мы их покормим, дадим выспаться. А потом в Петербург поедут и цуцай наши гудошники поучатся, как надо играть, чтобы кровь стыла в жилах от ужаса, чтобы от музыки шалел человек, не страшась ни смерти, ни черта лысого, ни ведьмы стриженной...\*

По-хозяйски князь заглянул и в другую телегу, приподняв кошмы, и на него вдруг глянуло страшное, сплошь изрубленное лицо турецкого офицера.

— Ну, и рожал! — сказал Потемкин.— Что с ним?

— Да вот, взяли,— пояснил Платов.— Рубился лихо. Мы его тоже не жалели. Думали, живьем не довезти — сдохнет...

Потемкин велел отвезти пленного в госпиталь:

— И накажите хирургам, чтобы вылечили. Ежели не поставят этого злодея на ноги, так я всех лекарей с ног на головы переставлю... Они меня знают, что шутить не люблю!

---

\* Впоследствии русская военная музыка многое переняла от оркестров янычар, вызывая самые воинственные эмоции в своих мотивах. Недаром же в 1814 г., при начале штурма Парижа, русские оркестры играли на высотах Монмартра, и, услышав их оркестры, французы сразу выслали парламентаров. Наполеон однажды сказал, что русские солдаты побеждают благодаря музыке своих духовых оркестров.

Вернулся в спальню, обвешанную персидскими коврами, завалился на тахту, обтянутую алым лионским бархатом. Думал.

— Жаль Хассана, жаль, что не успели помириться...

Опять Эйюб, опять звуки лютни в руках Эсмэ...

Известие о внезапной кончине Хассана было огорчительно для Селима III, и султан — как и Потемкин! — тоже подозревал отравление визиря, говоря сестре:

— Тут не обошлось без алмаза, растертого в мелкую пыль, которая умерщвляет человека, не оставляя следов от яда...

Между тем, переговоры на Дунае прервались, и Селим был горестно удручен. Турецкие султаны во всех затруднительных случаях привыкли советоваться с послами Франции, и сейчас султан тоже возымел желание видеть Шуазеля-Гуфье.

— Кучук-Гуссейн не спешит выйти в море, откровенно боюсь, что его кораблям не справиться с эскадрой Ушак-наши... Что вы, посол, могли бы мне сейчас посоветовать?

Шуазель-Гуфье от советов явно воздерживался.

— Времена изменились! — уклончиво отвечал он. — Сейчас я лишь несчастный заложник взбунтовавшейся черни Парижа. Одно мое осторожное слово, сказанное у вашего Порога Счастья, и моя бедная жена, оставшаяся во Франции, будет заточена в тюрьме Бисетра. В таких условиях я могу повторить лишь сказанное ранее: ищите мира с Россией, пока ее штыки сверкают на Дунае, и мы еще не видим их под стенами вашего Серая.

— Может, вернетесь во Францию? — намекнул Селим.

— Я... боюсь, — честно сознался аристократ.

Смерть Хассана казалась дурным предзнаменованием. Лишенный советов от имени Франции, Селим III был вынужден внимать послам Англии и Пруссии, которые в один голос убеждали султана в том, что войну на Дунае следует продолжать, при этом англичанин обещал поддержку Сити, а пруссак говорил, что в Пруссии все готово для нападения на Россию:

— Шведский король и поляки поддержат наши благие намерения, чтобы загнать русских обратно — до гор Рифейских, до лесов Сибири, а вы, великолепный султан,

вернете себе Крым, чтобы из тиши Бахчисарая грозить шабегами Украине...

Голубой грунт потолка был украшен золотым небосводом, в стрельчатых окнах сияло солнце, отчего в арабесках вспыхивали причудливые картины, возбуждающие фантазию. Эйлюбский дворец высился недалеко от Сладких Вод столицы, и оттуда, со стороны ручьев Кяятхане, звучала музыка, но это была не воинственная музыка победителей-османлисов, а сладкоречивая музыка покоренных ими эллинов. В чередовании свирелей и лир игрался «хасапикос» — танец мясников, в котором угадывались мотивы давно погребенной Византии... Селим, патура художественная, невольно заслушался.

— Благодарю вас, — отвечал он послан. — Снесу обрадовать ваши кабинеты: я распорядился, чтобы алжирские и тунисские беи, подвластные моему Сералю, прекратили заниматься разбоем, их корабли уже плывут сюда, чтобы под флагом Кучука решить исход войны на Черном море.

— В этом случае, — поклонился британский посол, — лондонское Сити не оставит вас своим доброжелательным вниманием.

— Браво, браво! — воскликнул пруссак...

Но случилось то, чего на берегах Босфора не ожидали: шведский король первым из коалиции понял, что в Петербурге ему не бывать, и в августе 1790 года Россия — опять-таки победоносная! — принудила Швецию к миру. Антирусская коалиция потерпела крах, и в банках Сити мешки с золотом остались целы. Здесь уместно напомнить, что адмирал Горацио Нельсон не был еще знаменит и, заболевшая тяжелую форму дизентерии, он пребывал на берегу в унижительном забвении, получая лишь половину жалования, ибо своим отвратным характером и завистью к подчиненным немало испортил свою карьеру...

Селима III навели дряхлые евпухи:

— Гаремные жены изныли от тоски и даже стали роптать, отчего столь великий султан не навещает их для услаждения?

— Скажите им, — отвечал султан озлобленно, — чтобы набыли обо мне, пока я не развяжусь с русскими на Дунае...

Селиму было сейчас не до жён, а ропчущих всегда можно зашить в мешок и окунуть в ночные воды Босфора, — нет, теперь совсем иное занимало султана. Неожиданно...

данный мир между Россией и Швецией расстроил его планы, но в эти же дни Селима утешило известие из габсбургской Вены: Австрия соглашалась на сепаратный мир с Турцией, она выходила из войны, отдавая туркам сербский Белград — эти главные ворота в Европу, откуда турки много столетий подряд грозили Габсбургам; теперь эти дунайские «ворота» снова были в руках Турции...

Русский посол еще томился в темнице Едикуля!

Но в Константинополе, после заключения мира с Веною, вскоре появился австрийский консул. Нигде так не испугались французской революции, как в Вене, и потому консул сразу стал жаловаться на безобразное поведение французской колонии в Константинополе. Селим III, конечно, его не принял, считая Австрию «побежденной», и потому консул высказал свои обиды реис-эффенди Ахмету-Атифу:

— Накажи Аллах этих сумасбродных французов! — вопил консул. — Если вы не решаетесь спясть им головы, так заставьте их снять со своих шляп хотя бы революционные кокарды, которые нам, австрийцам, противно видеть. Наковед, эти лавочники посадили «дерево свободы» и теперь, напившись вина, они отплясывают вокруг него свою бесстыжую «карманьолу», дергаясь членами в судорогах, словно стали припадочными...

Реис-эффенди дал консулу выговориться.

— Ах, дружище! — отвечал он с усмешкой. — Не забывайте, что Оттоманская империя — государство не христианское, и нам, мусульманам, безразлично, каковы поводы для безумия ваших единоверцев. Если франкам захотелось посадить «дерево свободы», так пускай сажают, лишь бы не забывали иногда поливать его. Да и что толку с этих значков на шляпах? Если франки завтра будут таскать на головах корзины для собирания винограда, так мы, османы, даже не станем их спрашивать, зачем им это нужно? Пусть пьют и пляшут что хотят, а вы не утруждайте себя и меня подобными глупостями...

Ахмет-Атиф был пьяница, о чем Селим был извещен, но, сам любивший выпить, султан просил реиса выпивать не более ста драхм (одна аптекарская драхма составляла меру около четырех граммов). Выпроводив вепского консула, реис-эффенди стал отмерять драхмы, словно аптекарь капли спасительного бальзама, по, чтобы вино получилось крепче, он растворил в нем комок едкой извести. Выпив, он сказал драгоманам:

— Это у франков рухнула королевская Бастилия, зато вечен и нерушим наш твердокаменный Измаил...

11 декабря 1790 года неприступный Измаил пал...

#### 4. ОТ ИЗМАИЛА И ДАЛЕЕ

По всем меркам военного искусства взять Измаил было невозможно, но русские взяли его, и только один япычар из гарнизона крепости уцелел, переплыв Дунай на бревне, — он-то и поведал у Порога Счастья, каков был штурм... Возглавлял этот штурм Суворов (Топал-паша), а первым комендантом павшей цитадели стал Михаил Илларионович Кутузов, который выразительно оповестил жену об итогах штурма: «Любезный друг мой Катерина Ильинишна... я не ранен и бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Кого ни спрошу: всяк либо убит, либо умирает...»

Падение Измаила повергло Европу в изумление.

В турецкой столице воцарилось уныние.

Султанша Эсмэ убеждала Селима III:

— Но теперь-то, надеюсь, ты понял, что нельзя держать и далее русского посла в заточении Едикюля? Выпусти его — и пусть он знает, что мы, как никогда, готовы мириться...

Ближе к весне весь Босфор, между дворцом Топкапу и азиатским берегом Скутари был плотно заставлен кораблями. Алжирский паша Саид-Али, живший морским разбоем, охотно отозвался на призыв Селима, своего почитателя; не смел ослушаться султана и тунисский Хамуд-паша, приславший флотилию корсарских судов; теперь под флагом турецкого капудан-паши Кучук-Гуссейна собралась внушительная армада, один вид которой вызывал трепет...

Селим III отвечал сестре:

— Твой муж, хотя и очень маленький ростом, но, смотри, какая у него громадная эскадра, над которой ветер развевает флаги сразу восьми адмиралов, подчиненных ему. Да, я выпущу русского посла из темниц Едикюля, но прежде желаю видеть грозного Ушак-пашу здесь... вот тут!

— Где? — спросила Эсмэ.

— Перед собой, но опутанного цепями, как это и обещал мне Саид-Али, поклявшийся мне в этом на Коране...

Селим III сказал сестре, что в ответ на падение Измаила турецкий флот ответит разгромом Севастополя. Широким жестом султан обвел гигантскую панораму рейда. Корабли, корабли, корабли... Тысячные толпы морской пехоты, вчерашних корсаров, наводивших ужас на всех мореплавателей — от фортов Гибралтара до памятников Яффы — заполняли трюмы судов, галдели на палубах; в корабельных лавках не успевали варить йеменский «мокко», торговцы не успевали набивать благоуханным «латакия» курительные трубки болтливых «кальонджу» (солдат морской пехоты, набранной из жителей Анатолии).

— Ты молчишь? — спросил султан у сестры.

— Скажу, — отвечала Эсмэ. — Женское сердце подсказывает мне, что я останусь вдовой, и... кто станет моим мужем?

Вторым ее мужем будет тот свирепый янычар, который сейчас в болгарском Разграде торговал скотом на базарах и, обходя ряды торгующих крестьянок, он пальцем пробовал на вкус деревенское масло.

— Дрянь! — и вытирал пальцы о свои шальвары..

Вот этот человек и станет мужем прекрасной и умной Эсмэ.

.....

Светлейший перевернулся на другой бок. В животе сильно бурлило. Сам виноват. Нельзя же шампанское заедать репой! В покоях князя шумело, будто роились шмели над старой колодой. Это в углу бродили кислые щи, запечатанные в бутылках, и в каждую бутылку была брошена изюминка — для приятного брожения.

— Ще ей хочу! — капризно крикнул Потемкин.

Мигом убежал казачок, открыл бутылку — и в потолок ударила пенная струя фонтана, обрызгавшего светлейшего. Казачок скакал и прыгал, сляясь рукою удерживать щи в бутылки.

— Где изюминка? — заорал князь, отряхиваясь. — Куда ты, байстрюк, подевал мою изюминку?

— Эвоп, — показал мальчишка на потолок.

Изюминка прилипла к потолку, вызвав новые эмоции.

— Жаль, — сказал светлейший. — Привык я кислые щи закусывать сладенькой изюминкой...

Снова лег. Прислушался к животному бурчанию. Вспо-

минал, что сделано, а что предстоит сделать. Дернул сонетку звонка:

— Саблю мне... ту, что с рубином в эфесе.

После чего велел звать из госпиталя янычара, которого недавно привезли на телеге — всего изрубленного. Светлейший с интересом осмотрел его голову, всю в шрамах.

— Хорош! Тебя, братец, казаки, вижу, будто капусту, саблями шинковали... Сознавайся, сколько наших угробил?

— Не помню, — поежился янычар.

— Умен, если не помнишь. Я ведь думал, что ты не жилец на свете... Водку, скажи, пьешь?

Янычар от водки не отказался. В разговоре выяснилось, что по имени он Рашид-Ахмет-ага, сам из племени лазов, живущих в Колхиде, смолоду немало разбойничал, грабя и турок, потом служил султану, у которых и стал «агаю» (начальником).

Одинокий глаз Потемкина источал жалкую слезу:

— Возблагодари Аллаха, что наши лекари, почитай, из могилы тебя вытянули. Но казаки сказывали, что драчун ты храбрый, мы таких уважаем, в знак чего и дарю тебе, яко офицеру, вот эту саблю... с рубином, видишь? А теперь — убирайся.

— Куда? — оторопел Ахмед-ага.

— Хоть к султану, хоть обратно в Колхиду, нам все равно...

В самый разгар лета 1791 года Потемкину доложили, что Измаильский отряд Кутузова форсировал Дунай, перенеся боевые действия на его правый берег, он атаковал и рассеял турецкий «табор», захватив немалые трофеи, даже знамена и пушки.

Об этом же вскоре известился и султан Селим.

— Все неприятности со стороны Севера приходят от одноглазых, — сказал он. — Может, именно эти кривые шайтаны и принесли русской царице удачу?..

Флот ушел в море — для расправы над Ушак-пашой.

Над мечетями и банями Константинополя опустился покой жаркого летнего зноя, из дверей кофеен слышалось ленивое звяканье кувшинов с прохладной водой и чашек с черным кофе. Была душная августовская ночь, когда Селим III пробудился от выстрелов с Босфора. Напротив дворцового мыса Сарай-бурну стоял корабль, выстрелами из пушек умоляя о помощи. Султан с трудом признал в



нем «Капудание» — алжирского флагмана Саид-Али. В темноте было не разглядеть, что с ним случилось, но вскоре к Вратам Блаженства доставили паланкин, в котором лежал израненный Саид-Али («страшный лев Алжира и любимый крокодил падишаха»). Носильщики опустили паланкин на землю.

— Вижу тебя, — сказал султан, — но где же... флот?

— Прости, султан, сын и внук султанов, — отвечал Саид-Али, — я не знаю, где флот. Корабли раскидало по морю от самой Калиакрии до берегов Леванта... флота не стало!

Адмирал Федор Федорович Ушаков полностью уничтожил его у Калиакрии, что тускло помигивала маяком возле берегов болгарской Варны. «Льву» и «крокодилу» Саид-Али еще повезло — он с трудом дотащил на обрывках парусов своего флагмана до рейдов Босфора, имея на борту «Капудание» полтысячи раненых, а другие корабли... пропали! Эсмэ не плакала:

— Кажется, я стала вдовой и... невестой.

Очень долго не было вестей от капудан-наши Кучук-Гуссейна, который блуждал возле Трапезунда, боясь возвращаться домой, чтобы избежать гнева султана и холодного презрения любимой жены.

Константинополь в эти дни опустел: богатые турки спешно покидали столицу, охваченную ужасными слухами, будто грозный Ушак-паша на всех парусах летит к Босфору, чтобы в ярости пушек оставить от турецкой столицы лишь груды развалин...

Султанша Эсмэ гневно внушала брату:

— Разве ты сам не видишь, что все кончено? Потемкин в Яссах недаром бездельничает, ожидая от тебя новых послов, чтобы они просили его о мире...

Осенью, когда переговоры уже начались, в Константинополе узнали о странной и подозрительной смерти Потемкина.

— Жил, как лев, — сказал о нем Селим III, — а умер вроде бездомной кошки, сожравшей отравленное мясо... Мне жаль его! Это был достойный враг и благородный противник.

29 декабря 1792 года был подписан Ясский мир, который закреплял Крым за русскими, Турция обязывалась оградить Кубань от разбойничьих набегов диких ногаев, султан не смел более предъявлять претензии на владение Грузией, а сама Россия, отказавшись от миллионных конт-

рибуций, уступала туркам Молдавию, захваченную ее войсками. Главные цели Второй русско-турецкой войны были достигнуты: Россия утверждала свои права на обладание Черноморьем — это был «русский Левант», широко раскинувшийся от Одессы до кавказской Анапы.

В мрачном настроении султан Селим III навестил прекрасную Эсмэ, и она, чтобы утешить брата, запела ему о стыдливой розе, на лепестках которой по утрам выступает не роса, а капельки пота — священного пота самого Магомета!

Впервые за много лет хвосты черных кобылиц перестали развеиваться над Вратами Блаженства султанского Серая: мир!

.....

Рашид-Ахмет-ага вернулся из плена в столицу султана, снова украсив свою голову шапкой из серого войлока, по бокам которой болтались два лоскута, похожие на волчьи уши. По чину янычара, он сразу начал буянить, в частых драках и ругани требуя для себя особого почитания. Хвастая новой саблей, полученной в дар от Потемкина, он в кофейнях разрубал ковровые паласы, одним ударом сметал с полок ряды медных кофейников и звончатых чашек. Его вязали пожарные, его волтузили стражи порядка, он вытирался от плевков бродячих дервишей, но продолжал буянить, во всю глотку распевая:

Если был бы я лягушкой на болоте,  
Неужели не служил бы в нашем флоте?  
И, не зная больше горя,  
Я бы прыгал на две моря...

Своего угла у Ахмеда не было, ночевать в казармах он не любил, и потому привык проводить ночи на пристани Галаты, с головой завернувшись в янычарскую бурку. Сваленная из плотной верблюжьей шерсти, бурка стояла колом, словно сделанная из жести, и, когда Ахмед закутывался в нее, она принимала форму сторужевой будки, в которой тепло и уютно.

В кругу своих янычар ага охотно показывал голову в шрамах; на Эйтмайдане, стоя в длинной очереди ради получения дармового куска мяса, Ахмед не раз обнажал свое жилистое тело, и ценители чужих подвигов с восхищением насчитывали на нем до полусотни рубцов от сабельных ударов.

— Гяуры лечить умеют, — рассказывал Ахмед, протягивая миску за второй порцией султанской похлебки. — Если бы не русские, я давно кормил бы червей в канаве под Мачином. Когда мне попадались гяуры живыми, я отрубал им головы, а все, что было при них, продавал на базаре, чтобы иметь хороший «бакшиш». Слава Аллаху! Русские, когда я упал, не стали добивать меня. Они долго везли меня на телеге до госпиталя и лечили, как знатного пашу, никогда не оскорбляя моей миски поганой свиной. А их одноглазый шайтан вернул мне оружие... Вот оно! Глядите, как сверкает этот рубин...

Случайно Ахмед-ага попался на глаза капудан-паше Кучук-Гуссейну, который оценил его храбрость, заодно похвалив и мастерство русских хирургов, и спросил у Ахмеда — не земляк ли он ему? Воинственный лаз с Кавказа поправился грузину и он оставил его при себе — офицером стражи. Ахмед-ага переселился с Галаты поближе к Сладким Водам, охраняя ворота Эйюба, не переставая открыто восхищаться благородством русских:

— Почему они меня не убили? — не раз удивлялся он. — Почему они еще и лечили меня, словно знатного эфенди? Аллах видит, что я живой и на добро русских обязан платить добром...

Впрочем, не слишком ли расхвастался задиристый янычар?

Он очень любил поговорить, а говорить было не с кем.

Почти вся прислуга Эйюбского дворца, где проживала султанша Эсмэ, была подобрана только из немых, чтобы они слушали и видели, но услышанное или увиденное никогда не станет известно другим. Эсмэ умела хранить свои женские тайны...

По привычке, не любя нависающих над ним потолков, Ахмед стал почевать у ворот Эйюба, почти незримый внутри своей бурки. И ему снились то родные болота Колхиды, то страшные сечи, когда кровь хлестала ручьями, а он, накурившись гашиша, даже не ощущал боли от сабельных ударов. С далеких ручьев Кяятхане ему поквакивали стамбульские лягушки, они квакали так же приятно, как и те, что остались жить в покинутой им Колхиде...

Временами пробуждаясь, Ахмед вопрошал почную тишь:

— Кого бы убить, чтобы жилось лучше?..

## 5. У КОГО ПРАВЕДИНЫЕ МЫСЛИ...

Французская колония в Константинополе образовала «Народное общество», ожидая что Париж пришлет нового посла, вооруженного идеями революции...

Странно! Турция считала Францию своим верным и давним другом; еще в 1483 году Париж наладил отношения с османами, постоянно науськивая султанов на войны с Россией; теперь, после революции, новая Франция продолжала прежнюю политику свергнутых королей. На смену королевскому послу Париж направил Шарля Семонвиля, которому поручили добиваться от Турции разрыва условий Ясского мира. Чтобы придать поболее пышности своей персоне, Семонвиль отплыл на эскадре из 8 кораблей и 8 фрегатов, имея в паличности 8 миллионов франков — для подкупов в Диване, дабы турки начали новую войну на Дунае. Если же султан или визирь заупрямится, не желая развязывать войну с русскими, Семонвиль был обязан подкупать столичную чернь для устройства пародных восстаний.

Об этом стало известно в Серале, и Селим III возмутился тем, что Париж прислал якобинца, желающего въехать в его столицу на «белой железной лошади». Якобинцы же — в понимании султана — были чем-то сродни янычарам, только кровожаднее турецких.

Разгневанный, султан говорил Шуазелю-Гуфье:

— Я способен еще понять янычар, требующих увеличения в котлах мясного приварка. Но как понять ваших голодных якобинцев, желающих, чтобы и все люди на свете голодали заодно с ними? Пусть в Париже утешатся — у нас и без того мало сытых. Нет, — заявил Селим, — я не ирму Семонвиля...

Париж не простил изгнания Семонвиля, выместив свое зло на Шуазеле-Гуфье, которого оповестили, что он должен покинуть «Пале де-Франс» и более в него не возвращаться. Впрочем, граф и сам понимал, что его «королевские» полномочия иссякли. Напрасно послы других стран и даже сам Селим III просили графа оставаться на своем посту — Шуазель-Гуфье не соглашался.

— Поймите, — веско доказывал он, — моя жена осталась в Париже вроде заложницы, и стоит мне оказать неповиновение якобинцам, как она будет ими казнена. Лучше уехать...

Беликолепный знаток античного мира, Шуазель-Гуфье

уехал — не в Париж, а прямо в Петербург, где его знаниягодились. Он стал первым директором императорской Публичной библиотеки (ныне имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде). Его сын был камергером русского двора, а внук полковником русской армии. Шуазель-Гуфье разделил судьбу прочих эмигрантов, искавших спасения от гильотины в России, имя его осталось нам памятно и почтенно, как имена и многих его собратьев по несчастью — Ришелье, Ланжерона, Тулуз-Лотрека, Полиньяка, Поццо-ди-Борго и прочих... Мне иногда даже думается, что Франция, приютившая у себя наших эмигрантов после 1917 года, попросту расплатилась с Россией за устройство судеб своих эмигрантов после 1789 года.

...Над фронтоном «Пале де-Франс» в Константинополе теперь колыхался трехцветный флаг, но великий визирь велел его сорвать, а «дерево свободы» забыли поливать и оно вскоре же засохло, затопанное прохожими. Еще никто не знал имени Наполеона Бонапарта.

. . . . .

Принято думать, что Екатерина Великая страшно перепугалась французской революции, боясь, что все русские превратятся в якобинцев, потому-то, мол, она все последние годы жизни только и делала, что боролась... с революцией, конечно!

Увы, это легенда. Но правда и то, что весть о падении Бастилии вызвала в русском народе всеобщее ликование, будто не парижане разломали Бастилию, а сами русские по кирпичику разнесли Петропавловскую крепость. На улицах Петербурга обнимались даже незнакомые люди, чиповник поздравлял офицера, кучер от души обнимал лавочника, а сенатор Соймонов даже устроил в своем доме праздничную иллюминацию — и восторга петербуржцев никто не пресекал. Это было непонятно даже французскому послу, наблюдавшему за ликованием народа из окон своего посольства: «Хотя Бастилия, — писал граф Сегюр, — никогда не угрожала жителям Петербурга, мне очень трудно выразить энтузиазм, вызванный падением нашей королевской тюрьмы...»

Русские газеты печатали самые свежие повести из Франции, книжный рынок был переполнен революционными изданиями, зовущими к свободе. «С.-Петербургские Ведомости» охотно публиковали «Декларацию прав человека и гражданина»; книготорговцы продавали с лот-

ков карикатуры на монархов Европы и портреты трибунов французской революции. Полиция не вмешивалась. Екатерина была достаточно умна, чтобы понимать главное: если положение государства устойчиво, а народ ест в три горла, всем обеспеченный, тогда никакие злобредные брошюры неспособны потрясти основ той власти, которая существует. С откровенным цинизмом Екатерина говорила княгине Дашковой, которая больше всех других вельмож беспокоилась об удушении откровенной «гласности»:

— Э, милая! Пусть читают что хотят — умнее будут. Но я стану читать мудреца Платона, у коего писано пророчески: «Из крайней степени свободы всегда возникает величайшее и жесточайшее рабство народа». Ныне французы веселятся и пляшут, а вскоре мы узрим, каково они заплачут, когда им головы рубить станут... У нас на Руси страшны не маркизы Мирабо, а Емельки Пугачевы!

Слишком уверенная в нерушимости самодержавия, Екатерина подозрительно часто поговаривала о том, что с революцией надобно бороться сообща — всем монархам Европы. Но при этом сама же она палец о палец не ударила, чтобы участвовать в коалиционной борьбе. Недаром же умнейший Талейран говорил, что русская императрица «боролась против французской революции только своими манифестами». Германский историк Франц Меринг писал, что «Екатерина лишь дурачила немецкие государства», призывая их в крестовый поход на «парижских чудовищ», но сама тихо сидела дома и посмеивалась над глупцами.

— Идиоты! — говорила она. — Кто же пушками с идеями борется? Мой сын Павел истины сей тоже не разумеет...

Императрица даже не скрывала своих истинных целей:

— Я ломаю голову, чтобы своих врагов в Европе обратить против Франции. Это мне нужно, чтобы они завязли во французских делах, не в состоянии мешать мне в исполнении важнейших исторических задач России на Востоке. И пусть Европа подольше возится с Францией, а у меня своих забот полон рот...

Таким образом, французская революция была для нее даже политически выгодна, ибо она связывала руки врагам России.

Фельдмаршал Румянцев в эти же дни выслушал от нее такие слова: «Вопрос решен: моя задача — следить за турками, поляками и шведами... Польша полна якобинцев... А демократы из Парижа подстрекают турок к новой войне с нами». Наконец, женщина не забывала, что совсем недавно (в 1783 году) грузинский царь Ираклий II искал покровительства России, и подписанием Георгиевского трактата Россия обязалась охранять Грузию от злодейств персидского Ага-Мохаммед-хана Каджара, о котором Екатерина всегда отзывалась с презрением:

— Кастраты в политике как певцы без голоса! Лишенный важной части тела, этот гадкий евнух озлобился на весь мир, и я чувю, что грузинам боязно жить подле такого соседа...

Натравливая немецких принцев и герцогов на войну с Францией, сама Екатерина Великая не дала ни копейки для подавления революции, ни одна капля русской крови не была ею пролита на алтарь борьбы с «парижскими чудовищами».

— Пусть они перебесятся! — говорила она. — Все революции приходят к единому результату — народ остается у разбитого корыта, а шайка болтунов и мерзавцев ублажает себя на вершинах власти, и эта власть, — предсказывала императрица, — оказывается для народа во много раз хуже той, которую сам же народ и низвергнул во имя призрачных утопий... Мне смешно!

Наконец, уж совсем пророчески Екатерина Великая предсказала неизбежное появление диктатора. Кто он будет — об этом она, конечно, не знала, но, кажется, уже прозревала Бонапарта:

— Поверьте моим предчувствиям: ОН ПРИДЕТ, и вот тогда нашей Руси-матушке предстоит обнажить мечи для страшной борьбы...

...Сразу же после заключения Ясского мира она стала подыскивать умного человека, который бы занял пост российского посла при дворе турецкого султана Селима III:

— Надобно не только умного, но и такого, чтобы турки его боялись. По моему разумению, лучше Михайлы Ларионыча Кутузова нам и не сыскать. Хотя и глядит он на мир единым оком, да это око суть вещей насквозь прозревает...

.....

Сегодня он решил повидать валиде (это титул «матери султана»). Михр-и-Шах, пленная грузинка, родившая такого богатыря, была, напротив, крохотная женщина, мелко семенящая при ходьбе, быстрая в движениях, а глаза у нее — печальные.

При появлении сына она резко поднялась с дивана.

— Я,— сказал Селим матери-валиде,— решение принял. Буду ждать конца всему, что сейчас занимает Европу; если Франция погибнет в хаосе бунтов, я постараюсь искать союза с Англией, а между делом приведу в порядок финансы и армию.

Михр-и-Шах всплеснула детскими ручонками:

— Мир всем, у кого праведные мысли! — отвечала она, предупреждая сына, чтобы не встревожил янычар своими реформами.— Дальше своего ковра ты ног не протягивай. У нашего мышонка хвостик маленький, а ты к нему метлу привязать желаешь.

Селим отвечал матери, что он все заранее продумал:

— Кто способен затащить верблюда на крышу, тот, наверное, знает, как его с крыши спустить на землю.

Михр-и-Шах, боясь за сына, намекнула ему:

— Ты, как фонтан, струишься очень высоко. Но какая бы ни была высота фонтана, его верхушка все равно вниз загибается. Будь осторожен, слушай, что говорят в народе. Любые ворота можно закрыть, но никогда не закроешь всех чужих ртов...

Мать проводила его грузинскими словами:

— Слава — как муха, которая садится и на розу и в навозную кучу. Десять нищих и на одной рогоже спать могут, но двум царям не ужиться в одном царстве. Ты меня понял?..

Селим понял. Положение его было сложным, и допустить он промах во внутренней политике — янычары вынесут котлы на Эйтмайдан. Потому во внешней политике он был гораздо смелее, ибо янычары в дипломатии, слава Аллаху, еще не разбирались. Отношения же Турции с потрясенной Францией становились все напряженнее, ибо Париж желал бы вовлечь султана в новую (уже третью!) войну с Россией. Семонвиль был сознательно отвергнут Селимом — как заговорщик, и его эскадра, пристыженная, покинула Дарданеллы.

Для разведения интриг Конвент нашел другого посла.

Это был знатный маркиз Мари-Луи Сент-Круа, который ради целостности собственной шкуры решил из маркиза



превратиться в «гражданина Декорша». Новоявленный посол был пронырлив, как подвальная крыса, постоянно лгуций, вероломный и вредный. Декорш соблазнял христиан, живущих в Турции, а заодно обещал славянам, что одна лишь Франция способна принести свободу балканским народам, изнывающим в мусульманском рабстве.

— Ваше счастье и радость детей ваших возможны лишь в том случае, если вы, отвратив свои взоры от Екатерины, проникнитесь смыслом катехизиса нашей великой революции, которая не ограничит себя Францией, а скоро потрясет весь мир...

Прослышав об этом, Селим III дал пощечину реис-эффенди:

— Я понимаю, что с болтунами приятно коротать вечера, напиваясь пьяным, но отныне посещать французское посольство я тебе запрещаю. Ста драхм вина — неужели тебе не хватает?..

Декорш вскрыл багажные тюки Семонвиля, оставленные эскадрой, из их запасов он делал подарки знатым туркам, подкупал господарей Молдавии и Валахии, засылал своих агентов в Персию, чтобы тамошний шах-кастрат не медлил с нападением на Грузию, а заодно Декорш обманывал даже... Конвент!

Его ненависть к русским была злобной, Декорш выдумывал о России всякую чепуху, и, не моргнув глазом, пагло сообщал Робеспьеру, что конец России близок, ибо началось восстание донских и кубанских казаков, а скоро подымутся и калмыки...

Селим III ждал посла из Петербурга, чтобы закрепить условия Ясского мира, и потому крикливая суета местных якобинцев раздражала его. Одним махом султан запретил «Народное общество» Константинополя, которое незаметно превратилось в филиал Якобинского клуба, существующего в Париже.

Великий визирь Юсуф-паша был старик хитрущий, а взяточник страшный. Он свою долю из багажа Семонвиля уже получил, и однажды, осчастливив Декорша аудиенцией, все время допытывался — за чем парижане разломали Бастилию, если в Париже скоро понадобятся тюрьмы для тех, кто эту Бастилию разломал?!

— Сколько же узников короля из Бастилии освободили?

Декоршу было стыдно признаться, что в Бастилии, взятой штурмом, не оказалось ни одного узника. Но, опыт-

ный демагог, Декорш сказал великому визирю, что посло взятия Бастилии хлеб в Париже стал дешевле на одно су.

Долгобородый хитрец Юсуф-паша, бывший торговец табаком, долго катался по диванам — от хохота.

— Сумасшедшие! — кричал он, повизгивая, и с его костлявых ног даже свалились остроносые «бабуши». — Неужели из-за одного су надо было устраивать революцию?..

«Гражданин» Декорш совсем испортил свою карьеру, когда в день 14 июля пожелал отпраздновать в Стамбуле взятие народом Бастилии. Такие праздники совсем не устраивали турок.

— Имей голову! — отвечали ему в канцелярии реис-эффенди. — С какой стати мы позволим тебе отмечать день, способный служить дурным примером для нашей черни, и нам, туркам, даже противно думать, что мусульмане захотят штурмовать Едикюль...

Камеры Едикюля, который мрачно взирал на воды Мраморного моря, были теперь пусты. Прежнего посла России давно выпустили из темницы, а теперь Селим III с нетерпением ожидал приезда нового русского посла, — «кто он будет?»

— Мир всем, у кого праведные мысли, — повторял султан слова матери-валиде. — Но стоит ли нам посыпать солью испорченное мясо? А если и соль испортится? Что станет с нашим мясом?..

Селим III жил с оглядкой на янычарский Эйтмайдан, где янычарам каждый день раздавали куски свежайшего мяса.

## 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСОЛ

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов в Первую русско-турецкую войну был смертельно ранен: пуля, прозив левый висок, вышла из головы возле правого глаза. Он выжил, и Екатерина Великая отправила его на целый год за границу — для отдыха. Кутузов посетил Германию, Англию, Италию и Голландию, присматривался к быту людей, их искусствам и культуре. Посещал инкогнито и лекции в Иенском университете, где однажды профессор медицины — в его же присутствии — говорил, что русские врачи шарлатаны, вводящие научный мир Европы в заблуждение своими рассказами.

— При таком ранении, какое получил их генерал Кутузов, человек выжить никак не может,— заключил профессор.

Михаил Илларионович поднялся со скамьи студента:

— Простите, а я вот все-таки выжил.

— Кто вы такой? Назовитесь.

— Я и есть тот самый генерал Кутузов, который, по вашим словам, выжить никак не может...

При штурме Очакова (во Второй русско-турецкой войне) Кутузов был ранен вторично, и опять — смертельно. Пуля вошла в щеку и вылетела из его затылка. Все думали, что Кутузов едва ли доживет до следующего дня, но генерал снова выжил, обессмертив себя, как воин, еще задолго до нашествия Наполеона. Даже не искусство врачей меня удивляет — иное, совсем иное. Кажется, сама великая мать-история пожелала, чтобы Кутузов остался жив, ибо Высшее Предопределение уготовило ему роль спасителя отечества...

В конце 1792 года Екатерина вызвала Кутузова из Польши, где он тогда находился, и сказала, что решила отправить его чрезвычайным и полномочным послом в Порту Оттоманскую:

— Ты, Михайла Ларионович, хорошо управился с татарами крымскими, и гареям указал их сущее место в истории нашей, так, чаю, и Селима сделаешь моим другом. Главное ныне — упрочить союз с султаном, дабы не якшался с французами и Англией, чтобы флоты их не проникали в Черное море, а тако же ты обнадежь славян балканских и греков, что Россия об их страданиях помнит... На моей шее еще и Грузия виспет, да, как сказывают в народе, выше головы не прыгнешь... У меня рук не хватает ото всех отбиваться...

При дворе возникло недоумение, вельможи по углам шептались, что генералы — не дипломаты, а политику едино лишь храбростью не сделаешь. (По мнению же академика Тарле, Екатерина давно разглядела в Кутузове тонкого дипломата, который как никто другой умел «достигать полного успеха, оставаясь с противником в самых дружелюбных отношениях»). Екатерина наделила посла алмазами, серебром и золотом, просила не скупиться:

— Не букеты же цветов подносить им, нехристям! Ты уж сам сообразишь, кого подкупать, а кого благодарить, душевно...

Само же посольство Кутузова именовалось «торжественным».

Кутузову исполнилось 48 лет, а по меркам того времени люди в таком возрасте считались уже «стариками».

1793 год — сложнейший в истории Европы, и открылся он судом над королем Людовиком XVI: большинством в 383 голоса против 310 голосов король был осужден на смертную казнь, вслед за его казнью нож гильотины рассек и тонкую шею королевы Марии-Антуанетты; дети же осужденных оставались неподсудны.

Летом во Франции утвердился якобинская диктатура, беспощадная и фанатичная, а в августе 1793 года испанцы и англичане высадились в Тулоне, жители которого восстали против Конвента, и здесь при осаде Тулона — впервые воссияла звезда молодого и неизвестного офицера Наполеона Бонапарта.

А 26 сентября Кутузов въезжал в Константинополь...

Селим III, радуясь его прибытию, выслал навстречу послу лошадь из своих конюшен, и она, богато украшенная драгоценностями, гордо выступала под седоком. Янычары, выстроенные вдоль улиц, палили из ружей, их оркестры играли не умолкая. В свите посла ехали знатные турки, его встречавшие, квартирмейстеры, курьеры для посылок, русские гвардейцы и даже швейцары, лакеи и официанты, метр-д-отель и актариусы с переводчиками, офицеры флота и армии, кавалеры посольства, чиновники и секретари, врачи и лекари, камер-пажи и просто пажи...

Всего же в свите Кутузова насчитывалось 650 человек.

Дабы жители турецкой столицы не усомнились в важности посольства России, турки составили маршрут его «въезда» таким образом, что русским до вечера пришлось колесить по улицам. В одном из проулков из толпы любопытствующих вырвался какой-то нищий оборванец в лохмотьях, крича послу по-русски:

— Ваше превосходительство! Христом-богом прошу, не оставьте несчастного помирать в чужестранной убогости, дабы не позорился мундир офицера флота российского.

— Да ты кто таков? — спросил Кутузов.

Выяснилось, что сей нищий командовал «Марией Маг-

далиной» в эскадре Ушакова, этот корабль занесло бурей прямо в жерло Босфора, где турки его и схватили.

— Эка незадача! — сказал Кутузов. — Турчины-то пленные, кои в наш полон угодили, в деревнях на печках валяются, блины со сметаной жрут да и переженились на русских бабах, а ты... Ах, ах! Видеть тебя противно. Ну, ладно, садись в карету, чтобы мундира своего не позорить. Много ль насобирал за день?

— Ныне не соберешь, — прослезился командир «Магдалины». — Чтобы просить милостыню, ныне велено от султана особый патент купить. А что ни сберешь за день, вечером янычары отбирают...

Врата посольства замкнулись за кортежем вечером — уже при свете факелов. Сам же дом посла располагался в кварталах Пера, из окон кабинета Кутузов наблюдал, как разгораются желтые огни в окнах домов, строенных за водами Золотого Рога: там и дворец Топ-Капу, там и торжественное великолепие знаменитой Айя-Софии, там Эйтмайдан, где для янычар режут стада баранов, там, наконец, и Сераль с Диваном... Вдруг стало очень-очень печально.

— Царьград... Константинополь... Стамбул, — вздохнул посол. — Кто бы подумал, что на сем месте гиштория, тетка безжалостная, прикончила царство Византийское, зато возвела величие мусульманской твердыни... Николай Антоныч, скажи-ка ты мне, кто лучше всех живет в этом содоме султанском?

Драгоман посольства российского Пизани — сам он родом был из Пизы — охотно растолковал генералу:

— Полагаю, что лучше всех живут здесь... пожарные.

Подобный ответ обескуражил Кутузова:

— С огня-то и с дыма? Какой же доход с головешек?

— С того и живут, что, если пожара давно не было, пожарные сами свою столицу подпаливают, чтобы затем в суматохе людской грабить пожитки погорельцев. Вот и прибыль!

— До чего же хитра экономика, — засмеялся Кутузов...

Лакеи снимали с него парадный мундир, а гардероб-мейстер терпеливо ждал, дабы уложить его в свои гардероб-шкафы.

— Захороводили меня турки по улицам, — ворчал посол, — не знаю, выплусь ли? А завтра начнутся дни суматошные...

.....

Кончились те времена, когда иностранных послов часами морили на улице перед Сералем, чтобы помучился, а султанам докладывали в таких выражениях: «О, великий... там, у твоего Порога Счастья, совсем продрог голодный, раздетый и нищий посол гяуров, трясущийся от страха! Скажи, о великий повелитель, явить его тебе или сразу гнать, как паршивую собаку?» Но перед тем, как представить посла пред грозные очи Османов, янычары валамывали ему руки назад, словно преступнику, так что посол, казалось, был способен катить по коврам носом горошину, — и в таком виде, полусогнутый, дипломат являл убогое зрелище унижения всей дипломатии Запада перед владыками Востока...

Слава Аллаху, те времена давно кончились!

1 ноября 1793 года состоялась аудиенция у султана.

Пизани предупредил Кутузова, что этикет Версаля гораздо проще и не столь утомителен, как в Серале.

— Запаситесь терпением, чтобы миновать трое ворот: Баби-Гумаюн — Врата султанские, Баб-эс-Селям — Врата мира и Баб-и-Сеадет — Врата блаженства, за которыми и узрите падишаха.

С пристани Галаты посла на гребном кайке перевезли через Золотой Рог, и далее он, несомый в портшезе, был доставлен к Порогу Счастья. Неуютно было возлежать на носилках, когда вокруг галдят толпы янычар, вразброд шагающих под трубные завывания оркестров. Кутузова перед Сералем встретил мрачный чауш-баши — начальник стражей султана.

Сначала он угощал посла сладостями и шербетами, потом подвели лошадей и сказали, что первые ворота Серала отворены для проезда. Поехали верхом, следом за Кутузовым неумело шатался в седле его секретарь, державший в руке грамоту, подписанную Екатериной. Перед вторыми воротами, ведущими из Серала в Диван, сам великий визирь Юсуф-коджа снова угощал посла различными лакомствами.

От вторых ворот шествовали своими ногами, впереди Кутузова важно выступал чауш-баши, громко стучавший о плиты мостовой тростью из серебра. Справа опять стояли оравы янычар, и как раз в этот момент для них выставили еду — тысячи людей, сминая друг друга, с могучим ровом кинулись к столам, алчно и быстро пожирая султанские яства, так что на миг даже страшно стало, будто попали на кормежку диких зверей.

— Скоро ли, хосподи? — сказал секретарь, неся над собою сверток грамоты императрицы с таким гордым видом, с каким кухарка выносит перед гостями поднос с жареным гусем.

— Терпи, — тихо ответил ему Кутузов. — Гляди, как жрать-то накинулись, будто их целый век не кормили.

— Они давно ждут пшена из Египта, — подсказал Пизани...

(«Это трагедия Шекспирова, это поэма Мильтонова или Одиссея Гомерова», — в таких словах извещал Кутузов свою жену обо всем виденном в этот день). Массивная трость из серебра в руках чауш-баши ритмично стучала, высекая искры из камней, словно предупреждая всех встречных, чтобы заранее разбегались...

В преддверии аудиенции Кутузова завели в «палату выжидания», из которой Юсуф-паша послал просьбу о представлении посла султану. В ожидании ответа Кутузов был снова угощаем, потом «подавали ему умываться, опрыскали и окурили благовониями». Кутузов покорно омыл лицо и руки, его мундир излучал восточные ароматы. Наконец, открылись последние ворота, где — по турецким обычаям — посла должны обряжать в особую шубу. Конечно, Кутузов знал, что рук ему за спину не заломят — не те сейчас времена, но все-таки его угнетала мысль, что и ныне могут продержат на «скамье поварят», сидя на которой дипломаты обязаны высидеть срок своего унижения...

— Доколе ж мучиться? — страдал секретарь.

Бедный, он держал руки высоко, словно молил о пощаде..

Слава Богу! «Скамьи поварят» не было, для Михайла Илларионовича турки приготовили табурет, накрытый парчой. Кутузову объяснили, что для него прежний церемониал отменяется — по личному указанию Селима III — «из особого к нему уважения, для успокоения его здесь (табурет) поставлен; посол изъявил за сие отличие свою признательность». Казалось бы, ерунда — па чем сидеть, на лавке или на табуретке, однако в нюансах восточного протокола все имело большое политическое значение.

Наконец, провели посла в аудиенц-палату.

В ней царил загадочный полумрак, здесь же высился трон, а на троне сидел Селим III, одетый, словно рядовой янычар в простое сукно, но в чалме его с высоким пером африканского страуса блистал огромный солитер. Кутузон

от порога отвесил три поклона, при этом султан едва певельнулся, отчего разом вспыхнули бриллианты в пуговицах и...

Кому, как не жене, мог писать Кутузов самое сокровенное?

Так вот, именно жене он сообщил, что Селим III слушал его приветственную речь с большим вниманием, тут же переводимую для него толмачом-фанариотом, и в какой-то неуловимый момент он даже чуть-чуть наклонился к послу России «с таким видом будто, кажется, он хотел мне сказать: **«МНЕ ОЧЕНЬ ЕТО ПРИЯТНО, Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ПОЛЮБИЛ; МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО НЕ МОГУ С ТОБОЙ ГОВОРИТЬ»** (как говорят меж собой все нормальные люди, которые имеют великое счастье не быть рожденными султанами).

Что поразило Кутузова в этом молчании Селима?

То, что он отвечал ему глазами, и в его глазах можно было прочесть очень многое, Кутузов — как это ни странно! — прочел в глазах султана даже поклон ему...

Поклон, который султан отвесил опять-таки глазами.

Между ними возникла невысказанная симпатия.

«Вот в каком виде представился мне султан, — заканчивал Кутузов свое письмо для домашних. — Прощайте...»

. . . . .

Возвращаясь обратно в Пера, посол долго молчал, чем-то удивленный, но удивленный не радостно, а тягостно, потом — на переправе через Золотой Рог — спросил советника Хвостова:

— Ляксандра Семеныч, а правду ль сказывают люди знающие, что Селим мужик зело сердитый и даже зловредный?

— Зверь! — отвечал Хвостов, долго не думая.

— А правду ль о нем говорят, будто, восходя на престол, он дал клятву, что не улыбнется ни разу, покедова не узрит свою империю Оттоманов в порядке и довольстве?

— Правда. Только кто ж его рассмешит, супостатину? Когда же узрит он своих турчин в порядке благочестия и сытости? Нет, ваше превосходительство, того не предвидится...

Верно, что Селим III постоянно пребывал в мрачном расположении духа, а причин для веселья не предвиделось. Но посольству российскому султан был рад, искрен-



по желая выразить ему свое уважение. Ради этого он указал отлить для Кутузова золотой сервиз, а для его свиты приготовить тарелки, ложки и вилки, украшенные изумрудами, алмазами, рубинами и яхонтами.

— Если же чего не будет хватать, — повелел Селим, — нужное для убранства стола взять у греков в Фанаре...

Известие о том, что какой-то Бонапарт изгнал англичан из Тулона, Кутузов узнал от курьеров за шесть дней до прибытия в Константинополь. Шут с ним, с этим Бонапартом, но взятие им Тулона придало лишние амбиции местным якобинцам. Однажды к послу посмел заявиться сам Декорш — не от имени Франции, а от говорильни Конвента, чего Михайла Илларионович не стерпел.

— Передайте этому мизераблю, — приказал он Хвостову, — что я всегда приму посла Франции, только не случайного человека, присланного с торжища палачей и разбойников...

Кутузову предстояло бороться с этим наглецом Декоршем, который выдумывая всякие басни, вводил в заблуждение Диван султана. Декорш хвастал, что сто тысяч поляков уже идут на помощь Франции, что французы еще два года будут сражаться за свои «принципы», после чего Европа, устав от кровопролития, признает республику. Декорш врал туркам, что Пруссия уже разбита, а сам прусский король ранен французами.

Все эти выдумки Кутузову приходилось опровергать.

Константинополь частенько жил в нужде, довольствуясь подвозом с дальних окраин Османской империи, управляемых пашами, но эти окраины постоянно бунтовали, делаясь неподвластными султану, ибо каждый паша желал бы стать маленьким султаном в своем пашалыке. Михайла Илларионович невольно сравнивал:

— Ну-ка у нас! — смеялся он. — Возможно ли такое, чтобы губернатор Рязани объявил себя царем рязанским и не выслал бы крупы матушке-Катерине? Только б этого «царя» мы и видели...

Глубокой осенью вернулся в столицу Кучук-Гуссейн из Египта, где он загружал свои корабли пшеном, и Хвостов, поверенный в посольских делах, подсказал Кутузову:

— Сего султанского фаворита следует учитывать, яко весомую гирию на весах турецкой политики.

— Умен? — кратко спросил Михайла Илларионович.

— Умна жена его, султанша Эсмэ, что доводится Се-

лему сестрою, и тут, не забывайте, грузинская кровь при-  
мешана, так что, они на Тифлис тоже оглядываются...

Кутузов не отказался от званого обеда у Кучук-Гуссейна, о котором отписывал жене в таких выражениях: «Великолепен и мот, три миллиона (пиастров) должен... Слуг у него до тысячи и все в парче; ковры малиновые, бархатные, золотом шитые; софы с жемчугом; на слугах его множество бриллиантов...»

За обедом разговорились. Капудан-паша не скрывал от посла, что Турция обретет покой только в дружбе с Россией и, напротив, новая война с нею завершит оскудение Оттоманской державы.

— Мы,— отвечал Кутузов,— приехали сюда не угрожать вашей милости, а лишь доказывать пользу от добрососедских отношений. Когда двое дерутся, всегда съестшь третьего, который в сторонке радуется. Подозреваю, как бы расплясались в Якобинских клубах Парижа, если бы мы вновь подрались...

Кутузов докладывал для сведения императрицы: «Был я потчиван необычайно приветливым образом капитан-пашою и я его поступками и учтивостями довольно нахвалиться не могу». А жене сообщал нечто такое, о чем императрице и знать было не надобно: «Дипломатическая карьера сколь ни плутовата,— писал Кутузов,— но, ей-богу, не так уж мудрена, как наука военная, ежели ео делать, как надобно».

Екатерина не ошиблась в своем выборе, заранее уверенная в том, что Кутузов на берегах Босфора окажется полезнее любого дипломата. Кутузов очень скоро разобрался в расстановке гирь на шатких весах политического базара в Серале, и за словами Кучук-Гуссейна он угадывал мнение его жены Эсмэ, а мнение султанши было подкреплено авторитетом самого султана.

В добрую минуту посол спросил капудан-пашу:

— Чего же, скажите, желала бы от вас нынешняя Франция?

Кучук в своем ответе был предельно искренен:

— Не знаю, верить ли пустомеле Декоршу, но Диван получил от него угрожающую ноту, по которой Франция требует принять эскадру адмирала Трюге для... для усиления турецкого флота. Россию пусть это не тревожит, ибо султан, да продлит Аллах его дни, совсем не хочет, чтобы Трюге шлялся в Черном море.

— Благодарю,— отвечал Кутузов.— Пользуясь вашей

доверенностью, прошу отменить смертную казнь тем грекам, кои служили на эскадре Орлова-Чесменского и на флотилиях славного патриота Ламбро Каччиони. Думаю, сложись ваша судьба иначе, и вы бы, как грузин, тоже пожелали служить в русской армии... Поймите же патриотизм эллинов! Оставьте на плечах их головы!

— Казнить не станем,— обещал капудан-паша...

Но дружба с ним привела Кутузова за стол матери султана, и валиде Михр-и-Шах посол задобрил роскошными подарками, а заодно щедро одарил обитательниц султанского гарема, которым (по местным обычаям) мать Селима III сама и заведовала. Бывшая рабыня из грузинок, валиде не забывала о родине, и, улучив минуту, она спросила посла России:

— Когда же в Тифлисе люди могут спать спокойно, не видя ужасных снов? Где же ваши войска... пусть придут!

Решающим был визит Кутузова во дворец Паши-Капуssi, где проживал великий визирь Юсуф-Коджа; кажется, Михайла Илларионович сумел понравиться хитрейшему старцу, который хлопнул в ладоши и лакеи — под звук тромбонов и грохот литавр — накрыли русского посла шубой из соболей, обшитой золотую парчой. Юсуф снова хлопнул в ладоши — и старшие чины посольства облачились в собольи шубы, но крытые не парчой, а сукном. Еще раз хлопнул старикашка — и десять кавалеров посольства обрели шубы из горносталя. Ну, а другие сто чиновников получили от него лишь кафтаны...

— Я давно так не смеялся, как сегодня,— сказал визирь, провожая русского посла.— Думаю, что вы тот самый человек, который способен развеселить нашего великого султана...

Именно в эти дни Хвостов доложил Кутузову, что в Валахии и Молдавии недавно сменили господарей, склонных дружить с Россией, на их посты Диван выдвинул сикофантов, живущих с оглядкой на Париж, вредя России где только можно.

— Видна ли в этом рука Декорша? — спросил посол.

— В черной ночи не видать руки в черной перчатке,— намекнул Хвостов.— На сей раз господарями вертит кто иной, связанный с Робеспьером, чтобы разладить наш мир с турками.

— Нельзя ли точнее узнать, кто гадит России из Бу-

хареста, где испокон веков полно продажных бояр? — вспылил Кутузов.

— Узнать можно, — усмехнулся Хвостов. — Но парижский Конвент справок о своих тайных агентах не выдает...

Помог случай! Кутузова пригласили на праздник «джирид», когда турки верхом на лошадях изощрялись в метании дротиков. Высматривая капудан-пашу, Кутузов в свите его разглядел янычара, всего в шрамах. При этом янычар исподтишка озирает русского посла, и вскоре они стали улыбаться один другому.

— Кто этот янычар в свите Кучука? — спросил Кутузов.

— Впервые вижу, — шепотком ответил Пизани...

Обоюдное внимание двух людей, столь разных по воспитанию и положению, легко объяснимо — и тот и другой были страшно изранены в голову, но судьба пощадила обоих: выжили!

Жестоко изуродованные войной, они, конечно, встретились — и на этот раз не ради улыбок. Ахмед-ага сам явился в русское посольство, заявив, что желает «расплатиться» с Россией.

— За что? За эти вот шрамы? — усмехнулся Кутузов.

— За добро, — отвечал янычар. — Я ваших пленных обирал до нитки, я отрубал им головы, как барапам. А ваш Потемкин-паша не только излечил меня, но и наградил мою храбрость оружием. Потому и готов добром платить за добро ваше.

— Я, мой друг, — осторожно намекнул Кутузов, — совсем не желаю, чтобы ты подводил своего благородного господина. Но мне известно, кто Кучук-Гуссейн не слишком-то жалуется якобинцев, лезущих со своей ложкой в чужую похлебку. Потому меня волнуют лишь французские козны в придунайских пашалыках...

Доверенный капудан-паши, Ахмед-ага вскоре же сообщил Кутузову имена тех парижских агентов, что возбуждали валахов и молдаван против России, он предупредил посла о засылке шпионов в Херсон и Николаев, где строились корабли для молодого Черноморского флота.

— А кто вредит нам в Бухаресте? — спросил Кутузов.

— Константин Филиппеско — тамошний боярин...

Имя этого Филиппеско придется запомнить, ибо он еще

встретится нам, торгующим красотой своей дочери, в которую имел несчастье влюбиться один известный наш генерал. Но это произойдет гораздо позже... А сейчас султан Селим III прислал Кутузову великолепный подарок — преподнес большой таз... с снега!

— Снег! — обрадовался Кутузов. — Ах, как приятно видеть снег в этом пекле и сразу поминается родина в сугробах...

Николай Пизани подсказал, что этот снег необычный:

— Турки доставляют его в Константинополь с горных высот легендарного Парнаса, как драгоценное средство для охлаждения шербестов, а гаремные жены Сералиа лепят из него снежки.

— Опять штучки гиштории, — помрачнел Михайла Илларионович. — Куда подевались парнасские боги и сам Апполон в сонме прекрасных муз? Не стало богов, а снег с Парнаса прошу отослать на кухню... Пусть охладят для нас бутылку шампанского.

## 7. ПРОТИВОБОРСТВО

«Слова республика, свобода, равенство, братство были написаны на всех стенах домов Парижа, но того, что соответствовало этим понятиям, нигде найти было нельзя... Все было насильственно, и, следовательно, ничто не могло быть прочно», — таково было впечатление Талейрана от Франции того времени. Странно, что, выписав эту фразу из его мемуаров, я в своих черновиках обнаружил запись, схожую с высказыванием Талейрана: «Режим, созданный насилем и существующий лишь ради насилия, такой режим не может быть долговечный...» Между тем, за руинами павшего Тулона, где молодой Бонапарт уничтожил тысячи людей, ни в чем неповинных, а сам город отдал на разграбление, тайлось многое.

Якобинская диктатура, уничтожив дипломатов старой французской школы, не дала миру своих дипломатов, но дипломатия у якобинцев все же была — наглая, развязная, враждебная ко всем, со всеми несогласная, бравирующая силой, крикливая и... пустая, как барабан.

Эта дипломатия не церемонилась с другими народами, полагая, что война — самый убедительный довод в политике. Париж хотел бы воевать со всей Европой сра-

зу, низвергая престолы, после чего — по разумению якобинцев — возникнет всемирная «Республика Человеческого Рода», объединенная главным девизом утопии: «Свобода, равенство, братство». Якобинская «школа» дипломатии уповала на массовый шпионаж и на то, что с помощью провокаторов, засылаемых в другие страны, можно возбуждать общественное мнение к выгоде якобинских принципов...

Кутузов догадывался, что Дунайские рубежи уже станут опасны для его Отечества, ибо там начали свою агитацию тайные агенты парижских клубов,— и он еще раз возблагодарил судьбу, что она свела его с янычаром Ахмет-агой, который подсказывал ему адреса этих агентов... «Взятие Тулона и успехи французов на Рейне,— докладывал посол в Петербург императрице,— произвели важную над Портою перемену». Одновременно он отправил другое письмо, в котором выразил тонкое понимание того, как Запад влияет на дела Востока: «Кажется,— депешировал Кутузов,— Порта избрала себе за градусники хорошие или плохие события, происходящие у якобинцев...»

Он рассуждал перед своим поверенным Хвостовым:

— Османь уже сколько веков взирали на Францию, яко на своего лучшего советника, и при этом не возникало поводов для взаимных конфликтов, ибо империя Османов и королевская Франция никогда не имели общих границ, кои порождают подобные конфликты. Я вот почасти не сплю и думаю: как изменится их сердечный альянс, ежели изменятся границы между Востоком и Западом, и что скажут в Серале, если вдруг — в недобрый час! — турки окажутся соседями якобинцев?..

Слова Кутузова оказались пророческими.

В это время Декорш делал все возможное, чтобы возбудить турок против России, утверждая, что условия Ясского мира оскорбительны для всего мусульманства. «Через софизмы Декоршевы,— докладывал Кутузов в столицу,— духовенство турецкое уверено, что истребление (якобинцами) закона христианского во Франции «сближает якобинцев с мусульманами...» Вывод о духовном братстве мусульманского мира с якобинской идеологией выглядел анекдотично, но в нем заключалось немалое зерно истины.

Ахмет-ага пришел в мрачном настроении, известив Кутузова, что пропаганда Декорша имеет успех:

— В кофейнях теперь толкуют, что якобинцы стали для турок братьями, ибо они отвергли заповеди Христа, а храмы свои разрушили, что мусульманам очень приятно. А наши министры, ослепленные их победами в Тулоне и на Рейне, не мешают Декоршу...

От болтовни Декорш вскоре перешел к делу, предложив союз якобинской Франции и султанской Турции — опять-таки против России! Наконец, местные якобинцы, французы и улемы, стали толпами шляться перед русским посольством. Они выкрикивали угрозы по адресу посла Екатерины, глумились над Россией, иногда швыряли камни в стражей, однажды разрядили свои пистолеты в окна посольства... Этого снести было нельзя!

.....

Протест Кутузова против беснующихся якобинцев возымел силу стараниями великого визиря, и вскоре Селим III повелел всех якобинцев-французов выслать из турецких пределов.

Быть послом великой державы, особенно в стране, которая побеждена этой державой,— задача архи-сложная: с одной стороны, следует быть твердым, чтобы отстаивать условия мира, с другой стороны, следует быть и мягким, дабы излишне не ущемлять самолюбие страны, и без того униженной. Михайла Илларионович знал, что быть в Турции любимым — совсем не надобно, но быть авторитетным — он обязан! Потому-то его искренне порадовало мнение султана, которое он высказал визирю Юсуфу, а тот передал Кутузову: «Странно видеть этого русского посла, столь свирепого в баталиях с нами, который способен покорять нас своей любезностью...»

Сейчас пираты беспокоили Михайлу Илларионовича.

— Николай Антоныч,— указал оп Пизани,— ну-кась, зачти седьмую статью трактата Ясского мира, что там сказано о корсарах берберийского берега?

Пизани внятно зачитал 7-ю статью договора, по которому Турция обязалась, чтобы ее паши Алжира или Туниса русских судов в Средиземном море не трогали и не грабили.

— А коли корабль какой и захватят,— заключил Пизани,— так все убытки России должна уплатить казна султана турецкого.

— Вот то-то! — сказал Кутузов.— Даже негоцианты Венеции, уповая на эту седьмую статью, стали плавать

под флагом великороссийским, а пираты не унялись, в Архипелаге греческом бесчинствуя, так не пора ли Селиму своей мощной потрясти?..

С этим он навестил дворец Эйюб, где застал «маленького» капудан-пашу пребывающем в неге. Кучук-Гуссейн был, пожалуй, добрым союзником Кутузова в отрицании якобинства, через него, мужа султанши Эсмэ, посол мог влиять на самого Селима III. Выслушав о пиратских разбоях, капудан-паша сказал, что грабеж в Средиземноморье — беда общая:

— Бербейские паши и беи грабят не только вас, но суда греческие, голландские и прочие. Что тут можно сделать, если, в час грабежа зачатые, между грабежами рожденные, они без грабежа и жизни не видят, убеждать корсаров не грабить — это все равно, что им сказать — не дышите.

Кутузов был готов к уклончивому ответу:

— Ранее французы от корсаров тамошних страдали, горестно на весь мир завывая, а ныне французы, став якобинскими, сами пиратами заделались... Вот в чем беда! — сказал посол. — Теперь и якобинцы грабят русские корабли с товарами. По сей веской причине, коли вы, турки, сами с пашами Туниса и Алжира справиться неспособны, государство Российское вправе от вас требовать, чтобы вы пропустили через Босфор наши боевые фрегаты для охраны русской торговли в Архипелаге.

Кучук-Гуссейн сказал, что министры сего не дозвоят:

— Если в древности цари византийские Босфор цепями перегораживали, чтобы никто не залезал в Черное море, так и султаны турецкие всегда берегли Босфор, чтобы из Черного моря тоже никто не плывал мимо твердынь мусульманских. Знаю, что скажут наши министры: пустить русских в воды турецкие — это все равно, что пустить их в гаремы наши.

Кутузов обозлился, но отвечал спокойно:

— Мы, русские, в вашем «гареме» уже не раз побывали, и если вы не пускали нас в Архипелаг через проливы свои, так мы туда через Гибралтар все равно заглядывали. Надеюсь, вы нашего Орлова-Чесменского не забыли, а его эскадра не только в Ливане и не только в Египте, но даже в Тунисе побывала...

Новые заботы одолевали посла российского.

— Ляксандра Семеныч, — спросил он Хвостова, расс-



троенный,—откель взялся фальшивый слух, будто Турция внове крови алкает, готовая к пападению на Русь-матушку?

Поверепный растолковал: Дунайские княжества, возбуждаемые агентами якобинских клубов Парижа, бурлят слухами, будто бы Суворов грозитя пройти маршем до самого Босфора, почему, якобы, султац и решил упредить пападение своим ударом.

— Чушь какая! — фыркнул Кутузов.— Бухарест сплетни разводит, язык тпнет — ради чего я тут сижу и беда повой не вижу?..

Екатерицу он успокоил, что в ближайшие годы войны ожидать не следует: финансы Турция расстроены, в па-логах даже цыган обобрали до нитки, крепости разваливаются, флот гниет па приколах, а повые корабли еще на верфях, наши живут всяк по себе, султацу не подчиня-ясь, мятежи в Аравии и Румелии, Каир бурлит возму-щением... Где им тут воевать с нами?

— Паче того,— диктовал он в конце письма,— как турки на войну могут решиться, ежели близ Дуная стоит наше войско, предводимое Суворовым — тем славным мужем, который уже не раз наносил жесточайшие раны честолюбию мусульманскому... Точка! Курьер выспался? Тогда готовь новую почту...

Миссия Кутузова близилась к завершению.

Уже повеяло весной 1794 года, когда он неожиданно получил большое удовольствие. Как раз в эти дни Париж прислал в Константинополь своего агента Эпена, чтобы помогал Декоршу баламутить турок принципами свободы, братства и равенства. Декорш почувствовал, что ему, бывшему маркизу Сент-Круа, не слишком в Париже доверяют, и потому два посла стали выяснять насущный вопрос,— кто из них подлинный «друг народа», а кто является скрытым «врагом народа». Не выяснив этой истины, дипломаты просто передрались, после чего в кофейнях Стамбула немало потешались над ними турки — как эти два «гражданина», еще ничего не сделав, не могли поделить власть. Но этим скандалом якобинская дипломатия дезавуировала сама себя и своих послов, а посему следовало ожидать, что вскоре Париж отзовет их домой, чтобы скандалами не позорились.

— Туда им и дорога! — в сердцах произнес Кутузов.— Этим головам давно пора скатиться в мешок гильотины..

Вскоре он получил странную информацию, будто Конвент, удаляя Эжена и Декорша, прочил в послы Бонапарта — того самого...

— Поглядим, каков сей молодец, — говорил Кутузов.

Но близился срок его отъезда, и Бонапарта он не дождался.

Екатерина очень высоко оценила заслуги Кутузова, пожаловав ему две тысячи крестьян в Волинской губернии, а в Петербурге его ждало новое назначение — быть директором Сухопутного кадетского корпуса. Из генералов он стал дипломатом, а теперь из дипломатов его делали воспитателем юношества. В ту пору жизни, жестоко израненный, но преисполненный сил, Михаила Илларионович еще не прозревал будущего безвестного Бонапарта, что штурмовал Тулон, и предначертаний своей великой судьбы в истории любезного его сердцу Отечества он не предвидел.

.....

Чрезвычайным послом в Константинополе — после отбытия Кутузова — стал Виктор Павлович Кочубей, которому исполнилось лишь 24 года, а начинал он службу капралом гвардии. Впрочем, молодые люди того времени — не в пример современным балбесам — обладали немалым интеллектом, и, как указывают историки, Кочубей на своем посту дипломата «успел приобрести доверие султана Селима III, доставив этим немалые выгоды нашей торговле в Греции и смежных с нею восточных странах».

К слову сказать, и Бонапарту, когда он штурмовал стены Тулона, тоже было 24 года. XVIII век тем и хорош, что люди рано вступали в жизнь, они быстро становились самостоятельны, а ответственности за содеянное никогда не боялись.

Невольно вспоминаются бессмертные слова Грибоедова:

«Вы, нынешние, ну-тка!..»

## 8. ПУШКИ ДЛЯ СЕЛИМА

Екатерине Великой оставалось жить один год, когда на Кавказе, извечно страдавшем от нашествий персов или турок, произошло событие, почти незаметное тогда для

Европы, но больно ранившее политический авторитет Петербурга...

Ага Мохаммед-Каджар, этот кастрат, озлобленный на весь мир, не мог смириться с тем, что грузинский царь Ираклий II просил покровительства от России. Весной 1795 года шах предпринял набег на Тифлис, оставшийся в памяти грузинского народа «страшнее Страшного Суда». Поганый евпух никогда не знал жалости к людям, и когда ему приносили мешки с глазами ослепленных, он не ленился пересчитывать их тысячами, каждый глаз отбрасывая лезвием кинжала, взвешивал вырванные глаза на весах — пудами! Именно этот изверг во главе армии набросился на беззащитный Тифлис, предав город разорению, мужчин он ослеплял, детей забирал в рабство, а всех женщин — независимо от их возраста — велел своим воинам изнасиловать, что ему, кастрату, доставило приятное волнение.

— Теперь, — велел Ага-Мохаммед, — каждой разрезать поджилки ног, чтобы они на всю жизнь остались хромыми, и, хромая, никогда не забывали этого дня и мое священное величие...

Екатерина приняла грузинского посла князя Герсевана Чавчавадзе (это дед Нины Грибоедовой); теперь, после страшной трагедии Тифлиса, грузины не просили о покровительстве, согласные навек воссоединиться с Россией, и Екатерина — сразу! — послала войска, чтобы «восстановить мир и спокойствие». Дербент, Шемаха, Ленкорань (и Баку, конечно) считались воротами в Персию. Когда эти «ворота» закрипели, уже отворяемые штыками русских солдат, Ага-Махоммед-Каджар быстро занял Шемахинское ханство, откуда призвал Дагестан и Чечню к газавату — священной войне против русских (вот, кстати, откуда и началась будущая кровавая эпопея имама Шамиля и его мюридов). Русские солдаты штурмом взяли Дербент, они топтали уже на Баку, но...

Осенью 1796 года скоропостижно скончалась Екатерина Великая, и насколько блистательно и феерично было начало ее царствования, настолько печально и даже убого было ее увядание. Громкая эпоха «екатериинианства» закончилась — на престол взошел ее сын Павел I, который, боясь испортить отношения с Англией, дружественной Персии, велел русским войскам отойти назад.

Османская империя в эти события на Кавказе не вмешивалась, ибо султан был всецело поглощен другими за-

ботами, о чем мы и расскажем, но жестокая хронология, этот главный ускоритель истории, принуждает меня обратиться к Франции.

Якобинская диктатура раскручивала маховик массовых репрессий. Если улики против человека не находили, его все равно объявляли «подозрительным» — и тащили на гильотину. Робеспьер и его подручные, желавшие кровопролитий, еще не сознавали, что этот кровавый Молох, убивающий «врагов народа», скоро оторвет головы и тем, кто любил называть себя «друзьями народа». Диктаторы уничтожили даже Академию, чтобы ученые не смели выделяться из общества, ибо этим нарушался принцип «равноправия». Все старое должно быть разрушено, чтобы на его развалинах созидать не только светлое будущее Франции, но и всего Человечества, — так провозглашали они на стогнах Парижа. Богатых быть не должно — пусть отныне все станут бедными, зато верующими в их идеалы. Имущество людей было поставлено вне закона, зато санкюлотам Парижа платили по 40 су в сутки — за их умение выживать на собраниях, где им проповедовались самые правильные «принципы» (свободы, равенства и братства).

Я, автор, хорошо понимаю причины, породившие Французскую революцию, но, мне думается, не было причин превращать Францию в общественную «живодерню». Революцию во Франции делали все-таки не французы, а только санкюлоты Парижа, и вся Франция не могла думать так, как думали санкюлоты, возлюбившие сорок су за присутствие на собраниях и митингах.

Франция объявила войну... Парижу.

Париж объявил войну... Франции!

Вандея всем известна! Но мало кто знает, что в этой провинции Робеспьер указал сжечь не только дома и заборы, но даже леса, велел убивать даже скот, собак и кошек... как тут не вспомнить помешанного Ивана Грозного, который, убив людей и животных, никогда не забывал спустить из прудов водичку, чтобы передохла и вся рыба!

Инакомыслящие во Франции расстреливались. От массовых расстрелов, желая разнообразить сцены убийств, якобинцы скоро перешли к массовым затоплениям. Жителей городов, не согласных с принципами

Парижа, заколачивали — вместе с детьми — в речные баржи и, прорубив их днища, топили на глубине. Фантазия палачей, как доказал опыт истории, неисчерпаема. Якобинцы додумались связывать мужа с женою веревкою и бросали их в воду (этот вид смертной казни именовался даже игриво — «республиканская свадьба»). Когда же восстал Лион, богатый и дивный город, против него послали целую армию. Всех жителей истребили (опутанных веревками, их расстреляли картечью из пушек), все здания Лиона взорвали порохом, оставив лишь жалкие лачуги нищих, а потом с небывалым цинизмом переименовали Лион в «Город Свободы», который и лежал в руинах и трупях... Вот вам «свобода»!

Европа ужасалась, но Европа и глумилась над Францией.

Разве так уж нужно для процветания свободы свергать древние памятники, зачем осквернять народные святыни, не глупо ли старинным городам и улицам присваивать новые названия, всем чуждые? Якобинцы запретили отмечать воскресные дни и праздники, взамен которым придумали позорные капища, почти языческие, где роли «богинь разума и скромности» играли уличные проститутки. Наконец, глупцам казалось, что приказом свыше можно одним махом ликвидировать старую веру в бога, чтобы народ обратился в новую веру.

Робеспьер, тщеславный и недалекий человек, издал декрет, гласивший, что религия вообще отменяется, а вместо нее учреждается новая «религия разума». При этом он сам объявил себя «Высшим Существом», и в уличной процессии предстал перед народом, как божество, охотно воспринимая похвалы публики, и даже не догадываясь, что все это было уродливым фарсом, разыгранным от нехватки ума и полной деградации скромности...

Примерно такой (лишь примерно!) была голодная, запуганная, окровавленная и все-таки побеждающая Франция, когда начиналось быстрое выдвижение Наполеона Бонапарта. О чем он думал тогда, о чем смел мечтать? Читатель, наверное, будет удивлен: Бонапарт гревил о... Египте (уже тогда!), говоря близким:

— Европа — это затхлая крысиная нора, и только страны Востока еще таят в себе неразгаданные пространства, а шестьсот миллионов ждут смелых завоевателей.

. . . . .

Кстати, он не валялся бесхозным — приходи и бери!

Египет был давней (с 1517 года) провинцией Османов, он платил дань султанам Турции, которые слали в Каир своих наместников-пашей, а чтобы паши не вздумали сами сделаться султанами Египта, Порта делила их власть с мамелюками — это были преторианцы, очень схожие с янычарским сбродом Константинополя; и как янычары не раз душили своих султанов на берегах Босфора, так и мамелюки не раз резали и травили своих пашей на берегах волшебного Нила...

Селим III правил империей уже пять лет, желая спасти ее от гибели, осведомленный в том, что дипломаты Европы говорят о Турции не иначе как о «больном человеке», после смерти которого можно смело приступить к дележу гигантского наследства.

Селим III хлопнул в ладоши:

— Исхак-бей... пусть войдет!

20 лет назад Исхак не был еще беем, и, пойманный на мелком воровстве, бежал во Францию, где нахватался вершухек знаний из жизни Европы, чем и приобрел дружбу Селима, когда вернулся домой, а Селим еще не был султаном. Потом Селим, уже ставший султаном, снова послал Исхака в Париж — с письмом к королю, и с ответным письмом Людовика XVI он вернулся на корабле, на котором плыл в Турцию граф Шуазель-Гуфье... Исхак вошел.

— Сядь, — разрешил султан. — Кого мне бояться?

— Только не революции во Франции, — торопливо заверил его Исхак-бей, — она чувствительна для наших греков или сербов, но только не для нас. Французы решили измерить глубину колодца, для чего и бросили в него своего ребенка.

— Оставь! — сказал Селим. — Разве бесплодной женщине дано знать о муках деторождения? Тебе ли, нищему с деревенского базара, судить о столичных ценах на розовое масло?

— Прости, о великий султан, — повинился Исхак-бей. — Ты меня мудро спросил — я очень глупо тебе ответил...

— Конечно, — продолжал Селим, думая о своем, — сирота вынужден сам обрезать свою пуповину. Так и французы... Но ты боишься ответить мне — кого мне бояться?

Сказать Султану, что он способен кого-то бояться, па

это смелости у Исхака не хватало. Селим, не вставая с дивана, ударил его длинным чубуком, скovyрнув с его головы тюрбан:

— Трус! Мне могут угрожать только ени-чери...

«Ени-чери» — так в турецком произношении звучало грозное слово «янычары». Турецкий дом был слишком громадным для турок и слишком тесен для тех, кто насильно был помещен под турецкую крышей: арабы, славяне, румыны жаждали строить свой дом. Реформы были необходимы — следовало сначала укрепить централизацию власти, чтобы кровообращением великой страны управляло одно сердце — сердце султана. Понятно, что без реформ Турция обречена, и Селим III уже давно провозгласил «низам-и-джедид», что означало «новый порядок». Однако провозгласить начало реформации легко, а как подступиться к преобразованиям в стране, если в этой стране никто перестраиваться не желал, ибо какая же лягушка скажет, что ей надоело ее любимое болото?..

— Уходи, — сказал султан Исхаку. — Не терплю трусливых.

Но, выслав трусливого, Селим остался наедине со своим страхом, который давно угнетал его. Чтобы ни замышлял султан для блага Турции, его новшества всегда грозили возбуждением в янычарских казармах, а на Эйт-майдане, где раздавали мясо, янычары уже не раз переворачивали котлы — верный признак близкого мятежа... Селим сказал султанше Эсмэ:

— У нас легче всего расправиться с женами гарема — зашей любую в мешок и топи, когда стемнеет. Нельзя тронуть только янычар и стамбульских собак, которых мы, турки, считаем священными, как в Индии боготворят своих коров...

Неожиданно Селим рассмеялся. Эсмэ удивилась.

— Будь я твоим мужем, — сказал султан, — я давно бы зашил тебя в мешок, воды Босфора давно бы вынесли тебя в Эгейское море. Не притворяйся невинной! Я-то ведь знаю, что ты, женщина, завела для себя мужской гарем, который составила из музыкантов своего домашнего оркестра... Ты не боишься Кучука?

Эсмэ никого не боялась, и, пожалуй, она была единственной женщиной в мусульманской стране, которая вела себя чересчур свободно. Зато как долго хохотал Селим III, ее братец, когда узнал, что в ту же ночь, после

их разговора, воды Босфора приняли тела всех музыкантов ее оркестра.

Селим свою сестру ни в чем не упрекал. Другие заботы угнетали его, и он все чаще возвращался в мыслях к япычарам. Пытаясь задобрить их, он уже не раз увеличивал порцию бесплатного мяса, велел варить похлебку жирнее, но...

— Но,— говорил султан,— сколько не кипятить воду, она сытнее не станет. У меня, надо признать, нет армии, а есть только янычары.

.....

Здесь (да простят мне историки!) я проведу опасную аналогию, едва намеченную пупктиром, между Петербургом и Константинополем. Если покойную русскую императрицу вполне устраивали раздоры в Европе, отвлекавшие силы недругов России на борьбу с Францией, то и Селим III тоже радовался передышке, во время которой политикам стало не до Турции, этого «больного человека», и он, султан, использовал это время для устройства «низам-и-джедида» — нового порядка.

Человек острого ума, Селим не высказывал громко своего личного отношения к французской революции, считая ее «глупостью», а если и говорил, то больше памеками:

— Кажется, эти фряпки роют яму, забыв сначала измерить свой рост, и примеряют могилу к росту своих соседей. Впрочем, никто не дразнит собаку, если она взбесилась. Будем мудрее и покорные воле Аллаха выждем ее смирения...

Селим ошибался, полагая, что Парижу стало не до него. В самый капун смерти Екатерины II на берега Босфора высадилось новое французское посольство, более похожее на боевой десант, прибывший на покорение турецкой столицы. Новый посол, генерал Жан-Батист Обер-Дюбайе, доставил в дар султану артиллерию, с ним приехали офицеры, чтобы служить инструкторами той армии султана, которую он создавал наперекор япычарам. Здесь уместно сказать, что Обер-Дюбайе никак не напоминал демагога и врунишку Декорша или скандалиста Днена,— это был волевой и знающий дело солдат французской революции.

Однако, первые же его слова, сказанные великому ви-



зирю, отражали мнение заправил якобинских клубов Парижа:

— Франция всегда готова помочь султану, чтобы он одержал решительную победу над зарвавшейся Россией...

Лучше бы он не напоминал об этом! Как раз в это время Турция терпела новое поражение — не от великой России, а от крохотной Черногории, которая никак не мирилась с турецким гнетом. Селим послал туда янычарское войско — столь большое, которого вполне хватило бы для завоевания европейской страны. Но маленький народ перебил всех, янычары бежали, а черногорцы отрубили голову Махмуду-паше, их начальнику, и она догнивала в Цетинье, насаженная на кол перед конаком Петра Негоша, черногорского владыки... Стамбульские янычары, узнав об этом, горлапили:

— Дайте нам кампей и мы побьем всех черногорцев!

— Дайте им... мяса, — отвечал Селим.

Он понимал, что борьба с Черной Горой невозможна, и кусок за куском отваливался от несуразного и громоздкого монолита Оттоманской империи, созданной его предками на крови и костях угнетенных народов. Селим сказал визирю:

— Нам не покорить это племя, в котором даже мальчик, впервые надев штаны, хватается за ружье. Разве можно покорить народ, живущий духом свободы, а жених в Черногории не сыщет невесты, пока не подарит ей голову янычара...

Свершилось! Черногория — первая из славян — отстаивала свою независимость, и с горной кручи Цетинье она светила всем славянам маяком надежды... Помните, как писал Пушкин:

Черногорцы, что такое? —  
Бонапарте спросил.—  
Неужели племя злое  
Не боится наших сил?..

## 9. ВЫДВИЖЕНИЕ

Давно ли, кажется, безвестный поручик Бонапарт заискивающе предлагал свою шпагу России, впрочем, согласный сложить ее и к ногам турецкого султана... После памятного разговора с генералом Заборовским, отвергнутый Россией, он стал в гарнизоне Баланса секретарем

«клуба друзей конституции». Париж он навестил в те дни, когда народ штурмовал дворец Тюльери, и лишь одна фраза Бонапарта, сказанная им тогда, как будто уже предрекала будущее великого тирана:

— Мне хватило бы даже одной пушки, чтобы картечью сразу и навсегда разогнать эту парижскую сволочь...

Как видите, это был настоящий «друг конституции»!

Бонапарт делал свою карьеру на благо революции не ради революции, а лишь ради того, чтобы его в революции заметили. Ради этого он даже сочинил плюгавую брошюру, в которой патетически воспел заслуги якобинских вождей перед народом, за что и был обласкан в Конвенте. Когда же Тулон восстал, призвав на помощь испанцев и англичан, Робеспьер послал автора брошюры усми... простите, «освободить» Тулон!

У нас в стране больше знают о том, как тактически грамотно велась осада Тулона, но при этом умалчивают о том, что пушки Бонапарта мало что оставили от самого Тулона, не упоминают и того, что Бонапарт велел расстрелять всех пленных, он хладнокровно казнил четыре тысячи рабочих, конфисковал в пользу Конвента имущество горожан, ограбив даже сирот, и Робеспьер, благодарный ему, не замедлил придумать для Тулона новое название — «Город возле горы» (согласитесь, какая богатая фантазия у этого человека!).

В январе 1794 года генерал Дюгомье, ходатайствуя за капитана, писал в Париж: «Смело выдвигайте этого молодого человека, ибо, если вы останетесь ему неблагодарны, то он выдвинется сам!» — Что-то роковое чувствуется в этом признании.

Бонапарту был присвоен чин бригадного генерала!

Зная, что якобинцы не могли прокормить народ, Бонапарт развил перед Робеспьером план покорения Италии, из которой легко можно выкачать немало всякого добра. Робеспьер радостно утвердил план ограбления итальянцев (для прокормления французов). Казалось, карьера обеспечена, но тут Робеспьера отвезли на гильотину, чтобы он «чихнул в мешок», а Бонапарта — его соратника — оттащили в тюрьму форта Карре.

Будущий император, не будь дураком, сразу отрекся от принципов якобинства, судьям он говорил, что привык исполнять приказы, но ничего не ведал о тирании Робеспьера:

— Если бы я только знал об этом,— пылко защищал он себя,— я, не задумываясь, вонзил бы кинжал в сердце кроважадного злодея. Даже если бы он был моим отцом...

Бонапарта выпустили из тюрьмы, разжаловав, из артиллерии перевели в пехоту — генералом сверхштата. Без гроша в кармане, униженный, он был очень жалок в своем нищенском прозябании, никому больше не нужный, даже лишний. После всех кровавых ужасов якобинской диктатуры Париж веселился. Снова открылись театры, входили в моду салоны, дамы уже не прятали свои бриллианты и не стыдились обнажать грудь до самых сосков. Аристократия былых времен еще не оправилась от кошмаров казней, не в меру пугливая, а ее место в салонах занимала развязная, многоречивая буржуазия...

Господи, кому нужен теперь корсиканец, умевший стрелять из пушек? Молчаливый, с пожелтевшим лицом, Бонапарт выглядел («тогда я был тощим, как пергамент», — вспоминал он сам много позже) болезненно. Длинные волосы спадали на его плечи, скруток был затаскан, он скрывал свои дурные сапоги... Забившись в угол, Бонапарт алчно взирал на красивую и вульгарную креолку Жозефину Богарнэ, вдову казненного виконта, которая веселилась чересчур вызывающе, даже не замечая вожделенных взоров корсиканца, забывшего, когда он последний раз обедал.

Париж — после крайностей якобинского террора — склонялся на сторону «умеренных», и Бонапарт, ощутив в них новую государственную силу, уже готов был служить новым хозяевам. Мира для Франции, окруженной врагами, еще не было (а бывали лишь краткие перемирия). Бонапарт уповал на Поля Барраса, помнившего о нем со времен осады Тулона; это был человек, лишенный нравственных доблестей, и его, Барраса, даже прельщала мрачная озлобленность Бонапарта, жаждущего славы и власти. Именно он, Поль Баррас, и вернул Бонапарту славу, а заодно и наградил его Жозефиной Богарнэ.

Бонапарт обожал силу, особенно силу пушечного выстрела. Он хорошо служил революции, согласный, впрочем, так же хорошо служить и контрреволюции — какал для него разница?

. . . . .

Виктор Кочубей, сменивший Кутузова, предупреждал Петербург: что империя Османов уже близка к разрушению, давно оскудевшая, она неизбежно распадется, и наши внуки увидят ее жалкий огрызок, сжавшийся до предела, словно шагреновая кожа... Селим III, конечно, не мог знать, что писал русский посол, но султан и сам догадывался, что Турция на грани распада.

Султан навестил мечеть Эюпа, где имелось «окно просьб», в которое неверным запрещалось смотреть под страхом смерти, зато правоверные зацеловали решетку этого «окна» до такой степени, что она стала трухлявой. Селим тоже прижал к ней сухие воспаленные губы, взывая святого о милости, и увидел прах самого Эюпа, который еще в 670 году — какая давность! — пал при штурме византийской столицы. Селиму сделалось жутко при мысли, что турки, по сути дела, не имеют в Европе ничего своего, и даже византийский Царьград стал их столицей...

На выходе из мечети его поджидал капудан-паша.

— О чем ты просил святого Эюпа? — спросил шурин.

— Чтобы вернул Османам их бывшее величие...

Как? Прусский посол оповещал Берлин: что Селим III способен возродить Турцию: «По своим способностям и деловитости он стоит несомненно выше своего парода, и, кажется, именно Селиму суждено стать его преобразователем». Селим III искренно желал реформ, но он не знал, с чего начинать и чем все это закончится... Кучук-Гуссейн предупреждал:

— Низам-и-джедид может закончиться бунтом янычар!..

После многих поражений в войне с русскими Селим III понимал, что главное — создать новый вид армии, далекий от устройства янычарского корпуса, и появление нового посла Франции сулило ему немало. Обер-Дюбайе привез не только пушки, но и офицеров, готовых принять мусульманскую веру, предлагал инженеров. Селим верил, что французы хотят ему добра, и в военных школах, инженерной и артиллерийской, он следовал французской системе. Даже преподавание велось французами на французском же языке.

Правда, результаты были плачевны: из двухсот курсантов училища в армию выпускали не более пяти человек. Остальные не желали говорить по-французски. Светская программа воспитания будущих офицеров «нового

порядка» заключалась в частом употреблении «фалаки» — это такой шест, к которому привязывали босые ноги неуспевающего, и, задрав их повыше, лупили палками по пяткам... Янычары никогда не учились, гордые тем, что их рассудок никогда не вмещал даже арифметики.

— К чему все эти затеи? — кричали на Эйтмайдане. — Дайте нам побольше камней, и мы побьем всех гяуров...

Мало опасные для врагов Турции, янычары оставались очень опасными для турецких султанов, и потому Селим III, чтобы излишне не раздражать этих преторианцев, всюду говорил, что готовит войска по образцу европейских армий не затем, чтобы ликвидировать янычарский корпус:

— Мне нужны стрелки для дворцовой стражи...

Подалее от столицы, на румелийском берегу Босфора, в тихом местечке Левенд-чифтлик, султан выстроил казармы для своих батальонов. Явно боясь янычарского гнева, султан велел распространять слухи, будто его новые войска собраны в Левенде лишь для охраны акведуков, питающих водою столицу. Левенд-чифтлик стал военным городком — с мечетями, банями, кофейнями, лавками при своих садах и огородах. Здесь же Селим завел типографию, а Исхак-бей переводил для него труды Вобана...

Обер-Дюбайе, посол Франции, сам же командовал на парадах, и Селим III с восторгом, почти детским, наблюдал из тени шатра, как четко маршируют его батальоны «низам-и-джедида», облаченные в форму и хорошо накормленные, что обошлось турецкой казне в пять миллионов пиастров. Он говорил послу:

— Я вижу армию будущих героев Ислама... спасибо!

Правда, половина набранных солдат, пожив в казармах, разбегалась, ибо дисциплина воинская была им в тягость. Селим, чтобы не дезертировали, стал выдавать жалованье, бомбардирам, минерам и саперным войскам он обещал раздать земли в Румелии, чтобы в будущем они стали помещиками.

Селим действовал с оглядкой на Эйтмайдан, украшенный широковывесочной вывеской: **ЗДЕСЬ СУЛТАН КОРМИТ ЯНЫЧАР.**

— Я боюсь их перевернутых котлов, — говорил он Эсмэ.

Котлы в жизни янычар имели почти мистическое значение.

Их боготворили. На них молились. Котлы почитались.

И вообще все то, что так или иначе было связано с насыщением желудка и вопросами пищеварения, все это казалось для янычар свято и непогрешимо. Жрать они обожали!

Даже первое воинское звание в корпусе янычар называлось «яшчи», что в переводе означает «повар».

.....

После вопросов, связанных с пищеварением в касте янычар, мне, автору, как-то даже пеловко возвращаться к выдвиганию Бонапарта, который всю свою жизнь справедливо утверждал: «Как бы мало ни съел человек, все равно для него это будет очень много...»

Выдвижение его задержалось, но ему помог переворот.

Наши историки пишут, что Робеспьер сделал все для торжества революции, но, к сожалению, не уничтожил частную собственность, оттого, мол, и возник кризис якобинской диктатуры. Думаю, все было несколько иначе. Люди так устали ждать своей очереди на гильотину, что на гильотину оттащили самого Робеспьера — он был умерщвлен самими же якобинцами, желавшими сохранить свои головы. Таким образом, к власти пришли те люди, частную собственность которых Робеспьер не успел национализировать. Этот период французской истории мы привыкли называть термидором. Возник новый лозунг: «Революция против тирании!»

Между тем, в Париже снова брались за оружие, чтобы штурмовать Тюльери, и «умеренным» грозила судьба якобинцев, на костях которых они весело отплясывали. Новоявленные «слуги народа» искали спасителя. Поль Баррас первым назвал имя Бонапарта, которого он с явным презрением именовал то «этот олух», то «корсикапский офицерик».

— Его сверстники-генералы, припесшие славу Франции, давно опередили его в чинах, и только Бонапарт остался в тени... Доставим же ему удобный случай, чтобы выдвинуться!

Выдвигая себя, Бонапарт выдвинул перед Тюльери пушки. Еще вчера «друг народа», сегодня он был готов ошпарить народ картечью. Если другие сомневались или

сочувствовали восставшим, то Бонапарт сомнений не имел, а жалости к людям никогда не испытывал. Громом артиллерии он устроил кровавую баню: улицы мигом опустели, остались лежать только трупы... Одни Бонапарта проклинали, другие прославляли, но генерал начал отзывать о своих покровителях с пренебрежением:

— Или вы не знаете низость людей, окружающих меня? Придет день, когда мои покровители станут кланяться мне, счастливые от того, если я стану им покровительствовать...

Бонапарт стал дивизионным генералом!

Историки отметили: именно в этот период жизни почерк Бонапарта сделался неразборчивым, ибо неряшливость почерка — это признак всех великих, или мнящих себя таковыми. Но в карманах Бонапарта уже забренчало золото, и Жозефина Богарнэ удостоила его благосклонной улыбкой... Осенью 1795 года Конвент закончил свое омерзительное существование — во главе Франции утвердилась Директория, не менее омерзительная, а Баррас стал одним из директоров. Жозефина Богарнэ, бывшая его давней любовницей, уже надоела ему своими претензиями, и Баррас, чтобы разом избавиться от нее, стал уговаривать вдовицу на брак с Бонапартом. Но Жозефине совсем не хотелось менять всемогущего любовника на мало привлекательного корсиканца, в будущем которого она не была уверена. Баррас настаивал на ее замужестве с Бонапартом, обещая сделать его командующим Итальянской армией:

— Подумайте! — внушал он. — Если вы не согласитесь стать генеральшей Бонапарт, вам предстоит стареть в звании вдовы Богарнэ.

Жозефина согласилась. Бонапарт срочно отбыл на юг.

Все силы Франции тогда были собраны против мощной армии Габсбургов, а Итальянская армия французов считалась самой захудалой: всего лишь 38 тысяч обнищавших голодранцев при 30 пушчонках.

Чем можно воодушевить этих усталых людей?

Бонапарт сказал им то, чего они давно ждали.

— Солдаты! — возвестил он. — Вас забывали кормить, вы почти раздеты. Вам всегда много обещали, но ничего не давали, кроме обещаний. Франция в большом долгу перед вами, и не знает, как с вами расплатиться. Ваш героизм делает вам честь, но одна только честь не приносит выгод. Вы дошли до такой степени нищеты, что ока-

зались вынуждены продать даже свои карманные часы! Вы унижены тем, что за свершение подвигов вас награждают деревянными башмаками! Слушайте меня, солдаты.. я ведь тоже солдат, и понимаю вас лучше, нежели понимали в Конвенте и в Директории. Я поведу вас в плодородные страны, где вы увидите волшебные и цветущие города, славные изобилием вина, женщин и мяса... Идите за мной, и вы обретете небывалые почести и неслыханные богатства!

Итальянская армия тронулась за ним... на Италию.

Джавахарлал Неру вынес моральный приговор этой речи Бонапарта, ставшей знаменитой: «Странная смесь революционного жаргона с обещанием грабежей и добычи!»

## 10. ОПАСНЫЙ СОСЕД

Дело военных историков — восторгаться тактикой маневренности Наполеона, совместным движением колонн и рассыпного строя, но мне желательно говорить совсем об ином...

Увы! Мы постыдно бедны «наполенианой»; у нас привыкли ссылаться лишь на двух почтенных авторов — Тарле или Манфред, Манфред или Тарле. При этом стараются не замечать, что эти авторы грешны затаенным «бонапартизмом», свое вольное или невольное преклонение перед Наполеоном они передавали и читателям их книг.

Между тем, «наполениана», весьма обильная, еще до революции существовала в России, и она-то как раз никогда и не стояла на коленях перед корсиканским «гением». Но мы эту литературу отвергли и забыли, у нас никогда не переиздавались книги историков прошлого, объективные и даже беспощадные по отношению к личности диктатора, повинного не только перед нами, русскими, за чудовищный 1812 год, но виновного и перед народами всей Европы!

Человечество совсем не нуждается в подобных «гениях», которые с хладнокровным расчетом уничтожают миллионы человеческих судеб, передвигая границы государств по своему усмотрению, которые грабят и насилюют народы — и едино лишь ради того, чтобы насытить свое непомерное тщеславие, способное ради личных ам-



биций прегепдовать на роль «освободителя от тирании», чтобы самим безбожно тирапствовать... Нет, не нужны нам такие герои!

. . . . .

Не спору, Бонапарт нашел верные слова для возбуждения в солдатах нужных ему эмоций, заранее указывая, что Италия отдается на разграбление. Но в обращениях к самим итальянцам Бонапарт возвещал, что на знаменах его армии горят яркие символы свободы, которую он и несет итальянцам, «чтобы разорвать постыдные цепи вашего рабства... Мы воюем не против вас, а только с тиранами!» Слова, слова, слова...

Италия была сказочно богата, переполненная сокровищами былых времен, но бедность итальянцев вошла в поговорку. Итальянцы всегда хранили свое единство, хотя страна и была разобщена — только южная часть «сапога» занимало обширное королевство Неаполитанское и Сицилийское, а все ее «голенище» было раздроблено на мелкие герцогства, княжества и церковные латифундии, венцом же всей Италии сверкала на севере древняя республика — город-сказка Венеция... Вот в эту мозаику, словно собранную из осколков феодальной давности, вдруг и вторгся Бонапарт, объявляя захваченные области «братскими республиками». Итальянцы торопливо сажали «деревья свободы», вокруг которых и отплясывали, радуясь.

Наверное, этим хилым саженцам расти бы и расти, если бы солдаты армии Бонапарта, голодные и ободраные, не помнили речь своего генерала. Из освободителей итальянцев они превратились в обычных убийц, мародеров, грабителей и насильников. Бонапарт, почувствование сопротивление итальянцев, отдавал вот такие братско-республиканские приказы:

— Каждого десятого пленного расстрелять, коменданта гарнизона повесить, город поджечь с четырех сторон, но прежде отдать на разграбление моим голодрапцам... Исполняйте!

Командующий армией, он не отставал от своих солдат, облагая города непомерными контрибуциями, а парижская Директория получала от него картины из музеев, реликвии церквей, редчайшие библиотеки, научные коллекции и даже наборы хирургических инструментов из клиник университетов; отныне слова «конфискация» и

«контрибуция» сделались самыми ходовыми словами в Итальянской армии. Бонапарт наложил дань даже на папу римского, требуя с него 21 миллион денег монетой, не менее ста произведений живописи, полтысячи древних рукописей и даже...

Простите, даже бюст «патриота Брута»:

— Брут нужен мне для развития патриотических чувств!

Понятно, почему итальянцы, издавна угнетенные и еще вчера кричавшие «Виват Франция!», теперь отбросили вилы и взялись за ружья. Знаменитый Карл Клаузевиц писал, конечно, сухогато, но я все же рискну его процитировать: «Грабежи и жестокости, широко распространенные в рядах армии французов, огромные контрибуции и поставки, наложенные на население, и революционная тенденция, угрожавшая разрушением всех установившихся отношений, возбуждали против французов почти всеобщую ненависть — как среди знатных, так и среди простых людей...»

Бонапарт отвечал пушечной картечью, массовыми расстрелами заложников. Он перебил всех жителей Луго и Бинаско, в Павии перевешал весь муниципалитет, горе той деревне, близ которой находили мертвого француза: Бонапарт превращал ее в пепел.

Зато Директорию он завалил награбленным добром!

Но иногда допускал крамольные мысли:

— Я не верю, — говорил Бонапарт, — в эти республиканские бредни, и служу я не ради парижских принципов...

Если бы смельчаки спросили его тогда — ради чего он служит, Бонапарт, наверное, промолчал бы, ибо он служил ради своей персоны, но говорить вслух об этом было бы неприлично!

Непокоренной оставалась еще Венеция, эта дивная «жемчужина мира», досматривающая свои блаженные сны в отражении тихоструйных каналов. Но как республиканской Франции уничтожать Венецию, если она, как и Франция, тоже была республикой, а совет ее дожей — это ведь не монархия?..

Бонапарт обвинил дожей Венеции в злодейском сговоре с монархической Австрией, и на этом основании (вернее, безо всяких оснований) Венеция перестала существовать. Французские солдаты с издевательским хохотом переломали древние гербы Венецианской республи-

ки, а сама Венеция подверглась страшному разорению, будто испытала нашествие вандалов. Бонапарт мало что понимал в искусстве! Но он распорядился, чтобы с крыши собора св. Марка стащили бронзовых коней — и позже, когда он стал императором, этим коням было суждено украшать триумфальную арку Парижа, прославляя его драгоценное величество...

Австрия была уже не в силах сражаться с Францией, и в местечке Кампо-Формио Бонапарт встретился с венскими дипломатами. Ему надоели их пудные разговоры и, презирая старинный этикет, он схватил драгоценную вазу и разбил ее вдребезги:

— Ваша хваленая империя,— кричал он, наигранно беснуясь,— это старая шлюха, которая привыкла, чтобы каждый прохожий ее насиловал... я уничтожу вас, как эту вазу!

Австрийцы навсегда расстались с Бельгией, захваченной французскими войсками и принадлежавшей ранее венским Габсбургам, а генерал Бонапарт уступил им... Венецию!

Да, да, именно Венецию, но зато он оставил за собой архипелаг Ионических островов, заселенных греками и дотоле входивших в состав Венецианской республики.

Палец Бонапарта еще блуждал по карте Адриатики:

— Еще я беру вот здесь... этот берег Албании, который ранее управлялся дожами Венеции.

Европа решила понаслаждаться долгожданным миром.

И никто в ту пору еще не догадывался, что, перекраивая границы, создавая нелепые «братские республики» (вроде Цизальпинской — бывшей Ломбардии), Бонапарт закладывал прочный фундамент будущих постоянных войн в Европе, которая к тому времени уже давно имела исторические границы между государствами. Но европейцы еще не понимали, что непрерывные войны необходимы лично самому Бонапарту, чтобы — на полях грандиозных битв — утвердилось его собственное превосходство.

Французский академик Эрнест Лависс, говоря о гомерическом тщеславии Бонапарта, припомнил, что было сказано о нем знаменитым философом Ипполитом Тэном:

**ГЕНИЙ НА СЛУЖБЕ ЭГОИЗМА.**

.....

В самый разгар этих событий вдруг умер французский посол Обер-Дюбайе, и поверенным в делах на Босфоре стал Пьер Рюффен, который ранее был драгоманом (переводчиком) посольства, а военным он никогда не был, и по этой причине Селим III уже не мог получать добрых советов из «Пале де-Франс».

Турция безразлично восприняла поход французов в Италию, но сильно встревожилась падением Венеции и, наконец, султан панически встретил условия Кампо-Формийского мира.

— Вена верна себе, — сказал Селим III, — она не постыдилась вылизать даже то, что выплюнул генерал Бонапарт... Французы бросили в лужу камень, но грязь обрызгала не их, а — меня!

Блистательная Порта пребывала в смятении...

Кажется, сбывалось предвидение Кутузова, который — умный человек! — говорил еще раньше: мир между Турцией и Францией не бывал омрачен между ними, ибо они не имели общих границ, по что стается, если они будут ближайшими соседями?..

Этот опасный сосед появился в лице генерала Бонапарта.

Венеция, владея Ионическими островами, имела с них не только изюм-коринку (без косточек), не только виноград, ликеры, оливковое масло и даже хлопок, — нет, дожи Венеции еще задолго до Бонапарта разгадали стратегическое значение Архипелага как природного плацдарма для постоянного давления на Турцию, и политический авторитет Венеции всегда преобладал над турецким. Но теперь этот плацдарм попал в руки Франции, и великий визирь вызвал к себе Рюффена:

— Еще одна глупость, — сказал он, — и вы, Рюффен, будете сидеть в Едикюле за решеткой. Только глупцы входят в мечеть раньше имама! Согласен, что наше давнее соседство с Венецией доставило нам немало огорчений, но ссоры с дожами были как звуки барабана, а Франция сразу ударила в литавры... Куда с трудом пролезали руки дождей Венеции, туда ваш глупый Бонапарт просунул свою башку... Вот мне и его величеству султану хотелось бы знать: как он вытащит ее обратно?

Рюффен, пугливо моргая, поспешил откланяться:

— О вашем недовольстве я немедленно извещу Париж.

— Извести! — гневно крикнул визирь Юсуф-паша...

В эти дни Селим III сам пожелал видеть русского посла Виктора Кочубея; если великий визирь Юсуф высказывал Рюффену только свое раздражение, то султан, будучи нампого умнее своего визиря, стал рассуждать о политических осложнениях.

— Франция вдруг стала моей соседкой... не смешно ли? Этот корсиканец сразу взялся резать наши арбузы, когда мы еще не успели поделить свои орехи. Боюсь, что французы, овладев Корфу и другими островами Архипелага, станут заводить там порядки, свойственные Парижу, и это послужит дурным примером для всех моих греков, живущих под моим попечением, тем более,— говорил султан,— вы и сами знаете, что пет такого эллипа, который бы не мечтал возродить прошлое величие Эллады...

Пауза. Султан ждал. Кочубей склонил голову, соглашаясь.

— Покойный посол Обер-Дюбайе,— продолжал Селим,— стал моим другом, но он и сам не знал о намерениях Бонапарта. А теперь над волнами Адриатики может повеять новым и нежелательным ветром, который, боюсь, способен порвать наши старые паруса...

Это был ветер республиканских веяний, и этот ветер Селим никак не считал попутным. Кочубей, стройный, как юноша, почтительно соглашался. Но в голове дипломата вихрем роились подозрения, о которых султан предпочитал помалкивать. Он не хотел признаться, что французская угроза нависала над Балканами, где жили славяне (сербы, хорваты, македонцы, словенцы и болгары), а теперь, издавна угнетаемые турками, они могут воспрянуть... Кочубей поразился тому, что Селим умел читать чужие мысли, и хотя Виктор Павлович молчал, но султан ответил на его безмолвный вопрос:

— Коран пас учит: «Восстание страшнее любой казни»... Мы окружены французскими шпионами, но у нас есть и свои шептуны. Через них я осведомлен, что Бонапарт задумал плести очень широкий ковер, завязывая в нем узлы сношений Франции с моими же пашами в Янине и Скутари, он имеет наглость подначивать к мятежам не только христиан, но даже эмиров Ливана...

В конце этой доверительной беседы Кочубей спросил.

— В каких выражениях вам было бы желательно видеть мой доклад, который я не замедлю составить для Санкт-Петербурга?

Селим дружески подмигнул ему:

— Пишите как вам угодно... Но прошу известить вашего императора, что еще не придумали в мире такого горшка, для которого не нашлось бы хорошей крышки... Вы поняли?

Кочубей рассмеялся: он понял. Султан сделал шаг до дверей, как бы провожая посла, — это был немислимый для султанов акт особого уважения, и Кочубей, как дипломат, сразу оценил этот шаг султана. Селим пошел даже дальше — он придержал посла России за локоть, спрашивая, кто были его предки?

— Кочубей произошли от татарина Кучук-бея, впуск которого Василий был казнен невиновным...

Селим явно хотел еще что-то сказать, что-то важное, но промолчал, и Кочубей догадался, о чем он умолчал, ибо это касалось лично его, султана. Дело в том, что гарем его оставался бесплоден, престол Османов существовал без наследника, и в это время Мехмед-Гирей, наследник крымских ханов, изгнанных из Бахчисарая, жил в Турции, выдавая себя за хана «Великой Татарии», и, как прямой потомок Чингис-хана, Мехмед-Гирей открыто заявил, что он имеет исторические права для занятия турецкого престола...

Виктор Павлович вернулся в свое посольство. Он долго сидел за столом, недвижим, будто оцепенев, потом сказал:

— Кажется, у нас предстоят перемены, и эти перемены двух кабинетов будут столь необычны, столь несвойственны всему ходу европейской истории, что до основания потрясут основы старой политики Запада и Востока...

Вечером он торопливо готовил депешу в Петербург, которую утром посольский бриг подхватит до Севастополя или Одессы. «Я даже не был бы удивлен, — сообщал Кочубей в министерство императору Павлу I, — если бы Порта захотела сблизиться с нами более тесно. Союз с турками явился бы без сомнения событием достаточно оригинальным в политике...»

Еще молодой человек, он умел прозревать будущее.

.....

Что же еще хотелось бы мне сказать читателю?

Когда Бонапарт еще начинал военную кампанию в Италию, на Кавказе произошло нечто, о чем в Европе не сразу узнали.

Злобный евнух Ага-Мохаммед, уже падругавшийся над Тифлисом, в 1797 году вдруг пожелал повторить свой набег на Грузию, чтобы вторично предать эту страну племени и бесчинствам. Вместе со своими войсками шах выступил в поход, и путь его армии был обвехован трупами, пожарами, кровью и воплями несчастных людей, которые встречались ему на пути...

Для отдыха он задержался в армянской Шуше.

Это был богатый город (близ нынешнего Степанакерта).

Именно здесь, в Шуше, Ага-Мохаммед нашел свою гибель.

Два его прислужника чем-то не могли угодить шаху.

— Готовьтесь, — сказал он им. — Завтра лишитесь голов...

Но слуги, зная нрав своего владыки, не стали ждать рассвета, когда над их шеями взметнется топор палача, — ночью они проникли в спальню Ага-Мохаммеда и зарезали его, спящего, словно барана.

На опустевший престол взошел племянник зарезанного — шах прозванием Баба-хан, в Персии надолго утвердилась династия Каджаров, как ни странно, ведущая происхождение от евнуха, и эта династия просуществовала до 1925 года, свергнутая новой династией Пехлеви...

Тифлис не испытал новых нашествий — он был спасен!

## 11. МЯТЕЖНИКИ, МЕШКИ И ГОЛОВЫ

В истории Оттоманской империи бывали свои «емельки пугачевы» — с той лишь разницей, что наши родные Емельяны, поднимая народный бунт, не надеялись стать губернаторами или придворными шталмейстерами. Зато вот турецкие бунтари, как следует пошумев, прекращали стрельбу, если от султана поступало обещание сделать их двух — или трехбунчужным пашой.

Селим III был еще ребенком, когда отец поучал его:

— Сначала я посылаю мятежнику красивый шнурок, чтоб он догадался повеситься. Если шнурок отвергнут, я шлю ему грозный фирман (указ) о том, что мятежник объявлен «фирманлы» — заслуживающим казни. Если и это не помогает, тогда надо послать бунчук — и пре-

ступник, мой враг, делается пашой, сразу начиная собирать для меня дань с жителей пашалыка...

В полдень у ворот дворца Топ-Капу спешились усталые всадники, сбросили с седел мешки (каждый «мешок» — 500 пиастров), и сказали стражам дворца, что привезли налоги, собранные в болгарском Рушукке местным пашой Терсенекли-оглу.

— Воды... побольше воды, — просили они.

Сброшенные наземь мешки дымилась, ибо в долгом пути монеты сделались раскаленными от постоянного трения. Гонцы выплеснули на них воду из ведер, и мешки по гадючьей шипели, медленно остывая. Но один мешок поливать не стали.

— Это от разградского аяна Мустафы Байрактара, который шлет к Порогу Счастья султана головы местных разбойников.

Бостанджи-баши (начальник дворцового караула) велел мешки с пиастрами сразу тащить в казну — для учета.

— А головы кирджали вытряхнуть во дворе Серая, чтобы гуляющие усладились картиною справедливости нашего султана, да продлит Аллах его безмятежные дни...

Если угнетенные народы Турции стремились к самостоятельности, то и турецкие паши, посланные управлять ими, желали бы выйти из подчинения султана. Налоги с жителей они собирали исправно, даже цыганы — уж на что проворный народ! — и те не могли убежать от поборов. Но «мешки» с пиастрами не всегда разгружались в султанской казне!

Иные из пашей относились к метрополии даже враждебно, и Селим III, чтобы выбить из них налоги, посылал войска для их устрашения. Мало того, в необъятных турецких владениях никогда не затихала межусобная война. Один паша воевал с соседним, чтобы ограбить жителей его пашалыка, война в таких случаях шла жестокая, с пушечным боем, со взятием пленных и с казнями, — все это было столь же дико и нелепо, как если бы в России губернатор Рязани напал на Тамбов, желая его разграбить, а московский генерал-губернатор пленил бы губернатора тульского...

Думая о пустой казне, Селим вспоминал поговорку пинич:

— Чашка моя давно пуста, но я целую ее в уста...



Турция была разделена на провинции, в которых хозяйничали или те, кого поставил султан, или те, кто сам себя назначил, а султану приходилось мириться с самозванцами. Напомню читателю: если паша управлял папалыком, который можно сравнить с областью или губернией, то аяпы, пашам подчиненные, властвовали в аялыках, которые можно сравнить с русскими уездами.

Жестокая централизация власти, дабы все нити управления государством сходились во дворце Топ-Капу на Босфоре, — вот к чему стремился Селим III, из-под «Ворот Блаженства» наблюдавший, как могучая империя Османов расплзается, словно дурная квашня, и в этой империи немало таких вилайетов, где его имя жители даже не помнят...

— Что слышно из Албании? — спросил он у визиря.

— Али-паша-Тепелен совсем взбесился, и в албанской Янине, сидя на груде черепов, принимал офицеров генерала Бонапарта, угощая их кофе. Али напал на Химару и вырезал там всех жителей, а тех, что укрылись в костеле, он взорвал вместе с храмом.

Разговор шел о человеке, наводнившем Албанию ужасами, но зато оставшемся памятным Европе по той причине, что его воспели Байрон и Дюма. Янинский владыка Али-паша, родом из албанской деревни Тепелена, смолodu грабил путников на дорогах. Теперь же присвоил земли в Албании, Эпире и Фессалии, у него была армия, приученная им не жрать по три дня, и много пушек, стрелявших отрубленными головами пленных. Но самое удивительное, что генерал Бонапарт, уже ставший мужем Жозефины Богарне, просил у янинского деспота отдать ему в жены свою дочку, а паша соглашался отдать всех.

— Бонапарт, — посмеялся Селим, — так настойчиво залезает в мусульманские пределы, что, наверное, не откажется, если мой великий шейх-уль-ислам сделает ему обрезание в мечети...

В султанае, говорило сильное раздражение — этот корсиканец, выгнавший из Тулона испанцев с англичанами, теперь, кажется, вознамерился потеснить на Балканах его, самого султана. Или паша из Тепелены просто издевается над ним, над султаном! Селим уже не раз слал в Янину своих палачей с фирманом, разрешающим отрубить Али-паше голову. Но Али-паша каждый раз успевал отрубить головы гостям на минуту раньше, нежели они успевали ему представиться... Селим III сказал:

— Бонапарт, залезая на Балкафы, решил кататься на муравье, держа при этом на руках такого злобного крокодила, каков наш Али из Янины. Но узлы нашего ковра перепутались: аяпы воюют со своими пашами, а паша не подчиняется мне, султану...

Опасения подтверждались: французские агенты Бонапарта были замечены уже на Дунае — в крепости Видина, за фортами которой засел янычар Пазван-оглу, там он собрал войско, чеканил свою монету, грабил местных жителей, от его иступленных набегов страдали Сербия и Валахия. Но даже не это смущало султана:

— Пазван-оглу,— сказал он Кочубею, заведомо уверенный, что его слова украсят первую же реляцию для Петербурга,— сделал из Видина оплот для всех, кто недоволен моими реформами, и теперь, связанный союзом с Бонапартом, он угрожает мне походом на мою столицу... Сколько у меня развелось петухов, и у каждого — своя мусорная куча!

Кочубей ответил, что слухами о военной мощи Пазван-оглу не следует утруждать величавое спокойствие души султана.

На это Селим отвечал послу со знанием дела:

— Но в Видин сбегаются не только разбойники-кирджали, к Пазвану-оглу бегут и мои янычары, ненавидящие меня за создание в Левенде батальонов «низам-иджедид»... Вы очень нравитесь моей сестре султанше Эсмэ,— неожиданно заключил Селим.

Кочубей учтиво благодарил, торопливо заведя речь о кирджали. Русский посол — по его словам — не мог понять, каковы социальные причины, заставляющие турка из Анатолии или болгарина из Румелии объединяться в единую шайку, в которой все становились равны, независимо от религии и национальности. Кирджали, жившие исключительно грабежами, золотом расшивали свои куртки, ели они на золоте, возили за собой толпы женщин (гевенди), которые седлали для мужчин коней, а после боя играли им на гитарах...

— Не следует удивляться,— сказал Селим.— Ясский мир, да будут его условия благоприятны Аллаху, оставил без дела множество людей, которым я попросту неспособен выплатить жалованье за все те ужасные годы, проведенные ими на войне... Если вам, франкам, плохо живется на родине, вы уезжаете в Америку, а мои турки, если им плохо, убегают в шайки разбойников...

Кочубей не мог не почувствовать, что Селим III искренен, что он, действительно, озабочен желанием сделать жизнь страны спокойнее и благополучнее, но... как? Что может сделать султан, если даже в его же гареме главный евнух (кызлар-агаси — «начальник девушек») связан с Али-пашой Тепененом, который шлет ему сразу тысячу мешков с пиастрами...

На пристани в Галате, выбравшись из шаткого кайка, Кочубей нечаянно встретил французского посла Рюффена. Хотел было молча откланяться «коллеге», но все-таки задержался.

— Милейший Рюффен,— сказал Кочубей,— жестоко-сердная политика разделяет нас, но я взываю к вашим не политическим, а человеческим чувствам... Стало известно, что едва генерал Жанпильи высадился на Ионических островах, как сразу же посадил в тюрьму Корфу российского консула Загурского.

— Простите, об этом я не осведомлен.

— Но вы,— не отпускал его Кочубей,— наверное, достаточно осведомлены в том, что ваш же бравый генерал Жанпильи, исполняя приказ парижской Директории, запретил грекам, населяющим острова Архипелага, даже переписываться с русскими... под страхом смертной казни, и несколько норфиотов уже расстреляны!

Поль Рюффен поспешно прыгнул в кайк, крикнув:

— Извините. Спешу. Меня ждут Сладкие Воды...

.....

Али-паша из Янины, Пазван-оглу из Видина...

Эти мятежники бунтовали против Селима, желая лишь для себя славы и обогащения, а Селим все еще надеялся на «шнурок» и «бунчук», чтобы усмирить их, но зато султан испытал настоящую тревогу, когда в Стамбуле прискакал гонец из Багдада:

— Славный Буюк-паша Сулейман взывает о помощи...

Родина волшебной сказки о «Тысяче и одной ночи», Багдад был главным городом турецкой Месопотамии (будущая страна Ирак). Настоящий восточный Вавилон — арабы, турки, сирийцы, курды, евреи, персы, армяне и даже индусы. Багдад всегда казался пустым, словно вымер. С утра до вечера, спасаясь от невыносимой жары, жители укрывались в подвалах, а к ночи вылезали на крыши, спасаясь от духоты. Багдадом управлял Буюк-паша Сулейман, бывший раб — из грузин. Реис-эффенди

принял от него гонца, и тот кричал, что Багдад дрожит в страхе:

— От Неджда, из песчаных пустынь Аравии, пришли на берега святого Евфрата кочевники, от которых пышет огнем неверия и кощунства, эти проклятые бедуины дерутся, как львы, а их жены, даже не скрывая лиц под чадрую, рычат, словно голодные тигрицы, озабоченные одним — осквернить святыни Багдада, обобрать драгоценности с могилы святого шейха Гилари, и даже евреи в ужасе, ибо в Багдаде могила их знаменитого пророка Иезекииля... Что делать нам, бедным и слабым?

...Кутузов еще раньше предупреждал Петербург, что в знойном пекле Аравийских пустынь скопилась гроза, молнии которой скоро просверкают и над Босфором, и над Нилом. Михаил Илларионович докладывал, что даже в Каире стали бояться, как бы из оазисов Аравии не явился новый халиф мусульманского мира, который заставит дрожать нынешнего халифа — Селима III.

Кутузову казалось, что государственный кризис Турции совпал с кризисом мусульманской религии, а бедуинов Аравии он, ничтоже сумнящися, даже называл «якобинцами Востока».

Селим III пребывал в печали. От аравийского шейха Ваххаба возникло агрессивное учение «ваххабизма», а ваххабитов, которые уже ломятся в двери Багдада, не задуть дарственным шнурком, их никогда не задобрить великолепием бунчуков.

— Если этих безумцев, — сказал султан, — сразу не разгромить на берегах Евфрата, то эти сумасшедшие могут осквернить даже Мекку и Медину... Пусть гонец скачет обратно в Багдад и заверит Буюк-пашу, что отныне моя армия к его услугам...

Но турецкая армия Селима III была разбита ваххабитами и стыдно бежала. Кочевники пустынь сражались, как шайтаны, а их жены с бесстыдно открытыми лицами приветствовали вид крови на мужьях дикими воплями. Так начиналось вызревание того государства, тень от которого еще не легла на карты Востока, но которое теперь мы все знаем под именем «Саудовской Аравии».

Ваххабиты еще не раз потревожат наше воображение...

. . . . .

Виктор Павлович Кочубей, собиравсь навестить Сладкие Воды, поправил кружевную пену жабо на груди, красуясь перед зеркалом. Николай Пизани услужливо протянул послу его шляпу.

— Конечно, — продолжал Кочубей, берясь за трость, — чего же иного можно ожидать от арабов, если каждый бедуйп имеет при себе сразу два кошелька. В одном — просто деньги, а в другом — деньги, побывавшие в руках османлисов. Турок арабы считают «нечистыми», ибо с игом Османов арабы в полной мере вкусили не только тиранию, но узнали взятки, жестокости и обманы...

Клатхане (Сладкие Воды Европы) — известное место гуляний — паходилось в самой глубине Золотого Рога, здесь всегда царило оживление публики, важно гуляли ариауты-арбанцы с ятаганамн за шелковыми кушаками, шллись одетые по-европейски местные фанариоты, играли духовые оркестры, кондитеры громко нахваливали свои сладости, бегали продавцы холодной воды, подкрашенной розовым сиропом, крохотные ослики влекли по дорогам евнухов — красовались гаремные жены, кокетничавшие одними глазами, сами будучи закутаны с ног до головы в просторные белые балахоны, чтобы скрадывались очертания их фигур, — все это вдруг напормило Кочубею столь непохожие гульвья петербуржцев на Островах невской столицы... Пизани, местный старожил и большой знаток сокровенных тайн турецкой столицы, вдруг зашептал:

— Уходите отсюда поскорее, прошу вас.

— В чем причипа внезапного испуга? — удивился Кочубей.

— Разве вы сами не видите, что издали за вами уже давно следит эта страшная женщина... султанша Эсмэ. Уходите!

— Не понимаю, почему я должен ее бояться?

— Все расскажу в карете по дороге в посольство... Что рассказал Пизани, об этом нетрудно догадаться.

В одной из французских книг, вчитываясь в описание Сладких Вод, я нашел фразу: «Султанша приезжала на это гульбище, и каждое приближение ее к мужчинам уподоблялось появлению хищного ястреба в стае мелких птиц». Пизани поведал, что однажды советник прусского посольства, молодой человек, уже приглашенный Эсмэ на свидание, в ту же ночь сел на корабль и отплыл на родину.

— Он поступил очень правильно, — рассказывал Пизани, — ибо редко какой мужчина возвращается живым из объятий султанши. Ей все дозволено! Если же мужчина не согласится на свидание, Эсмэ жестоко преследует его, и не успокоится до тех пор, пока его труп не вынесет волнами в Дарданеллы или к берегам Тавриды.

По дороге в посольство Кочубей долго молчал, вздыхая печально, потом непонятно к чему вспомнил русскую пословицу: «Ну, что ж! В каждой избушке свои игрушки».

— Кончится все анекдотом, — вдруг произнес Пизани.

— Так расскажите, — оживился посол, оглядывая в окнах кареты длинное строение турецкого арсенала. — Я не откажусь от минутного веселья, ибо на сердце у меня скребут кошки.

— Анекдот же таков, — мрачно сообщил Пизани. — Когда-нибудь лев сожрет мужа этой красавицы — капудан-пашу Кучук-Гуссейна, а Эсмэ станет самой богатой вдовой Турции, и тогда...

Коляску русского посла сильно встряхнуло на дорожном ухабе — от арсеналов Терсане лошади завернули в кварталы Пера.

В посольстве Кочубей разоблачался, чтобы побыть в халате. Он был еще молод, и потому ему хотелось продолжить разговор о женщинах, об их тусклой жизни в этой стране.

— Странная жизнь! — рассуждал он между делом. — Дикая и мало понятная. Тысячи молодых женщин умирают от тоски взаперти гаремов, выглядывая на улицу через узкие щели оконных жалюзи, иногда и умирают старухами, оставаясь девственны, а эта горбоносая Эсмэ вполне свободно охотится за мужчинами...

— Это еще не все, — досказал Пизани. — После первой бурной ночи она топит мужчин в Босфоре или утром их подвергают известной всем операции, чтобы Эсмэ осталась их последней женщиной в этом мире...

Эсмэ, презирая слишком крохотного мужа, любившего только льва (и спавшего с ним в обнимку), часто охотилась за молодыми и красивыми иностранцами. Но она еще не ведала, что всемогущий Аллах уже начертал ее судьбу на своих огненных скрижалях — и ей, султанше, первой женщине в Османской империи, еще предстоит ползать в ногах у того грубого и беспощадного дьячара из болгарского Разграда, который совсем недавно прис-

лал в подарок ее брату-султану целый мешок отрубленных им голов.

Будем считать, что фрагменты этой главы впоследствии сольются воедино с главной темой моего повествования.

## 12. «ГРУША ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛА»

Император Павел I, вступив на престол, разослал русским послам в Европе особый циркуляр — для исполнения. В нем он высказал осуждение прежней материнской политики, доставшейся ему в наследство, его циркуляр был по сути дела ярким выражением нового курса политики русского кабинета.

Вчитайтесь сами: «Россия, будучи в непрерывной войне с 1756 года, есть потому единственная в мире держава, которая находилась сорок лет в несчастном положении, истощая свое народонаселение. Человеколюбивое сердце Императора Павла не могло отказать любезным Его подданным о препущном и желаемом ими отдохновении». При этом Павел I заверял союзников, что, прекращая всякие войны, он не перестанет «противиться Французской Республике, угрожающей всей Европе совершенным истреблением закона, прав, имущества и благонравия».

Павел I отменил рекрутский набор, отозвал из морей свои эскадры. Однако, нейтралитет России соблюдался недолго.

— Меня, — стал поговаривать император, — беспокоит даже не сама республика, а некий Бонапарт, который в необузданной ретивости начинает действовать и рассуждать перед Европой от имени Директории, сиречь от имени всех французов...

Коалиция стран Европы распадалась, усталая от долгих и бесполезных войн против Франции, французы, торжествуя, всюду утверждали свои победы, передвигая границы государств, словно это были обветшалые деревенские заборы. Пожалуй, одна только Англия оставалась возмущена упрямством Франции, и в парламенте Питт недоумевал, почему эти паршивые республиканцы не желают жить и думать по тем рецептам, которые прописывает им мудрейший и респектабельный Лондон.

Кстати, Франция, доказав свою жизнестойкость и силу своих армий, начинала приобретать признание в мире,

и потому упрямой Англии грозило политическое одиночество, а никакие оздоровительные «рецепты» благодушная Питта не помогали... Тут я вынужден провозгласить старую банальную истину: «владычица морей» всегда по праву гордилась своим флотом!

Это мы все знаем, зато мы не знаем, в каких условиях жили матросы британского флота. Корабли англичан — это тюрьмы, только, в отличие от тюрем, они иногда еще и тонули. Матросы из арестантов говорили, что в тюрьмах жить легче и не качает. Дезертирство было повальное! По этой причине матросов с кораблей не выпускали «на травку». Овощей и фруктов они не видели годами, мясо считалось лакомством, и жестокая цинга валяла с ног самых крепких. Пополняли экипажи кораблей через полицию, которая хватала всех подряд, кто оказался под рукой, — нищих, воришек, уголовников, бездомных... Теперь, читатель, понятно, почему весной 1797 года флот английской метрополии поднял восстание!

Как раз в это время у берегов Англии задержалась русская эскадра адмирала Михаила Кондратьевича Макарова, плывущая до родного Кронштадта. Случилось то, о чем в истории британского флота предпочитают умалчивать: лорд Гренвиль со слезами на глазах готов был валяться в ногах у русского посла Воронцова:

— Спасите! — взывал первый лорд казначейства. — У нас осталось лишь два корабля, которые непричастны к бунту... два! Флота не стало, нас все в Европе покинули, так не оставьте нас хотя бы вы, русские...

Восстание охватило все гавани Англии, которой как раз в это время угрожало нападение кораблей Франции и Голландии, вход в устье Темзы оставался открытым, Лондон засыпал в тревоге...

— Спасите! — взывал лорд Гренвиль.

Воронцов указал адмиралу Макарову, чтобы его эскадра сторожила проход в Темзу, вскоре всех зачинщиков бунта на кораблях перевешали на реях — и Англия была спасена.

Английский король Георг III пылко благодарил императора Павла I «за спасение Англии в момент величайшей для нее опасности», но о том, что русский флот оградил «владычицу морей» от возможного нападения, об этом англичане вспоминать не любили.

Но этот эпизод стал поводом для англо-русского сближения.



Павел I к тому времени уже «возложил» на себя весомые знаки гроссмейстера Мальтийского ордена, в его столице появились даже географические календари, в которых Ла-Валлета была обозначена русским городом. По этой причине, невольно пропикаясь проблемами Средиземного моря, император чересчур обостренно воспринял оккупацию французами бывших венецианских владений, и он был вне себя от гнева, когда узнал, что на острове Занте французы арестовали российского консула Загурского.

— Хотя моя покойная матушка и утверждала, что «с идеями пушками не борются», я противоположного мнения, — сказал император Павел. — Иногда одно хорошее ядро, залетевшее в рот какому-нибудь оратору, решает вопрос быстро и просто, нежели бы мы на каждую идею стали выдумывать свои идеи.

Павел I еще не мог знать, что Мальта, которой он так гордился и которую он осмелился называть «русским городом», эта Мальта уже обречена: генерал Бонапарт включил этот остров в орбиту своих стремительных завоеваний.

. . . . .

Так часто бывает в жизни, и не только в России: пока пужен был человек, его имя у всех на устах, его славословят и внимают ему с открытым ртом, готовые мазать его медом, но коли падобность в человеке отпала, он делается пенужным и тогда бывшего «героя дня» мажут не медом, а дегтем.

Нечто подобное случилось и с Бонапартом. Во время итальянского похода, пока он брал город за городом, ублажая Директорию богатыми подношениями, его сравнивали черты Цезаря, а потом — после мира в Кампо-Формио, где он так удачно раскокал драгоценный сервиз, — Бонапарт сделался лишним, даже мешающим. Обаяние прошлых викторий померкло, а Директория, зная о непомерных амбициях генерала, даже побаивалась Бонапарта, желая от него избавиться.

Во время Медичи и Борджиа таких вопросов, куда деть этого человека, не возникало: в честь героя устроили бы хороший шир, лучшая красавица поднесла бы ему кубок вина, а на следующий день можно было поплакать: «Ах, кто нам вернет его? Ему бы еще жить и жить ради

громких триумфов...» Бонапарт чувствовал, что его время уходит, Франция тоже к нему не расположена, а в Париже еще не забыли, как он расправился с народом картечью. Директория поручила ему готовить армию для покорения Англии, но, кажется, директора и сами понимали, что подобная операция несбыточна, а неудача с десантом на берега Англии сразу погубит былую славу генерала.

Бонапарт считал, что Англию выгоднее бить не в Англии, а на задворках Европы, чтобы Питт в Лондоне скорчился от ужаса, если станут угрожать его колониям в Индии. Между тем, отношения Бонапарта с Директорией обострились, и надо было что-то решать. Чтобы снова привлечь к себе ускользающее внимание общества, Бонапарт прибег к крайности — он свысока, приняв позу оскорбленного человека, стал угрожать Директории отставкой.

— Так в чем дело и к чему нам спорить? — отвечали ему в Директории, сразу протягивая перо и бумагу. — Садитесь и пишите просьбу об отставке, и мы охотно с вами расстанемся...

Бонапарт понял, что переиграл, и он, взбешенный, удалился прочь, говоря себе в ярости:

— Моя груша еще не созрела...

Друзья (и даже Баррас) советовали Бонапарту вообще удалиться из Франции, где все бархатные кресла уже заняты, и ему приходится жаться по углам, лишь поглядывая на собрание «великих». Было ясно, что Директория желает от него избавиться, пусть этот корсиканец провалится хоть куда, лишь бы он больше не путался у нас под ногами, и чем далее от Парижа он окажется, тем спокойнее будет для них, вершителей судеб Парижа. Все стало ясно.

Итак, самое главное уже решено...

...Константинополь пробуждался, а воды Босфора порозовели в лучах восходящего солнца. Виктор Павлович Кочубей рывком сбросил с себя одеяло, рука дернулась, отыскивая пистолет.

— Кто здесь? — выкрикнул он, заслышав шорох.

— Не пугайтесь, — послышался голос Пизани. — Это всего лишь я, ваш покорный слуга. Извините великодушно за то, что потревожил ваш утренний сон. Имею важное известие.

— Я слушаю вас, Николай Антонович.

Пизани выгнул плечи, развел руками.

— Не знаю, что и думать, — сказал он. — Сераль и Диван в тревоге, ибо во французском Тулоне идут какие-то страные и торопливые сборы в дальнее плавание. Появилось много солдат, отбирают опытных матросов. Пока нам можно лишь недоумевать — ради чего все это и в какую сторону намерена следовать эскадра Франции?

— Не уверен, что в Англию, — отвечал Кочубей, — скорее, они двинутся на Восток, ибо наследство Венеции уже поделили, а Турция и Порта в таком отчаянном положении, что уже неспособна отстоять своих обширных владений... В любом случае, — решил посол, — о тулонской эскадре надобно сразу известить Петербург...

Впрочем, в русской столице были уже достаточно известены о загадочных сборах в Тулоне, знали о них и в других странах, всюду недоумевали — куда проложит курс французская эскадра? Неаполитанский посол при русском дворе славный дюк Серра-Каприолла был искренне убежден, что Бонапарт замышляет что-то дурное против его королевства.

— Конечно, — доказывал он, — у нас на Сицилии полно всякой сволочи, и Бонапарт надеется найти с нею общий язык, чтобы совместными усилиями выживать нас из Неаполя...

Лоренцо Литта, пунций папы Римского при русском дворе, связанный с иезуитами Мальты, доказывал совсем иное:

— Ах, зачем французам возиться с вашими разбойниками, если у них и своих хватает? Ясно, что Бонапарт желает захватить Мальту, этот древнейший оплот христианства, давно противостоящий людскому неверию, отчего рыцари Мальтийского ордена и вызывают бешеную ненависть всех якобинцев...

Павел I, как гроссмейстер Мальтийского ордена, был обеспокоен подобным мнением пунция. Но большинство политиков считало, что эскадра в Тулоне готовится для желанного нападения на Англию, и английский посол лорд Уитворт утешал императора:

— Мы предусмотрительны. Наша эскадра адмирала Нельсона стережет тулонскую у Кадикса, дабы не пропустить ее через Гибралтар. Правда, на этой эскадре тоже возникли волнения матросов, но вы не волнуйтесь:

наши адмиралы умеют вешать бунтовщиков даже по воскресеньям, если забыли повесить в субботу...

Уитворт притворялся, будто в Англии даже кошка не шевельнулась. На самом же деле английские помещики-сквайры, проживавшие на побережье, поспешно покидали свои имения, отъезжая с пожитками и семьями в глубину королевства. Если бы наблюдатели и шпионы оказались более проникательны, они бы заметили, что Англии ничего не угрожает, ибо Бонапарт в Тулоне сажал на свои корабли археологов, математиков, художников и геологов,— спрашивается, на кой черт они все сдались, если бы Франция затевала десант на берега Англии?

Совершенно иначе (и где-то даже близко к истине) думал император Павел, говоривший Растопчину, близким, что экспедиция Бонапарта угрожает самой России, французы вознамерились проникнуть в Черное море, чтобы захватить Крым:

— В этом случае,— убежденно говорил Павел,— Турция, благодарная французам за то, что они вернули им свою таврическую латифундию, несомненно сочтет своим долгом начать новую войну против нас на Дунае... вот о чем мечтают в Париже!

Сделав такой вывод, император предписал адмиралу Ушакову начать крейсирование сева­стопольской эскадры — вплоть до Одессы, и при встрече с французской эскадрой сразу вступить в сражение и беспощадно уничтожить все корабли бонапартовского сборища. Одновременно с этим две русские эскадры (Архангельская и Балтийская) начали крейсерство возле северных берегов Франции...

Был уже май 1798 года, когда в Константинополь прибыл новый русский посол, которому Кочубей и сдал посольские дела.

— Вы,— сказал ему Кочубей,— прибыли как раз в такое время, когда огонь в нашем очаге пылает, а все наши кастрюли кипят единым разом, и вам, повару, предстоит волноваться...

Новый посол — Василий Степанович Тамара — воспитанник украинского философа Григория Сковороды, был хорошим знатоком Востока и всех потаенных пружин, которые двигали сокрытую от непосвященных политику восточных сатрапий, Тамара был уже солидных лет, Виктор Кочубей казался ему «мальчишкой».

— Не забывайте подбрасывать дров,— смеялся Кочубей.

— Горячее не всегда есть самое вкусное,— отвечал Тамара,— иногда и остудить надобно, чтобы желудок не испортить...

Черноморский флот распускал паруса.

В конце этой главы — под видом пикапного десерта — я сразу разоблачу давнишние плапы Бонапарта, которые с большой охотой поддерживал хитроумный Талейран, который еще много-много лет будет толкать Наполеона к новым завоеваниям, и в самом конце их содружества толкнет его так, что тот свалится...

Когда был Бонапарт республиканцем и когда он перестал им притворяться — об этом, мне кажется, гадать не стоит. Уверен, что, раздирая Италию и грабя Венецию, он уже тогда меньше всего думал об освобождении народов от ига монархий, запытый вопросами чисто экономической выгоды, более беспокоясь о стратегической ценности покоренных земель — на будущее.

Между Бонапартом и Талейраном шла оживленная переписка.

«Ионические острова,— утверждал Бонапарт,— представляют для нас гораздо большую ценность, нежели вся Италия. Я полагаю, что, если бы нам пришлось выбирать, то лучше было бы отдать императору (то есть Австрии) всю Италию, но сохранить эти острова».

Талейран соглашался с Бонапартом, отвечая ему: «Для нас нет задачи важнее, как встать твердой ногою в Албании, в Греции, в Македонии и т. д.»

Знай об этом турецкий султан Селим III, он бы крепко задумался над этим очень многозначительным «и т. д.»

Наконец, для нас важно признание Бонапарта, сделанное еще в августе 1797 года — в каюпе подготовки Тулонской эскадры.

«Для того, чтобы разгромить Англию,— писал он,— прежде необходимо овладеть Египтом», а попутно, идя на Египет, стоит заглянуть и на Мальту, чтобы удивить тамошних рыцарей...

...До конца XVIII столетия оставалось жить всего два года,

### 13. ДЛЯ КОГО ПЛЯШУТ ДЕРВИШИ

Янычары давали концерт в деревне Скутари!..

Старый «ашчи» (повар) в шапке из войлока вдруг ударил колотушкой в большой барабан-дауль, а его помощник, потерявший глаз при штурме Очакова, свирепо встряхивал бубен. Молодые ученики, искренно радуясь скорому обеду, стегали ивовыми прутьями в малые барабанчики, словно наказывая кого-то, в руках янычар ладно и громогласно звучали медные тарелки. При этом суровый «ашчи» иногда встряхивал мохнатый бунчук, унизанный нежно-поющими колокольчиками... Над музыкантами высились терпентиновые кипарисы, их тягучая смола, стекая вдоль деревьев желтыми струями, дурила головы острым и чувственным благовонием. А из плюшевой зелени ажурных киосков взирали на янычар гуляющие «одалыки», жеманно укрывая свои лица прозрачными косянками яшмаков...

— Велик Аллах! — возвестил «ашчи» и концерт закончился.— Мир вам всем, правоверные, а мы спешим на Эйтмайдан, ибо как раз пришло время делить на всех султанское мясо.

Ах, это блаженное Скутари, воспетое поэтами!

Именно здесь, в Скутари, размещалась община, грозная община «вертящихся дервишей», которых иногда называли «воющими». Это был монашеский орден, вроде замкнутой касты избранных, которые в кружении танца видели какой-то особый мистический смысл. Иногда дерви этих дервишей называли просто «бекташами» — по имени основателя ордена Хаджи-Бекташа, жившего еще в XIV столетии\*. Орден появился в городе Конья, еще задолго до падения Византии, а когда Константинополь стал столицей Османов, они перебрались на берега Босфора — в Скутари...

В непонятном для нас экстазе, часами раскручиваясь, как заводные волчки, бекташи чем-то напоминали русских хлыстов, доводивших себя пляскою до полного изнеурения, до приступов массовой истерии. Колоколами раздавались на бекташах белые широкие юбки — джалуны;

\* Султан Махмуд II (1784—1839), уничтожив янычарское войско, заодно разгромил и орден их покровителей — бекташей. Сейчас орден «пляшущих дервишей» сохранился только в Народной республике Албания, но с 1950 г. они стали возрождаться и в самой Турции, их экзотические танцы привлекают в гор. Конью немало иностранных туристов.

высокие колпаки на головах означали могильные надгробия мусульман, а коричневые пелерипы служили для них как бы символами кладбищенских гробниц. Кто бы ни смотрел на них, пляшущих и воющих, у всех безумно кружились головы, и только бекташи оставались невозмутимы, никогда не падали, ни разу не потеряв равновесия в своих бесподобных вращениях вокруг незримой оси. В танцах они описывали странные круги, и непосвященным они казались бессмысленны, но бекташи знал, что их тапец повторяет движение планет и звезд по космическим законам — вокруг нашего солнца...

И даже не в Скутари, а еще в древней Конье дервиши основали янычарское войско, после чего навсегда остались традиционными патронами этого войска, самого страшного в мире. Они освятили громадные котлы янычар, придав этой посуде свое мистическое обожествление. Бекташи отрывали свои рукава, возлагая их на головы первых янычар, и это подобие чалмы стало для янычар традиционным ритуалом...

Бекташи причащали янычар вином, хлебом и сыром.

Но главное все-таки — котел, в котором бурлила пища.

Янычарские оркестры оглушали весь мир.

Пляшущие дервиши выкрикивали строчки из Корана...

. . . . .

Я бы, паверное, и не писал об янычарах, если бы все наши читатели знали о них, а знать, мне думается, все-таки надо об этих страшных и страшных людях, которые — по словам Карла Маркса — превратились в «морювую язвү государства» (турецкого).

Созданные на страх врагам, янычары сразу сделались вроде преторианской гвардии султанов, они являлись главным ядром их регулярных армий. Поначалу янычарский корпус формировался целиком из... христиан. Это были дети русских, украинцев, греков, болгар или поляков, похищенные у родителей во время набегов или просто купленные на базарах. Их, детей, от колыбели обращали в исламскую веру, сразу воспитывая в них мусульманский фанатизм, обучали владеть оружием, выносить любую боль, им платили высокое жалованье.

Но зато янычарам нельзя было жениться, им запре-

щалось унижать себя торговлей. Это был орден — военно-монашеский, подобные ордена можно найти и в истории западных государств (вспомним хотя бы крестоносцев или меченосцев, мальтийских рыцарей, а знаменитая причина Ивана Грозного во многом копировала организацию янычарского корпуса). Никаких родственных связей янычары не имели, чтобы полнее отдаваться лишь военному служению.

В те давние времена, когда Восток вторгался в пределы Запада, янычары были незаменимы, как отличные воины и даже христианские писатели отзывались о них с восхищением. Вот что было сказано в анонимном трактате XVI века: «Идущий на войну турок оставляет свои пороки дома, а христианин берет их с собой. В лагере янычар нет никаких наслаждений, только оружие и провиант, в христианском же войске — чревоугодие и сладострастие, в нем больше непотребных женщин, нежели воинов. Магьяр разбойничает, испанец ворует, немец пьянствует (с утра уже пьян), итальянец предается сладострастию, француз поет или бахвалится, англичанин обжирается, шотландец дрыхнет, поляк хвастает, чех буйствует», — где им всем сравниться с янычарами?..

Но времена менялись, менялись нравы, изменились и сами янычары. Где-то в середине XVII века янычарам разрешили заводить семьи, после чего корпус стали пополнять уже не христианами, а детьми самих янычар. Образовалась некая военная каста (вроде московских стрельцов), которая становилась элитой турецкого общества. Но, разрешив янычарам жениться, султаны позволили им добывать жалованье своими силами.

Учиться воевать и служить стало некогда! Янычары редко навещали свои казармы, на учения их было не дозваться. Они полюбили нежиться в лавках, продавая табак или сладости, содержали кофейни, владели банями и публичными домами (таковые были в Стамбуле), жили поборами с лодочников или кондитеров, навязывая себя в «охранники» богачам, которых принуждали платить им налог, — иначе говоря, занимались современным рэкетирством. Иногда янычары показывали на улицах ученых обезьян, куривших трубку, или же сами танцевали на канате, жонглируя. Скоро из отборных войск янычары превратились в плохо управляемую вольницу, вечно педовольную, готовую опрокинуть свои котлы — в знак



того, что похлебка невкусная, а султан плохо их кормит...

Из опоры султанов они превратились в угрозу султанам!

Янычары, посидев в банях или кофейнях, устроив своих сыновей и внуков, полюбили халаты и домашние шлепанцы, ожирели и обрюхатели. Такие они уже не были страшны врагам Турции, дисциплинированным, хорошо владевшим новейшим оружием, знающим секрет маневра, — янычары, ходившие толпой, оружие после употребления гашиша, они стали ужасны для своих «ага» (пачальников) и — особенно для султанов!

История Османской Порты пестрит янычарскими бунтами, когда они свергали не только визирей, но душили и травили султанов, проделывая такие престольные рокировки в династии Османов, что Европа диву давалась... Хочешь жить — плати! И каждый султан, всходя на престол, первым делом слал подарки янычарам — это был тронный «джюлюс бакшиш», то есть платил им дань, чтобы ублажить их. Вся турецкая армия сидела на бабах и траве, но янычарский корпус исправно получал жалованье. Бывали случаи задержки с выплатой, когда казна пустовала, но тогда султан срочно отправлял па Монетный двор свои золотые сервизы, чтобы начеканили пиастров побольше, или, если сервиза ему было жалко, он заживо отдавал янычарам великого визиря, головой которого потом приходили любоваться в садах Серая...

Минувшая война с русскими показала, что янычары к войне неспособны. Турецкий генерал Челеби-Эффенди писал Селиму III: «Хотя у нас было больше 200.000 человек, но всего лишь 8.000 русских солдат, преодолев Дунай, нанесли нашей армии решительное поражение». Янычары, подверженные паникерству, первыми удирали с фронта, и это была, действительно, толпа, в которой «если бы отец задумал отыскать своего родного сына, он его в толпе янычар никогда не нашел бы...»

Зато янычары были большими хвастунами. Убежав с фронта в столицу, они ходили по улице, обвешанные трофеями, один с важным видом нес перед собой зеркало, другой тащил на плечах кресло, а третий таскал за собой корову.

Вот обо всем этом султан Селим III и говорил шурину:

— Мой «низам-и-джедид» растет в казармах Левенда, а на Эйтмайдане еще орут эти бездельники под вывеской «Здесь султан кормит янычар...» Когда им отрубают кусок баранины, они щупают его — где кости, сколько жил, а где же мясо? Янычары разучились даже стрелять.

— Да,— соглашался Кучук-Гуссейн,— я сам видел, как один ени-чери затолкал в ружье пулю, сверху засыпал в дуло порох и потом удивлялся, почему ружье не выстрелило... Накопец, их офицеры просят жалованье на сто тысяч голов, а в казармах едва насчитаешь триста человек, да и то половина из них — это водоносы, цирюльники, конохи или офицерские лакеи. Янычары хороши только для бунтов и грабежей!

— Моему терпению приходит конец,— решительно заявил Селим.— С янычарским корпусом пора кончать...

Он уже не раз собирался упразднить янычар, но тропуть их боялся, ибо знал, чем это может кончиться для него. Кутузов тоже знал истинное положение дел на Босфоре, и посол даже жалел Селима III, которого старое наследство «пляшущих дервишей» вязало по рукам и по ногам, делая из султана беспомощную куклу. Кутузов еще раньше предупреждал Екатерину Великую: «По поводу вводимых здесь в войсках новых учреждений начинают все благоразумные в успехе сомневаться. Припялись было сначала за оные весьма ревностно, но горячность сия ныне умалется... однако ж не малый ропот в старом корпусе янычар, из которых еще ни один в новые войски не записался, песмотря на все прельщепия, от Порты им делаемые».

Войска «низам-и-джедиды» бесполезно маршировали.

А столицу (и султана!) контролировали янычары...

Но вдали от Стамбула тоже встречались янычары!

.....

Теперь глянем в лицо нашего жестокого друга...

Янычары бывали и в провинции, ими паюлена была не только Анатолия, но и Румелия, где жизнь была проще и намного страшнее, чем в столице, где для них играли оркестры, а янычар созывали на Эйтмайдап за получением куска мяса.

Разград — так называли этот город болгары, Хезарград звучало в устах турок. В ту пору этот чистенький городишко населяли турки, греки, армяне, евреи и болгары, конечно. Разград лежал на торговом тракте, проле-

гавшем от Босфора до Бухареста, связывая Константинополь с Дунайскими провинциями, из которых вывозили провизию для насыщения турецкой столицы. Город был велик, весь в виноградных кущах, а на заборах вывешивались домотканые ковры. Разград ничем не выделялся из множества городов турецкой Румелии, но зато славился башенными часами, на которые приезжали глядеть крестьяне. У часов была своя история. Один местный житель, тоже янычар, в мипувшую войну попал в плен к русским, проживал у них в Угличе, и так привык к благовесту тамошних храмов, что из русского плена вывез эти часы с мелодичным боем, которые и звонили по утрам янычару, напоминая ему о прелестях русского плена...

Я на этом бы и закончил, если бы не лицо жестокого друга!

Управлял Разградом янычар и сын янычара Мустафа, тоже участник последней войны с русскими на Дунае. Мустафа родился в 1765 году, был еще молод, умен, писать и читать не умел, любил выпить и закусить, имел приплод от обширного гарема, а прозвище у него было примечательное — Байрактар, что означало «знаменосец». По турецкому обычаю прозвище заменяло ему фамилию, ибо в Турции фамилий у людей не было.

Мустафа Байрактар занимал пост аяна в Разграде, то есть был его управляющим; «аян» по арабски означает «глаз», что указывало на его род занятий — следить за порядком, надзирать за нравственностью жителей, чтобы не возникало смут, воровства и скандалов. Соответственно, Разградский уезд назывался «аянлыком», подчиненный паше Руцка, что был главным городом Руцкского пашалыка (то есть области). В окрестностях Разграда было много деревень, в которых жили и турки и болгары. В болгарских путника встречали хлебом, говядиной и вареной тыквой. У турок же впускать путника в дом было не принято. «Если кто вздумает заехать в их дом, то их с угрозами выгоняют вон, спускают на них собак и даже часто по ним стреляют». Так они поступали не только с франками, но даже со своими единоверцами, турками или татарами, которых немало бродило по дорогам, где воруя, где грабя...

Спешу сказать, что Мустафа Байрактар, хотя и был янычаром, но зверем никогда не был. Напротив, жители Разграда относились к нему хорошо, ибо Байрактар —

человек большого мужества! — храбро охранял свой аялык от набегов разбойников, он своими руками отрубал им головы, которые и отсылал к султанскому Порогу Счастья, чтобы султан Селим знал об его усердии. С корпусом же янычар Мустафа связи прежние растерял, но при случае всегда мог предъявить «эсаме» — воспный билет, в котором были перечислены все его подвиги.

Байрактар был человеком честным — не воровал, взятки не брал, а жил с того, что ведал большим хозяйством, которое досталось ему от покойного отца в наследство. Он содержал большой скотный двор и конюшни, приторговывая быками и скакунами. Имел самый большой в Разграде свинной завод — тоже для продажи на ярмарках. Мусульмане, как известно, свинины не ели, но при этом были заинтересованы, чтобы «райя» (христианское быдло) кормилось только свиной, не покушаясь на баранину, столь излюбленную магометанами. При этом турки — и Байрактар иже с ними — не гнушались сами выращивать свиней, продавая их христианам.

Вечерами, когда с огородов хорошо пахло укропом, Байрактар выходил на окраину своего Разграда, долго всматривался в сиреневые дали, за которыми лежал, далекий и малодоступный ему, провинциалу, сказочный Стамбул-Константинополь.

Не знал он тогда, что минуют годы и он станет полновластным владыкой турецкой столицы. Байрактар и того не ведал, что прекрасная султанша Эсмэ скоро станет «звездой» его гарема...

И, широко зевнув, янычар отправлялся спать.

---

## Часть вторая. ПИРАМИДЫ

Мы не знаем верно о том, в какой степени была действительна гениальность Наполеона в Египте, где сорок веков смотрели на его величие, потому что все эти великие подвиги описаны нам только французами.

*Л. Н. Толстой. «Война и мир»*

В революционные времена способностью считается только дерзость, величием — только крайности.

*Талейран. «Мемуары»*

### ПРЕЛЮДИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ

Начало XX века — время, читатель, нам близкое...

Думаю, что лучше назвать дату точнее — 1915 год, когда бушевала Первая мировая война. Мы знаем французский Верден и русский Осовец, мы читали о гибели армии Самсонова и Брусиловском прорыве, война охватила множество стран, но... Был еще один фронт, о котором у нас писать не принято. Не потому что запрещено, а скорее, по той веской причине, что этот фронт был очень далек от нас и результаты его сражений учитывались политиками в кабинетах лондонского Уайтхолла, зато они мало тревожили стратегов царственного Петербурга.

С чего же начать, чтобы читателю все было ясно?

Глянем на карту. Вот она, знаменитая Синайская пустыня, за которой лежит цветущая Палестина с библейским Иерусалимом. Так вот, в 1915 году в пекле этой пустыни разыгралась битва: турецкие войска с пемцами и австрийцами рвались к Суэцкому каналу, чтобы, захватив Каир, поднять в Африке знамя «джихада» — свя-

щенной войны мусульман с неверными. Однажды под покровом песчаной бури они едва не форсировали канал, но были отброшены англичанами до Газы, и тогда же в Синайской пустыне возник новый фронт...

В это время жалкий, полуразрушенный форт с английским гарнизоном оказался блокирован турками. Защитники форта, лишенные подвоза воды, изнывали от жажды, а выйти из форта опасались, ибо не ведали караванных путей, как не знали и расположения в пустыше древних бедуинских колодцев. Боеприпасы кончались, и гарнизон уже приучал себя к мысли о скорой капитуляции. Среди офицеров был и некий капитан Кейсл, предки которого вышли из Франции, и однажды, страдая от голода и жажды, он приставил дуло револьвера к своему виску:

— Может, лучше вот так? — спросил он, мучительно улыбувшись. — Мне страшнее, нежели всем вам, господа...

— Почему же? — спросили его офицеры.

— Я страдаю при мысли, что именно в этих краях, будь они трижды прокляты, вот так же, как я, погибал мой прадед — тоже капитан Кейсл...

— Не выдумывайте! Как он сюда попал?

— Мой прадед, капитан Кейсл, вместе с молодым еще генералом Наполеоном Бонапартом, шел из Египта завоевывать Сирию... как и мы с вами, господа! История, как видите, повторяется.

— Он погиб?

— Да. Можно представить их муки, схожие с нашими, когда день за днем, оставленные в пустыне, они ждали гонца с эстафетой от Бонапарта, который обещал известить их о колодцах и путях отхода к Каиру, но гонца все не было...

Именно в этот момент от ворот форта послышался странный шум, выкрики часовых, возникла какая-то суета.

— В чем там дело? Или прибыл гонец?

От ворот форта отвечали караульные:

— Тут явился престарелый шейх бедуинов и говорит, что должен передать письмо капитану Кейслу.

— От кого мне ждать писем в этом пекле?

— Шейх говорит, что имеет письмо от генерала Бонапарта.

— Так он сумасшедший! Гоните его обратно,

— Да нет, старик рассуждает вполне здраво.

— Так пропустите его, пусть войдет...

Перед Кейслом предстал полусогнутый от старости араб и протянул ему пакет с письмом:

— Я так долго ждал, чтобы вручить его вам, но теперь моя совесть будет чиста, и я могу умереть спокойно.

— Но при чем здесь генерал Бонапарт?

— Бонапарт сам писал его и сам просил вручить его капитану Кейслу и никому др., и никому другому...

Повторяю: календарь показывал 1915 год.

Капитан Кейсл в начале XX столетия получил письмо от Наполсона, которое в конце XVIII века не дошло до капитана Кейсла, его прадеда. С трепетом, почти мистическим, Кейсл развернул послание, заметив, что лист бумаги сделался от времени хрупким, словно пепел, а лист был сложен как-то старомодно.

Вот что сообщал Наполеон Бонапарт его прадеду:

«Мой дорогой Кейсл, немедленно по получении этого приказа, который я посылаю с юношей египтянином, откопайте провизию и боеприпасы, зарытые под вашим укреплением. Взяв все, в чем вы нуждаетесь, остальные запасы уничтожьте и отступайте к египетской границе, как это указано мною на рисованной ниже карте. На этой же карте вы сыщете пункты, где найдете источники воды, столь необходимые вам... Н а п о л е о н».

— Мы спасены! — закричал Кейсл. — Капитуляция невозможна, можете играть сигнал к походу...

Сипайская пустыня еще не знала радно, но зато пустыня хорошо проникалась слухами, и вот, прослышав о появлении капитана Кейсла, шейх вспомнил, что для него с давних пор залежалось письмо от генерала Бонапарта...

— Когда же вы родились? — спросил Кейсл.

— Этого я не помню, — отвечал шейх, — но зато я помню, что при встрече с генералом Бонапартом мне было уже двадцать пять лет.

— Так сколько же вам сейчас, почтеннейший?

— Этого я не знаю, — отвечал шейх, — но зато догадываюсь, что моя жизнь продлилась целое столетие и сейчас я вижу себя во втором веке... Как долго и мучи-

тельно пришлось мне ожидать, пока я не встретил капитана Кейсла!

— Но где же он, этот капитан Кейсл, для которого писал генерал Бонапарт свое письмо? Вы разве не отыскали его?

— Я навещал вас в этом форту, но он был уже пуст. Неужели, капитан Кейсл, вы забыли, что ушли, не дождавшись меня?..

В таких случаях, уважая старость, спорить не следует.

Сверяясь с картой Наполеона, англичане покинули форт и благополучно вышли к спасительным колодцам.

Этому шейху было тогда сто сорок лет. Наполеон даже здесь, в пустынях Синая, оставил свои следы...



## СОДЕРЖАНИЕ

ПСЫ ГОСПОДНИ. <i>Историческое повествование</i> . . . . .	3
ЖИРНАЯ, ГРЯЗНАЯ И ПРОДАЖНАЯ. <i>Роман-информация</i>	167
ЯНЫЧАРЫ. <i>Восточный роман</i> . . . . .	277

Валентин Саввич Пикуль  
ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ  
Том первый

**Редактор В. Г. Яковлев**  
**Художественно-технический редактор И. П. Должикова**  
**Корректоры Т. А. Худакова, В. И. Ламина**

Сдано в набор 29.04.93. Подписано в печать 24.06.93. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага писчая. Гарнитура Обыкновенная новая. Печать высокая. Услов. печ. л. 21,00. Уч.-изд. л. 24,78. Тираж 300 000 экз. Заказ № 3737. Изд. № 105.

Издательство «Новатор», 113152, Москва, Загородное ш., д. 8, корп. 7.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



мы отдались одному слову в нем  
и не вернулись к справедливости  
и воле.

Враг его не волея, Россия - не  
верный <sup>ему</sup> союзник, не кабы де  
его и знаменосца. Разбух <sup>турки</sup>  
новь обдеиет во <sup>много</sup> власти <sup>дворца</sup>  
~~верных суданов~~ <sup>ханжа = чиннов</sup> было и <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup>  
и <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup>  
доживая <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup>  
Корях <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup>

В 1911 году в <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup>  
ружен <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup>  
и <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup>  
и <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup> <sup>дворца</sup>



